

Виктор
Астафьев

Так хочется жить



Виктор Астафьев

**Так
хочется
жить**

Повести и рассказы

Москва
Издательство «Книжная палата»
1996

ББК 84Р7
А91

Серия «Популярная библиотека»
основана в 1987 году

А $\frac{4702010201-011}{008(01)-95}$ Без объявл.

ISBN 5-7000-0435-6

© В. Астафьев, 1996
© Состав и оформление.
Издательство «Книжная палата»,
1996

РАЗГОВОР НА ФОНЕ НОВОЙ КНИГИ

(Из диалога Ирины Ришиной
и Виктора Астафьева)

— Виктор Петрович, вы всегда говорили, что ваша главная книга о войне впереди и что вы уже много лет готовитесь к ней. По вашим словам, чтобы написать такую книгу, сколько надо перестрадать, — «подобный труд сжигает сердце художника». Работая над романом «Проклятые и убитые», вы вдруг написали новую повесть — опять о войне, значит, не «отболели» ею, а ведь признавались, что, творя роман, надеетесь «отболеть войной в последний раз».

— Я вне плана начал повесть эту гвоздить и написал вчерне за полтора месяца. Тяжело, тяжело пишется. Одно дело — пережить мальчишкой все это. В моей новой повести взводный говорит: «Всегда солдату завидовал, что тот лег — свернулся, встал — встряхнулся»... Так вот, одно дело — 18-летним переносить фронтовую жизнь-нежизнь, и другое дело — пропустить войну сквозь себя сейчас, уже осознанно, имея опыт и насмотревшись, начитавшись, в том числе и противной литературы, и киномакулатуры, которым хочется возражать. А возражать только и можно, воспроизведя мою войну, не всеобщую, а именно мою.

— Расскажите о повести — это конец войны?

— С 43-го года и до наших дней. Сконцентрировано все вокруг одного инвалида-фронтовика, через все прошедшего. И не просто прошедшего, но в силу своего витиеватого характера со всякими изгибами и загибами натерпевшегося.

— Вы когда-то говорили, что будет у вас книга о том, как возвращались победители, как начинали жить, — значит, это вылилось в повесть?

— В повести — и «Дорога на фронт», и «Дорога с фронта». Обе дороги непростые, но с фронта — особенно. Как мы ехали, изувеченные, всеми брошенные на произвол судьбы, без специальности, без образования, никому не нужные — победители, гол как сокол. Верховоды в Кремле

гуляют, друг друга награждают, а мы — кому до нас было дело?!

— Название есть?

— Уже третье — «Так хочется жить». Слова эти прозвучат в повести, как заклинание, человек, который видит, что недолго ему быть на земле, что скоро, скоро помрет: «Давай выпьем, брат. Будем жить. Так хочется жить». Тем, кто остался жив и до 50-летия Победы добрался, так хочется жить. Всем хочется жить. Надо довести до крайнего состояния, чтобы хотеть: «Скорее убило бы». Видимо, жизнь — и награда, и мучение, и какой-то период, данный тебе в мироздании, что ты должен особенно его пройти, протосковать это время о жизни всей. Сейчас люди особенно тяжело умирают, им внушили, что сгниют, что черви их съедят. Быть может, это самое тяжкое преступление коммунистов, что сделали людей атеистами, лишили веры в небесное будущее. Что там свет, там Бог, там Богородица. Люди умирали спокойно, готовились к этому уходу.

— И все же что-то толкнуло вас к этой повести сегодня, что?

— Да вот эти митинги с красными знаменами, эти рожи — в основном там бывшие вохровцы и надзиратели-лагерники, настоящих-то солдат осталось в крае 5—6 тысяч. Оружие эти толпы ничего, кроме чувства протеста и отпора, вызвать не могут, потому что зовут к новому насилию, к крови. Мы общество надсаженное. Мы не восстановили население русское до сих пор. Мы не можем позволить себе новой свалки, к которой сегодня кличут наши фашисты, так прямо пиши — фашисты и осатанелые прохановцы. Он, Проханов, в Москве сидючи, повсюду выметал вшивоту жуткую. У нас в Красноярске, в Новосибирске, в других местах суетятся, организуют невесть что его последыши. И куда зовут? Потрясающе: зовут к светлому прошлому. И настолько куцый ум у них, что не понимают: «Можно в те же вернуться места, но вернуться назад невозможно».

— Отчего же старый израненный солдат идет с портретом Сталина на площадь? Что это?

— Скудоумие.

— А как вам кажется, в России может взрасти такое явление, как русский фашизм? Вы говорите: «наши фашисты», — значит, ощущаете их присутствие.

— А почему не может? В России так много прививалось всего противоестественного, в том числе и револю-

ция, которую пробовали прививать во многих странах, но удалось только у нас. Сейчас время обнажило, какие разрушительные ее последствия мы претерпели. Есть такое русское слово «порча». Мы даже не понимали, какой порче подверглись. Не знаю, как ты, а я в себе то и дело нахожу привычку к прежней жизни, какое-то согласие с ней. Хотя вроде бы все время ей сопротивлялся, не состоял ни в пионерии, ни в комсомоле, ни в партии. И в писательстве пытался вырваться из-под этой могильной плиты. Делать это было очень трудно. Я не уверен, что и до конца жизни мне удастся освободиться. Понимаешь? А старых дураков сейчас помянут: мол, дадим каши бесплатной, вернем дешевую колбасу вам, будем строить жилье, больницы, медицину бесплатную получите. И они верят и на площади бегут. Молодежи там нет, слава Богу.

— При том кризисе власти, который у нас сегодня, возможно ли, чтобы демократия совсем провалилась? Или она все же укоренилась?

— Товарищ Зюганов — этот современный Чичиков, — Константинов, Исаков, Бабуринов — провокаторы самые настоящие, они все могут. Жириновского, конечно, не допустят до власти. Но своего выдвиженца — партийного пахана, объединившись в банду, вполне могут подсунуть народу. Созидательной силы там никакой нет. Красные вообще никогда не были созидательной силой — только разрушительной. А что дальше разрушать? Если мне не изменяет память, во время Брежнева пропито 780 миллиардов от нефти. Только пропито! Золотой запас почти весь распродан. Государство на мели... После 17-го года торговали картинами, иконами, церковными ценностями, обдирали Россию как могли. Но главное, почему тогда удался нэп, — это честно работающие мастеровые люди, портные, парикмахеры, торговцы, землепашцы. Почему не удался сейчас нэп? Да никто работать не хочет, тем более задаром, полузадаром. А в 20-х вкалывали.

— А почему надо сегодня задаром?

— Да ни в коем случае не надо. Вот верные ленинцы-сталинцы и хотят сделать снова такой социализм, чтобы один с ружьем стоял, а другой киркой землю долбил. Есть вожди сейчас в Думе, я их в лицо знаю, которые говорят, что надо уничтожить 12—15 миллионов снова, чтобы остальные жили счастливо. Половину населения — в гроб, тогда другая половина будет жить при коммунизме.

Меня потрясает вот что. Я Москву-то не очень вижу, а

в Красноярске бабы одеты в меха, в дорогие меха, в соболя. Мужики — в кожу. Детки, как попугайчики, нарядные. В заплатках никто не ходит. Приехал я на день поминовения на деревенское кладбище, где дочь похоронена. Оно у нас большое, на три поселка — сплавщиков, деревообработчиков — и нашу деревню. Люд все рабочий да пенсионный. Так чуть не две тысячи машин около кладбища стоит, я прямо ахнул, и половина — иномарки. И на столах, Ириша, нуле самогонка, я ее узнаю, покрашенную чаем. Длинные бутылки с дорогими напитками, «сникерсы» всякие, детки шоколадки кусают. И все ругают власть. Я вспоминаю первые послевоенные годы, когда мы ходили в стезеных бурках, а Мария Семеновна моя, фронтовичка, в телогреечке застудила груди, мастит заработала, и нечем ей было деточку кормить. Деточку схоронили. Тогда власть не ругали. А сейчас ее клянут. Никто не хочет работать, и все ждут хорошей жизни.

— Откуда же тогда разговоры, что народ голодает, что множество людей за чертой бедности?

— А это красные подначивают. И, кстати сказать, пресса помогает маленько в этом деле. Надо было позаботиться о 5—6 процентах действительно бедствующего народа. Как? А вот у нас бизнесмен и предприниматель Сергей Зырянов взял в своем районе доплату за хлеб и молоко пенсионерам на свои деньги, так тут же и в подозрение попал — «карьеру лепит, к выборам готовится». Это вместо того, чтобы состоятельные люди взяли на себя груз расходов и заботу о тех, кто не в состоянии купить себе хлеб, сахар, масло. Помогите нищим и страждущим, выполни веление Божье, а тогда и жируй, щеголяй себе на здоровье. Сейчас если коммунистам удастся людей сравнить, будут убивать просто за то, что у тебя пенсия на 15 тысяч больше, на четыре сотки огород больше — нельзя, чтоб у тебя было больше. Да просто за то, что у тебя собака громче лает.

— Откуда такая агрессивная завистливость?

— «Да пусть у Ваньки изба сгорит, у меня вчера корова сдохла». Это про нас. Потенциал у русского народа был крепок, надо было доброе поддерживать. Революция же возбуждала только темное, страшное. Что ж сейчас удивляться, как мы испорчены, на какое упали нравственное дно. И каких ждать реформ, каких перемен, если вокруг те же обкомовцы, крайкомовцы, чины из ВПК, генералы — они и в Думе, и в области, и в городских креслах?!

Кто-то сказал по телевидению: сейчас в каждой деревне по кандидату в президенты. Ну, допустим, президента сняли, что тогда — новая неразбериха?

— Вы сказали, что народ стал намного лучше жить — шубы, кожа, «сникерсы» всякие. А книги представляют сегодня ценность для ваших земляков? Провинция читает? Когда я была в 81-м у вас в Овсянке, вы с гордостью, да, именно с гордостью, водили меня в местную школу, где у вас регулярно был «час поэзии», и, помнится, детвора слушала, как вы читали и Ахматову, и Твардовского, и Ахмадулину, и Рубцова, даже китайскую лирику — Ду Фу... А сейчас?

— Я в этой школе не бывал лет восемь.

— Почему? Некогда?

— Никто меня и не зовет. Никому поэзия не нужна.

— Казалось бы, наоборот, если люди богаче стали, то хватает денег на книги, на журналы.

— Кто лучше стал жить, тот не скажу, что больше стал читать, но точно знаю: больше стал пить. Таких дебилов понарожали — им разве до чтения? Ты задаешь вопросы о нашей жизни — сама ответить на них не можешь, а меня спрашиваешь. Не знаю, что такое происходит с людьми, но жестокости, глупости, пьяной дури — этого сколько ни отбавляй, не отбавляется. Про писателя съезвят непременно: «Ишь, как сыр в масле катается». Если идет катер по Енисею, показывают: вот особняки новых русских, а вот — дача Астафьева. А я как жил в избе деревенской, так и живу, подремонтировал слегка, побелил изнутри — хорошая и удобная для работы и отдыха изба. Лес подрос, на огороде стало красиво. Приходят два рыла, ломают ограду: «Сука, людям картошку негде садить, а он тут цветочки развел». Куда я денусь от этого? В «Правде» про меня написали: от народа оторвался. Да я и рад бы от него оторваться, хоть немножко бы с голландцами пожить. А неделю поживу, так тянет к этому ко всему. Говорю: «порча» же напущена!

Утром встаю — из-за гор солнце выкатывается, испорченный, но родной Енисей шумит, петухи орут — появились; односельчане ковыляют угрюмые с похмелья — тоже часть пейзажа. Печку топлю, мусор выношу, дрова затаскиваю и отрабатываю за утро «кусок», который мне предстоит написать. Сажусь за стол, а он уже готов в башке — только води ручкой по бумаге и ни о чем не думай.

— На новые вещи есть отклики?

— В основном идут от фронтовиков, которые следят за моими вещами. Хорошие письма. Ясно, будут и другие. Не смолчат наши местные фашисты. Отзовутся проклятиями и ветераны, не все, не все, но комиссарство на меня навалится, и за дело — отношусь к нему непочтительно. Надо с придыханием да с приседанием, а я, видишь ли, галифе с них снимаю принародно.

— Кстати, публикация в «ЛГ» в прошлом году вашей переписки с Кондратьевым «Правда выборочной не бывает...» тоже вызвала полярные мнения.

— Уж вы дали так дали — молодцы, ничего не подправили. Ну, генералы наши, думаю, побелели: как можно такое о Жукове?!

— Прочитали переписку, перепечатанную в пермской «Звезде», ваши бывшие земляки и прислали нам «обвинительное заключение»: «...клеветает на наши Вооруженные Силы, искажает историю ВОВ, порочит командный состав...», одобренное, как в былые времена, пленумом пермского совета ветеранов. Вот так. А 94-летний кавалер двух орденов Ленина, пяти орденов Красного Знамени полковник в отставке И. Старинов пишет: «Как участник четырех войн, обрадован, что нашлись смелые люди, которые выступили за восстановление исторической правды».

— Моя точка зрения, моя. Как солдат я дважды был под командованием Жукова. Говорят, солдаты ничего не знают. Знают. Когда Конев нас вел, медленней продвигались, но становилась нормальной еда, обувь, одежда, награждения какие-то, человеческое маленько существование. А Жуков сменил Конева — и в грязь, в непогоду, необутое в наступление, вперед, вперед. Ни с чем не считался. Достойный выкормыш вождя. Так он начинал на Халхин-Голе, где не готовились к наступлению, а он погнал войска, и масса людей погибла. С этого начинал, этим и кончил. Будучи командующим Уральским военным округом, погнал армию на место атомного взрыва в Тоцких лагерях. Это его стиль. Конечно, он много сделал, очень много. И себя надсадил, но надсадил и страну, и народ, бросая его из огня да в полымя, из крайности в крайность. Да, наверное, тут и нельзя иным быть. Только такой и возможен был главнокомандующий. Сталин — что за верховный, сделали из фанеры икону фанерную. Главная фигура войны — Жуков. Ответственность на нем лежала колоссальная. Как дыры затыкать — так Жуков. Оборонял Москву, Ленинградом занимался. Износился

мужик. «У самого маршала Жукова в голове шумит», — отчитывал меня знаменитый профессор, к которому обратился с жалобой на постоянный шум-звон в контуженной голове. Жуков — продукт времени, и этим все определено. Когда Ельцин был в Красноярске и заговорили о памятнике Жукову, где его ставить, мы сказали: не на Красной площади. Красную площадь надо очистить. Убрать мавзолей с этим маскарадом, убрать вельможные могилы, переставить, вернуть на место памятник Минину и Пожарскому, надо восстановить исторический лик площади. А все, что касается современности, — на Поклонную гору, и памятник Жукову туда же.

— Виктор Петрович, знаю, о Чечне не очень хочется говорить... Но все-таки?

— Нельзя было лезть в эту авантюру. То, что влезли, — глупость. А как заметил справедливо Платонов: глупость — самое дорогое дело. Не стану рассуждать, кто виновен больше, кто меньше, — у меня фактов нет для бесспорных умозаключений, но что я знаю твердо: генерал Ермолов с 250-тысячным войском воевал против 20 тысяч горцев, и война растянулась почти на 50 лет. У нас нет такого срока и при современном вооружении ни горцев, ни армии не хватит на длительное кровопролитие. Хотя, как старый солдат, вижу, чувствую: скоро не кончится. Вот чеченка кричит в отчаянии: «Россия, ты получишь много Афганов!» А при чем тут Россия? Жаль несчастных людей и жаль мальчишек, пригнанных туда. Скажут: и на той войне, с немецким фашизмом, были такие же мальчишки. Да, но ими владело сознание, что родина в опасности. А сегодня почему, зачем они должны рисковать своей жизнью, во имя чего?

На улицах Грозного горят танки. А ведь давным-давно признано, что танки как уличное оружие никуда не годятся. Их, между прочим, не надо было и в 45-м в Берлин вводить, где на узких улочках любой парнишка, любая старуха могли шурануть в бок танка фаустпатронами, вот и горело там одновременно 750 наших танков. Сдуру влезли в город, ввязались в уличные бои, а если бы Берлин окружили, блокировали, то встретились и договаривались бы с американцами дальше на 500—700 км, и условия, и переговоры были бы другие, а главное, сохранили бы жизнь сотням тысяч русских ребят. Но Сталину и Жукову надо было, чтоб Берлин пал — на весь мир какое впечатление произведет эта политическая акция! Чего уж тут думать о жертвах, тем более о телах погибших! Великий

грех — не предать их земле. Немцы ночью подбирали своих, хоронили. А мы и тогда не спешили и до сих пор во многих местах этого не сделали. Напиши, пожалуйста, что не на митингах с портретами преступного генералиссимуса оратор, не медалями бренчать, а надо, обязательно надо в юбилей Победы по оврагам, болотам пройти, волховским, березанским под Киевом, по всем, где полегли наши бойцы, сгрести косточки сотен, тысяч, а может, и миллионов наших воинов, сделать памятные захоронения. Это большевики породили такое презрительно-плевое — им на все плевать — отношение и к жизни, и к смерти.

— Когда вам вручали премию «Триумф», то подчеркивали, что вы стали лауреатом русской Нобелевки именно как русский писатель. При этом А. Битов дал свое определение понятию «русский писатель». А ваше определение?

— По-моему, русский писатель — это писатель, живущий среди русских людей и знающий их не понаслышке, язык не по словарю, а ощущающий основу жизни локтями, боками и в какой-то мере осознающий, пропускающий через себя нашу действительность, что, между прочим, отнюдь не так легко, как кажется некоторым.

— А что бы вы пожелали народу нашему?

— Воскресения, воскресения, воскресения. Силы есть, способные это сделать. Не мешал бы впредь Сатана и помогал бы Бог, которого мы гневим и гневим, но он иногда обращает к нам свой милосердный лик, прощает нам наши тяжкие грехи, спасает и врачует нас. На это и будем надеяться.

По публикации в «Литературной газете» (1995. 8 февр. № 6).

Так хочется эсும்б



Часть первая

ДОРОГА НА ФРОНТ

Фронтовые дороги ведут в бесконечность и никогда не повторяются. Но их разнообразие, переменчивость, неудобь — не способствуют бодрости, в особенности если едешь по ним ночью, — а все передвижения близ фронта происходят в основном в ночное время, и давно кажется, если не год, то уж неделю наверняка сидишь за рулем. И усталость, и ночь, и пение мотора машины-полуторки не просто навевают сонливость, но клонят в сон, одолевает расслабляющая бесчувственность, склеиваются глаза, меркнет сознание, покидает шофера чувство страха и ответственности. Будто расстроенная струна звучит на расстроенной балалайке: гынь-гынь-гынь, гань-гань, гане... гы-ы-ынь... гы-ы-ы-ыы...

Коляша Хахалин других дорог и не знал, по другим, слава Богу, и не ездил. Пение полуторки, этот усыпляющий звук мотора останавливает время, погружает в немоту мир окружающий, точнее, проносит его мимо с левой и с правой стороны машины. Хоть бы жажнуло где, стукнуло бы, что ли, хоть бы огонек где мелькнул, но лучше бы много огней, напоминающих человеку, что не один он во вселенной, что живут еще люди и теплят огоньки в жилищах. «Дрожащие огни печальных деревень», — пусть бы и дрожащие, пусть бы и в печальных селениях.

Но никого и ничего вокруг и вдали, лишь мотор поет свою однообразную, вкрадчиво-ласковую песню, и рулевого снова и снова начинает долить сон, голова, скользкая ни держи, сламывает шею, размягчает кости, осаживает туловище до тех пор, пока лбом не коснешься холодного железа, пока им не стукнешься об округлость баранки, — мгновенное тогда происходит воскресение, испуг на какое-то время расшибает сон, отгоняет его. Рулевой, разом вспотев, ищет, ищет глазами белое пятнышко впереди, не найдя его, прибавляет газу, полуторка вздрагивает от неожиданности, вроде как и она задремала тоже, начинает

досадливо постреливать и рычать от напряжения. Но если впереди лунным пятнышком засветится метка — на рулевого сразу же нападает благодущие, расслабленность, и снова, и снова усыпляюще запекает мотор: гынь, гынь, гы-ы-ы-ынь...

«В дорогу идти — пятеры лапти сплести», — слышал где-то Коляша. И повторяется, и повторяется: «В дорогу идти... в дорогу идти... гынь-гынь...»

Коляша Хахалин шофером себя стеснялся называть, тем более водителем — совсем уж это редкостное, высокое слово, а значит, оно и определяет человека особой мерой — во-ди-тель! — специалист, значит, кого-то и куда-то ведет он. А вот скажешь — рулевой, и вроде как взятки гладки — какой с рулевого спрос, он за руль только и отвечает, все равно как ссыльный пастушонок-поляк сказал однажды в поселке-городе, далеко-далеко на севере стоящем, что он — «водитель крувы».

Коляша тоже мог быть «водителем крувы», шофером же быть он не мог. У Коляши Хахалина прозвище Колька-свист, не в подражание герою «Путевки в жизнь» ему дано, оно самим им нажито — Коляша был мастер по части чтения, пенья, всяческого сочинения. У него был, как бы сказали нынешние педагоги, «гуманитарный склад характера» — он соответствовал этому характеру, учился хорошо по языку, литературе, истории, географии и очень плохо по математике, за что его всегда ругали, порицали в детдоме, оставляли на второй год в школе, однажды оставили даже и на третий...

Соответственно своему гуманитарному наклонению в характере Коляша ничего не смыслил в технике и за жизнь свою восемнадцатилетнюю из техники только и запомнил, что есть выключатели электричества, не только вверх и вниз действующие, но и вправо — влево, еще он запомнил, что электролампочку, когда свету хочется и когда свет погас, надо тоже вертеть вправо, поскольку в детдоме ребята часто били лампочки, ключ у дверного замка, чтобы его отомкнуть, между прочим, тоже чаще всего поворачивается вправо.

И вот с такими-то техническими данными Коляша Хахалин попал в автополк — учиться на шофера. Его и не спрашивали, хочет он или не хочет учиться на шофера, может или не может овладеть машиной. Выстроили призванных ребят во дворе областной военной пересылки, выкликнули фамилии по списку, велели сделать шаг вперед, сомкнуться и следовать еще раз на комиссию, на

медицинскую. Коляша уже прошел одну комиссию и скрыл от нее, что правая нога у него ломаная, что он малость прихрамывает, да при той комиссии, будь он хоть на протезе, и то оказался бы годен к битве. Но тут, на второй комиссии, он смекнул неладное и сказал врачу, который ему показался главным, что он хромает. «Как со зрением?» — спросил врач. «Полный порядок!» — бодро воскликнул Коляша. Врач сказал, что главное в его будущем деле не ноги, глаза. И загремел Коляша в автополк. Поторопился он с ответом насчет глаз. Надо бы туфту гнать, близоруким, а то и слепым притвориться. Надо было... Но куда богатого конь везет, туда бедного Бог несет.

Это он понял с первых дней пребывания в автороте. Там уже были ребята, переправленные в автополк из других воинских частей, народ, знающий мотор, технику, — бывшие трактористы, комбайнеры и даже рулевые, закончившие автокурсы или не успевшие их закончить, не получившие права называться шоферами. Многие из призывников успели помотаться по грязным, холодным казармам, оголодали там, обовшивели, иные уж доходили и, попав в автополк, в кирпичные казармы, строенные еще при царе, где было сухо, тепло и питаньишко получше, чем в пехоте, старались учиться изо всех сил, быстро осваивали боевую технику, то есть автомашину «ГАЗ», кто и «ЗИС». Кроме занятий техникой, изучения правил уличного движения и безопасности, курсанты проходили и строевую, и боевую подготовку. Спали мало, но крепко, уставали потому что.

У Коляши Хахалина в автороте не заладилось ученье — говорун, просмешник, анекдотист, песельник, сперва он был принят в роте по-братски и даже выделен среди остальных, прозвище к нему, неизвестно, как и почему, вернулось прежнее в точности — Колька-свист. Он даже ротным запевалой сразу сделался и навечно простудил горло на сибирском морозе. Но чем дальше в зиму, тем больше становилось мороки с автоучебой. На тренажерах — в большом зале из досок сделаны помосты, и к ним прикреплены педали, рычаги, крючки, ручки и сам руль, — сиди и целый час, когда и два, переключай скорости, жми педаль сцепления, и Коляша на тренажере-то лихо сперва переключал все с шутками, с прибаутками, но это занятие ему скоро надоело, и он начал отлынивать от классной учебы. По соседству, в зале, еще более просторном, на постаменте стоял двигатель машины «ГАЗ», в разрезе двигатель-то, как животное или человек в учебнике

по зоологии. Подходишь и видишь все сложное нутро: поршни, коленчатый вал, карбюратор, генератор, помпу, охладительный бачок и еще много-много чего. Как-то прикинул Коляша про себя, и вышло, что нутро машины куда как сложнее, чем человеческий организм! — попробуй, постигни такую технику!.. Коляша пал духом от сложностей автомобиля, служба его в роте и наука пошли худо, со спотычками, отношения в автороте не заладились.

За длинный язык, за острое, не всегда к месту сказанное слово его невзлюбил и начал принародно одергивать главный человек в роте — старшина Олимпий Христофорович, фамилия которому была Растаскуев. Крупный, румяный мужик с умеренно вспухшим животом, с алыми губками и совершенно пронзительным взглядом голубеньких глаз с остро заточенными зрачками. Коляша возьми и скажи старшине, без всякой задней мысли, что у графа Бенкендорфа отчество было тоже Христофорович. Старшина поинтересовался, кто это такой? Коляша, опять же безо всякой задней мысли, ответил, как учили в школе, — прихвостень, мол, тирана-царя и погубитель гениального поэта Пушкина. Уже вечером того же дня Коляша вычерпывал и выносил мыльную воду из-под умывальника, затырал в умывальнике пол и подметал коридор в казарме.

Перед отбоем старшина Олимпий Христофорович произнес речь перед выстроенной ротой в том духе, что среди прибывших есть грамотеи, знающие все про Пушкина и Колотушкина. Рота слегка колыхнулась от смеха, старшина переждал и продолжил: но устав и боевую технику эти грамотеи изучают плохо, нерадиво, а он, старшина, служит в автополку еще с кадровой и всяких навидался, они от его науки и пристального внимания не только Пушкина-Колотушкина забывали напрочь, но и матери родной имя не вдруг вспоминали...

Речь старшины была короткой, состояла в основном из намеков и обобщений. Но после того, как Коляша поинтересовался: неужели Олимпий Христофорович не прочел в жизни ни одной книги; зачем тогда в полку существует библиотека, довольно обширная и интересная; он, Хахалин, несмотря на жуткую занятость, в библиотеке той уже побывал и убедился, что руководство Красной Армии думает не только об маршировках, об изучении устава и техники, но и об интеллектуальном развитии ее рядов, — напутственная речь старшины на сон грядущий удлинилась. В других ротах отбой произошел, люди уже спали, в Коляшиной же роте, забросив кулачищи за спину,

перед строем расхаживал Растаскуев-старшина и нравоучительствовал, обозначая дальнейшее направление жизни в том смысле, что армия есть армия, и он не позволит в ней никакого разгильдяйства и умничания, за счет часов отдыха и политзанятий он попросит увеличить часы занятий строевой и боевой подготовкой, потому как рота готовится не к свадьбе, на войну готовится, на фронт, и надо быть во всеоружии, надо, чтоб на фронт уезжали крепкие духом, умелые бойцы, способные бить врага в любой час, в любом месте. Спать рота легла на час позже, и кто-то впотьмах больно сунул кулаком Коляше в бок.

Назавтра и в самом деле был сокращен, навовсе сокращен и более не восстановлен час личного времени. Курсантов вывели на мороз, старшина повелительно крикнул: «Хахалин, запевай!» — и залился, запел Коляша, а за ним и вся рота. Куда денешься? Армия!

На этот раз перед отбоем старшина речь не произносил, но в умывальник Коляшу с двумя товарищами отправил — наводить санитарию, и, драя пол шваброй, пританцовывая, Коляша во все горло пел, хотя ни петь, ни танцевать ему не хотелось: «Финнам мы покажем жопу, раком повернем Европу, а потом до смерти зае...». В умывальник ворвались трое крепких парней в нижних рубашках — Коляшу и напарников его бить, но тут оказались бойцы не робкого десятка, и так они обиходили швабрами нападающих, что те превратились в отступающих.

За это за все: за драку, за избиение дисциплинированных курсантов — Коляша был послан долбить помойку, и старшина напутственно похлопал его по спине: «Иди и подумай на ветру кой о чем. Охолонись...»

Вернулся Коляша в казарму уже под утро, нисколько не выспался, кемарил в учебном классе, путался в ответах, был выгнан на улицу — ползать по-пластунски под командой рыжего, носатого сержанта, который недоуменно и дружески наставлял Коляшу:

— Неужели трудно запомнить, что старшина главнее солдат? В уставе же написано: «Приказ начальника — закон для подчиненного».

— Все понял! — бодро заявил Коляша.

Перед отбоем курсанты добром его просили в роте: «Уймись! Этот битюг заест и тебя, и нас...» Но Коляша от бессонницы и изнурения внутренне клокотал, прямо из строя сказал Олимпию Христофоровичу, что он как командир самой передовой и сознательной армии не имеет права

издеваться над людьми. Пусть его, Хахалина, наказывает, как мохнатой душе старшины хочется, но ребята тут ни при чем.

— Хор-ро-оо-ошшо-о-о! — с растяжкой сказал старшина, — оч-чень хорошо-о-о! Раз человек просит, грамотный, культурный, песни и стишки знает, уважим его. Р-рота, отбой! Хахалин в умывальник!

В умывальнике были две длинные лавки, приделанные к стене. Над лавками ячейки, в каждой ячейке крючок для полотенца и желобок для мыла. Коляша, натянув мазутную телогрейку на ухо, лег на скамейку спиной к батарее и мгновенно уснул. Проснулся он оттого, что повис в воздухе, — старшина Растаскуев взял его за воротник со скамьи.

— Отпусти, х..сос! — закричал Коляша.

— Кто я? Кто я? — от неожиданности старшина приземлил Коляшу и, повернув его к себе лицом, требовал: — А ну, повтори! А ну, повтори!

И Коляша не только повторил, но и добавил:

— Педераст! Фашист! С-сука! — и в довершение плюнул в румяную толстую морду и тут же получил такой удар, что брызнуло из глаз, будто из бессемера, продувающего горячий чугун, который Коляша видел когда-то в киножурнале.

Пролетев по воздуху изрядное расстояние, курсант вышиб спиной дверь в расположение роты и приземлился на пол. Разъяренный старшина выскочил следом, занес ногу пнуть щенка, но щенок тот был детдомовский, наторелый в драках, нервами еще сызмальства изношенный — когда его, еще неопытного карманника, пинали на базаре, на крыльце магазина, он умел вывертываться и ни советским гражданам, ни судьбе покудова не дал себя запинать. Вертухнувшись на полу, боец Хахалин ухватил занесенный над ним сгармошенный яловый сапог, дернул и услышал, как тяжелое тело, грохнувшись по пути об приступок нар, тоже упало на пол. Медведем рыча, от нар начало взниматься оскаленное чудище, чтобы раздавить, размичкать червяка, посмевшегося поднять руку на армейского господина, на самого заслуженного в автополку старшину Растаскуева. Коляша Хахалин метнулся к пирамиде, где в ряд со старыми винтовками стояли недавно полученные карабины новейшего образца, с несъемным штыком. Карабины все были в порядке, смазанные, вытертые, штыки подняты, на них масло блестело, и, разом забыв все приемы штыкового боя, все на свете забыв, с криком: «Заколю с-суку!

Заколю!» — с поднятым над головой карабином Коляша ринулся на старшину.

Не приняв рукопашного боя, старшина Растаскуев ринулся прочь. А Коляшу уже понесло. Видя перед собой широкую, будто дверь переселенческого барака, плотно обтянутую шерстяной офицерской гимнастеркой спину, боец Хахалин целил всадить боевой штык в середку ее, меж лопаток, и даже успел мстительно насладиться, явственно слыша, как захрустит та ненавистная спина, как завопит этот лапистый громила...

Косолапый, на одну ногу припадающий Коляша и величавый старшина вопили во всю глотку. Огромная, царских времен казарма, вмещающая на одном этаже аж целый батальон — душ до пятисот, при утеснении — и до тыщи, проснулась, в Коляшиной роте кто-то спрыгнул с нар, погнался следом с готовностью не то выручать старшину, не то помочь товарищу, но не догнал сражающихся — прыток оказался Олимпий Христофорович, здорово умел бегать, хотя и на фронте не был, практику драпа не проходил.

Во второй роте на середку прохода выскочил дежурный, раскинув руки, закричал:

— Стой! Стой!

Коляша отшиб его в сторону, однако дежурный третьей роты поступил просто: дал подножку яростно наступающему вооруженному бойцу. Выронив карабин, боец проехался по бетонному полу брюхом, ссадил его, оцарапал. Дежурные навалились на бунтаря, заломили ему руки и поволокли в комнату командира батальона — сей ночью тот ночевал дома или еще где. С противогазом на боку сюда же вбежал дежурный по батальону младший лейтенант при новеньких погонах и, увидев, как жестоко избивают сослуживцы солдатика, будто чечетку отбивая, затопал:

— Прекратите! Что вы делаете? Прекратите!

Бойцы послушались, бить прекратили, но держали бунтаря за руки. Супротивника своего бил уже один — старшина Растаскуев, месил мальчишеское лицо, приговаривая:

— Я тя научу! Я те покажу! Я те... — приостановился вдруг и, глядя в расквашенное, окровавленное лицо сосунка, задыхаясь, спросил: — Так кто я? Кто?

— Фашист! Фашист! — Коляша сгустком крови харкнул в трясущее подбородком лицо старшины.

— Да прекратите же вы, наконец! Прекратите! — вопил младший лейтенант.

— Не-эт! — утираясь, взревел старшина. — Не-э-э-эт! Я добыю! Я добыю эту гниду... — и снова ринулся на Коляшу, заноса кулачище аж за спину — для сокрушительного удара.

Ах, дурак, дурак! Разве так дерутся?! Сам вот много бил, а самого били мало — раскрылся, выпятился молодецкой грудью и совсем-совсем не берег свою толстую морду...

Коляша, как бы изнемогши, как бы оберегая остатки лица, опустил голову, соблазняя истязателя подцепить его кулаком-кувалдой для последнего, прицельного удара. Как только старшина приосел в боевом маневре, Коляша головой и одновременно в прыжке ударил победительно топавшего воина ногами в низ живота. Что-то хрустнуло, всхлипнуло внутри старшины, в следующее мгновение он уже полулежал, зевая, у стены, под портретами Карла Маркса и Фридриха Энгельса, выше которых еще висели Ленин и Сталин. Поверженный старшина старался что-то молвить, но, глуша, размягчая звуки, изо рта ротного дяди выплескивалось красное месиво и все тот же тонкий писк тянулся вместе со слюною.

Младший лейтенант подхватил бунтовщика, выбрызгивающего вместе со слюною и с кровью ругательства, какими владеет только советский простой человек, и в первую голову шпана всякая, прежде всего детдомовщина, уволок его за перегородку, ко кровати для дежурного.

— Что же это вы?! Что же это вы?! — топтался вокруг Коляши дежурный по батальону и совал ему полотенце. — Умойтесь. Умойтесь. Как же это вы? Что же это вы?..

— Не надо, — отстранил полотенце Коляша. — Испачкаю. Мне бы тряпку какую, — и начал умываться холодной водой.

Младший лейтенант тряпицы не нашел, пришлось все же пользоваться полотенцем.

— Безоружного бьют! За руки держат... — почти стонал младший лейтенант, видать, начитавшийся благородной литературы, и предложил Коляше ложиться на кровать дежурного. — Мне уж лечь не доведется, а вы ложитесь. Я вас запру на ключ. Ой, что завтра будет?! Что завтра будет?!

Младший лейтенант ушел, придерживая противогаз на боку. Коляше отчего-то подумалось, что вот этого-то

командира как раз и убьют на войне — война хороших и добрых не щадит, и Бог, говорят, их к себе в первую очередь призывает...

Он осторожно уложил себя поверх одеяла. Его начало трясти, и горькая, слезливая, какая-то детская слабость и обида накатывали на него. Большой боли он пока еще не ощущал, но вот чувство сиротливости, одиночества и безмерной тоски по кому-то и по чему-то распространилось по всему телу, по всему нутру и даже, вроде бы, под кожей. В крови, в мышцах поселялась тоскливая пустота. Как и всегда после потрясения, вспышки в детстве еще приобретенного психоза, он болел всем телом, слабел духом, страдал чувством покинутости. Как всегда, ему хотелось куда-то уплыть, уехать, убежать. Да куда уедешь, уйдешь от этой казармы, из этой жизни? Он уже давно решил, что когда-нибудь в такие вот минуты покончит с собой.

Трясло все сильнее, стучали зубы, и сквозь них не вырывался, но тек, сочился прикушенный вой. Он задрал военное одеяло, которое натянул было на подушку, чтобы не запачкать казенную наволочку, сказал сам себе: «Семь бед — один ответ», — и попытался заснуть, да сон не сходил на него. Тогда он стал вспоминать свою прошлую, такую еще короткую, однако очень насыщенную жизнь. Воспоминания всегда насылали на него сон и успокоение.

Вспоминать-то Коляше особенно и нечего. Родителей его, Хахалиных, отца и мать, выслали на север из богатого алтайского села Ключи. Коляша был еще мал, только-только входил в школьный возраст. Его зреющая детская память совпала с крутыми переменами в стране, и первоначально в ней отпечатались: утомительно-длинная, почти бесконечная и оттого скучная таежная дорога да холод полупостроенных или полуразрушенных бараков, в которых люди перемогали зиму. Натоптали тропы, обляпали все вокруг нечистотами, усеяли прореженную тайгу бугорками неглубоких могил. На те могилы дети ходили играть в дом и в пашню, так как эти бугорки были единственной зримо приближенной землей. Остальное же все глубоко завалило немым, слепящим глаза снегом.

Вот когда уцелевший в тайге народ затолкали в баржи, прицепленные к пароходу, и поволокли караван вниз по течению большой реки, жизнь пошла веселая и запомнилась лучше. Дети играли в прятки меж теса, штабелями

груженного на баржи, меж каких-то машин, бочек, лебедок, мешков с цементом, белым порошком, вертели колесики у машин, чего-то строгали складниками, собирали деревянные кубики, строили из них дома. Доступа в нутро барж никому, кроме команды, не было — там насыпью хранилось зерно, мука в мешках, продукты в ящиках. Только внутрь одной бо-ольшущей, будто дом, баржи разрешено было спускаться женщинам и некоторым пожилым мужикам. В той барже везли коров и коней. Коровы громко, на всю реку ревели, и конвоирам объяснили, что в коровах горит молоко оттого, что они не доены. Разрешено было доить коров и подрезать им и лошадям копыта, потому как от постоянной неподвижной жизни, от мокрых плах на копытах животных делались наросты, они болели и падали.

Дармовым молоком пользовалась команда парохода, шкипер и матросы с баржи, конвой и, если чего оставалось, — ссылные. Оставалось много. Неистребимые крестьянские бабы научились в пути настаивать сметану, парить в русской печке в шкиперской будке творог и даже сбивать мутовкой масло — ребячья эта работа тоже разнообразила жизнь. Мужики здесь же, на палубе, соорудили шалаши из теса, настелили подобья нар. Оправившиеся от губельной зимовки, молодые девки и бабы, от хорошего харча и вольного, речного воздуха раздобревшие и чего-то захотевшие, заводили знакомства, будто в селе, на вечерке, гуляли по палубе, угощаясь прошлогодними орехами, купленными на берегу, уединялись в вечернее и ночное время в известных лишь им местах. Но особо-то на барже не разбежишься. Парнишки и девчонки подглядывали за любовниками, перенимали опыт старших и, когда осенью, поселенные на заполярный берег, девки и бабы начали сплошь рожать, кулацкие дети могли хоть в школе, хоть где ответить, что детей находят не в капусте. Отнюдь!

Во время погрузки дров на топливо и двух длительных остановок каравана на ремонт парохода, на замену разбитых деревянных плиц двигательного колеса, помпы-качалки и рулей на баржах начальник конвоя, которому хитрованы-переселенцы отослали на пароход самую ядреную молодку — «постираться», — разрешил конвоируемым сойти на берег за черемшой, щавелем, саранкой и целебными травами. Ребятишкам, у кого имелись крючки, дозволялось поудить с берега. Мужикам, научившимся в пути делать домовины, похоронить тех, кто, изнурившись

зимою, заболел и покинул не ко времени сей лучезарно изливающийся над рекою свет. Отходы в любой жизни, в переселенческой тем паче неизбежны, и оставались мужики и бабы русские, чаще — дети и старики, никем не призретье, по-христиански в вечный путь не снаряженные, в далекой неприветливой стороне спущенные в ямы меж разрубленных и разорванных корней. Ставился общий крест над ними, и капитан парохода кроме отвального гудка давал дополнительный, длинный. Угрюмо звучал над тайгой и рекою гудок. Все кроме партийных конвоиров стояли, сняв фуражки, шапки, глядели на удаляющийся берег с общей, воистину братской могилкой. Боясь завывать в голос по покойным, бабы затыкали рты фартуками. А бояться переселенцы не переставали даже на караване, и было чего бояться.

Какой-то мужик или парень-лиходея испортил так хорошо мужицкой изворотливостью налаженную путевую жизнь — забрался в трюм и украл оттуда ящик с вермишелью, а также женское пальто с беличьим воротником. Все: и переселенцы, и конвой, и пароходный люд — недоумевали: ну ладно, вермишель — сварить и съесть можно, хотя питаньем в пути люди были обеспечены нормальным, да и самообеспечивались хорошо молочными продуктами, рыбой, даже мясом. Один конь упал от копытки в трюме, мясо разделили, шкуру высушили, на подстилку употребили. Но пальто-то, пальто зачем брал ушкуйник проклятый, когда и жены-то у него нету, пропала у него жена, пока он сидел в тюрьме за какое-то тоже, видать, темное дело.

Мужика или парня того конвоиры расстреляли во время остановки, прямо на берегу. Начальник конвоя велел всем переселенцам — это тыщи две, если не три, от мала до велика выйти на палубу и посмотреть, как беспощадно советская власть карает преступников, и добавил, что раз добра люди не понимают, пусть глядят и на ус мотают...

Раздетый до исподнего мужик или парень стоял на камнях, его шатало. Когда подняли конвоиры винтовки к плечу, с барж закричали смертнику: «Перекрестись! Перекрестись!..». Но приговоренный или не успел, или не захотел перекреститься. Пули из четырех винтовок свалили человека на камень. Народ на баржах шатнулся, бабы дико закричали. Начальник конвоя не велел закапывать преступника, приказал выжечь на доске в кочегарке каленой кочергой позорную надпись: «Расхититель народного имущества» и положить ту доску расстрелянному на грудь.

Остатный путь до намеченной цели прошел в строгости. Молодому начальнику конвоя вернул на баржу, игравшие на гармошках и пение прекратил, гульбу, принимающую бедственные размеры, пресек. После одиннадцати вечера отбой — кто высунет нос, в того стрелять без предупреждения. Выход на берег кроме парнишек с удочками всем остальным запрещался; оправка и варение еды по сигналу — в одни и те же часы; мытье голов и тел горячей водой — по особому распоряжению; похороны покойников на берегу запретить, ежели же таковые появятся — привязывать к их ногам тяжести и выбрасывать за борт. Хватит! Довольничались! Если с вами обращаются, как с людьми, — людьми и будьте!

Самое большое горе постигло ребяташек — капитан парохода обещал экскурсию по пароходу, даже по машинному отделению — допустить сулился, хотел прочесть лекцию об истории своего парохода — все это само собой отменилось. И ругали, ох, как ругали переселенцы ушкуйшика того, слямзившего вермишель и пальто, так ему и надо — говорили, — пусть теперь валяется не призреть Богом и людьми на камнях, пусть его вороны клюют.

Сказать, что все приказы-указы выполнялись досконально и буквально, — нельзя. Народ же русский каков? Он все устои расшатает, любые препоны прорвет. Начальника конвоя, шибко запившего после происшествия, капитан парохода — добряк — и нечаянные посыльные с баржи склонили к мысли, что с неподшитым подворотничком, в несвежем белье, в немых портянках, при сопливом носовом платке жить и быть столь важному человеку, в не убранной к тому же каюте, за неухоженным столом и постелью — не личит. Начальник конвоя, после некоторых раздумий, вернул к себе молодому, а почувствовав слабость начальника, и конвой помягчал, однако прежней лафы уж не было, опять ночная стрельба случилась, якобы по очередному лиходею, пытавшемуся забраться через люк в баржу, на этот раз с мешком — за пшеницей. Злоумышленник упал за борт, погрузился в пучину и оказался «ничей» — никто из переселенцев не признался в утечке родни, никто как бы не хватился человека.

Разгрузка на низком, тальником поросшем берегу, где карандашиком торчала и курилась железная труба, а вокруг нее так и этак большей частью недостроенные помещения, месиво комаров, заживо съедающих людей. Сразу же за трубой и меж строений — хилый, поврежденный лес, большей частью еловый да березовый, табуны

голоуких ребятишек и собак, чернота уток на реке, даже на лужах, в озеринках, нехороший, удушливо-парной воздух «отдающей мерзлоты», от которого тошно, даже склизко в горле и в голосе,— вот и все первые впечатления.

Затем суета, работа, быстро надвинувшаяся осень, в середине сентября снегом порснувшая и к концу октября согнавшая все суда и всех птиц на юг. Разом грянула зима, морозная и ветреная. Убавила она половину переселенцев, смахнула их с берега, вымела в лесотундру, где день и ночь работала команда с кирками, ломами и лопатами, выбивая в стальной тверди мерзлоты широкие котлованы, глубиной аккуратно такие, чтобы из них распластанно брошенный человек не высовывал носа. Старались в ямины поместить человеко-единиц как можно больше. Затем гусеницами тракторов приминали могилы, чтобы не только носы, но и скрюченные цингой руки и ноги не торчали из серебрищихся комков, сизых от раздавленной мерзлой гулубики.

Тут, в Заполярье, не до нежностей и удобств. Выжить бы.

Большая, основательная семья Хахалиных как-то быстро и незаметно изредилась. Умерли старики и с собой уманили самых уж размладших внучат. Когда отца Коляши под конвоем увезли еще дальше, на какие-то «важные» работы, будто сломилась матица в избе — не стало и матери. Все посыпалось и рухнуло до основания — цинга сразила. Остался Коляша на руках старшей сестры, уже здесь, в Заполярье, дважды сходящейся с мужиками, чтобы иметь «опору в жизни», и была та опора опорой иль не была, но дети от нее появлялись. В барачной белой комнате однажды застрял «ирбованный» с наколками на руках, на груди и даже на заднице — он-то и приучил Коляшу к немудрящей музыке. В городке образовался детприемник, сестра взяла Коляшу за руку и отвела туда, сказав на прощанье, что ей бы со своими чадами как-то выжить и управиться.

Обжились они, поправились. «Ирбованный» оказался крутым работягой, крепко заколачивал на лесопогрузке, срубил дом у озера, но и пил, и жену поколачивал тоже крепенько. Коляша изредка заходил к родне и с удивлением обнаруживал подросших кулачат с порченными зубами и вновь ползающих и ковыляющих малышей-племяшей вокруг стола — неистребимое отродье. «Ирбованный» был к Коляше, как, впрочем, и ко всем другим людям, приветлив,

учил его играть на балалайке и на гармошке, давал ему рубль на конфеты и однажды подарил новенькую книгу, приказал ее прочесть, а потом рассказать содержание. «Ирбованный» был грамотный, читающий, совсем пропащий человек, он и Коляшу погубил, купив ему в подарок «Робинзона Крузо», — навсегда погрузивши парнишку в пучину такой завлекательной книжной жизни, из которой ни умная школа, ни вот эта непобедимая армия не могли его вынуть.

Старшину Растаскуева больше всего поражало и потрясало, что какой-то сопляк Хахалин в красном уголке читает газеты, листает журналы и знает наперечет десятков тех книг, что выставлены на полке, читает, конечно же, исключительно для демонстрации умственности и разложения посредством культуры армейского контингента, находящегося в составе вверенной ему роты. Скоро, однако, старшина Растаскуев достиг своей цели — никто, в том числе и зловредный грамотей Хахалин, к газетам и книгам не притрагивался, не пачкал и не рвал их — недосуг было.

А «ирбованный», в первые же месяцы войны взятый на фронт, слышно было, командовал ротой, получил звание Героя за сражение под Москвой. Во всяком разе, писала в письмо старшая сестра, жить с ордой сделалось полегче, ей за мужа идет пособие, и сам он нет-нет и пришлет денег с фронта, один раз даже прислал посылку с мануфактурой — на ребятишек, прислал и вторую посылку, но в ней оказались только красивые книги, которые он приказал беречь до его возвращения.

Ну, что еще вспомнить? Где и чего наскрести такого, чтобы поменьше болели лицо и кости, и забылось бы все, что было и есть вокруг. Детдом? Там было много презанятного и интересного. Но ярче всего помнились морозные, «активированные» дни и ночи, когда в школу и на работу не идти. В те ночи от морозов цепенел законный мир, но небо шевелилось, двигалось, фантастически нагромождались на него торосы, груды и глыбы льда, каких-то мерцающих теней, хрустальных столбов и колонн, бросая иль спуская на землю тот леденяще-мерцающий свет, от которого земля казалась совсем пустынной, обезлюдевшей, нежилой. В такие ночи тепло от беспрерывно топящихся печей, уют детдомовского жилища, пусть и казенный, пусть и убогий, казался тем раем, о котором все время нравоучительно говорили старшие: «Государство заботится о вас, обеспечивает всем, государство и советская власть хотят, чтобы вы выросли истинными патриотами своей

Родины, наш любимый и родной вождь все делает для того, чтобы вы не чувствовали себя сиротами...»

И не чувствовали! И не знали! И не ощущали! Жили и жили на свете беззаботно, весело, как и подобает жить в детстве. Ругались, конечно, дрались, отлынивали от уроков и всяких там разных занятий, когда надо сидеть смиренно и слушать.

Все было. Все было. Но лучше всего и памятней, когда в самую большую, девчоночью комнату сбивалась братва, еще не дотянувшая годами до тех, что уже всюю блатарили, и среди них начинающие преступники, гордившиеся своим ранним созреванием, — они не ломились в большую комнату, презирая малышню, им некогда было, они занимались серьезными делами: карманной тягой, бесплатным проникновением в кино, посещением рабочих общежитий, где всегда весело и вольно, если погода позволяла, шатались по городу, по магазинам, по столовым и всяким другим присутственным местам — любимое это занятие людей, привыкших к безделью, и просто неодолимая тяга звала, тянула нарождающийся класс неприкаянных людей в темные переулки, к бродяжничеству, к потаенным, рискованным делишкам. Детдома и разного рода приюты, как и школы наши, любят хвастаться, сколько выдали они стране героев, ученых, писателей, артистов, летчиков и капитанов, но общественность скромно умалчивает, сколько же воспитательные заведения дали родине убийц, воров, аферистов и просто шатучих, ни к чему не годных, никуда кроме тюрьмы не устремленных людишек.

...Сдвинув койки, повелев малому населению ложиться в ряд, Венка Окольников и Коляша Хахалин покрывали улегшихся сперва холодными простынями, затем одеялами и поверху уж всякой одеждой, какую удавалось раздобыть на вешалке. С дальнего боку залезал под укрытие и подтыкался Венка Окольников, ближе к печке-голландке и двери вкатывался, точнее, лепился на край кровати Коляша Хахалин. Какое-то время все лежали, надыхивая тепло и привыкая к положению среди лежачего общества. К Коляше, как только он проникал под одежду, залазила головой под мышку Туська Тараканова, мордочкой похожая на поросенка, и замирала в ожидании чуда — Коляшинных сказок.

— Ну, давай начинай, — зывали из темноты, тревожимой позарями.

Коляша, внимая голосу народа, начинал собирать в кучу все, что вычитал, увидел, на уроках услышал или сам

придумал, — плел он всякую небылицу, мешая королевичей с царями, маршалов с рыцарями, мушкетеров с лейтенантами, медсестер с принцессами, принцесс с продавщицами. И притихшая в ночи, разомлевшая от тепла и его сказок, переполненная любовью ко всему доброму публика тихо отходила ко сну. Первой начинала похрюкивать под мышкой Коляши, мочить ее сладкой слюной Туська Тараканова, затем и остальные отлетали в детский, уютный сон. Напуганные, нервные дети и те, кто мочился под себя, — они боялись пустого коридора и полутемного, пропахшего мочой и карболкой туалета, — в сопровождении Венки или Коляши семенили в отхожее место, и их, поругивая, пускали обратно в нагретую постель. И снова раздавалось требовательное: «Дальше-то че?», — и, напрягая свою голову, Коляша давал и давал, под собственный голос постепенно расслабляясь и засыпая.

Но обязательно находились малый, чаще малая, при которой кто-то кого-то рубил, резал, были и такие, как Коляша, кто и расстрелы зрел. Эти засыпали долго, мучительно, бились во сне, стонали, вскрикивали — «наджабленный народ», — говорили про них и про себя спецпереселенцы.

Унялись все. Можно спать и сочинителю, но он еще какое-то время лежит, вслушиваясь в дыхание детей, в похрюкивание Туськи, и смотрит в желобок рамы, которую вверху еще не достало, не запечатало снегом, чувствуя, ловя взглядом голубой свет, мерцающий, будто на экране немного кино, ощущая счастливую усталость хорошо поработавшего, людей умиротворившего, детей утешившего человека.

Вот это и были самые дорогие в его жизни часы и минуты, с этим ему жить, с этим терпеть все невзгоды и преодолевать беды. Остальное все, как у всех людей. Но, кстати, и было-то детдомовское содружество, ночная сказка не так уж и долго.

В детдоме из пионервожатых в воспитатели выдвинулась кучерявая девица лет восемнадцати и начала бурную деятельность, организовала много кружков: МОПРа, ДОПРа, содействия братским народам, угнетенным окнами капитализма, кройки и шитья, хотя сама не умела ни шить, ни кроить. Боевые выкрики, марши, песни разносились из красного уголка: «Нас не трогай, и мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим, и в воде мы не утонем, и в огне мы не сгори-ы-ы-ым...» Она-то, новая воспитательница в матросском костюмчике с юбкою в складку, с

косой, увитой наивной розовой лентой, и обнаружила ночное лежбище ребят в девчоночьей комнате.

— Эт-то что такое?! — взревела возмущенно воспиталка. — Это ж безнравственно! Это ж недопустимо в советском детдоме! — и разогнала компанию.

Кэпээшники, будущие клиенты исправительных лагерей и тюрем охотно разъяснили несмышленной братве, что такое безнравственность. Узнали, что они не братья и не сестры по несчастью, что они девочки и мальчики, у которых есть различия не только в одежде, в прическах, но и в прочем, например, половая разница: у парнишек — чирка, у девчонок — дырка, и никакая они друг другу не родня. С тех пор сделалось в детдоме пакостно: парнишки начали подглядывать за девчонками, девчонки за парнишками, шпана прорезала дыры в деревянных стенах не только детдомовского, но и школьного туалета.

Сгорела высоконравственная воспиталка совсем быстро и неожиданно. Будучи песельницей, танцоркой и вообще вертижопкой, она очень быстро справилась с секретарем горкома комсомола Гордеевым, отбила его у секретарши. Молодоженам дали половину итээровского домика с двумя комнатами и кухней. Молодая жена не умела и не хотела вести дом, у нее в жизни были более крупные задачи, и приспособила она детдомовских девчонок в уборщицы. Как-то собрала она ребят на спевку у себя дома, но умысел у нее был, чтобы и полы у нее вымыли певцы, и половики выхлопали, и вообще прибрались. Во время уборки девчонки вывели из-под кровати с пружинами побывавшие в эксплуатации гондоны и унесли домой, где парни их надули и бегали по коридору будто с праздничными шарами, да и напоролась на директора детдома.

— Что это за пакость? — спросил директор.

Бывалые кэпээшники охотно и популярно объяснили директору, что это не пакость, это гондон, что по-французски значит презерватив, одевается он на хер во время полового сношения для того, чтобы женщина не забеременела. Пусть директор насчет заразы не беспокоится, найдя гондон на помойке иль за штабелями на причалах, парнишки их выворачивают, прополаскивают и только после этой санитарии надувают ртом. При надувании советские презервативы лопаются, но иностранные — разноцветные — доходят до размера праздничных шаров, и на рыле у них обнаруживается нарисованная тигра, которая при большом ветре шевелит усами, так что с этими веселыми

изделиями вполне можно ходить на первомайскую демонстрацию...

Воспиталку перевели в гороно — методистом — есть чему ей учителей учить, в первую голову учительш.

«Ах, детство, детство! Нет к тебе возврата, не возвращается оно, зови иль не зови, и ничего-то не вернуть обратно: ни игр, ни дружбы, ни любви...» — пошел плестись стих в голову Коляши Хахалина, однако сон, все утишающий, всех утешающий, сошел на него, и оборвались нехитрые воспоминания, и стих оборвался, только боль осталась: ломило лицо, болела голова, из носа и разбитых губ сочилось на подушку — били беспощадно, так вот врага-фашиста били бы, так он давно бы уж нашу территорию очистил.

Раньше всех в дежурной комнате появился сам комбат, ходил, искал чего-то. Коляша хоть и лежал, накрывшись одеялом с головой, все чувал. Комбат отбывал в полку последние дни, потому что стрелял в свою жену из нагана, прилюдно стрелял, в спортивном зале, когда жена его играла в волейбол, азартно взвизгивая при каждом ударе по мячу. Она спуталась с каким-то более молодым, чем ее муж, офицером, вот комбат и решил пришить ее, да рука дрогнула. Комбата надо было судить и строго наказать, но жена его из госпиталя прислала записку в штаб: «Прошу ни в чем не винить моего мужа Генечку. Это святой человек». Решено было комбата от должности отстранить и, от греха подальше, отправить на фронт.

Ушел комбат, явился командир автороты и ночной дежурный, уже сдавший противогаз другому дежурному.

— А ну, покажись, покажись, воин! — скомандовал командир роты.

Коляша открылся. Командир автороты, поглядев на него, почти с восторгом сказал:

— Эк они тебя отделали!

Ночной же дежурный, младший лейтенант, все возмущался:

— Они ж его за руки держали! За руки! Это ж подло!..

— Ну, заладил: подло, подло,— отмахнулся командир роты.— Он, и по рукам скованный, сумел выбить два зуба Растаскуеву! А дай-ка ему волю... Н-на-а-а, морда-то евоная огласке не подлежит... чугунка и чугунка... н-на-а,— соображал командир роты.— На гауптвахту не отпра-

вишь, затаскают, н-н-на-а-а. Надо будет его где-то здесь прятать...

Завтрак и обед Коляше принесли в дежурку. Никто его пока не беспокоил, и ни на одном лице не видел он себе осуждения, даже наоборот, один конопатый солдатик торопливо молвил: «Молодец, кореш!» — и кинул ему коробок с махоркой да с тремя спичками. Не знал солдатик, что Коляша некурящий, значит, не из ихней роты — проявляет солидарность в борьбе за правое дело. Приятно это.

После обеда появился в дежурке сытый и хмурый чин в пепельно-серой мягкой шинели с малиновыми петлицами, поднял солдатика с кровати, пригвоздил его глазами того же, шинельного цвета к месту. Долго, испытующе-презрительно смотрел на него. Сказать, что так смотрит сытый кот на пойманную мышку, иль та же тигра — на лань, значит ничего не сказать. Во всей тучной фигуре, в сером беззрачном взгляде военного дяди проглядывало всесильное над всем и над всеми превосходство. Будто новоявленный Бог, утомленный грехами земноводных тварей, смотрел он на эту двуногую козьявку, посмевающую занимать его внимание, отвлекать от важнейших государственных дел и вообще маячить перед глазами.

Когда-то давно, еще на севере, смотрел Коляша в холодном деревянном кинотеатре немой кинофильм, в котором мужичонка Поликушка, отправленный с деньгами в город, оные деньги пропил и предстал пред грозные очи хозяина, графа или князя, тот тоже ничего не говорил — кино-то немое, лишь смотрел на Поликушку, и так смотрел, что мужичонка, а вместе с ним и все зрители кинотеатра, большие и малые, — ужимались в себе, втягивали голову в лопотину. Коляша тоже хотел стать меньше, незаметней, но изо всех сил, Богом, отцом и матерью данных, старался стоять он прямо, не втягивать голову в плечи, не гнаться, чего, видать, как раз ждал и хотел этот барственно-важный военный сановник, привыкший повелевать, подавлять, сминать, в порошок стирать жертву. Не дождавшись желаемого, военное сиятельство зацепило сапогом табуретку, подпернуло ее к себе, расстегнулось и, утомленно сев посреди комнаты, открыло коробку душистого «Казбека» и опять же утомленно, опять же брезгливо приказало:

— Рассказывай!

— Чего рассказывать-то? — Коляша чуть не ляпнул под впечатлением ночных воспоминаний: — Сказочку, что ли?

— О себе. Все рассказывай, как на исповеди.

«Исповедник, н-на мать», — усмехнулся Коляша. На севере, в проклятом и любимом городке, в комендатуре таких исповедников полных два этажа сидело. Поначалу они всех, от мала до велика, на исповедь волокли, после исповеди — кого домой возвращали, кого в лесотундру — на убой. Однако утомились и они. Перед войной старосты барачников ходили на правож, потому как из-за отвлечения рабсилы на собеседования и маршей в лесотундру падала производительность труда, тогда как по заветам Сталина, по лозунгам ей надлежало стремительно расти. Старостами барачников никто не соглашался быть, тогда их принялась назначать сама комендатура, отчего старосты сплошь были лютые. Играет братва в коридоре барака в бабки или в чику — на дворе-то каленый мороз, вдруг вопль: «Староста идет!» — и вся ребятня бросается врассыпную. Попадешь на пути, виноват — не виноват, староста непременно за ухо на воздух поднимет, орать начнет малый — пинкаря ему, стервецу, в добавку за то, что играет, шумит, а за него человек крест несет, если жаловаться вздумашь, родители добавят — не попадайся на пути властей.

Коляша был краток и сдержан в повествовании о своей жизни. Выслушав его, военный чин достал еще одну папиросу «Казбек», снова долго, как бы в забывчивости, стучал ею об коробку, медленно прижег, выпустил дым аж из обеих ноздрей в лицо солдата, босого, распоясанного, безропотно припаявшегося к холодному каменному полу. От дыма Коляша закашлялся.

— Не куришь, что ли? — сощурился важный начальник.

— И не пью, — с едва заметным вызовом ответил Коляша.

— Старообрядец? Кержак?

— Как имел уже честь сообщить, я из семьи крестьянской, значит, верующий, кержаками же, смею заметить, зовутся не все старообрядцы, только беглые с реки Керженец, что в Нижегородской губернии.

— В какой, в какой?

— В Нижегородской.

— Нет такой губернии. Есть область. Горьковская.

— Когда двести почти лет назад старообрядцы уходили с реки Керженец в сибирские дали, никакого Горького на свете еще, слава Богу, не было, да он и не Горький вовсе, он Алексей Максимович Пешков.

— Вот как! — озадачился начальник, поерзал на табуретке, шире распахнулся — голопупый сосунок, с которым он может сделать все, что ему угодно, подначивает его, чуть ли не подавить стремится в интеллектуальном общении. Ну, на это есть опыт, метода имеется. Сокрушенно покачав головой, начальник со вздохом молвил: — И вот с такой-то нечистью воевать, врага бить? Просрали кадровую армию, ныне заскребаем по селам, выцарапываем из лесов шушера в старорежимной коросте, а шушера вон за штык, боем на старших, да еще умственностью заскорузлой ряды разлагает!

«Если бы не эта шушера, тебе, рожа сытая, самому пришлось бы идти под огонь», — подумал Коляша, но за ним была мудрая и мученическая крестьянская школа. Наученный терпеть, страдать, пресмыкаться, выживать и даже родине, их отвергшей и растоптавшей, служить, мужик российский знал, где, как ловчить, вывертываться.

— Оно, конечно, — поникнув головой, молвил Коляша, обтскаемыми словами давая понять, дескать, меры, которые надлежит к нему применить, он и сам не в состоянии придумать.

Начальника ответ не удовлетворил, но покорность тона, униженность, явно показная, все же устроили, все же оставили за ним сознание превосходства над этим говорунном-бунтарем, он приказал дежурному запереть его покрепче, а тому олуху, Растаскуеву, в роте не появляться, пока не вставит зубы, обормот этот — служака кадровый, нужный армии. Здесь же его...

Военный начальник не хотел огласки. Ребята сообщили — младший лейтенант во всеуслышанье талдычит, что это нечистое дело он так не оставит — чтобы в самой справедливой, самой передовой рабоче-крестьянской армии били человека, держа за руки.

Вечером Коляша оказался под лестницей казармы, в помещении с полукруглым сводом и оконцем полумесяцем. При царском режиме подлестничное это помещение с кирпичными стенами и сводом, с бетонным полом предназначалось под кладовку с фуражом, ныне же туда складывали метлы, лопаты, голики и прочий шанцовый инструмент. Лопаты, метлы и все прочее из кладовки унесли, пол подмели и на ночь кладовку замкнули, оставив Коляшу в телогрейке, в расшнурованных ботинках на одну портянку. Кладовка не отапливалась и ни к чему теплomu не примыкала. Всю ночь Коляша не спал, делал физические упражнения, приседал, отжимался и к утру остался

без сил. После подъема его сводили в туалет, выдали миску с половником каши, кусок хлеба, в ту же миску, которую Коляша вылизал до блеска, плеснули теплого мутного чая.

Коляша не выдержал, прилег и сразу же почувствовал, каким вековечным, могильным холодом пропитан бетонный пол — хватит его здесь с его ослабленными легкими ненадолго, — пока сойдут с его рожи синяки и бунтаря можно будет вывести на люди, перевести его на гауптвахту, он уже будет смертельно простужен.

Но, но тут вступил в действие Игренька и Господь. Игренька был всех ловчей и хитрей не только в этом полку, но и на всем свете, а Господь — он всегда за покинутых и обиженных.

Сразу же после начала теоретических занятий и работы на тренажерах в техническом классе курсантов распределили по машинам и передали во власть шоферов-наставников. Пара курсантов попала и к шоферу по прозвищу Игренька. Прозвище шофер получил задарма. Он звал Игренькой свою машину-«газушку» и часто, хлопая по звонкому железу капота, восклицал: «Ну, как ты тут, Игренька? Не замерз? Не отоцал? А вот сейчас мы тебя овсецом покормим, маслицем подзаправим — и ты сразу заржешь у нас и залагаешься». Машина, ровню бы слыша и понимая слова своего хозяина, все так и делала: ржала, попукивала, брыкалась.

Сам Игренька, Павел Андреевич Чванов, невелик ростом, но уда-ал, ох, уда-а-ал! В нарушение устава носил он кубанку с малиновым верхом, то есть в расположении полка носил он шапку и все, как положено по уставу, надевал. Однако, выехав за проходную, доставал он из-под заду кубанку, распахивал бушлат, под которым была у него боевая медаль за Халхин-Гол и множество значков, вделанных в красные банты. Человек он был сокрушительно-напористого характера, неслыханной мужицкой красоты, страшенной шоферской лихости. Его безумно любили женщины, почитали мужчины, но в полку с ним сладу не было. Чтобы досадить Игреньке, как-то его обнизить — прикрепляли к нему самых распоследних курсантов-тупиц, чтоб, когда будет экзамен, не зачесть ему выполнение задачи, снять с машины и отправить на передовую.

Игренька всю эту тонкую политику ведал и плевал на нее. Получив в свое распоряжение Пеклевана Тихонова,

который не помнил даже имя своей жены — «баба и баба» говорил, — еще в трех, может, в четырех поколениях ему надлежало ездить на быках, прежде чем пересаживаться на машину, а также и Коляшу Хахалина, кой во всех бывших и последующих поколениях способен был ездить и летать только в качестве пассажира, наставник тем не менее духом не упал. Игренька бодро заметил, что бывали у него стажеры и тупей, и глупей, однако ж он их в рулевые вывел, на фронт голубков пустил — там уж Всевышний им будет наставником, может, и сбережет, на путь истинный наставит.

Главное, считал Игренька, научить стажера рулить, мотор же постигнуть его горе заставит. И учил, ох, как учил Пал Андреич курсантов, в хвост и в гриву учил, беспрестанно материл, и все это, будто в мячик играя, мимоходом, необходимо. Какой человек! Человек-то какой! «Много народов у Бога, а человек — по счету», — говорил Пеклеван весело, имея в виду своего наставника. Обнаружив, что стажеры у него некурящие и табак их в кабине душит, бросил курить Пал Андреич. Бросил и все, хотя мучался при этом. Выпивать, правда, бросить он не мог — это было выше его сил. Пил каждый вечер помногу, но никто его пьяным не видел и поймать с вином не мог.

И вот с Павлом-то Андреичем Чвановым, Игренькой то есть, пара блатных — так звал своих курсантов наставник, — здорово училась ездить по широкому полигону, начиная делать вылазки в ближние окрестности, даже и в город — чтобы постигнуть мудреные правила уличного движения. Зачем вот они надобны на фронте, где, как полагали курсанты, да и сам наставник, хвативший войны на Халхин-Голе, никаких правил нет и не будет? В общем-то драгоценные часы, надобные для освоения техники, отнимали, и только, да еще строевая, да еще огневая, да еще политзанятия, да уборка — приборка гаражей и территории, да еще мойка машин — вот тут учись-вертись.

Павел Андреевич, или товарищ старший сержант, говорил: горе намучит, горе и научит, там, на фронте, пока научатся, хватят ребятки лиха, много машин и голов своих потеряют. Пал Андреич главное всего ценил в человеке расторопность, и Пеклевану от него крепко доставалось. Она, она, расторопность, и спасла Коляше жизнь.

Машины автополка часто помогали городу и сельскому хозяйству, да большая их часть, почитай, в дальних и ближних командировках и пропадала, за что и обламывалось полку разное довольствие, и питаньишко у курсантов

было сносное. Хватившие горя и голодухи в стрелковых и других частях, парни и мужики говорили, что здесь, в автополку, жить можно, здесь условия, как при царе. Ну и, само собой, приворовывала шоферня, натаскивала и курсантов воровать, но не попадаться. Попадались все же, и довольно часто, тогда наставника вместе с курсантами снимали с машин, судили скорым, деловитым судом и отсылали на фронт. Но коли фронта все равно не миновать, то что ж того суда и бояться? У Пал Андреича вон на шее золотая цепочка с подвеской сердечком, зуб золотой и новенькие часы на руке. Есть у него кроме кубанки и всего этого приклада костюм, чесанки, гармошка. Все это находится в надежном месте, у какой-то шмары, которую Пал Андреич сулился показать ребятам, но пока еще не показал, еще не до конца проникся к ним доверием. В полку Пал Андреич почти и не жил, в столовую ходил «для блезиру», как говорил Пеклеван, часто и вовсе не ходил, приказывал своим блатным стажерам сходить с котелком на кухню, получить суп и кашу, да и выхлебать — все силенки прибавится, скоро на капремонт вставать, двигатель подымать, а он сто двадцать кг весом, да и другие части машины тяжеловаты.

В середине зимы почти все машины автополка были брошены на вывозку зерна со складов и зернотока недалеко от города совхоза. День-другой ездили курсанты, лопатами до ломоты в костях помахали, грузя зерно, и стройность работы военной колонны стала пропадать, где машина забуксует, какая и вовсе сломается, где наставник-шофер заболевает, где доблестные курсанты в город, на базар смоются, и ищи их, свищи...

Был на складах, точнее меж складов-сараяв, бункер, подвешенный в виде бомбы, полный зерна. Выдерни заслонку — и зерно потечет в кузов, машина моментально наполнится, но девица, справная телом, сидящая над этой бомбой в застекленной кабине, трещала: «Для экстрэнного заказа! Для экстрэнного заказа, для спэцзаказа!» Ей, заразе, и начальству совхозному не жалко дармовой солдатской силы — ломи, военный, вкалывай, а цаца с накрашенными губами вверх сидит, серу жует, прищелкивая, да в форточку по грудь высунувшись, кокетничает с наставниками, на запыленных трудяг-курсантов ноль внимания и все хи-хи-хи да ха-ха-ха-а!.. Во жизнь! Во служба...

Игренька проник к ней! Туда, паверх, в кабину проник. Уединился. И чего он там с нею, с царицей зернотока,

делал, знать рядовым не дано, однако по лестнице скатывался, свистя патриотический мотив, золотая цепочка с распахнутой его груди исчезла. Рывком развернув и подпятив машину под капсюль бомбы, Игренька махнул рукой — бомба скрипнула и взорвалась зерном.

— Чего хавалы раззявили?! — гаркнул на своих учеников наставник.

Ребята запрыгнули под холодный поток зерна, разгоняя и ровняя его по кузову. Потом машина мчалась быстрее аэроплана в город. Коляша с Пеклеваном брюхами лежали на брезенте поверх зерна, и так их подбрасывало, что удивляться остается, как они не вывалились из кузова на землю.

Паря радиатором, машина въехала в основательно строенный на окраине города двор, спятилась под навес. Курсанты по приказу наставника расстелили брезент и ссыпали на него зерно, остатки выкидали лопатами. Запалились. И, как по щучьему веленью, по ихнему хотенью, вышла из избы молодая женщина в нарядном платке, щурясь от зимнего яркого солнца, подала ребятам резной туюсок — они думали, квас, но в туюске оказалось съедельного варева пиво. Работники пили, передавая друг другу туюс, остужались. Тем временем Пал Андреич выпустил горячую воду из радиатора, налил холодной и, стукнув машину по капоту, воззвал:

— Н-ну, родимый Игренька! Не подведи! — и рванул за город во всю машинную прыть.

Примчались, успели пристроиться, даже влезть в середину колонны. Царица послала наставнику воздушный поцелуй и всем троим показала большой палец. Ребята принялись орудовать лопатами. На этот раз лопату в руки взял и сам Пал Андреич, работал не работал, но суетился на виду у всех. Пеклеван в работе силен и неустанен, на сообразилровку же туг, однако и он спустя время сказал:

— Коляша! А ведь мы украли машину хлеба. Дело подсудное.

— Молчи знай, нас не спрашивали. Не е.., не сплясывай. Слышал такое?

— Слышал, да все же у меня семья, жана, дети.

— Где она, жана, дети? А фронт уж недалече.

— Оно, конечно, — вздохнул Пеклеван.

И на этом всякие разговоры про всякое постороннее закончились, зато с питанием ребята горя не знали, так и поровнили «на практику» понасть, потому как в машине у Пала Андреича для них привасена булка пшеничного хлеба,

когда и печенюшки-шанежки, когда и пироги с осердием и всенепременно — туес с молоком! Ох и наставник у Коляши с Пеклеваном, умеет за добро платить добром, да и в беде боевого товарища не кинет.

На вторую ночь Пеклеван с дежурным по двору казармы заволокли под своды кладовки деревянный щит, бросили на него два стежених капота с машины, бушлат с плеча наставника. Пеклеван вынул из-под бушлата два каравай хлеба — один арестанту, другой дежурному — и выдохнул на ухо Коляше:

— Игренька наш, Пал-то Андреич, пропасть тебе не даст. Шшит и все другое до подъема дежурному сдай, ночью снова притащим.

Прошел день, другой, третий. На четвертый, вернувшись с оправки, Коляша увидел на полу кладовки обломок кирпича и брызги стекла. Поднял голову: окошечко-полумесяц выбито. Старшина Олимпий Христофорович Растаскуев вставил зубы, вернулся в роту и вступил в негласный смертельный бой со своим врагом.

«Однако, пропадать мне все же», — заныло, заскулило в одиночестве истомившееся, волосом от холода обросшее сердце солдата, и тут же красно, как на городском светофоре, вспыхнуло в голове: сбежать из уборной, подняться в казарму и пронзить-таки эту падлу боевым штыком! — но вместе с капотами, бушлатом и хлебом он получил в посылке паклю для затычки окошка и записку: «Держись, парень! Мы тут действуем».

Ну, раз Игренька действует, значит, все в порядке, обрадовался Коляша, и вера его в силу и находчивость наставника не пропала даром. Через неделю, когда синяки почти сошли с лица курсанта, его вернули в роту, где обнаружился другой старшина, из хохлов, вздорный, крикливый, но грамотеев почитающий. Поначалу сдержанно относившийся к ротному бунтарю и как бы между делом заметивший: «Е у нас отдельные личности, устав не читают, у прэрэканья вступают, даже руку на старших командиров поднимают — так и на их найдётся мощная сила та, армейская дисциплина, — вона усему голова».

В роте все курсанты уже втянулись в учебу и в армейскую жизнь. Толковые ребята, к технике склонные, на гражданке поработавшие с техникой, уже водили машины самостоятельно. Наставник у них ездил в машине вместо мебели. Им было не до Коляши и не до старшины. Та же бестолочь, что пошла в осадок роты, с которой маялись командиры, старшина, наставники, терпеливо дожидалась

весны и отправки на фронт. Там уж чего Бог даст — дела и славы иль бесславья и смерти. Курсанты в роте смягчились к Коляше, за его героизм уважали его, но от усталости, не иначе, советовали не лезть больше на рожон, не вступать в бой с беспощадной военной силой, она и не таких героев в бараний рог гнула, хотя, конечно, гниду эту, Растаскуева-то, следовало бы припороть к стене штыком, но лучше гвоздями прибить к доскам...

От греха подальше битого вояку-старшину перевели не только в другую роту, но и в другую казарму. Долго, старательно придумывавший, чего бы сделать Растаскуеву при встрече: плюнуть в глаза, сказать «мудило гороховое» или толкнуть его локтем?.. «Ну, че, живой еще? Воняешь?!» — спросить, — один раз столкнулся Коляша со своим бывшим старшиной. Да вместо всего этого опустились глаза, само собой торопливое «Здрасьте, товарищ старшина!» вылетело, и бочком, бочком проскочил Коляша мимо победительно шагающего старшины.

Что-то сломалось, наджабилось, истлело в Коляше и не скоро восстановится. И только природная активность натуры, склонность к легкомыслию, вранью и веселью помогут ему перемотать армейскую надсаду. Игренька, подкармливая и матерясь, настропалил-таки Коляшу и Пеклевана крутить баранку. Ротный старшина, привлечший Коляшу делать стенгазету, которую юное дарование писало от корки до корки, передовицу — так и в стихах, махнул на этого курсанта рукой: «Який з его спрос, вин поэт!..»

Перед отправкой на фронт, на прощанье в роту нанес визит Олимпий Христофорович Растаскуев, руку пожимал курсантам. Коляшу рукой обнес. Вечный настырник, неслух, никчемный человечиска громко, со значением произнес:

— Как жаль, что вы с нами на фронт не едете!

Все курсанты, да и сам Олимпий Христофорович, поняли намек — до фронта не доехав, под колесами поезда оказался бы товарищ старшина.

— Родина и партия знают, кого на какой участок определить, чтоб была ббольшая польза от человека и бойца, — веско, с чувством глубокого достоинства ответил старшина Растаскуев и из казармы величественно удалился.

На фронт ехали, как ехали тогда тысячи и миллионы боевых единиц, не без приключений, не без происшествий

в пути. Но об этом все уже рассказано-пересказано, писано-переписано.

Поезд остановился ночью на какой-то многопутевой станции, состав долго волочили, толкали по этим путям, пока, наконец, не засунули в тупик, обложенный черным снегом. Из-за угольной золы, пыли и шлака сугробы оседали, сплющивались, медленно изгорали внутри, во все стороны из них сочились маслянистые, мазутные ручьи, бурьян по обочинам был сух, переломан и загажен — не первый людской эшелон заталкивали сюда и, конечно, не последний. Откуда-то сверху раздавались команды, перекликались свистки маневрушек, пыхтело, ухало паром, брякало и звякало железо, но из людей к составу никто не приближался. Когда утренний, сумеречный туман, изморозь ли, может, и паровозные пары смешались с серым, неподвижным светом, взору явился и пошел вдоль эшелона, предлагая купить папиросы, мальчик цвета лесной медуницы, и, когда его спросили, что за станция, он уныло молвил: «Станция Пелово — жить хелово».

Так курсанты сибирского автополка узнали, что они уже почти в Москве, днем в самую столицу попали. Их погрузили в старые, разьеженные «ЗИСы» и отвезли к автозаводу имени товарища Сталина, перед которым на площади и вокруг которого стояли тысячи иностранных машин, только что переправленных через океан, собранных на заводе, приготовленных для боевой работы.

«По машинам!» — раздался клич, и курсанты охотно полезли в накрытые брезентом кузова, где были удобные скамейки и кожаные откидные сиденья сзади кабин. «Назза-ад!» — раздалась новая команда. И когда курсанты сгрудились на площади, какие-то люди в чистых иностранных комбинезонах криком кричали о том, что курсанты должны сесть в кабины и немедленно, немедленно увезти технику от завода, потому как надвигается вечер, с темнотою могут навестить город дальние немецкие бомбардировщики, и — уж будьте уверены! — автозавод они не облетят, и получится большой костер из этих замечательных машин, морским путем, с риском и боями доставленных из союзной Америки.

Командиры, какие были при курсантах, а было их полторы калески и все какие-то не горластые, смиренные, не такие, как в автополку, они были, на своем рабочем месте, пытались объяснить и объяснили наконец, что их курсанты, эти боевые шоферо-единицы, «газушку»-то едва

научились водить, что такую громадину, да еще под названием «студебеккер», они и во сне-то не видели, не то что наяву. И притихли заводские громы, один из них высокого звания, видать, человек, скрытого под комбинезоном, ударил иностранной кожаной перчаткой по колену, выматерился многоэтажно:

— Ну каждый почти день одно и то же. Нам же сообщали, что прибывает эшелон высококлассных шоферов, прошедших специальную подготовку на иностранной технике...

— Высококлассных! Какая ерунда! — простонал кто-то из командиров, сопровождавших курсантов.

— Вам ведь под Калугу надлежит следовать, — горестно произнес военпред. — Здесь и представитель артиллерийской бригады — на приемку приехал, сопровождать вас вознамерился... Товарищ майор! — кликнул заводской чин.

К нему приблизился совершенно подавленный и растерянный майор, махнул рукой возле шапки:

— Слушаю вас.

Они разговаривали долго, и разговор их закончился тем, что курсантов усадили по двое в кабину, ра-аскошную, чистую, крашеную кабину со множеством кнопок, рычажков и указателей, с совершенно великолепными, до пружин не продавленными, упругими сиденьями, на которых ребята охотно качались, балуясь, что дети. В кабины машин не вошли, не влезли, кинули себя мужики, тоже в иностранных комбинезонах, сказали всем и во всех машинах одно и то же:

— Перед вами, рылы немытые, на щитке изображена схема передач скоростей, смотрите на нее и на меня, учитесь переключаться, пока я вас довезу, и запомните, у «студебеккера» не четыре, пять скоростей, одна — вспомогательная, для передачи на дополнительную пару колес.

Господи, Господи! Они с четырьмя-то скоростями не все знали и умели управляться, а тут пять! И что за изучение за пятнадцать минут? А именно столько времени потратили заводские шофера на них и бросили где-то, на какой-то заставе колонну машин. И тогда, сняв с себя шинель, пошел вдоль колонны майор со своим шофером и в каждой кабине, взявши за руку курсанта, положив его ладонь на кругляшок рычага, учили переключать скорость.

— Нам бы хоть отсюда, из Москвы выехать, — взывал майор уже не к людям, к небесам взывал, — на шоссе бы, на Калужское попасть...

Вечером уже поздним, когда над Москвой красиво всплыли аэростаты, майор посчитал, что достаточно хорошо натаскали они с шофером курсантов, и сипло крикнул:

— По-о-о машина-а-ам! — шофер его уж ни кричать, ни говорить не мог — изошел матом.

— Сели! Моторы завели. Поехали! — махнул белым флажком один сибирский курсант.

Флажки те, белый и красный, привез с собою из Калуги майор, чтобы руководить движением колонны. Колонна нешуточная, более сотни машин, и не одни тут «студебеккеры» были, но и «джипы», и «виллисы», и чего только не было.

Уже на первом спуске непослушные машины ударились и рассыпали стекло нескольких фар, иные машины жеребцами выскочили на тротуар, иные лбами уперлись в столбы. Пеклеван, вцепившись в руль, погнался на машине за регулировщицей, стоявшей на перекрестке с флажками. Задавил бы он девушку, но она стояла на посту невдали от завода, бывала в переделках, оказалась резва на ногу и прыгуча — сиганула через чугунную ограду заброшенной церкви. Пеклеван ограду проломил, и Бог, пусть и незримо, но присутствующий средь скорбных святых развалин, мотор грозной машины заглушил.

— Спасибо тебе, милостивец! — перекрестился Пеклеван, — и матери твоей, милости на нас щедро исторгающей, спасибо.

Колонна «студебеккеров» смешалась на улицах и перекрестках столицы, затормозила, запрудила движение. Черный офицерик, похожий на тех, что служили при дворе свергнутого царя — показывали таких в кино, — матом не выражался, но грозился отдать под суд всех участников «диверсии» этой, в первую же голову артиллерийского майора.

Объявили, наконец, что колонна арестована самим комендантом Москвы, оцеплена спецвойсками, и как только комендант управится с неотложными, срочными делами, прибудет сюда сам разбираться во всем.

Он и прибыл, комендант-то, за полночь, но не стал ни в чем разбираться. Он привез с собой два кузова шоферов и, крикнув напоследок властно: «Чтоб духу не было!» — упал в черную «эмку» и умчался. Колонна «студебеккеров», прошив насквозь всю Москву, оказалась в двадцати километрах от столицы, на Калужском шоссе, нацеленная

радиаторами вперед, на запад. Тут ее и бросили сопровождающие.

Все курсанты мирно спали в машинах до тех пор, пока не загудело, не застреляло над ними. Выскочив наружу, курсанты увидели вдаль мчащихся, красиво на крыло сваливающихся пару «мессершмиттов», которые обстреляли колонну, но ни одной машины, слава Богу, не подожгли, однако брезентовые тенты кое-где продырявили, кузов одной машины повредили, и оцепиной, отскочившей от борта, ранило в щеку курсанта. Парня перевязали, дали ему маленько спирта — для обезвреживания, и все поняли, что долго стоять тут нельзя, опасно — если не днем, то ночью колонну подожгут. А машины-то бесценные, им предназначено возить по фронту гаубицы, гаубицам же — стрелять по врагу.

В общем-то все разрешилось благополучно. В гаубичной бригаде была целая рота шоферов, умеющих делать все и иностранные машины водить натасканных. Если б майора Фефелова не обманули какие-то высокие, в дело не желающие вникать чины, он бы взял из бригады своих шоферов и спокойно пригнал машины, полученные по военной разрядке.

Но как же без обмана, без жульничества, без надуваловки жить? Это ж не Страна Советов получится, совсем какое-то другое государство получится, с отсталыми идеологиями, прогнившей системой и дикой эксплуатацией человека человеком. У нас вон как весело все делается! Каждый день и час что-нибудь да новое, неслыханное, невиданное. У нас уж если человек человека не обидят, так хоть насмешат.

Мертво спали курсанты в кузовах до самой Калуги. По-за Калугой, в сосновом бору, где еще местами лежал рыхлый снег, возле вздувшейся, мутной речки умылись, прибрались и стали ждать, когда их позовут завтракать или хотя бы обедать. Но никто куда их не звал, никто на них внимания не обращал. Тогда пошли они делегацией искать майора, пока бродили по бору, много узнали и увидели интересного.

Часть, точнее гаубичная артиллерийская бригада, в которую они прибыли, была снята с Дальнего Востока, из какой-то совсем уж отдаленной бухты. Вояки в ней были еще кадровые, задержавшиеся с демобилизацией по причине дальневосточных военных конфликтов и японских происков — от этого постоянного врага все время ждали

нападения и держали на стороже военную силу. Однако, послабление ли на Востоке произошло после разгрома немцев под Москвой, дипломатия ли обманула косоглазых, дела ли на фронте требовали вливания все новых и новых сил, пришлось через всю страну гнать и везти бригаду с гаубицами устарелого образца, ходовая часть которых, однако, была модернизирована, и с тракторной тяги орудия перешли на тягу автомобильную.

— Красноармейцы и офицеры в бригаде, давно не видевшие гражданских людей, о женщинах и вообще забывать стали, прибыв под Калугу, как с цепи сорвались, — говорил усталый майор, ездивший в Москву за курсантами и указавший им резервную, новенькую кухню в лесу, в которой приготовленное для пополнения варево уже прокисало.

Пока ели, пока пили теплый чай, узнали, что, несмотря на запрет и чирьи, осыпавшие боевую артиллерийскую силу от перемены климата, кинув все на произвол судьбы, утянулись дальневосточники в шибко порушенный город, скрылись в его руинах. Куцые гаубицы, замаскированные, смазанные, и всякое оружие были в полном порядке. Все остальное отдано на волю весенних стихий. В бригаде отчего-то решили, иль опять кто-то надул военных, что вся ходовая часть, изрядно на Востоке изношенная, будет сменена, и на фронт бригада поедет сплошь на новеньких американских машинах, когда как на самом деле выдали «студебеккеры», «джипы» вместо устарелых тягачей, десятков юрких «виллисов» — для командования бригады, политотдела и других военных служб, все же остальное воинство отправится на фронт в прежнем подвижном составе.

Презремый, в утиль заранее списанный, этот «подвижной состав» стоял на спущенных колесах, где лежал на боку в рытвинах, наполненных талым снегом, где и полуразобран был, две машины из третьего дивизиона, куда зачислили Коляшу Хахалина и его напарника Пеклевана Тихонова, — вовсе куда-то исчезли. Гадать особо не надо было — продали их мирному населению и пропили дальневосточные вояки. Пеклевану машины не досталось, Коляшу наделили «газушкой» с открытым, покоробленным капотом. Сирота-«газушка» уткнулась в глубокую бомбовую воронку, талая вода уже доставала кабину.

Майор Фефелов — человек, переваливший за средние лета, скуластый, изветренный, умеющий сдерживать нервы, отвечающий в бригаде за транспорт и в конце кон-

цов уже сформировавший подразделение под названием «автопарк» и возглавлявший его до конца войны, собрал новичков, сказал по секрету, что долго они здесь не простоят, скоро в поход и надо вытаскивать машины артельно. Для начала он выделит два «студера», чтобы вытащить, собрать машины в одно место, и в дальнейшем поможет, чем может. Тех курсантов, что любят и понимают технику, прикрепит к водителям новых тягачей. С теми же, кто слабо подготовлены и годятся в землекопы, писаря, но не в шофера, он устроит практические курсы и, может быть, успеет хоть немного натаскать их.

— Впрочем, лучшие курсы для всех парней впереди, — добавил майор Фефелов, — в боях они быстро всему научатся, кому, конечно, хочется и суждено жить.

Сибирские курсанты объединенными усилиями как-то восстановили, подремонтировали брошенную технику, маленько и поехали вокруг Калуги, дрова подвозили, воду, картошку, и все время запоминали, как ночью ориентироваться в незнакомой местности, на незнакомых дорогах, главное, запомни, водитель или рулевой, как звал Коляшу Игренька, — не потерять из виду идущую впереди машину, не выпускать из зрения белое пятно, стало быть, лист бумаги, наклеенный на задний борт передней машины. Ехать по особому, военному приказу — это значило: сосредоточиваться будут ночами, секретно, фар не зажигать, сигналов не подавать, никуда никому не отлучаться, не курить, если кому невтерпех — смолить в рукав, прикуривать от кресала, но не от спичек и зажигалок, остановки колонны — по команде, заправка в таком-то месте, оправка там же. За ночь колонна должна проходить от пятнадцати до двадцати километров, любое нарушение правил движения колонны, любое отклонение от инструкций, разгильдяйство всякое — будут сурово пресекаться и караться.

В первую ночь по-старинному, накатанному, мало поврежденному шоссе колонна прошла назначенный отрезок играючи и даже раньше срока явилась к назначенному пункту. Но вот начались дороги русские, сельские, развороченные танками, тракторами, машинами или конной тягой, хуже того — дороги задичавшие, поросшие травой, которые на военных-то картах прочерчены четко, наяву же слепые, местами совсем не видные, и достало тут военных горемык первым мытарством, насадой и проклятьем войны.

Несмотря на то, что выставлялись по дорогам живые указатели — бойцы с флажками и, в нарушение военной тайны, командирам дивизионов, затем батарей, взводов управления выдавались нарисованные на листах схемы движения на данном отрезке пути и пункты сосредоточения, машины разбредались по российской путанице дорог. Засидевшиеся в тихой бухте, к тракторной тяге привыкшие водители дурели от скорости и возможностей американской техники, мчались вперед, бросив на произвол судьбы собратьев по боевому походу, спокойно дрыхали в уютных кабинах, пока остальное войско корячилося, волоча по весенней грязи почти на себе отечественные «ЗИСы» и прочий транспорт, которым отечество так гордилось.

Артдивизия, растянувшаяся километров на сто, за ночь сжигала по два бака горючего, к утру не поспевала к месту назначения, и посыльные на машинах-тягачах начинали шастать по дорогам, лесам и оврагам, вытаскивая из грязи издохшую отечественную технику, рыскали в поисках тех, кто заблудился. В небе появлялись и кружились немецкие самолеты — снова не удавалось сохранить военную тайну, снова она, клятая, ускользала из бдительных рядов родной армии.

В гаубичной бригаде имели прекрасные показатели по стрельбе, да и как их не иметь, когда некоторые расчеты прослужили возле своих лайб по шесть лет, знали и любили их больше своих жен, — тут и свинья безмозглая научится стрелять, в движении, однако, дальневосточные сидельцы были слабаки и неумехи. Среди всех подразделений совсем уж ахово обстояло дело там, где за баранкой маялись и маяли машины недавние сибирские курсанты.

Коляша Хахалин из наставлений Игреньки запомнил, что карбюратор засоряется и надо его продувать, зазор и контакты трамлера — чистить следует серебрушкой-денежкой, не давать перегреваться радиатору и двигателю; научивший его накачивать колеса, крутить баранку, кое-как, с грехом пополам переключать скорости Игренька резонно считал, что того вполне достаточно для рулевого. Водителем же, пусть и не классным, умелым ему никогда не стать — для иного поприща человек рожден.

В пути на фронт Коляша Хахалин превратился во что-то затурканное, запуганное, сон и всякие чувства потерявшее существо. Продувая непрерывно карбюратор, шланги и трубки подачи бензина, он до того этим бензином опился, что уже не чувствовал вкуса хлеба и каши, серебрушку истер о зазоры трамлера до того, что на ней ни серпа, ни

молота, ни колосьев, ни даже цифры не виднелось. Плохо чувствуя дорогу колесом, рулевой Хахалин беспрестанно буксовал, и взвод управления дивизиона тащил машину на плечах. Прокляли своего шофера солдаты, толкали его, когда и били. Людей надо и можно понять, в каких условиях они ехали. Однажды ночью разверзлись хляби небесные, запрыгивая в кузов ползущей машины, выпрыгивая, чтобы подтолкнуть ее, солдаты натаскали полный кузов грязи — перегруз. Вовсе стала машина. Лопатами, ладонями, пустыми котелками, касками вычерпывали грязь солдаты, чтобы сдвинуться с места.

А то еще случай получился: толкали, толкали машину солдаты, качали ее, раскачивали, выкрикивали чего-то и постепенно умолкли, не сдвинув с места транспорт свой. «Ну я им сейчас!» — заругался командир взвода управления и, увязая в грязи, пошел в обход машины. Коляша за ним. И зрят они картину: почти по пояс в грязи, упершись плечами в кузов, солдаты спят. Не высыпались в пути бойцы, так чего уж говорить о рулевом Хахалине, который по прибытии в «точку дневки» должен был еще выкопать аппарат, по-русски это просто яма для машины. Уже через несколько ночей пути устав и инструкции нарушались, аппарат копались лишь под «студебеккеры».

Коляше хватало хлопот с машиной. Дела его с каждой ночью, с каждым километром шли хуже и хуже, он быстро задичал, оброс волосьем, обмундирование на нем измазлось грязью и мазутом, вся его требуха пропиталась бензином, исхудал рулевой Хахалин, затошал, глаза его покраснели и слезились. Просил он, лично просил майора подменить его, снять с машины — уснет за рулем иль аварию сделает, что тогда? Заменять его, кроме Пеклевана, было некем. Пеклеван-хитрован куда-то делся, говорят, во взвод управления одной из батарей перешел, там комбат любил и собирал к своим орудиям здоровенных, надежных мужиков. Коляше грозили расстрелом, судом, чем только не грозили, а он тупел и опускался все более и более. Машина заводилась долго и капризно. Коляша боялся, страшно боялся, чтоб она совсем не остановилась. Как-то он крутил, крутил заводную ручку и со злости хватанул машину по радиатору этой заводной ручкой, после чего крутанул — и сразу машина завелась, так ребята после того случая несли ему оглобли, дрыны: «бей ее, заразу!» — говорили. Коляша бил, но больше не помогало.

Между прочим, заметил рулевой Хахалин, вместе с артбригадой и артдивизией двигалась к фронту какая-то

боевая часть со множеством машин, бронетранспортеров, минометов, орудий, и потихоньку выждал — то движется гвардейская сталинградская армия, и всю-то ноченьку братцы-сталинградцы спокойно спят по лесам, полям и уцелевшим селам, на утре, на самом рассвете, когда весенним туманчиком окутает землю и особенно звонко насвистывают соловьи, армейская техника возникает на дорогах и за час-два делает без ора, паники, потерь техники и пережога бензина рывок на положенное расстояние — несчастные те пятнадцать или двадцать километров.

Это и был один из явственных признаков военного опыта. Дальневосточная же бригада растеряла изрядно техники, людей, рыскала в их поисках при свете дня и получала разгоны и разносы высокого командования. Ну, само собой, бригадное начальство подвергало разносу командиров дивизионов, те разносили командиров батарей, комбаты разносили взводных, взводные — отделенных, отделенные уж не разносили солдат, отделенные матерились и пинались. Сержант Ястребов угодил Коляше пинком по копчику, и теперь Хахалин, сидя бочком, рулит и время от времени ерзает на сиденье — болью в копчике отгоняет сон.

Замелькало так и сяк написанное на указателях: «Мценск», «Мценск», — Коляша заторможенно отметил: старинный русский город Мценск они должны были миновать чуть ли не неделю назад. «Мчимся семь верст в декаду, и только кустики мелькают! — усмехнулся он. Проехали и Мценск — старинный русский город. Коляша у Тургенева, у Лескова и еще у кого-то про него читал. Шибко разбит город — только это и заметил рулевой, работа ж эта проклятая — надо за передней машиной следить, чтобы не оторваться, не свернуть куда не туда, не отстать от колонны. Так ничего и не запомнил Коляша про Мценск. Вот потом, после войны, и рассказывай пионерам о своем боевом пути: где был, чего видел, какими подвигами родину прославил. Всем подвиги подавай! А тут вот главное — не потеряться бы, да чтоб мотор не заглох...

За Мценском вместо деревень таблички пошли и трубы. Где и труб нету. Проехал Коляша одну табличку — Ельцовка иль Ерцовка деревня называлась, в подъемчик дорога пошла, язык сырой высунула. На подъемчике впереди белое пятнышко обозначилось. Обрадовался Коляша пятнышку, среди народа, в боевых рядах себя почувствовал. Но только он обрадовался — пятнышко белой полос-

кой оборотилось, и начала она удаляться. Коляша педаль надавил, газу прибавил, надо бы и на четвертую скорость перейти, устремиться следом за пятнышком, но четвертая скорость, надо вам сказать-заметить, самая у «газушки» коварная — в нее надо попадать с довертом. Ну вот по ровной и прямой дорожке ты шел, шел, а тебе в уголок надобно, вот ты и...

Словом, опять отстал Коляша от колонны и сразу вспотел, и сразу неприятности. Дорога под уклончик покатила. Ну, думает Коляша, тут-то уж я настигну впереди ищущего, сейчас вот пятнышко увижу. Родимое! Где ты? Появляйся! А вместо пятнышка впереди обозначилась еще одна дорога, то есть не то чтобы дорога, царапина земная, бороздка скорее. Куда вот ехать? По той бороздке ехать или по этой. Коляша в смятении руль закрутил, влево, вправо, влево, влево, глазом потным отметил: справа в бороздке заблестело, значит, колея это новая набита, вода в нее налилась — весна же, вода кругом. Только бы не забуксовать. Тут он почувствовал, что его понесло, и сразу понял: не колея это, не колея, яма это, скорей всего та, из которой селяне глину брали для печей и разных подмазок. Опытный шофер чего бы сделал? Раз понесло, так неси уж, потом, благословясь, народом или буксиром машину из ямы добудем. А Коляша, как его понесло, вираж рулем заложил, очень крутой вираж, аж до упору баранки — чтобы по ребру ямы проскочить. И тут же почувствовал: машина опрокидывается, за руль инстинктивно рулевой ухватился, прямо вцепился в руль. Опрокинуться-то он не опрокинулся — скорость малая была и яма невелика, но на бок «газушку» положил. Все двадцать человеческих душ, сонных-то, в грязную воду Коляша высыпал, сверху катушками со связью, лопатами, ведрами, барахлом всяким присыпал. Народ со сна в панику — враг напал, свалил куда-то в холодное, смертью веющее место. Когда бойцы из воды и глины вылезли, маленько опомнились и с криками: «Ёпмать, ёпмать, ёпмать!!!» — на Коляшу пошли, в грудь дула винтовок приставили, затворами клацают. «Да стреляйте! Че уж...» — махнул рукой Коляша. Но тут из тьмы «студебеккер» с орудием возник, из него комбат Званцев выскочил. «Че у вас тут?» — заорал. И охладел народ, давай мокрое отжимать, в другую машину грузиться.

«Кто прямо ездит, дома не ночует», — вспомнилась Коляше еще одна поговорка, где-то, скорей всего еще на родине, в Ключах слышанная. Поняв, что своими силами

ему машину из ямы не вынуть, залез он в кабину и, почти стоя, уснул на сиденье, и так крепко спал, что и не заметил, как скатился вниз, на другую дверцу, стекло ботинками выдавил, скомкался в рычагах и педалях, кучкой тряпья лежал меж землей и техникой, об стекла порезался. Едва его разглядели в кабине из присланного на выручку «студебеккера», с возмущением вынули за шкуру: «Бедствие такое, а он, гадюка, спит!..»

После Мценска, будь он неладен, и того хлеще случай вышел. По фаре стрельнули — сама она включилась, или Коляша со сна рычажки перепутал. В фару не попали — мала цель, но трубки радиатора пробили, вытекла вода. Народ пересадили, в ночь увезли, рулевой в лесу остался. Один. Страшно одному. Фашисты и черти всюду мерещатся. Только под утро и поспал маленько рулевой. Застучали, забарабанили в кабину, и он проснулся. Ребята из той же сталинградской армии скалятся, к себе зовут, вместе с машиной. Кашей и сухарями Коляшу кормят, по плечу хлопают. Он и согласился. Налетели двое в фартуках с паяльниками на весу, мигом радиатор заварили, воды в него из лужи налили. Один из тех, что в фартуке, за руль сел и на дорогу машину вывел, газуй, говорит, вслед за нашей колонной, а колонна на рассвете резво и непринужденно движется. За час с небольшим покрыла те несчастные восемнадцать километров, на которые его родная бригада ночь тратила, потеряв при этом в пути половину машин, когда и с орудиями.

«Повезло мне, — думал Коляша, — в настоящую боевую часть попал, а что машину угнал, так армия-то одна, Красная», — и вызвался подвезти чего-нито. Но командир с технической нашивкой на рукаве и на петлицах, при многих уже орденах, сказал: «Сиди пока в кустах и носа не высывай. Да помойся и постирайся — вода кругом, а то я гляжу: ты уж бензином ссышь и мазутом оправляешься...» Смешно ему. Юмор.

Но в чем дальневосточная бригада натерела за горький путь, так это в поисках. И тут, в брянских темных лесах, нашли Коляшу умельцы-артиллеристы, «домой» утартали. Там хотели судить и куда-нибудь отправить, под смерть, но Коляша при всем скоплении начальства вдруг психанул и, брызгая слюной не слюной, бензином брызгая, завизжал:

— Да я и не хочу с вами быть! Не ж-жал-лаю! Бросили! Предали! Пропадай! Да в нашем бы детдоме вам за такое изменничество морды набили!..

Командир дивизиона удивленно уставился на рулевого.

— Жалко, что нет тут того детдома. Жалко! — произнес он, повернулся и ушел.

А командир взвода управления дивизиона зашипел на Коляшу:

— Н-ну, ты у меня попляшешь! Н-ну, ты у меня попомнишь...

«А пошел ты на ...», — хотел сказать Коляша, но уже выкричался, ослабел, на него сонное смирение накатило. Только рукой слабо отмахнулся, будто паука отогнал, и подался в свою машину, и спал в кабине до тех пор, пока не приспело двигаться дальше.

Но сколько по морю ни плыть — берегу быть. Приехали в места сосредоточения, неделю без памяти спали в весеннем, зеленью брызнувшем березнике, по которому вальдшнепы по вечерам тянули, дрозды и другие птахи тут резвились, напевали, нарядные чирки в лужи светлые падали, селезни чиркали и крякали, подзывали сторожких самок. Никто по птице не стрелял, никто не шумел, не демаскировался. Березник этот светлый, углубляясь, переходил все в тот же необъятный брянский лес, смешивался с ним и в нем растворялся. Оподолье ж березовой рощи спускалось к реке Оке и со спотычками об овраги, лога, косолобки и курганы переходило то в чапыжник, то и вовсе в прибрежную, густо сплетенную шаругу. Лес и кустарники прорежены войском, изранены, повалены, загажены. Как же иначе-то, раз человек — засранец, то и засрал все вокруг себя...

Нанеся сокрушительный удар по врагу зимней порой, русское войско, достигнув речных рубежей, выдохшееся в зимнем походе и остановленное немцами, жило на здешних берегах, сводя березник на топливо, не вело не только боевых действий, оно вообще никак себя не проявляло, ни в труде, ни в борьбе. На восемь километров или на все десять тянулась рыжая ниточка полуобвалившейся траншеи, оплывшей по брустверам. К ней вели невычищенные ходы сообщений, от них окопчики и щелки к огневым точкам, которых тут кот наплакал. Войско, заспавшееся, волосом обросшее, задичавшее от безделья, с глухой зимы настойчиво ждало замены и вот дождалось, ушло куда-то, распоясанное, ленью и сном объятые, и шло-то не по грязным траншеям, не по жидко чавкающим ходам сообщения, поверху шло, никого и ничего не боясь.

Враг не стрелял. Враг-фашист укреплялся за Окой. Скоро узнать дано будет: построена там трехрядная оборона, причем первые, наречные ряды обороны сплошь бетонированы, ограждены системой огнеметов, все огневые точки не только укреплены, но и пристреляны, связь, как всегда у немцев, меж линиями обороны и тылами отлажена, что часы.

И тем не менее, командование нового, Брянского фронта именно здесь намечало удар во фланг Курско-Белгородского клина, чтобы уж с маху, когда начнется битва на Курско-Белгородском выступе, отрезать всю массу фашистских оккупантов, да и кончить разом с этой выжигой-Гитлером.

Сосредоточились, как казалось генералам на верхах, — тайно, тихо и скрытно, окопались, изготовились и нанесли артиллерийский удар такой силы, что деревня, стоявшая на крутом, глинисто-обнаженном выступе, сползла вместе с мысом, со всеми постройками и худобой в Оку, да и запрудила ее, что затруднило переправу. Деревня-то вот упала в реку и рассыпалась вместе с холмом, на котором так красиво стояла посередине церковка, но немец-то, враг-то не упал и не рассыпался. Он уже на второй линии обороны вступил в активные бои, наслал авиацию на наши войска, затем и танки — враг не позволял Красной Армии устроить второй Сталинград и где-то еще находил силы для отражения хитрого флангового удара.

День, другой с боями продирались вглубь, и вот громкая победа: взяли старинный русский город Болхов, точнее, развалины его, сразу забегали, заговорили политруки, громкие читки газет и листовок повели, все газеты, все агитаторы кличут на Орел. Орел! Орел! И еще раз Орел!

Между тем дальневосточная артбригада понесла уже первые потери, как ни горько, ни странно — первым погиб комбат Званцев, под два метра ростом, кудри стружками, ремни, сапоги, обмундирование — все впору, все, как влитое, и человек не крикливый, не истеричный, похабщину почти не употреблявший. Он помогал людям и машинам в пути. Коляшину «газушку», клятую не раз батарейными «студебеккерами», из грязи выволакивал. Коляша думал, что уж кто-кто, но комбат Званцев непременно героем станет и войну переможет. Да и не один Коляша так думал. Да у войны свои законы и выбор свой. После переправы через Оку, расставив орудия для стрельбы, еще не имея ни командного пункта, ни штабного блиндажа, развернул комбат карту на одном колене, другим коленом стоял на

земле, отдавая команды на батарею, называя цифры, довороты, повороты. В это время прилетело пяток снарядов с немецкой стороны, слепых, случайных, и все они разорвались-то в овражке, густо поросшем кустами, по склонам синеем разноцветной медуницей, белеющем хохлатками-ветренницами и первоцветами. Совсем не для смерти место предназначено. Однако комбат Званцев уронил телефонную трубку, сморенно начал клониться к земле. Его подхватили и не сразу нашли смертельную рану. Она была с булавочную головку, на виске, и крови-то от нее пролилось столько, что струйкой, вытекшей на шею, не достало и подворотничка.

Город Орел повидать Коляше Хахалину не довелось ни летом сорок третьего года, ни в последующей жизни, потому как после взятия Болхова гаубичную бригаду переместили на Украину и, слава Богу, не своим ходом, погрузив ее на эшелон, который больше стоял, чем двигался, потому как путь железнодорожный только еще восстанавливался и движение по железной дороге было еще затруднено. В пути артиллеристы хорошо отдохнули, и Коляша Хахалин до того душевно и физически восстановился, что снова начал «петь и смеяться, как дети», рассказывать свои сказочки, к нему возвратилось прозвище Колька-свист.

На радость и беду Коляши в эшелоне оказалась балалайка и попала к нему в руки. Сперва он балалаил и пел препохабнейшие частушки в вагоне, потом начал делать вылазки и, идя следом за поездом, развлекал последний вагон, где размещалась хозяйственная утварь, и здесь же прозябала гауптвахта, между прочим, на всем пути до отказа переполненная.

— Я работал у попа, делал молотилку, заработал у него хером по затылку. Ярой силы ураган стер с лица земли Иран, это Ванька на рассвете проперделся в туалете.

— Давай, Колька! Давай, свист! — поощряла певца гауптвахта, а поезд между тем полегоньку-потихоньку набирал ход — участок довоенного пути уцелел, вот и попер эшелон.

Коляша думал, будет, как прежде, — поперет, поперет да и пшикнет тормозами. И хотя орали ему с «губы»: «Свист, бежи, догоняй!» — он наигрывал себе да напевал. И отстал от эшелона. А дорога-то прифронтовая. Забарабали его, милого. Пока запрос делали, пока ответ на него пришел — в дезертиры угодил Коляша, променял и проел

в бродяжном пути балалайку, нижнее белье и ботинки — явился в часть, а там беда: при разгрузке на станции Псёл бригада попала под обстрел дальнобойных орудий; сгорело несколько машин, повредило оружие, были и убитые, и раненые. От станции и новых обстрелов надо было убираться подальше. Командир дивизиона рывкнул на Коляшу:

— Я с тобой, негодяем, еще разберусь! А сейчас марш с машиной в распоряжение Фефелова.

Майор Фефелов же, отец родной, только и сказал:

— Ну, поиграл на балалайке, развлекся, пора и за работу.

Да так нагонял Коляшу с машиной, включив их в колонну боепитания, что оба они — и рулевой, и машина — выдохлись, встали, требуя ремонту. Здесь же, в фефеловском хозяйстве, машину подладили, человеку ж, да еще такому затайному, ни ремонту, ни отдыху — вернули в управление третьего дивизиона — вертись, воюй и помогай тебе Бог.

А там, в дивизионе, вовсе нет продыху, — артдивизию и гаубичную бригаду вместе с нею передали в резерв Главного Командования, и пошли они мотаться по фронту, клинья пробивать, дыры затыкать, контратаки пресекать, бить, палить и по дорогам пылить.

К этой поре в управлении дивизиона, в парковой батарее и во всем ближнем войске установилось окончательное отношение к шоферу Хахалину как к человеку придурковатому, никудышному, для боевого дивизиона, для боевой работы даже вредному. Запущенного вида, мающий и себя, и технику свою, Коляша и плакал в одиночку, и психовал, подумывал уж наложить на себя руки — винтовка-то вон она, в кабине висит; обойма в ней полная и патрон в патроннике...

Шоферня, исключительно из презренья к собрату своему, растащила с Коляшиной машины ключи, отвертки, масленки, насос, даже домкрат один удалец упер. Но на домкрате Коляша рашпилем нацарапал ХХ, нашел по тем буквам инструментину и, объяснив, что два «хэ» обозначают не Христос Хахалин, а хер Хахалин, долбанул железякой вора по спине. Пострадавший написал на него жалобу. Самый справедливый в бригадном транспорте человек — майор Фефелов — сказал жалобщику: «Не воруй! В другой раз не домкратом, ломиком добавлю!» — и у Коляши появился настоящий враг, на этот раз во стане русских воинов, фамилия ему была интересная — Толко-

вач. Говорил ворюга, что он серб по происхождению. Врал, конечно. Чтоб серб — и воровал?.. Больно продувная рожа у этого серба, навывкшего тащить с советского колхоза.

Но... «недолго музыка играла, недолго фраер танцевал», — говорят нынешние блатняшки. На стыке двух областей — Сумской и Полтавской, в гоголевских благословенных местах, под селением Опишня спустил у хахалинской «газушки» баллон, колесо смялось, причем спустил баллон внутреннего левого колеса, для которого требуется особый ключ, под названием газовый. У Коляши не только газового, вовсе никакого ключа нет. Наладился он идти на поклон в парковую батарею — ключ во временное пользование попросить. Когда пошел, обстрел начался, аж груши и сливы в саду посыпались. В саду том вместе с другими стояла и Коляшина «газушка», под которую он не успел выкопать аппарат, то есть не спрятал машину, потому как ничего он не успевал, копать-то и сил не было. А тут еще беда: с налету, с повороту попав в пышные полтавские сады, вояки набросились на фрукты, в первую голову на сливу — и всю, считай, боевую бригаду пронесло. Дристал, да еще так ли звонко, и Коляша — брюхо, кишки и все прочее горючим отравлено, весь он ослаблен, истощен, хворь всякая вяжется, насморк и кашель с весны не проходят, когда в грязи пурхался, под машиной лежал — простудился. Вон как украинское, ярое солнце печет, а все знобко, разлад в голове и в теле, еще и брюхо прохватило. Толковач-сука, знал, что слива обладает слабительным свойством, но не сказал сибирякам-невеждам об этом. Хохочет, радуется: все вот обдристались, он вот нет!..

На обстрел Коляша Хахалин не обращал никакого внимания, раза два в кювет возле дороги ложился как бы по обязанности, кюветы были полны фруктами, гнилыми грушами, яблоками, прокисшими сливами, и все это забродившее добро слоями облепили осы, мухи, пчелы, шмели. Одна оса Коляшу жогнула, и он разозлился: «Мало, что все кругом едят и жалят, так еще и ты, скотина безрогая, башку долбишь!..» — и в горсти козьявку беспощадно раздавил.

Возвращаясь в расположение с ключом, Коляша еще издали заметил, что в саду, за белой хаткой, крытой соломой, густо дымит и патронами стреляет горящая машина. Старый украинец со старухой с бадьями бегают — из колодца водой хату обливают, чтобы не загорелась. Несколько военных помогают им. Прикинул издали рулевой

Хахалин — и вышло: горит его машина, — вздохнул облегченно: «Дошла, дошла, дошла-таки моя молитва до Бога!».

К машине нельзя уже было подойти, в ней рвались патроны и гранаты, опасно вспыхивали и разлетались по сторонам сигнальные ракеты.

— Прямое попадание в кузов, — объявили Коляше.

Толковач, пробегая мимо с ведром воды, оскалил щетки не видавшие коричневые зубы:

— Будет тебе, будет штрафная! Да-авно она тебя ждет — дожидается...

Коляшу Хахалина позвали к телефону, и сам командир дивизиона громко приказал:

— Провод в кулак и по линии сюда, на передовую, — тут ты у меня узнаешь, где раки зимуют! Тут ты научишься казенное имущество беречь!

«На передовую, так на передовую — эка застрашал! Понос бы только остановился, перед броском неудобно — боец такой героической армии и обделался!» Чувство пусть и мрачного юмора еще не покинуло Коляшу Хахалина, и, стало быть, он еще живой, и дух в нем пусть не крепок, но устойчив пока.

И пока он шел на наблюдательный пункт, на передовую, дал себе клятву железную: никогда-никогда, ни в какую машину не сядет кроме как пассажиром.

Было все: и топали на него, и расстрелом стращали, и штрафную обещали — Коляшу Хахалина ничего не трогало, не пугало. Он отрешенно молчал и смотрел в землю, потому что, если он поднимал голову и начинал глядеть в небо, — воспитующими его, отцами-командирами, это воспринималось как вызов, как чуть ли не высокомерие. Как и большинство начальников, выросших уже при советской власти, командиры сии прошли через унижение детства в детсадах, в отрядах, в школе, ну и, само собой разумеется, главное, вековечное унижение в армии. Поэтому, получив власть, сами могли только унижать подчиненных, унижаться перед вышестоящими начальниками, и глядящий в землю, ссутуленный, как бы уж вовсе сломленный человек был для них приемлемей того, кто смел глядеть вверх, — не задирай рыло, коли быть тебе внизу судьбой определено. Израсходовав пыл огневого заряда, командир дивизиона спросил:

— Чего вот мне с тобой теперь делать?

— Воля ваша. Что хотите, то и делайте, — ответил вполпад Коляша.

— Воля ваша, воля ваша,— затруднился командир, имеющий еще силы на перевоспитание разгильдяя, который всем надоел, себя, машину и людей извел. Если бы он сказал то, чего ожидал командир дивизиона: «Немец стрелял, не я», «у снаряда глаз нету» или совсем коротко: «Война!» — капитан еще побушевал бы в сладость и утеху души своей. А тут вот: «Воля ваша»,— и вид такой — хоть к чему человека приговаривай — со всем согласится.

— Каблукова ко мне! — приказал капитан.

После переезда с Орловщины на Украину, где-то в направлении на Ахтырку или на Богодухов, уработавшиеся, на солнце испекшиеся бойцы взвода управления к вечеру истомленно расселись, разлеглись посреди нескошенного поля, потому как днем от жары ничего не ели, только пили воду и копали, копали и пили. И вот хоть малая, но все же блаженная прохлада, вечер, покой, «кукурузники» в небе лопочут, светленько пулеметными очередями посикивают, по две бомбы-пятидесятки на окопы врага шмаляют. Бои идут затяжные, изматывающие, передовая линия все время меняет «конфигурацию». И однажды вечером с неба раздался женский ангельский голос: «Вы, ебивашу мать, докуритесь!» — кукурузница-летчица спланировала над окопами и упреждение дала, потому как войско, налопавшись, закуривало, и вся передовая высвечивалась огнями сигарок, будто торжественно-праздничными свечками.

Немцы — народ тоже курящий, разберись с неба, кто там на земле курит. И докурились: перепутала какая-то кукурузница конфигурацию передовой, метко положила в самую середку блаженствующего взвода управления третьего дивизиона две бомбочки — и разом два десятка человек вымело с передовой, семеро тут и остались докуривать, остальные в госпитале, слух был, четверо не доехали до места. Сержанта Ястребова, командовавшего отделением разведки, разбило на куски. Вместо него назначен был младший сержант Каблуков, парень хоть и придурковатый, и вороватый, но лучше пока никого не нашлось.

Махнув рукой у головы, младший сержант доложил. Командир дивизиона к этой поре совсем отошел, да и за вечерело, горе ближе подступало — из тех двадцати человек, что от разгильдяйства и ухарства полегли, большая часть служила с капитаном еще на Дальнем Востоке.

— Вот,— кивнул он в сторону Коляши Хахалина,— потерял машину обормот, в твое распоряжение поступает,— и попытался еще возбудить себя, взяться

на волну гнева: — Лопату ему в руки и копать! Копать! Человека из него сделай, Каблуков. Навык он в придурках ошиваться...

Ах, товарищ капитан, товарищ капитан, без двух месяцев майор, да разве можно Коляшу Хахалина чем-либо напугать после той клятвой «газушки», что сгорела в праведном огне. И копать?! Что такое в одиночку выкопать яму под машину, пусть и «газушку», пусть у той ямы и название научное, нерусское, — это ж цельный погреб...

А после того, как кукурузник уронил две бомбы на солдатские головы, целую неделю, если не больше, царила на передовой бдительность, орали солдаты друг на друга, командиры со взведенными пистолетами гонялись за разгильдяями, стреляли даже по засветившемуся огоньку. Но вот переместились с места катастрофы огневики, сменились части, прибыло пополнение, ослабела напряженность в командах, и славяне снова бродят по передовой по делу и без дела, снова картошку варят на кострах, промышляют харч, курят скопом, и кто же и когда же сочтет, сколько потерь у нас было по делу, в бою, в сраженье, сколько из-за разгильдяйства российского и легкомыслия?

В отделе разведки Коляша Хахалин скоро усек: главная забота здесь состоит в том, чтоб не украли стереотрубу, буссоль и два бинокля, копать же семерым рылам одну ячейку и ход сообщения к траншее или уж, если местность и условия позволяют, — прямо к штабному блиндажу — это работа? Долго Коляшу к приборам и не допускали, держали за чернорабочего. Он копал, таскал, перекрытия добывал, но так как взвод управления, понесший такие неоправданные потери, да и оправданные все время несущий, никогда более полностью укомплектован не был, то вместо семи рыл осталось четыре, да и то одно из них — младший сержант Каблуков, полководца из себя изображающий, черной, потной работы чуждался.

Долго, очень еще долго пахло от Коляши мазутом и отрыгалось бензином — незабываемо, неизгладимо пошоферил он.

Артразведчики подиаторели играть парней отчаянных, все время находящихся в самом опасном месте, все время выполняющих самую ответственную работу, на самом же деле спят, где только возможно, тащат съестное и, составляя схемы разведки, врут напрапалую, докладывают часто о целях противника, коих и в помине нету. Коляшу Хахалина на артиста учить не надо. Он принял правила игры и

долго бы кантовался в лихой артрэзведке, если бы на Днепровском плацдарме не ранило.

Надолго отплыл в тыловой госпиталь боец Хахалин. Вернувшись в часть, застал свое место в разведке дивизиона занятым. Каблукова убило. Бывший начальник штаба дивизиона, лупоглазый и долговязый парень, оформляющийся в мужика, занял место командира дивизиона, и крепкая ж память — запомнил, что разведчик Хахалин, иногда подменявший телефонистов, толково справлялся с этой работой. Посадил его к штабному телефону и поднес кулак к носу: «У меня не балуй!». Скоро осталось при нем всего два телефониста, которые умели толково и быстро управляться с ответственной работой, остальных новый командир дивизиона выпинал из блиндажа. Крутенек, шумлив и психоват был новый командир дивизиона, из интеллигентов, из школьников-отличников, из примерных комсомольцев в артиллерийское училище прямиком угодил, жизни совсем не знал, не личило ему материться, работать под лихого военного мужика — голос тонок и жопа не по циркулю.

Два телефониста: Коляша Хахалин и Юра Обрывалов, которым завидовали линейные работяги-связисты, Коляша же с Юрой завидовали им, хотя и знали тяжкую долю связиста. Когда руганый-переруганый, драный-передраный линейный связист уходил один на обрыв, под огонь, озарит он последним, то злым, то горестно-завистливым взглядом остающихся в траншее бойцов и, хватаясь за бруствер окопа, никак одолеть не может крутизну. Ох, как он понятен, как близок в ту минуту и как же перед ним неловко — невольно взгляд отведешь и пожелаешь, чтоб обрыв на линии был недалече, чтоб вернулся связист «домой» поскорее, тогда уж ему и всем на душе легче делается. И когда живой, невредимый, брякнув деревяшкой аппарата, связист рухнет в окоп, привалится к его грязной стене в счастливом изнеможении, сунь ему — из братских чувств — недокуренную сигарку. Брат-связист ее потянет, но не сразу, сперва он откроет глаза, найдет взглядом того, кто дал «сорок», и столько благодарности прочтешь ты, что в сердце она не вместится.

Доводилось Коляше Хахалину и на линию выходить, и в бой с врагом вплотную вступать, даже до лопат дело доходило, рубились насмерть. Хватив отчаянной доли фронтowego рулевого, он с командиром дивизиона в пререкания вступить не боялся, коли тот был не прав или уж слишком психовать позволял себе. Впрочем, когда самого

Спустя минуту, в полной уж отключенности, погруженный в решение боевых задач, командир, не имеющий никакого певческого таланта, речитативом затянул, сыпля пером цифры на планшет: — Четырежды четыре в гости пригласили, — круг циркулем, цифирька в середку круга, — четырежды пя-ать, йя ее опять...

— Четырежды шесть, я ее в шерсть, — бодро подхватил телефонист Хахалин.

— Во-во, об этом и пой, об этом можно, а насчет писак — написали, куда шли и пришли, — не треплись, а то уволочут в такое место, не выцарапать тебя будет, олуха. И с кем мне воевать? С кем оккупанта крушить? С чурками? С пеньями? С пьяницами?

Однажды, в благую такую минуту Коляша Хахалин заявил, что клятву, данную командиру дивизиона, выбывшему по ранению, — восполнить потерю, вместо сожженной машины добыть другую — он помнит и все равно выполнит ее, скорей всего уж на иностранной территории, где машин много. Конечно, имущество не вернешь: вместе с машиной сгорели все противогазы взвода управления, запасные колеса, камеры резиновые, плащ-палатки, пара ботинок, несколько винтовок и автоматов, лопаты, патроны, гранаты — урон, конечно, невосполнимый, но машину... гадом ему, Хахалину, быть...

Нет клятвы крепче, чем в огне и на воде данной, — до чужих территорий Коляше не потребовалось идти. В городе Бердичеве ему подфартило. Осенью одна тысяча девятьсот сорок третьего года в городе Бердичеве Житомирской области, может, и Винницкой — сейчас Коляша уже не помнит, все ж остальное, как на экране, в мельчайших подробностях высвечено, — исполнилась боевая клятва.

Бердичев был отбит у врага почти без боя, город мало пострадал. Вот под городом сожжено «тридцатьчетверок» вдоль дороги изрядно. У всех машин сорваны башни, кверху чашей лежат, полные воды. Диковинно выглядит башня с дырявым хоботом орудия. Вдоль дороги и в поле россыпью бугорки чернеются. Иные горящие танкисты в кювет заползли, надеялись в канавной воде погаситься и тут утихли: лица черные, волосы рыжие, кто вверх лицом, видно пустые глазницы — полопались глаза-то, кожа полопалась, в трещинах багровая мякоть. Мухи трупы облепили. Привыкнуть бы пора к этакому пейзажу, да что-то никак не привыкается.

Выставили орудия на предмет отбития контрудара, который откуда-то немцем намечался и где-то уже осуществлялся, и танковый тот батальон или полк, находившийся на марше, уже испытал его на себе, но, вроде бы, отбился и остатками машин теснит врага.

Словом, война шла, продолжалась, слышен был недалекий гул орудий, низко пролетали штурмовики и кружились над землею, пуляя белыми струями ракет, ссыпая бомбы, будто картошку из котла. На них сверху налетали «мессершмитты», на «мессершмиттов», норовя зайти еще выше, налетали наши истребители. Ребята из артбригады, свободные от дежурств, подались осматривать освобожденный город Бердичев и, если выгорит, обмыть очередную победу.

Как и почему вояки попали на кожевенный комбинат, Коляша уже не вспомнит. Комбинат действовал при немцах и только-только остановился, только-только опустели его цеха и замолкли моторные мощности. На дворах и поза дворами, возле складов и цехов валялись кожи, которые в лужах, которые на сухом. Запах был нехороший, и воронье пировало здесь, тревожно и опасно орущее, видать, криком отгоняло от себя страх недалекого боя, может, еще и прошлый страх не одолело.

Кто-то из бывалых бойцов сказал:

— Раз комбинат на ходу, должен тут вестись спирт или раскислители на спирту.

Каким-то путем воинство вместе с Коляшей Хахалиным угодило в управление комбината, не то, что было при социалистическом строе, то есть контора в три этажа, где сидели умные люди, управляя производством, подсчитывали прибыль, организуя соцсоревнования, составляли сметы, устраивали комсомольские слеты и партийные собрания, вручали вымпелы, выписывали премии и прогрессивки, выдавали сахар детям и ботинки. У немцев все сурово и просто. Контора в три этажа занята какой-то военной службой, все управление разместилось в пристройке к цеху энергопитания. В пристройке обитал комендант, два его помощника по кадрам, начальник охраны, несколько полицаяв да кто-то из специалистов-советников. Из гражданских староста, он же дворник. И все работало. Кожа на солдатские сапоги шла потоком, электричество горело, моторы в цехах жужжали, колеса крутились, прессы прессовали, шкуры и дубильные вещества регулярно подвозились, отходы и шерсть регулярно вывозились, потому что у коменданта был еще один

помощник — сыромятная плеть с ореховой, фасонно резанной ручкой. Войдя в дощаную резиденцию коменданта, вояки сразу ту плеть увидели висящей на стене, рядом с портретом Адольфа Гитлера во весь рост.

— Ах ты сука! — закричали вояки, — свободных советских людей пороть!.. — и принялись расстреливать Гитлера. Один воин-меткач поразил фюрера в глаз, из глаза ударила желтая струя, из-за перегородки раздался истошный крик: «Ря-аутуйте, люди добры!»

Сунулись за перегородку — там толстая старая бабка лежит, прижупив животом к полу девчужку, и вопит, на нее из дубового бочонка желтая струя льется. Все стена в каморке-кладовой до потолка была заставлена бочками с пивом. Вояки думали, из глаза фюрера порснула моча, а тут эвон что! Бросились под струю баварского пива, кто с банками, кто с котелком, кто и с пилоткой. Бабка-сторожуха эмалированную миску под струю сунула, тоже попила, перекрестилась и рассказала, что она тут, при комендатуре, — и уборщица, и сторож, раньше в конторе была и комнатку за печкой в конце коридора имела. При немце сюда переместилась, печечку железную поставила, топчан из ящиков собрала и живет себе, дитя пасет, потому как и у нее, и у дитя, которую Стешкой кличут, всю родню выбрали, выпололи, кого еще при советах в далекие места увезли, кого тут постреляли, кого немцы подобрали на работу, к германцу отослали. «В рабство ихое», — патриотически подыграла захмелевшая бабка и притопнула вялым опорком, пыль взнялась клубом. Вскинув голову так гордо, что выпала гребенка из волос, по причине вшивости коротко стриженных, бабка грянула: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля!..» — и заутиралась фартуком, тоскуя по Кремлю. Под фартуком бутылка с казенным спиртом обнаружилась. Пошло тут, поехало братское веселье.

Коляша Хахалин как человек, почти не пьющий, точнее — еще не навывший пить, отправился гулять по территории комбината, довольно обширной. И напоролся на пожарный крытый двор. Во дворе под навесом рядком красные машины стоят с баками, полными воды. Коляша сунулся в одну машину — открыто, в машине все блестит и светится. Он понарошке нащупал военным ботинком пробку стартера и, зная, что от стартера наши машины вовек не заводились, дакнул. Машина вздрогнула, уркнула, застреляла трубой и тут же заработала ровно,

чуть сотрясаясь от напряженных моторных сил, готовых к рывку и действию.

Коляша, сперва тоже от неожиданности вздрогнувший, осторожно надавил на педаль сцепления, обхватил рукой кругляшок рычага и сунул его назад — он и в своей-то великомученице-«газушке» не всегда и не вдруг попадал в канавки хитрых машинных скоростей, в особенности в заднюю и четвертую скорости, а тут, сдуру одержав техническую победу, надумал покинуть пожарную стоянку и двинуть машину задом во двор. А уж если дура-удача пойдет, так уж пойдет! Выехал Коляша во двор, машину остановил, но мотор не заглушил и от ликования души, сложив руки рупором, как заорет: «Кто из девяносто второй? Домой поехали. Смеркается уж...»

Это была картина! Это было кино! По городу Бердичеву, облепив красную машину, ехало воинство и под гармошку. выдавало: «Три танкиста выпили по триста, а начальник целых восемьсот!..»

Так под гармошку, с дружными песнями въехали в расположение, на батареи ворвались и там уже получили по заслугам сполна. Переполошенное начальство, между прочим, тоже выпившее, повыскакивало из всех хат и пошло, пошло чинить расправу. Кого из гуляк под арест, кого глотки орудий с мылом мыть, кого — землю копать, кому и по морде.

Коляша Хахалин оказался в свежевыкопанном за сараем ровике, усланном по дну соломой. Называлось это гауптвахтой. Хозяин ровика, то есть человек, копавший его, оказался не кто иной, как Пеклеван Тихонов, он же приставлен был охранять ровик с лежащим на его дне нарушителем дисциплины. Пеклеван осудительно качал головой, ругал Коляшу, мол, вечно он, как не знаю кто, — нарушат и фокусничат да выкаблучиваются. Коляша достал из военных брюк шкалик со спиртом, на запивку дал часовому флягу пива. Хозяин ровика, он же постовой, — человек деревенский, сговорчивый. Выпив шкалик спирта и закрепив его пивом, тоненько запел: «И в Божьем храме средь молитвы любовна-ай встренулся наш взгляд...» — Пеклеван страдал непревзойденной сибирской жалостью и обожал переживательные песни. Нелегко ему было держать под арестом своего дружка, страдальца фронтowego. Он спустился в ровик к арестованному, обнял его братски, и они так вот, в обнимку, проспали до самого утра.

Рано утром пиво погнало Коляшу в кусты. Он, значит, стоит, поливает украинскую землю, перед ним, кустами толсто заваленное, пламенеет что-то. Отогнул Коляша кусты — под ними красный бак и неподалеку, в ста или двухстах метрах, стоит свежекрашенная машина с зеленым, только что сколоченным и свинченным кузовом.

Так Коляша Хахалин сотворил на фронте свое самое полезное дело, за которое медаль ему не дали, но и не ругали. Командир дивизиона, начальник штаба дивизиона, майор Фефелов и прочее начальство делала вид, будто ничего особенного на свете и в их части не произошло. А раз так, то и Коляша делал вид, что ничего особенного не произошло. И думал с облегчением, что было это в последний раз, когда он сел за руль. Да и Пеклеван Тихонов, как всегда к разу и к месту, товарищеское внушение ему сделал: «Не вздумай на ворованной-то машине ишшо кататься — это, как у конокрада, либо на голову аркан, либо в острог запрут».

Сказано уже — нет клятвы крепче, чем в огне и на воде. Но все же пришлось Коляше сесть за руль. Еще раз. Зато уж воистину в последний раз!

Но прежде, чем это случится, Коляша Хахалин сотворит еще один боевой поступок. Там же, под Бердичевом — вот ведь какой памятный город оказался! Сотни городов с войском прошел Коляша, тыщи деревень, Бердичеву же выпало быть большим и очень серьезным перевалом в его жизни. Позднее он узнает, что в Бердичеве венчался французский писатель Бальзак, и нисколько не удивится тому и дознаваться не станет, как это занесло туда француза. Бердичев в понимании Коляши Хахалина еще тот город, в нем могут и должны постоянно происходить всяческие чудеса.

Именно там, в Бердичеве, молодой человек, угнетаемый, как и все здоровые молодые парни, мужской плотью, принял боевое крещение, произведен был в мужики.

Батарей были поставлены на окраине города, и наблюдательный пункт вынесен в хуторок, за сады, на опушку пригородного дубового леса. Хороший, богатый хуторок, совсем почти не разбитый, но какой-то весь раздетый, неуютный — без оград, без ворот, почти без надворных построек, вроде как селились тут люди случайно и ненадолго. Хаты, как бы нечаянно забредшие иль с неба набросанные по опушке леса, хотя и беленые, но серые и сырые. Вояки узнали, что хутор этот и в самом деле случайный и

недавний. Возвели его какие-то и откуда-то выселенны перед войной. Опасный для родины народ — выселенцы. Однако небрезгливые власти мужиков все равно подмели, отступления и наступления их смыли в военные ямы.

Командир дивизиона, начальник штаба, вычислитель и прочие нужные делу чины заняли просторную хату безо всяких перегородок и затей. Внутреннюю архитектуру хаты осуществляла основательно сложенная, на чалдона-сибиряка ликом похожая, насупленная русская печь.

В хате обитали мать Антонина — женщина деbeatая, в разговоре степенная, и две дочери — Светлана и Элла.

Светлана пошла в мать — пышнотелая, с косой цвета овсяной соломы, спускающейся до заднего места, по земле ступает из милости, травки-муравки едва касается. Словом, была она из тех, про кого говорят: прежде, чем сказать, — подумает, прежде, чем ступить, — осмотрится. Пава, одним словом. Над ее кроватью гвоздями приколотые, тушью, от руки рисованные на ватмане висели два портрета — Пушкина и Белинского. Товарищи командиры зауважали Светлану и выражаться при ней воздерживались. Желая угодить девушке и обратиться на себя внимание, командир дивизиона зыкнул, чтоб военные курить выходили вон. И этот жест даром не пропал: пошел командир умываться — Светлана ему поливала, холщовый рушник, петухами вышитый, подала.

Другая дивчина, видать, в отца удалась. Платьишко на ней еще с накладным воротничком и карманами, с тремя складочками на юбке. Заношенное платьишко, давно не стиранное, точнее, стиранное, но без мыла, в щелоче и оттого несвежо выглядевшее. Зато сама Элла, чернявенькая, с остренькими локтями, сияя смородиновыми глазами, хотела всех и обо всем расспросить, все и обо всем рассказать. Смуглое лицо ее разгорелось, губы безо всякой причины улыбались. Она летала по просторной избе, что грач или черный дрозд, то и дело ударяясь о печку, чего-то роняла с грохотом и разбила какую-то посудину, редкую в этом бедном доме, и мать, качая головой, давала понять постояльцам, что вихрь этот не остановить, не унять даже военной силой. Угадывая желания постояльцев, Элла по своей воле и охоте помчалась в сад, принесла в подоле яблоки и груши, ухнула фрукты на стол, прямо на карты и штабные бумаги. Заметив, что телефонист привязан к месту проводами, ему в пригоршни вальнула абрикосов, поверх алое яблоко и грушу вляпала.

«Подол-то», — напомнила мать и, настигнув дочь, сама одернула на ней платишко. Коляшу, а он в ту пору дежурил у телефона, эта чернявая птаха сразила наповал сразу, он почувствовал себя разлаженно, слабо, все в нем сместилось куда-то, в жаркое место. Сжимая в горсти грушу и яблоко, Коляша ловил и не мог поймать захмелелым взглядом это порхающее по избе существо, начал путаться на телефоне.

— Да что с тобой сегодня? — уставился на него начальник штаба дивизиона и, увидев мутный взгляд телефониста, сместившийся в беспамятство, решил, что это от постоянного недосыпания и, раз обстановка позволяет, надо телефониста подменить и дать ему отдохнуть. Да если бы Коляша мог бросить этот проклятый телефон, он сам, не спросясь, бегал бы за девушкой щенком возле избы, тьякал и зубами хватался за подол, забыв про войну.

Мать Антонина предложила товарищам охвицерам готовить обед, если у них есть продукты; от себя же она могла добавить к обеду яишницу. Товарищи охвицеры благосклонно согласились с этим предложением, отделили продукты от сухого пайка в распоряжение хозяйки.

Заполошно бросив: «Пойдем!» — Элла схватила освободившегося телефониста за руку и умчала за собой во двор, со двора, в котором стояла корова, по лестнице — наверх, на сеновал. В дощаном щелястом сеновале пахло свежим сеном и яблоками. В глуби сарая, у дальней стены серела кучка прошлогоднего сена. На нем была раскинута нехитрая постель — стеженое старое одеяло вместо матраца, в головах половичок, на него брошена смятая подушка и что-то скомканное, наподобие покрывальца. «Тут она спала! — догадался Коляша, — совсем недавно». У него занялся дух. Элла порхала по сеновалу, собирая яйца снова в подол платица, оголив серо-голубые трусики с белыми пуговками на боку. Вдруг девушка остановилась перед Коляшей, уперлась в него: «Ты чего?» Господа охвицеры деликатно отворачивались, когда она вот так-то, с фруктами и яблоками, задрал подол, одаривала их плодами. Коляше она зачем-то сунула в руки теплое яйцо. Он стоял посреди сеновала, держа куриное яйцо в ладонях, и не отрывал взгляда от Эллы. Он и губами-то пошевелить не мог, а вот яйцо раздавил, и оно потекло на ботинки. Держа одной рукой подол с яйцами, другой рукой Элла принялась клочком сена очищать солдатский ботинок, торопливо, с захлебом рассказывая, что

приехали они сюда с Урала и сначала ей тут не нравилось, но, как вырос и начал цвести сад, — понравилось, и вдруг тоже поняла — он ее не слышит, то есть слышать-то слова слышит, но смысла их не понимает.

— Бедный ты мой! Ты ж на войне... — погладила она его свободной рукой по щеке и приказала немедленно лечь в постель и спать. — Потом... потом, все потом. Я тебе нравлюсь, да? — уже с лестницы высунула она голову. Глазицы у нее ясно и возбужденно сверкали.

«Вот она, погибель-то какая бывает», — обреченно подумал Коляша и закивал головой — да-да!

— Я приду к тебе! — шепнула или крикнула Элла.

Коляша решил, что все это ему мстит, женский это коварный обман, и только — о нем он так много слышал и читал.

Усталость, давняя, фронтовая, все сминающая усталость, и событие, встреча эта, молнией его опалившая, — обессилили парня, и только он коснулся подушки, будто в обморок провалился или в яму бездонную угодил.

Ночь была уже, сочился лунный свет в щели сарая, когда Коляша проснулся от осторожного к нему прикосновения. Кто-то лежал рядом, гладил его по щеке, касался губами уха.

— Хороший ты мой! Солдатик мой молоденький, желанненький... Я тебе нравлюсь? И ты мне тоже... И ты мне... — шелестело рядом.

Коляша, не шевелясь, внимал голосу небесному. И от голоса одного и ласкового к нему прикосновения истек в белье и, если б дальше ничего не было, он все равно считал бы, что мгновения эти в его жизни — самые волнительные, самые счастливые. Но девушка, скользя губами по лицу, нашла его губы и впилась в них. Коляша плотно-плотно сжал рот.

— Да ты еще и целоваться-то не умеешь?! — прошептала Элла и стала старательно учить его целоваться.

Коляша весь опустел и, как и что было дальше, — плохо понимал и помнил. Он истекал семенем, почти непрерывно содрогаясь от силы, давно и навязчиво его угнетающей.

Очнулся он от легкой боли — Элла, Эллочка, повторяя: «Хороший мой! Сладкий мой!», — покусывала сосцы на его груди, и, вспомнив, как мужики говорили, что иные женщины во время полового сношения не только кусаются, но и кричат, Коляша сперва испугался, но потом все же

решил, что ради такого небывалого удовольствия можно все стерпеть — и отдался губительной страсти, как это дело называют в книгах.

Они маленько и поспали, и поговорили даже. Элла, тронув его по губам пальцем, сказала, мол, ей очень приятно, что она у него была первой.

— И дай Бог, чтобы не последней, — кротко вздохнула добрая душа.

Преисполненный благодарности, он хотел на благородство ответить благородством, мол, когда война кончится, он приедет в Бердичев и женится на ней, на Элле. Но в это время Коляшу крикнули снизу, со двора, — пришла его пора дежурить. Он глянул на часы — было четыре часа утра. Сменщики дали ему отдохнуть две смены. Молодцы какие! Понимая, что так просто уходить нельзя, надо что-то сделать на прощанье, Коляша пытался припомнить, как в таких случаях поступают герои книг, но отчего-то не вспомнил и просто поцеловал девушку и сказал: «Спасибо!» — получилось, будто в магазине, продавщице за селедку благодарение, и он тихо, стесняясь нежности, добавил: «Милая».

Элла, уже сонная, подняла руку, погладила Коляшу по щеке. И он, сам от себя того не ожидая, неуклюже чмокнул ее маленькую ладошку и почувствовал, как обессиленно опала соленым отдающая рука, раздался глубокий, удовлетворенный вздох, который долго-долго, всю жизнь будет помнить Коляша, ибо поймет со временем: все, что в жизни бывает в первый раз, — не повторяется, все же, что случается второй раз, — вторично.

Приспевает пора рассказать о том, как Коляша Хахалин нарушил клятву, в огне данную, вынужденно сел за руль и сотворил вынужденный подвиг.

Раненный весной сорок четвертого года в путаных, бесполовых боях под Каменец-Подольском, он все лето кидаем был по прифронтовым госпиталям. В одном госпитале пристроился было санитаром, но на раненой ноге никак не зарастал свищ, сочилось в бинты, присыхала к ране вата, и его метанули в чуть отдаленные тылы — долечиваться, да не долечили, отправили нестроевиком в ровенский конвойный полк, где он и встретил День Победы.

Чудно встретил он этот выстраданный праздник, не людски, не по-армейски, не по-братски.

В конвойном полку толклось множество рядовых и командиров, успешно отсидевшихся в тылу, пресмыкающихся, исподличавшихся. Пополнение из раненых фронтовиков не могло не вступить в конфликт с этакой шайкой. И вступило. Дело доходило до мордобоя, в котором верх, конечно же, держали старые конвойники, сытые, здоровые ребята. Нестроевиками разбавляли в ротах это сытое и наглое кодро, которое объединенно вело подлое дело. Старшины рот и младшие командиры вызывают в каптерку за чем-либо строптивого нестроевика и дружно так его отделают, что всякая жажда дальнейшей борьбы за справедливость пропадает.

Коляшу беда свела с двумя бойцами — Жоркой-моряком и тихим парнем из местечка Грицева, что на Житомирщине. Оба они были тяжело контужены, обоих парней били припадки. Коляша, немножко поработавший в госпитале, научился умирять падучую, когда она валила ребят. И снова навела его худая доля на держиморду — ротного старшину. В отличие от Олимпия Христофоровича Растаскуева, этот был худ, нервен, криклив. И фамилия ему соответствовала — Худоборов. Он панически боялся погибнуть. И погиб. Уже в мирное время. Приладилась к какой-то ровенской жинце, а у той муж дезертировал из армии, сошелся с лесными братьями и, однажды явившись в город, обёх, как говорил новый старшина роты, расстрелял прямо в постели. Так вот, старшина Худоборов еще и рукоприкладством занимался. Однажды он ударил Жорку-моряка, тот хрясь на каменный пол и забухался в припадке, затылком об камень. Старшина убежал и в каптерке спрятался. Народ оторопел. Коляша надел на могучую грудь моряка и кое-как справился с больным, не дав разбить ему голову об пол. Перенесли захлебывающегося пеной больного на нары. Коляша внушал бойцам, что припадок страшен для самого контуженного и ни для кого больше, что в роте таких больных двое, может начаться приступ сразу у обоих, и что он тогда станет делать? Надо ему, Хахалину, в этом деле помогать.

Старшине Худоборову Коляша на всякий случай заметил, что-де у контуженных есть справка на тот счет, что, ежели они человека прикончат, их даже к ответственности за это не привлекут. Худоборов перестал чеплять припадочных, переключился на более здоровых, падучей не страдающих бойцов. Коляша Хахалин из нарядов, почитай, не вылезал — этого старшину, как и Растаскуева, борца за исправную службу, отчего-то бесило, что рядовой, заню-

ханный солдат, к тому же хромой, читает книги, хорошо поет и, главное, пишет стихи. С наслаждением, аж бледнея от страсти, на всю роту кричал и этот старшина: «А ну, поет, мети казарму, выносс-си помой-и!»

В ночь на девятое мая, уgomонив припадочных, наказав ребятам, чтоб, если начнется приступ у больных, подменить его на посту, Коляша Хахалин заступил на дежурство у проходной, с одной обоймой патронов, сунутой в магазин винтовки.

Надо сказать, что беспокойство, волнительное ожидание долгожданной вести, охватившее страну, в том числе и город Ровно, забитый не доехавшими до фронта и уже едущими на Дальний Восток войсками, передалось и усталому, войной издерганному и старшиной измыленному бойцу Хахалину. А тут еще танкистов навалило на окраину города, поди-ка, целый корпус. Они переломали гусеницами танков сады, расположились, не боясь демаскировки, вольно, широко и загуляли. Ой, загуляли!

Вот уж время и час, и второй час ночи — у танкистов бал не умолкает: звучат баяны, гармошки, гремят радиостановки, визжат девки, поют парни, зычно гаркают чего-то товарищи командиры. И все это разом, одновременно — постовому Хахалину передалось возбуждение от происходящего в саду и в округе всей. И чего особенного? Тоже человек, сколько и как мог, воевал, было бы, так и выпил бы...

Тут на него с фонарем-фарой набрели пьяная банда в количестве четырех рыл. Интересуются ребята, в каком городе находятся, какой объект перед ними, нельзя ли чем разжиться в смысле спиртного. Коляша терпеливо объяснял: находятся они на Украине, в городе Ровно, перед ними проходная конвойного полка, и, ежели есть здесь у кого спиртное, его потребляют втихаря.

— И ты в такой шараге служишь? — удивились танкисты.

— А куда ж мне деваться-то? Родина каждому свое место определяет. Не сойдешь...

— Э-э-эх ты! — сказали танкисты, и один из них заплакал. Все они начали обнимать часового и целовать, оглушая запахом самогонки, в один голос наставляли, чтоб он позорный пост бросил и шел с ними за выпивкой.

Коляша с поста не сошел, но путь к самогонке указал самый короткий. Жора-моряк говорил, что пустующую окраину города заселяли переселенцы из России и освоение новых земель начали с производства самогонки и вина,

так как украинские сады осенью по колено завалены фруктами, да и сейчас еще винную прель по городу разносит.

Где-то уж к утру, когда небо начало отбеливаться с востока, танкисты, держась друг за дружку, проследовали в часть, но, заметив одинокую, серенькую фигурку часового, прониклись братской жалостью, поднесли ему прямо в противопогазной немецкой банке вонючей крепкущей самогонки. Коляша, продрогший на посту, покинуто и сиротливо себя чувствующий, выпил через край, зажевал гнилым яблоком и посоветовал танкистам идти в расположение, спать. Но пока он пил, зажевывал яблоком питье, подавал советы танкистам, они, прислонивши себя к кирпичной стене полкового забора, осели наземь и сваренно заснули. Остаток ночи Коляша занимался тем, что по одному перетаскивал через дорогу сраженных танкистов, устраивал их на ночлег возле машины и под яблонями.

Гулянка ослабела, музыка звучала лишь на машине с движком и радиустановкой, которую не выключали, дожидаясь великих вестей. Вдруг дверь машины распахнулась, ярко плеснуло электрическим светом, в свете возник человек с ракетницей в одной руке, с автоматом в другой.

— Ребята! Парни! Товарищ генерал! Победа! Победа-а! Победа, раствою мать!.. Да что ж вы, курвы, спите? Победа ж! — и пальнул в небо одновременно из ракетницы и из автомата.

Коляша Хахалин, плача от счастья и от самогонки, солидарно со всеми жажнул из винтаря. Всю обойму! И весь город застрелял. Небо озарилось ракетами, взрывами! Какой-то танкист лупанул из орудия по забору конвойного полка, дыру в кирпичах пробил. Коляша хотел побежать и сказать, чтоб пушку взяли, вверх палили, холостыми. Но в это время начала выбегать в белье из казармы братва, из каптерки выпал в окошко паникой охваченный старшина Худоборов: «Нападение! Бендеровцы! В ружье!..»

Коляша вспомнил, что Жору-морьяка и Гришу из Грицева непременно приступ свалит от возбуждения, ринулся в казарму — помогать болезным. Только он справился с этой задачей, как его тут же арестовали и увели в помещенные гауптвахты. Оказалось, не один старшина Худоборов запаниковал. Все полковое начальство испугалось и за трусость свою, малодушие искало, кого наказать. Постовой Хахалин без надобности израсходовал боезапас, к тому же пьян был. Вот и понес заслуженное наказание.

— Да я от радости, от радости!.. — пытался внушить старшине и его сподручным Коляша, но Худоборов, раз-

бивший голову, изрезавшийся о стекла, перевязанный, йодом расписанный, как индеец из джунглей, рвал и метал, грозился еще и под суд отдать разгильдяя.

Просторная гауптвахта, расположенная в подвале штабной казармы, оказалась пуста. Коляша забрался на нары, уткнулся в угол и долго плакал, вымывая слезами все обиды, какие получил он в родном отечестве за войну, всю свою незадачливую судьбу оплакивая.

К нему, такому аховому преступнику, в суматохе не представили даже охрану. Худоборов просто закрыл его на амбарный замок и ушел. Ни воды, ни хлеба, ни завтрака, ни обеда арестованному не несли. В послеобеденное уже время раздался в подвальном коридоре шум, гам, звон железа — это напившийся в честь победы Жорка-моряк вспомнил о Коляше Хахалине, сбил кирпичом замок и ворвался на гауптвахту с компашкой, принеся с собой выпивки и закуски.

Конвойный полк кишмя кишел доносчиками, предателями, подлецами, и кто-то из них донес старшине Худоборову о том, что творится на гауптвахте. Старшина с криками и угрозами ворвался в подвал. Жорка-моряк сгреб его за грудки, придавил к стене и велел всем выйти вон. Когда веселящаяся публика покинула помещение гауптвахты, Жора-моряк бросил тщедушное тело начальника на доски нар. «Только пикни у меня!» — погрозил он старшине пальцем и закрыл гауптвахту его же замком.

Город взбудоражило. Гремела всюду музыка, везде плясали, с кем-то обнимались, пели, прыгали, смеялись, ликовали военные. Жорка-моряк деваху у переселенцев подцепил. Коляша Хахалин свою содетдомовку встретил. В таком-то содоме взял и встретил. Совсем нечаянно. И кого встретил-то? Туську Тараканову! И где? В Ровно. На другом, можно сказать, конце земли, точнее — полушария. Значит, он воды захотел, газировки. Пристроился в очередь к голубой тележке с бачком и колбами. В одной колбе красный сироп, в другой желтый, яблочный. Объектом этим управляла уже тучная женщина, может, деваха. Черные жесткие волосы у нее в разные стороны торчали, нос такой симпатичный, будто у игрушечного поросенка, с пяточком, и дырки кругленькие в носу. Ну вот хоть расстреляй Коляшу — мерещится что-то знакомое ему в продавщице газировки, и все тут. Наливает продавщица в стакан газировки и говорит усмешливо:

— Ну, чего солдатик уставился? Своих не узнаешь? — и тут же мокрый стакан уронила: — О-ой,

Коляша! О-о-ой!..— и рухнула на своего содетдомовца большим, мокрым фартуком прикрытым телом.

Торговлю Туська прекратила, тележку куда-то свезла и всю компанию Коляшиных друзей увела с собой.

Жила Туська с мужем и полуторагодовалым парнем Мишкой в одном из тех самых окраинных домов, из которых были выселены и увезены на Урал, в Казахстан и в Сибирь их хозяева. Муж Туськи, мертвецки пьяный, спал в старой гимнастерке с медалями и орденом на кровати. Одеядо, брошенное сверху, круто опадало на храпящем обрубке.

— Спит красавец мой, — вздохнула Туська, — и горя не ведает. Без ног он у меня, в госпитале сошлись. Там и сына сотворили. Я при госпитале по мобилизации прачкой работала. Пришла пора рожать ехать, а куда? Тут агитировать начали — осваивать новые районы. А они, новые-то, старше старых оказались...

Туська позвала за собой Коляшу на двор и там, собирая картошку, рассыпанную по полу сарая, где еще остались три курицы да петух — остальную всю живность переселенцы приели, — Туська указала на сложенный, точнее, в угол сарая сброшенный хворост из сада, сказала, чтоб Коляша набрал дров, продолжая повествование о своей тревожной и невеселой жизни. Муж ее, Гурьян Феодосьевич, из хорошей в общем-то, крепкой семьи, но семья та рассеялась, деревня под Брянском сгорела вся, и они вот клюнули на подачку, как и другие русские люди, кто от бызыходности, кто от жажды пожить на дармовщину. Гурьян спервоначалу сапожничал, но чужая сторона, да и изба чужая не греют, и он принялся греться зельем. Приехали осенью — фруктами земля завалена, зерно в амбарах, добро в кладовках, овощи в подвалах — все для жизни трудом добыто, на зимовку приготовлено. Первое, с чего начали переселенцы жить, — с самогонки, с закладки фруктов на вино из падалицы. Гурьян совсем разбаловался, работать перестал, зачастили к нему делеги из доблестного конвойного полка, тащат манатки, золотишко, серебряную утварь — выселяли они раньше деревнями, теперь целые районы гонят. Грузят да увозят. Прежде давали людям собраться, хоть чего-то необходимое взять с собой. Ныне дают час на сборы и, как скот, табуном на станцию. Но многие мужики разбежались по лесам, нападают на военных, вырезают переселенцев. И Гурьяну уже

записка была: коли не уедет, зарежут его вместе со всей семьей.

— А я вдругорядь беременна, а первенец еще мал, муженек запивается-заливается, местные на нас волками смотрят. И правильно. Чего явились-то? Чего на чужое добро обзарились?

Уже и дров набрали, и Туська в дырявый детский горшок яиц насобираала. Помогавшая по дому украинка Гапка с цыганскими ухватками кликала Туську.

— Да сейчас я, сейчас. Дай поговорить с человеком! — досадливо отмахивалась Туська и, отведя глаза, молвила самое главное: чтобы Коляша при первой же возможности рвал из своей части, пока его не повязали по рукам и ногам, пока в конвое не побывал.— Они ведь, ваши-то вояки, чего не доберут в деревне, у селян, после отрядами вооруженными туда ездят и тащат добро всякое, конвойные же в дороге гонимых людей шерудят, последнее у них отнимают. Тут настоящая война идет, клеймят Бендеру и его сподвижников, но сами же зло здесь породили, в страхе живут, и мы тут страху набрались. Уезжай, убегай, Коляша, уезжай как можно живее, пока в конвой не назначили, не испоганился пока... Да иду я, иду! Они ведь,— уже на ходу закончила торопливо Туська,— если в пути не будешь по-ихнему поступать — в пай не войдешь, под колеса поезда бросят.

Крепко солдатики посидели в гостях. Муж Туськи, Гурьян Феодосьевич, готовясь к будущей мирной жизни, на баяне играть обучился — оказывается, специальный кружок для инвалидов при госпитале существовал, вот как родина о своих болезных сыновьях заботилась: музыке обучала, к хлебному месту определила.

Ах, как они пели под баян, как пели! И плясали!.. Туська, платочком махая, в отчаянии била дробь, ободряя мужа, выкрикивала в госпитале выученное: «Ох, мать, моя мать, разреши Гурьяну дать. Гурьян безногий человек и не видал ее вове-ек!»

Где та мать Туськина? В какой мерзлоте покоится? Туська и не помнила ее. Она детдом помнила, помнила, как Коляша сказки сказывал и, лепясь мокрыми губами в его лицо, брызгала слезами:

— Братик ты мой, братик! Коляша ты мой, Коляша! Куда ты задевался? Везде тебя искала. Тебя искала, Гурьяна нашла... «Эх ты, Гурьян! Гу-у-ляй, Гурьян, да ложись в бурьян, как домой придешь, в бурьяне меня най-

дешь!» Брошу я его, брошу, окаянного. Не хватат моего сердца всех-то жалеть, не хвата-а-ат.

Проснулся Коляша Хахалин за печкой, на теплой лежанке, в обнимку с той самой молодухой Гапкой. Она насадила ему синяков на шею страстными поцелуями, губы искусала так, что скрыть улики не удалось, и его за само-волку, за моральное разложение снова отправили на губу. Знакомая со многими солдатами конвойного полка, дважды туда проникала Гапка, приносила сала, картошек и цибули, сулилась как-нибудь и самогону принести, под-поить постового и добровольно остаться на губе.

Но однажды четверем разгильдяям, прозябающим на гауптвахте, возвратили пояса, обмотки, выдали оружие и под командой капитана Ермолаева, имеющего два ряда орденов и много дыр на теле, добывающего срок до демобилизации, отправили за картошкой в село, дорогу в которое капитан знал, потому как состоял при отделе снабжения полка, и полк тот съедал за сутки не менее кузова картошки, много пшена, кукурузы, комбижиру и всякого прочего добра. Словом, как выразился капитан Ермолаев, явно недолюбливающий полк и его обитателей, — жрут, срут, крохоборничают. Он внимательнейшим образом оглядел вверенную ему четверку, убедился, что все они бывшие фронтовики.

— По коням, орлы! — сказал и полез в кабину, добавив, что могут их и обстрелять в пути, так что лучше лечь в кузове на солому, башки не высовывать, на двор не проситься — остановки нежелательны.

Шофер машины, расплывшийся от харча, явно не казенного, ныл:

— Опять я! Опять я! Некого акромья меня нарядить, некого? В этаку даль, на вечер глядя... Район-от самый опасный...

Капитан рыкнул на шофера, лязгнул дверцей, и скоро они уже пылили по украинским просторам, меж осенью полуубранных, потемневших полей пшеницы и рассыпанного, что горелый лес, будыльями торчащего, накрест палого подсолнуха. Кукурузные поля, обнажив гниющие початки, шелестя, сорили драными лохмотами. Птицы всякой тут паслось — тучи, иные вороны так обожрались, что и взлететь не могли, лишь отбегали с дороги, махая крыльями.

Приказом капитана — лежать и не дрыгаться — солдаты, недавние фронтовики, пренебрегли — экие страхи

после фронта-то! Обстреляют! Ну и они в ответ дунут из автоматов, новеньких, свежесмазанных, с полными дисками. Да еще у ханыги того — шофера — «дегтарь» есть в запасе. Попробуй, тронь.

Название села, в которое они устремлялись, врубилось в памяти навсегда — Подкобылинцы. Село стояло хорошо, лицом к полям, дворовыми постройками к лесу. По селу, разделяя его на две части, текла, перехваченная плотинкой, лесная степенная речка, вычесывая зубцами каменьев из леса к домам и в поля спутанные кустарники, порскнувшие серьгами, и крылато раскрывающееся листвою чернолесье, вербач, краснотал. Плакучие ивы, там и сям нежно засветившиеся, мочили гибкие космы в прудках, гоготала многоголосо плавучая птица, насорившая всюду столь много белого пера, что туманцем зелени покрытые берега прудков, узко от них поднимающиеся переулки, были словно бы припорошены снегом.

Дома под черепицей и «пид бляхой», строенные основательно, сплошь почти на каменном фундаменте, окружали собою упористо стоящую церковь и кирпичный многоэтажный дом, должно быть школу. Дворовые постройки — из толстых, во всю длину рубленных бревен, крытые то тростником, то соломою, круто взмывали в небо. Сами дворы вымощены плахой или каменными плитами, не огороженные сады, сомкнувшиеся меж собой, подступали к хорошо сохраненному сосновому бору с подбоем ельника, местами, как бы нечаянно, яблоньки забредали в него и зацветали в затени припоздало, торопясь, однако, союзно с родным садом покрасоваться, опасть цветом и успокоиться завязью плодов.

Коляша еще и еще плевался, вспоминая самую брехливую на всем свете пропаганду о том, как в нищете погибали, обобранные панами, никем не призретенные украинцы и белорусы. Больше всего, помнится, поразила детдомовских ребят спичка, которую угнетенные, ограбленные народы вынуждены раскалывать на четыре части, чтобы хоть как-то разводить и поддерживать огонь в печах. Ребята пробовали раскалывать спички на четыре части, но даже английские спички кололись всего лишь на две части, советские же, из города Кирова, вовсе ломались. Бедные, бедные народы западных областей Украины. Как же вы ликовали, шапки мохнатые в воздух подбрасывали, когда вас освободили и подсоединили к сияющей от счастья советской стране, где черная тарелка на промерзлой детдомовской стене, над всеми переселенческими бараками каж-

дое утро задорными голосами извещала: «На свете есть страна такая, где нет ни рабства, ни оков, над ней, весь мир лучами озаряя, горит звезда большевиков».

Первые колебания в сердце Коляши произошли, как только углубился он с войском на Украину, в земли ее, воистину тучные и родовитые. На Сумщине в беленых хатах земляной пол, скамья, прилепленная к стене, голый стол, скриня, стало быть, ящик пузатый, иконка или портрет вождя в переднем углу, увенчанный медяковым, деревянным рушничком, и неперменная всюду мощная кварта — половина медной артиллерийской гильзы с запаянной дыркой пистона на дне и с припаянной железной ручкой, часто из черной проволоки. За хатой захудалый садочек, кем-то обглоданный, два-три глиняных глечика на сгнивших палках тына да кринка с отбитым краем. И забитость, страшная забитость нуждой и страхом униженных людей, чисто и виновато улыбающихся. Двести — триста километров прошли — все то же, все то же. Покраше и побогаче сделалось в гоголевских местах — Опишне, Катильве, Миргороде, затем снова бедная опрятность и приниженность. Но местами и опрятность уступала заброшенности, сиротству, какому-то беспросветному опущению земли и душ человеческих — махнули рукой на себя украинцы, грабленные и битые советами, окончательно ограбленные и почти добытые оккупантами.

Но ближе к границе пошли земли ухоженной, люди и селяне бодрей, вдоль старой границы и богатенькие даже. «Агитпункт!» — вспомнил анекдот Коляша. Это значит, когда Иван — ударник труда на небо попал, ему за одними воротами показали накрытые столы, с вином, с закусью, пляшущих голых девок, изнемогающих в истоме, музыка, цветы. У других же ворот сплошь часовые да во всю стену надпись: «Предъяви документы!» Дурак, что ли, Иван-то, не видит, что ли, где лучше. Выбрал, конечно, то помещение, то место, где бабы и вино. Но только вошел туда — его цап-царап и под темные своды уволокли да голым-то задом на раскаленную сковороду. Иван орет: «И здесь об...ка!» А ему вежливо: «То был агитпункт».

В Подкобылинцы они въехали еще засветло и устремились к правлению колхоза, но в глухом переулке, высоко выложенном обомшелым камнем и поверху поросшем терновником, стояла женщина, раскинув руки. Машина остановилась. Женщина бросилась к капитану, панически выдыхая:

— Уезжайте! Немедленно уезжайте! Там,— показы-

вала она за село, в сады, — там живьем сожгли подполковника с сержантом. Самостийщики напились и спят, но вечером пойдут по селу — резать и убивать активистов. Я ухожу, сейчас же ухожу. Я учительница здешняя, — догадалась она пояснить на ходу. — Подполковник ездил ко мне, мы собирались пожениться... Может, вы их похороните, а?..

Женщина выглядела полубезумной, старой, может, из-за черной шали, накинутой на голову, на самом же деле ей было чуть за двадцать, но яркая, вроде бы чужая седина прочеркнула надо лбом ее каштановые волосы. Приказав шоферу тихо и медленно следовать за ним, капитан Ермолаев с пистолетом в руке шел за учительницей. Она, словно бы по горячему-горячему ступая, мелко перебирала ногами: «Скорее! Скорее!»

— Перебьют же нас, перебью-у-ут! — скулил шофер, высунувшись из кабины. — Уезжать надо, уезжа-а-ать!..

Подполковника и его ординарца прихватили проволокой к бамперу «виллиса», выпустили из бака бензин и бросили спичку. Под осевшей на диски машиной еще курилась земля, обгорелые до головешек, скрюченные огнем, люди скалились белыми зубами в какой-то дурашливой и одновременно сатанинской усмешке.

Головешки-людей забросили в кузов и по дороге, идущей вдоль леса, рванули из села Подкобылинцы. Не попадись на их пути еще одна вскипевшая речка, так бы под укрытием леса и ушли или дождались ночи.

Но пришлось искать мостик. Как только из полей и кустарников машина выскочила на бугорок, к виднеющемуся в ложбине мостику, сложенному из разъезженных, щепьем сорящих бревешек, от полуразваленной среди поля скирды соломы ударил пулемет.

Солдаты сыпанулись из кузова. Капитан Ермолаев с шофером залегли по другую сторону машины, за колесо. Пулемет больше не стрелял. Солдаты пояснили: бендеровец боится, дымок из пулемета виден, да и скирда заметна — теперь он будет ждать, когда из села к нему на подмогу приедут или прибегут братья.

— Счас, ребята, главное в ложбинку, к мостику спуститься, главное, машину не дать поджечь, там мы этого стрелка заткнем, за-аткне-о-о-ом... — спокойно, деловито сказал капитан: — По местам! Оружие к бою.

Но как только солдаты высунулись, от скирды снова ударил пулемет. На этот раз угодил по кузову машины, вышиб щепки.

— Нич-чего-о, орлы, ничего-о, бывало хуже. А ну-ка, ты, герой, пулемет из кабины сюда, ко мне.

И тут обнаружилось, что шофер, герой этот из конвойного полка, пребывает в невменяемом состоянии. Он рыл ногтями землю за колесом машины, вышлепывая мокрыми, грязными губами: «С-споди сусе, с-споди сусе!..»

Капитан Ермолаев глубоко втянул ноздрями воздух и потрясенно произнес:

— Да он же обосрался! — словно не веря себе, еще раз втянул воздух и совсем сраженно молвил. — В самом деле! А-ах, ты, с-сука! Ах ты, тыловая крыса! — взревел капитан Ермолаев и принялся долбить пистолетом паникера по башке, и забил бы он его до смерти, солдаты не дали. — Счас же, счас же в кабину, гад! Счас же!

Шофер не понимал командира, смотрел глазами, какие бывают при столбняке, не слышал, не воспринимал слов, кровь текла по лбу, по вискам шофера, но он ни боли, ни крови не чуял.

— Р-ребя-а-ата! — простонал капитан, — мы же пропадем, если машину в ложок не спустим. Пропаде-о-ом! Я тя, мразь, добыю!..

— Капитан, капитан! — очурал капитана Коляша Хахалин, перехватывая руку с пистолетом. — Давайте я попробую.

— Ты, ты можешь?! — воззрился на него капитан Ермолаев. — Ты, ты... — он не мог ни чувств своих, ни мыслей выразить, да и соображал от испепеляющего его гнева худо.

— Тело доведу, за душу не ручаюсь.

Коляша приказал сотоварищам двигаться за укрытием машины, сам же ползком забрался в кабину, лежа на спине, снял с крючка и выбросил воякам пулемет, сказав, что, когда «схватит мотор», шуранули чтоб очередь в скирду.

— Я сам! Я сам! Я был пулеметчиком, — торопливо откликнулся капитан.

Мотор, как в Бердичеве, на кожкомбинате, завелся от стартера с первого же прикосновения. Коляша отжал педаль сцепления и попробовал включить скорость. И, слава Богу, сразу же попал в канавку второй скорости и деликатнейше, осторожней осторожного, чтоб не заглохло, начал опускать педаль и со счастьем в сердце, какого не знаять ему больше, почувствовал, что машина сдвинулась с места, набирая разбег, пошла под уклон. Мостик был горбат, Коляша, боясь промазать, вырулил машину на

середину его. На мостике машина заглохла, укрощенно сползла назад и замерла.

Капитан, волоча в одной руке сочащийся дымом из рожка пулемет, другой волок и пинал извоженного в крови и в грязи шофера.

— Все, что я мог, совершил. В гору мне уже не выехать,— сказал Коляша,— класс не тот. Дальше ехать ему,— кивнул он на шофера,— распоряжайся, командир.

— Прежде всего надо заняться пулеметом. Я не подавил его. Он нас отсюда не выпустит. Что «дегтярь» против фрицевского эмка? Там пятьсот патронов, тут сорок восемь. Значит, так, солдат. Николаем, вроде бы, тебя зовут? Ты эту падлу перевяжи и вели ему из штанов вытряхнуть. Ты, солдат, умеешь управляться с этой штукой? — тряхнул он «дегтяревым». — Значит, на высотку с пулеметом и диском, с последним диском. О-о, мордороты! О-о, твари! Как они в тылу-то разбаловались — два диска к пулемету. Пали экономно. Отвлекай. Мы вдвоем в обход. Судя по стрельбе, в скирде сидит зеленый или пьяный самостийщик, помощь к нему не торопится...

Вояка в скирде и в самом деле оказался неопытным.

— Совсем парнишка,— мрачно буркнул возвратившийся капитан, забрасывая в кузов машины немецкий пулемет.— Отцы — тоже молодцы: напились и по хохлушкам разбрелись, мокрогубого хлюпика в дозор...

Машина не заводилась. Капитан Ермолаев сказал шоферу, что добьет его, бздуна, приставил пистолет к замотанной белой тряпкой голове шофера. Машина тут же завелась.

В связи с этим Коляша вспомнил, что во время боевых действий в их бригаде не было случая, чтоб мотор у кого забарахлил, зажигание прерывалось, горючее засорялось,— как швейцарские часы, работали не только иностранные, но и отечественные машины, ко многим «ЗИСам» и «газушкам» шофера своими силами прикрепили вторую ось, аккумуляторы где-то усиленные добывали и подсоединяли, чтоб отечественная машина заводилась, как иностранная, и не отставала от колонны, особенно в период драпа. Случалось выдергивать орудия из-под огня, шпарить во всю мощь под бомбежками и при безвыходном положении врубать свет во все фары, случалось, и стреляли немцы по свету-то, разбивали фары, подбивали и зажигали машины, убивали водителей. Война. Тут уж кто кого. И всегда со смехом, качая головой: «Во, дураки

были!» — вспоминала шоферня, как ехала, трюхала бригада, да и вся дивизия из Калуги на Оку. Про лихого водителя Коляшу Хахалина сочинены были целые былины и легенды, так что, когда случалось герою слышать всю быль и небыль о себе, он, и сам большой вральман и выдумщик, от души смеялся вместе с народом, да еще и добавлял юмору в рассказ, потешая народ, пел под гармошку достопамятные детдомовские свои сочинения: «Вот мчится тройка, один ло-о-о-ошадь, не по дор-роге, по столбам, а колоко-о-о-ольчик оторвался — звени дуга, как хочешь сам...»

Встали на колени вдоль бортов, взвели оружие. Капитан Ермолаев тоже залез в кузов, положив на борт трофейный пулемет, опустил на солому две гранаты, добытые у скирды.

— Вонь от этой гниды невозможная! Во-о, герой! Во-о, тварь!.. Трупы нечем прикрыть? Хоть соломой прикните...

Шофер все еще был не в себе. Машина шла, виляя, чуть не свалилась с мостика.

— Добью я тебя, добью засранца! — стучал пистолетом в кабину капитан.

Поняв, наконец, что гибельное село Подкобылинцы осталось позади, что в городе ему спасенье, шофер погнал машину, не щадя ни живых, ни мертвых. Прошмыгнули поля, перелески, пригородные сады, в город ворвались, на всех парах влетели в ворота конвойного полка, и машина замерла в изнеможении среди двора. В кузове, тошноватосладко припахивая горелым мясом, разбросанно валялись в сбитой соломе трупы, у которых от тряски и подбросов на ухабах да в рытвинах поотламывались черные руки, раскрошились пальцы на ногах.

— Ну, что ж, — уже спокойно, почти задумчиво произнес капитан Ермолаев, — пойду докладываться... Подполковник-то ведь был начальником штаба этого distinguished полка. Он и надыбал подвалы с картошкой в Подкобылинцах... Идите в казармы. Помойтесь. Поспите, если сможете. Пока, — и каждому из нечаянных спутников пожал руку.

Шофер из машины не показывался.

— Застеснялся, — усмехнулся капитан Ермолаев. — Застенчивый какой!

Спустя неделю, Коляша Хахалин сыскал в офицерском общежитии капитана Ермолаева, сказал, что рана у него сочтется, попросил помочь ему уйти в госпиталь. Капитан пообещал похлопотать за солдата, сказав, что и сам при

первом удобном случае уберется с этого поганого места, с этой, пусть и не по своей воле, по-черному развоевавшейся стороны.

Капитан не сказал солдатам, но они скоро узнали, что у начальника штаба конвойного полка была военная жена, ребенок, и голову он морочил учительнице насчет женитьбы — вот Бог его и наказал: нельзя врать и грешить в огне — за это кара особая.

Капитан Ермолаев вошел ли с просьбой в высокие военные органы-сферы, само ли командование конвойного полка, надсадившись с нестроевиками, погружаясь на дно от балласта, перегрузившего этот, совсем не плавучий, давно подгнивший корабль, начало разгрузку, ведь полк укомплектован, жрет хлеб и картошку, но работать, значит, заниматься выселением западноукраинского населения и конвоированием его в далекие края некому. Хитрованы из разных сворачивающихся частей и военных служб, не зная, куда девать увечных вояк, рассовывали их по тыловым частям — до приказа о демобилизации. Если в конвойных ротах по три видящих глаза на двоих, по четыре действующих руки и здоровых ноги на троих и дело до припадочных дошло — окружай этой грозной силой, выгоняй из лесов народ, воюй, погружай в эшелоны. Доходяги-то к тому же долг своей воинской считали перед родинной выполненным. Всячески уклоняются от поганого дела, не желают в себе возбудить праведный гнев против самостийного отребья, норовят к переселенцам, в окраинные поселки смыться, пьянствуют там, в контакт с подозрительными лицами вступают, нередко в половой. Из-за Гапки Коляшу Хахалина разочка два уж волочили в какой-то отдел — на беседу. Намекают, да и сам он вскорости догадался: Гапка, пролаза, оставлена для надзора за своей хаткой и хозяйством, не исключено, что и связной является у лесных братьев — уж больно шустрит вокруг конвойного полка, иногда и проникает в него. Результат — двинут военную силу «на операцию», окружат село, но в нем никого нету — ни людей, ни скота, ни живота: кем-то предупрежденные селяне уходили в леса.

Одним словом, в конвойный полк нагрянула представительная медкомиссия и добраковала тех вояк, которых, борясь за положительный процент восстановления, отсылали в строй, часто и в боевые ряды. Сбыли из госпиталей семьдесят процентов, — отчитываясь за свои гуманные, праведные дела, похвалялись впоследствии медицинские

военные воротилы, — сбыли с сочашимися, как у Коляши Хахалина, ранами, нередко после трех и даже четырех ранений. Бог трижды и четырежды пощадил человека, но передовая медицина, борющаяся за процент, сильнее, беспощадней, неумолимей Бога.

Гришу из Грицева отправили-таки домой, немало симулянтов, как именовали в полку нестроевиков, признали годными к конвойной, безобидно-легкой службе, и этих-то, войной надшибленных вояк, оберегая свои шкуры, заправили конвойного полка станут бросать на самые опасные операции. Недобитые, калеченые нестроевики погибнут уже после войны, в ковельских и других украинских лесах, ведь до пятидесятых годов растянется здешняя, от всех своих, братских, и чужих, не братских, народов скрываема-я война. Совсем ли она утихла — никто и по сей день сказать не может.

В результате перемен в судьбе Коляша Хахалин с Жоркой-моряком крепко покружились по Украине, пока не попали в город Львов. Коляшу уже заносило военным ветром во время наступления во Львов, и тогда и ныне он ему казался холодно-плесневелым, мрачным, равнодушным городом — не то от вековой усталости и неволи, не то от скрытой окаменелой надменности. Собранный с миру по камешку и черепичке, он был и мадыарским, и еврейским, и польским, и украинским, еще и чешским городом, составленным из многих стареньких, зябких городков, невесть откуда и зачем сбежавшихся вместе, невесть какой народ и какую нацию приютивший.

Коляша с Жоркой-моряком угодили в многолюдный загон, охваченный забором и колючей проволокой в три ряда, с вышками по углам, на которых дежурили самые настоящие охранники, с самым настоящим оружием. В загоне было три барака, без нар, с прорванными толевыми крышами, с пошатнувшимся в отдалении сортиром без дверей, возле которого все время томилась очередь, с медпунктом, из которого было украдено все, что можно украсть.

В медпункте, выгнав фельдшерицу, на двух топчанах спали какие-то блатные паханы, бежавшие с фронта, из лагерей ли. Бендеровщина, урки, бродяги, ворье — всякая нечисть, собранная на вокзалах и в подвалах, — украинцы, поляки, русские, мадыары, румыны и еще какие-то нации — такое вот население сгребли в загон. Маленькая полупьяная комиссия из военных представителей неторо-

пливо сортировала этот сброд: кого обратно в армию, чаще в штрафбат, кого на работы, кого в тюрьму, кого в госпиталь, кого в больницу, кого в гарнизон — дослуживать, реденько-реденько — до дому, до хаты снаряжали вовсе дошедшего человека, чтоб он помирал в родном месте.

У Коляши и Жорки-моряка отобраны были только направления «в распоряжение львовской комендатуры», откуда их, не говоря лишних слов и не разбираясь, кто они и откуда, под конвоем сопровождали в загон, под конвоем же ввели два раза в день в столовую — поест горячего. Нечего сказать, удружил им капитан Ермолаев!

Пока не простудились, пока не подцепили дизентерию или еще какую заразу, пока вовсе не обовшивели, решили Коляша с Жоркой-моряком покинуть загон.

Все было задумано и сделано в расчете на хохлацкую тупость — вокруг загона дощатый забор, увенчанный колючкой, и одни ворота, состоящие из двух створок, при входе и выходе строя с территории загона ворота распахивались настезь. Возвращаясь из столовой в конце неровного, шаткого строя, Коляша встал за одну створку двери, Жорка-моряк за другую. Пухломордый хлопек с винтовкою, пропустив строй, выглянул за ворота и: «Нэма никого?» — спросил или закончил он и, взявшись за скобы, со скрипом закрыл ворота, да еще и закрыл изнутри.

Жорка-моряк пошел влево, Коляша Хахалин — вправо. Сделав небольшой круг, друзья сошлись в мрачном переулке и подались на станцию, где, миновав военные составы и кордоны, забрались в глубь длинной ржавой турбины, погруженной на двух платформах, везомой из Германии в качестве трофея.

И покатили солдат с моряком вперед, теперь уже на восток. Две пайки хлеба, упрятанные в столовой, фляга воды, там же налитая, дали им возможность продержаться почти сутки, и отъехали они изрядно от постылого города Львова. Но необходимость делать хоть изредка разного рода отправления выжила беглецов из турбины на узловой станции.

На станции той с почти революционным названием — Красная — стоял эшелон с моряками Дунайской флотилии. Моряки продолжали довольно бурно праздновать День Победы, пропивая прихваченное за границей имущество. Они побили и рассеяли станционную мало-мощную комендатуру, овладели пристанционным ларьком и вокзальным буфетом. Боевые моряки уже давненько

стояли на запасном пути, так как приказом из военного округа эшелон подвергся аресту, и какая ждала его участь, никто не знал и об дальнейшей своей судьбе не задумывался.

Жорка-моряк быстро сошелся с корешами, попил, побеседовал, даже сплясал «яблочко». Из ворохом сваленных на путях и на перроне заграничных чемоданов, узлов и мешков выбрал сподручный чемоданчик с жестяными угольниками и сказал, что надо отсюда нарезать скорее, так как из Львова, сказывали железнодорожники, движется комендантский отряд, и тут будет бой — моряки-то двигаются на восток с оружием. Беглецы-доходяги удалились от мятежного эшелона и стали ждать проходящий поезд. Поезда по Красной шли без остановок, лишь сбавляя ход, этого бравому моряку Балтфлота и солдату, многаяжды бегавшему по фронту то за врагом, то от врага, вполне достаточно, чтобы сигануть на подножку двухосного вагона. Солдат Хахалин хром все же и завис на подножке, но боевой товарищ, как ему и положено, не оставил напарника в беде, за шкирку втащил негрузное тело напарника наверх. Обнаружилось — вагон гружен коксом и на коксе густо народишку, едущего все больше из заграничных земель, заявляют дружно, что из плена возвращаются. Заморенный, напуганный, малоразговорчивый народ, на мародеров и дезертиров мало похож. Напугавшись поначалу военных, народ, большей частью бабенки, вступили с ребятами в разговоры, расспрашивали, что и как сейчас в России, плакали, рассказывая о мытарствах своих и муках на чужбине. Так вот, союзно, в пыльных коксовых ямках, без помех доехали до станции Волочиск — старая наша граница, проверочное здесь оказалось чистилище.

— Пр-р-раве-ерочка! — раздалось снаружи, из темноты.— Выходи из вагонов! Вылазь из затырок. Все одно найде-ом!

Стеная, ругаясь, дрожа от страха, разноплеменный люд, роняя и рассыпая барахло, вылазил из эшелона. Кто не отвык еще от немецкой дисциплины, тот положил манатки к ногам, кто взрос при советах и не забыл еще про это, сыпанул врассыпную, подлезая под вагоны, устремлялся вдаль, на волю. Засвистели, забегали военные, где-то у выходных стрелок харкнула огнем винтовка. Одни военные трясли ремки и проверяли документы у тех, кто добровольно подверг себя осмотру, другие военные, большей частью нестроевики, обшаривали вагоны. Наткнув-

шись на беглецов, уютно разлегшихся на коксе, сержант, сопровождаемый двумя автоматчиками, поинтересовался, кто такие?

— Не видишь, что ли?

Шевеля губами, сержант читал госпитальные документы, справки, листал красноармейские книжки. Наткнувшись на слова: «Последствия контузии, выражающиеся в приступах эпилепсии, остеомиелит»,— и думая, что писано про какую-то заразу, сержант опасливо начал озираться, искать пути отступления.

— Это че такое?!

— Припадочные мы.

— Н-но! — и сержант закричал с облегчением, высунувшись из вагона: — Товарищ лейтенант! Тут госпитальники, припадочные, эпилепсия написано. Дак че, забирать?

— Только припадочных нам и не хватало!

Далее они ехали медленно, свободно, отдыхая. В трофейном чемоданчике оказался ровнехонько сложенный кусок шелка в милых синеньких незабудочках. Жорка-морьяк сбыл его грабителям-перекупщикам на какой-то станции за пять тысяч рублей. Купили хлеба, сала, вареных картох, черешню и целую аптечную бутылку слабенького сливового вина, заменявшего беглецам воду и чай. Они даже умылись сливовым вином. Денег оставалось еще много, более трех тысяч. Друзья чувствовали себя панями и по-пански устроились в кабине трактора, на эшелон, груженный исключительно дорожной и сельскохозяйственной техникой,— охранник пустил на платформу-то — помогали госпитальные бумаги, в которых слово «эпилепсия», да и кривая нога Коляши действовали на проверяющих неотразимо. Охранник с платформы даже и вином не польстился, сказав, что такую коровью мочу не потребляет. В какой-то кабине у него был затаен целый ящик заграничной самогонки под названием «виски», и, не смотря, что крепости она оглушительной, солдат пил ее кружкой, заедая консервой и фруктами. Ребята для приличия поддерживали компанию, но Жорка-морьяк побрякал себя кулаком по голове — не выдерживает, мол, контуженая голова такого изысканного напитка.

Жора звал Коляшу ехать в Горьковскую область, в большое село на Волге, где есть эмтээс, маленькая пимокатная фабрика, пристань, два колхоза — без работы не останутся.

— Нет, Жора,— со стесненным сердцем выдохнул Коляша,— сам себе я сделался в тягость, не хочу больше

никого загружать собой. Ты в случае в припадок грохнешься, мне с кривой ногой быть в беззаконии. Я где-нибудь в пересылке, в нестроевой ли части залягу, и ничем уж меня оттудова не поднять будет до демобилизации. Я устал, Жора. От войны устал. От военных морд. Рана моя загрязнилась, сочится, кость, видать, гниет.

Рейд по Украине подходил к концу — печальный разговор завершал его. Приближалась станция Винница. Коляша решил сдаться властям.

— Скажи, Коляша, это ты добился, чтоб капитан нас вытурил?

— Я, Жора, я. Не хотел поганиться сам, не хотел, чтоб и ты испоганился в той червивой помойке.

— Да-а, уж из помоек помойка. Я сперва недоумевал: воротятся из конвоя храбрые вояки, в столовую не ходят, держатся шайками и все чего-то шушукуются, прячут, шмыгают по базару. Потом усек...

— Они, Жора, уже знают, с каким офицером надо идти в поход и пожитьяся. А бабы! Бабы — стервы! В чужое тряпье вырядились, чужое золото понацепляли. Эт-то сколько же они лихоимства и заразы в Россию понавезут?

Подразделения военных молодцов, вооруженных до зубов, пустив впереди броневики, где и до танков дело доходило, оцепляли десяток деревень, «зараженных» бендеровщиной, в почти сгоняли население в приготовленные эшелоны, да так скороспешно, что селяне зачастую и взять с собою ничего не успевали. Если при этом возникала стрельба — села попросту поджигали со всех концов и с диким ревом, как скот, сгоняли детей, женщин, стариков, иногда и мужиков на дороги, там их погружали в машины, на подводы и свозили к станции, чаще — к малоприметному полустанку. Погрузив в вагоны, первое время везли людей безо всяких остановок, при этом истинные бендеровцы отсиживались в лесах, их вожди и предводители — в европейских, даже в заморских городах. Во все времена, везде и всюду, от возбуждения и бунта больше всех страдали и поныне страдают ни в чем не повинные люди, в первую голову крестьяне.

— Ты знаешь, Жора, насмотревшись на этих паскудников, я поблагодарил судьбу за то, что она не позволила мне дойти до Германии. Представляешь, как там торжествует сейчас праведный гнев? Я такой же, как все, пил бы вино, попробовал бы немку, чего и спер, чего и отобрал бы.

— Ох, Коляша! Чтобы испоганиться, как ты видел, неча и за кордон ходить, — и после долгого молчания еще произнес Жора: — Пропадешь ты, однако. Зачем одному человеку столько ума, таланту, доброго сердца, да еще и совести в довесок?..

— Половину ума и памяти мне, Жора, отшибло еще на Днепре, так что осталось в аккурат. Кроме того, мне от детдома досталось хорошее наследство — умение придуриваться, и ты придурь мою за ум принял.

На станции Винница моряк Жора все порывался отдать Коляше деньги — домой, мол, еду, зачем они мне. Взяв три сотни — на первый случай, Коляша обнял друга и, чувствуя, как у того заприплясывали губы, начал кособочиться, корежиться Жорка-моряк, похлопал по его исхудалой от приступов спине.

— Ну-ну, без дури у меня! Пить перестанешь — припадки пройдут. Заведешь бабу, кучу детей натворишь еще...

— Дак не давай жизнешке себя в угол загнать.

— Не дам, не дам!

Глазом опытного скитальца Коляша определил, где река, пошел к ней, перебрел на зеленый уютный остров среди города Винницы — на реке Буг было не перечесть их, развел костер, вымылся в речке с мылом, постирал белье-амуницию.

Вечером к костру из тьмы мироздания выбрела любопытная утка, да такая жирная, что тендер у нее волочился по траве. Она сказала: «Кряк-кряк», — дескать, созрела я, готов ли вот ты, солдатик, попользоваться мной?.. Коляша поймал утку, свернул ей покорную шею, ощипал и зажарил птицу в углях, да и съел тут же половину. На другой день, дождавшись, когда подсохнет одежда, поскреб трофейным лезвием, вставленным в расщепленный сучок, усы, бороду, пришил подворотничок к гимнастерке, медали надраил, подвинтил орден Красной Звезды и неторопливо отправился искать комендатуру.

Коляша топал по уютным, почти не тронутым войною улицам города Винницы, где совсем недавно бывал Гитлер, хотел увидеть что-либо, оставшееся от фюрера, но ни одной приметы, даже вони его нигде не ощущалось — такова, видать, судьба всех пришельцев — земля сама, вроде бы, с потаенной стыдливостью отторгает и стирает их следы.

В комендатуре было так людно, дымно и шумно, что Коляша поначалу ничего не мог разобрать: где власть, где посетители и, чтобы как-то вжиться в обстановку, оглядеться и сориентироваться, сел в угол на прибитую к стене скамейку.

На откидной барьер, сделанный наподобие сельмагов или почты, навалилась военная публика. У каждого военного горсть документов, у каждого неотложное дело, необходимые просьбы и всякая докука. Лейтенант с орденскими колодками и с планками о ранениях, потный, взъерошенный и выветренный, что прошлогодняя еловая шишка, что-то у кого-то брал, смотрел, читал, передавал документы старшему сержанту, заносившему какие-то данные в журнал, но чаще возвращал бумаги, отстраненно бросал: «Ждите!», на минуту прислонялся спиной к давно не топленной голландке с сорванной дверцей, призывал издадека безразлично и монотонно: «Не торопитесь. Успеете на тот свет. В очередь, в очередь!..»

Чувствовалась напряженность, даже внутренняя перекаленность и страшная зоркость этого человека. Вот лейтенант зацепил взглядом в толпе мордатого сержанта в комсоставском обмундировании, с узкой портупеей через плечо, с медалью «За боевые заслуги» и значком какого-то года эркака. Сминая публику, будто использованные сортирные бумажки, сержант устремлялся к барьеру, пер на власти. Лейтенант отбросил себя от голландки, принялся смотреть, читать, проверять бумаги, отдавать их на регистрацию или возвращать, роняя: «Подождите. Минутку терпения». На сержанта, оседлавшего барьер, почти перелезшего через преграду, лейтенант не обращал никакого внимания. Выбирая из протянутых рук, будто на митинге солидарности или протеста, листовки и прошения, он как бы ненароком обходил кулак сержанта, словно брюквенную садовку в огороде, к еде не пригодную,— с нее только семя, да и то не скоро.

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! — уже в самый нос лейтенанту тыкался кулак с зажатými в нем бумагами.

— Ты куда прешь, морда?! — отстраняя кулак, сталкивая сержанта с барьера, рывкнул лейтенант.— Тебе здесь базар?! Барахолка?!

Сержант осел, ступешевался, впал в растерянность. Публика, усмехаясь, смотрела на него — что, выкушал?! Тут, брат, власть, военный порядок! Молчаливой солидарностью, негласным союзом с властью и отчуждением от

повергнутого просителя каждый клиент надеялся на снисхождение к себе.

Но сержант был не из таковых, быстро пришел в себя после сокрушения и застучал кулаком по медали так, что она затрепыхалась и жалобно зазвякала о пряжку на портуpee.

— Не имеешь права орать! Я кровь проливал!..

— А я че? Сопли?

— Кто ты знает, вон ряшку-то отъел!..

Лейтенант с усмешкой глянул на него и, дивясь явной глупости человека, чуть подзадрал рыло, повертел головой слева направо, сравните, дескать, дорогие товарищи! Публика еще больше осмелела, еще плотнее солидаризировалась с властью, начала оттеснять сержанта от барьера, став стеной между властью и страждущим, отставшим от эшелонов, задержанным на вокзалах и улицах без увольнительных, кто и без документов, несомым, качаемым послевоенным беспокойством, бескрайним морем народа. И Коляшу Хахалина вот дернул черт высадиться на землю с многолюдного корабля. Ехать бы вместе с Жоркой-моряком до дому. Ухнет его этот горлопан-дежурный в какую-нибудь яму вроде львовской пересылки или ровенского конвойного полка...

— Ты видишь, в углу солдат сидит?

Коляша не сразу уразумел, что речь идет о нем. Уяснив, наконец, что слова лейтенанта направлены в его адрес, вскочил, дал выправку, на какую был еще способен. Медали на груди звякнули и разом замерли.

— Орел! — восхитился лейтенант. Коляша ел его глазами. — Час сидит, другой сидит! И ни мур-мур. А почему сидит? Да потому, что фронтовик, страдалец, окопник доподлинный! Вон у него нога кривая — всю красоту парню испортила, здоровье усугубила... А он сидит, череду ждет. Дай место фронтовику!..

И не только сержант, но и все вояки двумя стайками разлетелись на стороны. Коляша приблизился к барьеру, доставая из нагрудного кармана документы.

— Ладно. Потом! — милостиво придержал его руку в карманчике лейтенант и, не спрашивая, курит Коляша или нет, выщелкнул из пачки папиросу. — Отстал от эшелона? — как о само собою разумеющемся, молвил лейтенант.

Коляша засунул пальцем папиросу обратно, показывая на грудь — не до курения, мол.

— Отстал.

— Куда ехал?

— В Никополь,— мгновенно соврал Коляша, заранее придумав, неизвестно почему и отчего пришедшее ему в голову название города, о котором ничего он никогда не слышал, никогда в нем не бывал.

— В Никополь?! — назидательно поднял палец дежурный.— Никель копать. На тяжелую работу, после ранений... А вот сидит, ждет. А ты, морда! — по новой начал вскипать дежурный, отыскивая глазами сержанта. Но тот схоронился в массах.— Я тя все одно найду! Из-под земли выкопаю!.. Я узнаю, где ты взял медаль, сапоги и по какому праву носишь комсоставскую амуницию,— тут он позвонил в школьный звонок и, когда вошел постовой с автоматом, будто сгребая пешки с доски, приказал: — А ну, всю эту шушеру на губу! А того мордovorота... Где он? Его в подвал! А ты, солдат, как тебя звать-то? Николай. Хорошее имя! А я вот Николаич буду. Да-а, Виктор Николаевич. Победитель, значит. Да вот устал победитель-то...

Лейтенант завел Коляшу в столовку комендатуры, где им было выдано по тарелке супу с раскисшей уже вермишелью, отдающей жестью, и пшенная каша с маслом. Побродив в супе ложкой и не притронувшись к каше, лейтенант залпом, как водку, выпил компот и, выбирая ложкой из стакана фрукты, сказал, мол, коли еще охота каши, можно его порцию есть или попросить добавки.

— Ты мне поглянулся. Если хочешь, то можно до демобилизации остаться у нас. Служба, правда, собачья. Грязь, кровь, нервы навыверт, но демобилизация вот-вот... Словом, подумай. Переспий в нашей общежитке — один наш парень на три дня домой отпущен. Похороны. Погулять, побродить захочешь — скажи часовому, я велел. Танцплощадка близко, хотя какой из тебя танцор? Да и триперу много. Наоставляли трофеев оккупанты. Годов двадцать вычищать чужую заразу, а у нас и своей... Ну, отсыпайся. Завидую! Я на фронте взводным был, затем ротным. Завидовал солдатам: лег, свернулся, встал, встряхнулся...

В общезжитии Коляше показали на койку возле окна, чисто и аккуратно заправленную. В тряской, бесконечной дороге да и на острове Коляша вдосталь выпался, и спать ему не хотелось. На тумбочке лежала толстая книга «Кобзарь». Коляша отправился в ближайший скверик, отыскал местечко потенистей, лег на траву, открыл страницу:

Рэвэ тай стогнэ Днипр широкий,
Сэрдитый витэр завыва...

Ах ты, Днепр, Днепр! Тысячеверстная река и вечная теперь память и боль людская. Ох, и широк же Днепр! Особенно ночью. Осенней ночью. Темной, холодной, когда окажешься в воде среди людского, кипящего месива, под продырявленным фонарями небом, весь беззащитный, весь смерти открытый, и река совсем холодная и без берегов...

Рэвэ тай стогнэ Днипр широкий...

Он и стонал, и ревел тысячами ртов.

Внимание Коляши привлекли две девчушки в платьицах горошком и с маковыми лепестками-крылышками на плечиках вместо рукавов. Обе круглоглазые, тощенькие, с облезлой от солнца кожей, они играли в пятнашки, бегая вокруг скамьи, уставши, плюхались на скамейку, где лежали два пакетика с вишнями, церемонно одергивая платьишки на коленях, плевались косточками — кто дальше, целясь угодить в заплату поврежденного взрывом или гусеницей клена, и о чем-то все время перешептывались, Он наблюдал, как они доставали из кульков за стерженьки ягоду, как губами срывали ее, катали во рту, и губы на испитых лицах девочек становились все более алыми от сока, худенькие их мордашки, казалось, тоже зарозовели.

По траве зашуршали сандалии и утихли подле него. Коляша не слышал детских шагов, не видел девчушек с протянутыми к нему кульками. Он читал «Кобзаря» и никак не мог уйти дальше первой строчки: «Рэвэ тай стогнэ...»

— Дяденьку! А, дяденьку!

Вот Коляша уже и дяденькой стал! Сам не заметил когда.

— Что, мои хорошие? Мои славные, что? — Коляша изо всех сил держался, чтоб не заплакать от умиления — дяденькой назвали!

— Покушайте вишен! — протянуты два пакетика, сделанные из старых, исписанных тетрадных листов, две пары глаз полны чистого к нему внимания и глубокого, еще не осознанного голубиными детским душами страдания, на которое женщина, видать, способна бывает сразу после рождения, может, даже до зачатия, еще растворенная в пространстве мироздания.

Неужели эти крошки уже ходят в школу? Нет, еще не ходят. Листики скорей всего вырваны из тетрадей старших братьев... а они... тоже там, на Днепре, ночью...

— Вишен? — Коляша приподнялся, сел на траву и, запустив щепотку в один пакетик, за стебелек вынул переспелую, почти черную, сморщенную вишенку.

— И у меня! И у меня! — заперевирала нетерпеливо ногами вторая девочка.

Коляша и из второго пакетика вынул вишенку, со смаком прищелкнул губами, зажмурил глаза и долго их не открывал, показывая, какие замечательные, какие сладкие у девочек вишни. Девочки понимали, что дядя маленько подыгрывает, веселит их, захлопали ладошками по коленкам.

— Вы — сестрички, — уверенно сказал Коляша, — и одну зовут Анютой, а вторую?

— Галю! — подхватила Аня и нахмурилась настороженно: как это дядя узнал ее имя? — А-а! — обрадовалась Аня, — мы гралы близнько, вы почулы! Вы — разведчик?

— Был и разведчиком, дивчины мои славные! Спросите, кем я не был.

— А у нас тату нимцы... убивалы людын дужэ...

— Давайте лучше вишни доедать, дивчинки.

— Давайте, давайте! Мы ще прынэсэмо! У нас богато вишен, вот хлиба нэмае. Мамо стирае бойцам, вони трохи каши дають та супу, цукру раз давалы, бильий-бильий цукор!

Что бы подарить девчушкам? Ничего у солдата-бродяги нету: ни безделушки, ни сахарку, ну ничего-ничего. Он притянул девчушек к себе и поочередно поцеловал их в кисленькие от вишневого сока щеки — и они, дети несчастного времени, почуяли, что ли, его неприкаянность, обхватили худенькими руками за шею, прижали изо всех сил к себе и разом зашептали на уши солдату, будто молитву, заговор ли, со взрослым, страстным чувством:

— Нэ надо грустить, дяденьку! Нэ надо. Вийна-то скинчилась...

Милые девочки из далекой Винницы! Почему-то хочется верить, и Коляша верит до сих пор, что судьба у них была такой же светлой и доброй, какими сами они были в голодном послевоенном детстве. В одном пакетике еще оставались вишни, Коляша давил их во рту, обсасывал косточки, бережно нажимая языком на каждую ягодку, чтоб надольше хватило ему вишен, чтоб продлилось в его сердце то ощущение родства со всеми живыми людьми, которым одарили его маленькие девочки.

За обмелевшим, заваленным военной и невоенной

рухлядью прудом, среди которого упрямо желтели кувшинки и над которым величаво и нежно клонились плакучие ивы, ударила музыка — духовой оркестр. Сразу жальлось что-то внутри, томительно засосало сердце Коляши. Не умеющий танцевать даже гопака, он пошел на голос вальса, название которого знал еще по детдомовской пластинке — «Вальс цветов». Но всегда мелоидно вальса была для него неожиданной, всегда слезливо размягчала сердце. Танцы происходили в загородке, аккуратно излаженной немецкими саперами из тонкой, но крепкой клетчатой проволоки. Взявшись за проволоку, парнишки, инвалиды из госпиталей — и Коляша вместе с ними — глядели не отрываясь, как кружатся пары в проволочном квадрате, в углах поросшем травой, в середине же выбитом до стеклянистой тверди.

С мужской стороны танцевали все больше военные, и все больше хлыщи какие-то, узкопогонники, но местами и нестроевик кособочился, пытаясь скрыть хромоту, старательно поворачиваясь к партнерше той стороной лица, которая не изодрана, не сожжена, не дергается от контузии. Светится, целится глаз героя, намекающий на тайность, влекущий куда-то взор ввечеру разгорается все шибче и алчней.

В комендатуре Коляшу, оказывается, ждали. Еще днем, когда дежурный лейтенант бушевал за барьером, от патрулей поступило несколько сообщений: «С проходящего эшелона орлы взяли самогонку у базарной тетки, но деньги отдать забыли». С другого проходящего эшелона какие-то одичавшие бойцы или штрафники-громилы пытались подломить ларек и склад в ресторане. «Небось, орлы Дунайской флотилии продолжают свой освободительный поход». Эшелон задержан, «представители» его заперты под замок. «На базаре при обвале учинен погром, была стрельба, удалось взять несколько бендеровцев и подозрительных лиц без документов». Но все это дела текущие и текущие, все это поддается контролю, все усмирено и утишено. А вот как быть со старшиной Прокидько? Он, как приехал, ни одного еще дня трезвый не был, изрубил все домашнее имущество, чуть не засек топором жену свою, грозитя поджечь дом, истребить слободу Тюшки, испепелить всю Винницу. Пока же, примериваясь к гражданской жизни, он дал в глаз участковому милиционеру.

Лейтенант все это выслушал с покорным терпением, привычно прижимаясь спиной к нетопленной голландке.

Когда патрули выгрузили новости, послушал еще, как на высшем нерве звучит возле комендатуры самогонщица: «Хвашисты грабили! Бендэра грабила! Червоноармийцы, буйёгомать, тэж граблють!..» Не дослушав до конца выступление самогонщицы, лейтенант приказал прогнать ее из-под стен комендатуры. Если тетка торгует запрещенным товаром, то пусть хайло свое во всю мощь не разевает, пусть бдит — сейчас едет до дому самый-самый бедный и опытный воин — пятидесятилетнего возраста, нестроевик тучей прет на восстановительные работы — у этого народа на теле одни шрамы, осколки да пули, но за душой ничего не водится, он чего сопрет, то и съест, кого сгребет, того и дерет. Если эта тетка попадется еще раз и будет орать на весь город антисоветские лозунги — он ей такую бумагу нарисует, что она до самой Сибири ее читать будет...

— Что касается грабителей с эшелона и жертв базарной облавы, — всех передать военной прокуратуре — и взятки с нас гладки. Они — санитары страны, вот пусть и санитарят.

Простые, деловые и точные решения, как у Кутузова в сраженье. Сложнее обстояло дело со старшиной Прокидько. Лейтенант знал о нем многое, но не все. Иезуитскими методами Прокидько добыл признание у своей жены, что она не соблюла верности во время военных лет, при оккупации. Сердце воина-гвардейца вскипело, гнев его беспощаден и, конечно же, праведен. Лейтенант думал, что старшина снялся с военного учета и ни с какого уже боку комендатуре не подлежит, так пусть себе бушует, поджигает эту сраную Винницу со всех сторон. За один подбитый глаз милиция ему, между прочим, подшибет оба, да еще нечаянно три ребра поломает. Но, впад в неистовство, старшина Прокидько совершенно перестал ощущать реальность жизни, не считался с законами морали и военной дисциплины — нигде, ни на какие учеты он не вставал, никаких властей не признавал. Буйствует! «За Собиром сонце всходить...» — поет, видать, уже явственно видя эту самую Сибирь. В комендатуру явилась делегация из слободы Тюшки, просила оградить покой и жизнь громдян от совершенно распоясавшегося старшины Прокидько. Служивого народу в комендатуре никого не оказалось. Коляше выдали заряженный автомат и просили воздействовать братским авторитетом на старшину Прокидько или уж арестовать его и доставить в комендатуру.

Пехотный старшина Прокидько, поникнув головой, сидел спиной к двери на давно не мазанном полу, среди

разгромленной и порубленной рухляди. Перед ним стоял глиняный жбан, мятая алюминиевая кружка да железный таз, наполненный вишнями, сливами, надкушенными яблоками, выплюнутыми косточками. По правую руку гвардейца покоилась тупая секира, спадывающая с неумело насажденного топорича. Коляша отодвинул секиру ногой и обошел Прокидько. В серой, дикой щетине, обросший больше по лицу, чем по голове, тоже уже заиндевелой с шеи и висков, с чугуно из-под глаза к носу и к уху растекающимся синяком, с тремя рядами развешанных орден и медалей, среди которых золотоцветом горел гвардейский значок, Прокидько сидя спал и до активных действий по уничтожению родных Тюшков и города Винницы ему было гораздо дальше, чем до больницы.

Битый, чуткий фронтовик почувствовал перед собой человека, с огромным усилием открыл один глаз, попробовал разомкнуть второй, попытка не увенчалась успехом.

— Налывай, хлопче! — хрипло произнес Прокидько.

Коляша налил, выбрал несколько грушек из фруктовой мешанины в тазу и, понюхав кружку, зажмурившись, выпил.

— Мэни тэж налий.— Коляша уставился на старшину.— Ни похмэлывшись, вмэрэть могу,— пояснил Прокидько.

Держать кружку Прокидько мог уже только двумя руками и, стучая посудиною о зубы, со стоном высосал жидкость, после чего сыро кашлял, болтая головой из стороны в сторону.

— Тютюн кончився. Закурить дай! И ахтомат у кут поставь. Ты шо, воювать прыйшов? Знайшов врага! — пытаясь усмехнуться, старшина pokrивился ртом.— Дэ воював?

Коляша сказал где. Старшина долго молчал, затягиваясь от сигарки и щурясь.

— Двадцать четвэртый? А я двадцатого року, у кадровой начав, на границе — яки мои roky тэж? Седеть начав у сорок пэршэму роци. Як товарищу Кирпонос нас кынув, а сам застрэлывся, мы з червоноармийцив у побирушек, у шакалив прэвратилсь...— По щетине Прокидько катились и падали в таз крупные слезы.— Налый! — встряхнулся старшина, утирая ладонью лицо и показывая на жбан,— ще трохи...

Гость налил, и вояки сделали по братскому глотку.

— О-ох, що мы пэрэжылы, хлопэць! Що мы пэрэжылы!..— короткое рыдание, похожее на кашель, сотрясло

объялое тело старшины Прокидько. Не в силах дальше говорить, он тыкал в глаза кулаком, измазанным соком вишни.— А воны тут! Воны тут...

— Андрий Апанасыч, я схожу за женою? — Коляша начал робкую разведку словом.

Прокидько ничего ему не ответил, ниже и ниже опускал он голову, и остатные слезы, застрявшие в щетине, копились в морщинах, затопляли лицо. Коляша вышел в темную уже улицу и сразу почувствовал напряженные глаза и уши по всей оробело притихшей Тюшке.

— Давай жену! Быстро!..— скомандовал Коляша во тьму. Из-за тынов, кустов и деревьев метнулась армия доброхотов в известную всем хату или в сарай, где хоронилась изменщица. Через минуту, чуть не сшибив Коляшу, подбирая на ходу волосы, повязывая хустынку, стряхивая сор и солому, мимо промчалась женщина и, рухнув через порог хаты, протягивая руки, на коленях поползла к мятежному «чоловику».

— Андрюшечку-у!..— кричала она.— Коханий мий! Та вбый ты мэнэ, як суку послидню, вбый, шоб тики тоби лэгше було... вбый!.. Вбый!..— и обхватила седую голову, целовала, ела, клевала ее и кричала, кричала, слова не складывались, женщина выла дико, смертно, будто раненая, одинокая волчица в студеном поле.

Великий воин, грозный громило, Андрей Апанасович Прокидько не удержался, забыв о гордом мщении, тоже обхватил богоданную свою жену, и они, сгребшись в неистовом объятии, теперь уже вместе выли, облегчаясь горестной сладостью всепрощения.

Коляша отсыпал из баночки табаку на подоконник, отломил от коробка корочку со спичками — все это добро на всякий случай оставил ему друг Жора, дай Бог моряку доброго пути, не раз уж табачок пригодился Коляше,— и тихо вышел из хаты.

Над землей стояла темная, мирная ночь. Над хатой Прокидько горели яркие украинские звезды, за войну хата сдвинулась не только папахой, но и всем корпусом шатнулась под гору.

Утром Коляша попросил лейтенанта отправить его куда-нибудь в другое место — служба в комендатуре не подходит ему, он не годился для нее — слишком мягок сердцем.

Лейтенант внимательно посмотрел Коляшины документы, покачал головой:

— Ну и помотало тебя! Покоя охота? Мне тоже. Со львовской пересылки самовольно рванул?

— Так.

— А напарник где? Без напарника нынче не бегают, да еще со львовской пересылки, на всю землю знаменитой...

— Домой уехал.

— Вот дурак! Без демобилизационного листа его ж загребут и в тюрьму посадят.

— Не посадят. Он припадочный.

— А-а. Ты вот что, победитель, отправляйся к Старокопытову на пересылку. И замри! Понял? Замри! Япошек скоро расхлещут, и конец, совсем конец! Понял? У Старокопытова отсидеться подходяще. У него порядок. Хотя сам он чудо из чудес. Ну, да увидишь.

И Коляша увидел капитана Старокопытова. Он самостоятельно просмотрел его документы, затем Коляшу обмерял взглядом, будто портновской лентой, и сказал:

— В карантин! В чистилище! И смотри у меня! — и вперился в Коляшу глазами, которые в народе точно называют — буркалами.

Это была первая пересылка, первый порядочный резервный объект, где много соответствовало тому военному идеалу, который давно существует в воображении советских военных спецов-идеологов, в советском искусстве и в литературе, но на самом деле его не было и нет, потому что сами спецы-идеологи находятся вдали от нужд и бед армии, они жируют и барствуют, как и генералы всех времен и наций, — на отдельных хлебах, пользуются особым положением и благами, считая, что так оно и быть должно, так если не Богом, то высшим командованием определено: одним — казарма, шишки да кашка, другим — особняки, дворцы, паек с дворцового стола и яркие лампы, звезды на погонах жаркие, слава и обожествление на все времена.

Лучше всех об этом почти двести лет назад сказал лихой герой и поэт Денис Давыдов в коротком стихотворении с длинным названием: «Генералам, танцующим на бале при отъезде моем на войну...»: «Мы несем едино бремя, только жребий наш иной. Вы оставлены на племя, я назначен на убой».

От Старокопытова, с винницей пересылки, вместе с командой таких же, как он, забракованных, в лечении нуждающихся доходяг Коляша Хахалин угодил в уютное местечко, куда сваливались остатки недобитых калек, как выяснилось, в скитаниях по отвоеванной земле сделав-

шихся сразу никому не нужными — ни родине, ни партии, ни вождям, ни маршалам, продолжающим праздновать Победу, славить себя, заодно и народ, радость и ликование которого каждый день показывали в киножурнале «Новости дня». А вот горе людское, беды и разруху показывать пока воздерживались из гуманных соображений, чтобы не травмировать чуткие, от войны усталые сердца советских людей.

В здешнем полупустом, заглушающем госпитале лечили калек недолго и плохо. Здесь со дня на день ждали полной ликвидации и потому воровали, тащили со двора все, что чего мог унести, увезти, продать. Начальники и комиссары везли машинами, кладовщики и завхозы — возами, врачи, медсестры, санитары и санитарки — узелками.

В местечке стояли две военные части, и обе женские: скромный военно-почтовый сортировочный пункт и рядом военная цензура с жопастыми, в комсоставское обмундирование наряженными девицами. И в той, и в другой части кадры были уже подержанные, перестарки, и они охотно дружили, сходились и даже частенько потом женились с нестроевиками-солдатами. Ну, это уже кроме тех, кто за войну тут, в госпитальном и хитром тылу, устроил между собой чик, даже детишек нажили в военном благоденствии.

Представитель военно-почтового пункта, набравший нестроевиков в винницкой пересылке и заскребший остатки в местном госпитале, не надул нестроевиков, точнее, надул, но не очень сильно и коварно, как мог бы. Совсем не надуть — это уж у нас невозможно нигде, тем паче в армии, человечество ж вымрет от правды, как от перенасыщения воздуха кислородом, у него, у человека, в первую голову у советского, и голова, и сердце, и легкие приспособлены к воздуху, ложью отравленному.

Местечко и в самом деле было тихое, уютное, отбитое от шумных дорог и железнодорожных путей. Располагалось оно безо всяких затей и хитростей, возле речки, к сухой поре бабьего лета превратившейся в ручеек. К речке той со всех сторон спускались пологие холмы, порой норовисто, по-бычьему упирающиеся лбом в речку, бодающие ее в бок, оттирающие в залуку, ссылая со склонов рядки садов. Зеленые вершины логов извилисто восходили к хлебным, картофельным, подсолнечным и всяким прочим полям, совсем не тучным, как во многих других местах Украины, но все же изобильным. Сама же речка в селении, загороженная во многих местах ставочками, прудами, истолченными по берегам и мелководье скотом, усыпан-

ными гусиным, утиным и всяким прочим пером, заросшими объеденной осокой, обсыпанными пупырьками обритых кочек, так и не становилась более в селении речкой, делаясь сплошной зеленой лужей. За домами, вдали от селений, речка постепенно высветлялась, набирала ход, все далее отводила от себя дороги, поля, оставляя внизу стройные ряды тополей, ветел, обрубывши верб, укрывалась морозью перелесков, переходящих в настоящий лес, по роскоши своей и породам деревьев тоже напоминающий сад, но только одичавший от недогляда. В середине леса росла даже полоска хвойника, свежего цветом и соком, притиснутого к светлому ключу раскидистым дубом, вкрадчиво нежными ясенями, грабом, угрюмо и упрямо чернеющими стволами и красно горящими кленами. Осинники здесь были голотелы, стройны и бились, трепетали круглыми макушками так высоко, что надо было задирать головы, чтобы увидеть и узнать, кто это так привычно, тревожно и родственно приветствует тебя ярким листом. И чудо, невиданное и неведомое таежникам: меж осин, берез, грабов, ясеней и кленов кряжисто возникало дерево с коричневым стволом, порой и более толстым, чем у дуба, и оказывалось оно черешней, лето круглое сохраняющей в гущине леса обжигающе-сочную ягоду. Попадались и груши с твердыми, что камень, к зимним холодам лишь созревающими плодами.

Причудлив и роскошен украинский лес, из полей, из садов и перелесков возникший, снова уходящий в поля, перелески, в сады, но долго не расстающийся с братской дубравой, со спрятавшимся в нем ключом, так густо опутанным ягодниками и кустами, что не вдруг и сыщешь его исток, сыскав же, открыв, ощутишь такое чистое, такое светлое дыхание, что невольно склонишься к воде, захочешь поглядеться в нее, притронуться к ней потными губами, заранее чувствуя, как пронзит сейчас твое усталое тело острая струя и воскреснет в тебе сила от настоянной на корнях и напитанной лесною благодатью воде, и подмигивающее ресницами травы лесное око оживит в тебе бодрость, полуугасшее желание куда-то стремиться, кого-то встретить и рассказать о тайнах леса, может статься, отворив свою собственную грудь, открыть кому-то встрепенувшееся сердце.

Ключ лесной, превратившись в ручей, скатившись к местечку, делил его напополам, да еще и на краешки. Через насыпь, вверх по лысине затяжного склона плелась старинная дорога, мощенная крупным камнем. По ту и по

другую сторону тенистой поймы, рядом с дорогой стояли две школы: по левую — одноэтажная, глаголю строенная из кирпича уже в советское время — начальная школа. По правую — кинутый кем-то и когда-то двухэтажный особняк, усилиями новых подвижников соединенный с массивным, кражистым собором.

В улочках и щелях переулков местечка лишь к середине лета высыхала и сей же момент превращалась в пороховую пыль знаменитая украинская грязь.

В начальной школе, на сортировочном пункте работало больше сотни девушек, успевших за войну приблизиться к роковому девичьему возрасту. Девушек подзадержали на неопределенное время — они должны были научить нестроевиков изнурительному сортировочному делу.

Корпус школы был вроде длинного, неуклюжего загона, разделен на отдельные купе, в которых один на другом стояли деревянные ящики, в них сотами сбиты ячейки, и у каждой ячейки своя буква — индекс крупного военного соединения. Здесь, в глухом местечке, происходила первая сортировка почты: по соединениям фронта, затем читка почты цензурой, отправка ее в полевые почты, по дивизиям, полкам, где другие почтовики сортировали почту по воинским частям фронтовой уже полосы. И, наконец-то, разобранные, исчерканные, штемпелями обляпанные письма добирались до передовой. С передовой выделялся боец за почтой в ближние тылы. И, о радость, о счастье, письмо достигало адресата, часто уже не к месту и не к сроку — выбыл адресат, известное дело: на передовой долго не удержишься.

Поток почты возрастал по мере приближения Дня Победы. После Победы просто захлестнуло военные почтовые подразделения бумажной безбрежной рекой. Полных два, иной раз три кузова мешков с почтой привозилось со станции, и среди этих пыльных, не раз чиненных мешков были кульки поменьше, понепромокаемей — с почтой служебной, как правило, «срочной». Девчонки-сортировщицы давно уже не справлялись с потоком почты. Мешки с письмами штабелями лежали в «службах», свалены были по углам и закоулкам.

В середине лета госпиталь, с которого все было украдено вплоть до деревянного пола и дверей, расформировали и тех солдат, что на ногах и с руками, из госпиталя переправили на военную почту — заменять девчат, которых вместе с контингентом военных свыше пятидесяти лет должны были демобилизовать.

В почтовом пункте, в пыльном приделе-кладовочке распечатывала мешки с почтой, рылась в бумагах, распределяя пачки писем по сортировочным цехам, тихая мышка по фамилии Белоусова, по имени Женя, которую все тут отчего-то звали Женярой. Помогая девчонкам, недавние госпитальники все перезнакомились с сортировщицами.

Сортировщицы, осмотрев мужское пополнение, с ходу забраковали половину этих кадров, отсеяв в первую голову кривых, одноглазых и хромых. Выбракovaný Коляша Хахалин угодил в кладовку, где среди мешков вилок капусты торчала коротко стриженная голова Женяры Белоусовой, и поступил в нее, так сказать, распоряжение и, как потом оказалось, надолго. Хромого бойца, не могущего день напролет прыгать возле сортировочного стеллажа, навело на девицу, именуемую то экспедитором, то оператором.

Но вот война кончилась и на Востоке. Пришла пора военным людям расходиться по домам. Коляша с Женярой к этой поре уже вместе квартировали у одинокой старой женщины — за дрова и за то, что отделяли хозяйке часть своего военного пайка, она определила их в светелку, сама уютилась на кухне. Стояла осень. Урожайная. Фруктов и овощей было не переест, кое-что и на военном складе хранилось еще, кое-что зарабатывали мужики, помогая восстающим от разрухи колхозам.

С помощью пополнения почтовый пункт сумел «расшиться» с почтой, ликвидировать завалы ее. В связи с ликвидацией воинских частей, переброской многих из них на восток, часть почты актировалась и сжигалась. Но продолжали стучаться в военную стену вдовы и дети, потерявшие кормильца, а то и всех близких, не веря, что никуда уж им не достучаться, никого не дозваться, вестей ниоткуда не дожидаться.

Сортировочная работа, напоминающая танцы в клетке, очень однообразная, тяжелая к тому же и заразная. Далекая российская провинция посылала на фронт не только поклонны от родных и пламенные приветы возлюбленных, но вместе с письмами чесотку, экзему, а братские народы, в первую голову азиатские, — паршу, лишай всех расцветок и мастей, даже и проказу. Поэтому у входных дверей сортировочного блока постоянно стояли два ведра: одно с соленой водой, другое с керосином. Девчонки мыли руки перед работой и после работы. Кожа на молодых руках сморщилась, шелушилась, в помещении и от самих сортировщиц тащило керосином. Многие девчата от бумажной

пыли и гнилого, почти никогда не проветриваемого помещения болели легкими, кашляли хрипло, будто от тяжелой простуды. Женяра же Белоусова в своей тесной кладовке и вовсе задышалась, у нее начиналась бронхиальная астма.

Вот такая вот почтовая, легкая работа поджидала ребят-инвалидов. Но местечко тихое, столовка сытная, баня в неделю раз, сады, заваленные фруктами, обилие девок, истосковавшихся по гуляньям и свиданьям, делали свое дело. В райском местечке закипела не только почтовая работа, но и воспрянули роковые страсти. Такое началось кипенье кровей, столько любовных порывов произошло, что содрогнулся б и крупный город, сошла бы с места и разрушилась от любовного накала иная дряхлая столица. Оробевшее поначалу местечко, застенчиво спрятавшееся в деревья и в листву, далее в осень, все больше и больше обнажалось, лупило глаза на разного рода гулянья и веселья, млело от музыки и песен, таило шепот и звук поцелуев в своих развесистых куцах.

На почтовой машине шоферил совершенно развратившийся за войну, спившийся, красноглазый, желтый ликом, слипшимся в преждевременные морщины так, что уж и лик этот напоминал лежалый, не раз к больной ноге привязываемый лист лопуха, Кирька Шарохвостов, по которому давно плакало место в штрафной роте или в тюрьме, он успел поджениться, во время боевых походов сделал руководящей каким-то секретным отделом лейтенантше ребеночка. Лейтенантша имела совершенно невинный, измученный вид, да и хитра была очень, вот и не отнимали от нее Кирьку-мужа, который в угоду жене притворялся разmundяем, но, как только их демобилизовали, они ринулись в Ригу, захватили там квартиру выселенных латышей, чем вместе с другими, такими же «патриотами» шибко способствовали дружбе «братских народов», вскоре построили дачу на взморье, разумеется, на свои «скромные сбережения». Кирька на гражданке сразу сделался деловит, скуп, пил только по праздникам, с разрешения жены, которая устроилась в инспекцию по иностранным судам, шибко раздобрела, сделалась одной из самых богатых дам в Латвии.

Вплотную наступила осень. За нею должна была последовать и зима. Почтовый пункт, засыпанный по двору и крыше мелкими, рот вяжущими грушами, хоть и неуверенно, начинал готовиться к зиме. Нестроевиков бросили на заготовку дров. И тут Коляша Хахалин, и сам мужик не

промах, познал разворотливость и предприимчивость Кирьки Шарохвостова.

Валили лес в той самой роскошной дубраве, что баюкала в глуши своей синий ключ. За дровами должны были делать два рейса: один до обеда и один после. Но Кирька мобилизовал в помощь бригаде еще двух местных делеяг, и заготовители стали делать три рейса — два в благословенное место, к почте, и один или два — во дворы грамотян, где работяг уже ждала самогонка, добрый ужин и горсть денег. Бревна, заготовленные на дрова, в особенности дубовые сутунки, были тут на вес золота, потому как многие хаты и постройки нуждались в ремонте, и, поскольку наступал долгожданный мир, люди готовились строиться, обзаводиться худобой, укреплять хозяйство, на первый случай — свое, затем и колхозное.

Союз, заведенный Коляшей с Женярой, получил распространение, хотя и норовили парни взять девок на шарап, как базарные налетчики, но не больно-то получалось. Девки за войну обрели опыт обороны, обучены были, как тактически, так и практически — придерживались дистанции в поведении, целовать, даже шупать себя давали, но дальше уж только хитростью и напором можно было брать ослабелую от страсти крепость. А какая сила у недавних госпитальников? Девки ж на тыловом питании раздобрели, да еще фрукты кругом, да овощи, по квартирам молоко да сало. Все в девках вызрело и налилось, клапаны на нагрудных карманах гимнастеров уже не клапаном выглядели, но козырьком генеральского картуза.

Началась демобилизация и отправка девушек домой. Не всех сразу, малыми партиями. Сколько трогательных сцен, сколько слез и горя! Ведь многие девушки за четыре года войны стали друг другу что родные сестры, а тут еще и эти, «преемники», успевшие затуманить мозги девчонкам, кое-кому и наобещать всякой всячины, под обещания, в густом угарном тумане похитив последнюю девичью ценность, сдобное брюхо им на прощанье подарив.

Не один и не два Коляшинных корешка сутками скрывались в конюховке или уходили в леса, укрывались в ближних селеньях. Но большая часть терпеливо и честно несла крест, толклась возле машин, обещая писать подругам без передыху письма и непременно приехать, куда надо, в качестве мужа. Когда машины, наконец, уходили, кавалеры вздыхали освобожденно, иные даже и крестились, хотя были почти сплошь безбожники. Наиболее пылкие и верные кавалеры ездили прощаться со своими кавалер-

шами на станцию. Возвращались подавленные, увядшие, даже и заплаканные. Над ними посмеивались. Коляша сочинял частушки, припоминал анекдоты непристойного свойства.

— Как же нам-то быть, Колька-свист? — спросила Женяра Коляшу.

И он, мелко покашливая, чистосердечно ответил:

— Не знаю.

— Да как же ты не знаешь? Я же уж беременна...

— Вот как! — удивился Коляша. — От кого?

— От тебя самого!

— Но ты ж говорила, что предохраняешься. Значит, кто-то объездил тебя еще до меня — ловкие тут попались ребята...

— От тебя предоохранишься!.. — загрустила Женяра. — Дорвешься, что тебе паровоз, красным фонарем не остановить...

— Ну, коли мой кадр — рожай. Интересно все же, кто там в темноте получился? Только вот где жить-то будем? У меня на всем свете кроме тебя никого и нету...

Женяра предложила остаться на Украине, в местечке, — она не по годам рассудительная была и предлагала в сытом месте переждать худое послевоенное время. Коляша, вскормленный детдомовскими да военными, пусть и скудными, но дармовыми харчами, не знал и не понимал, что такое голодная жизнь, чиркнул себя ребром ладони по горлу, заорал, что во как надоела ему эта клятая Хохляндия, что устал он от нее и готов ехать хоть к черту на рога.

На рога они не поехали, двинули в Молотовскую область, в Красновишерск, лесопромышленный городок, где жила овдовевшая в войну мать Женяры, Анна Меркуловна Белоусова.

Часть вторая

ДОРОГА С ФРОНТА

Не хвались отъездом, хвались приездом, — говорится в народе, и совершенно справедливо говорится, по отношению к Коляше и Женяре совсем уж точно говорится.

Просидев на станции двое суток, припив с ребятами-корешами прощальную самогонку, поубавив наполовину дорожную пайку, встретив очередной поезд, на этот раз с

табличкой «Одесса — Киев», и поняв, что и в этот поезд, облепленный со всех сторон муравейником военных пассажиров, им не попасть, решили они прибегнуть к испытанной «военной находчивости». Под бравую песню: «В бой за Родину, в бой за Сталина, боевая честь нам дорога...» — высадила братва чемоданом окно в вагонном туалете, слава Богу, как оказалось, неработающем, и Коляша залез в выбитое окно, выбрал из рамы остро торчавшие осколки стекла, принял на руки молодую жену, опустил ее на пол и приказал не высовываться. Уже на ходу поезда ребята сбросали в окно манатки: чемодан в фиолетовом чехольчике, баульчик с постелью и синий объемистый рюкзак, в котором была пара белья, запасные портянки, два кило луку и ведро яблок, насыпанных на дорогу сердобольной хозяйкой.

Ребята дошли до стрелок, бежали за поездом по путям, махали, кричали, двое калек, лечившихся с Коляшей в госпитале, утирали глаза, и сердечный бас их, слившись воедино с паровозным гудком, долго еще гнался вослед: «Про-о-о-оща-айте-е, дру-у-у-а-а-а...»

Слезы на лице Коляша обнаружил не сразу, вытер было рукавом, но они опять потекли, и он уже не вытирал их, плакал и плакал, не зная, о чем и почему. Плакала и Женяра, припав головой ко вздрагивающей деревянной раме. Коляша подумал, что в раме остались мелкие стекла, она может порезаться, повернул ее к себе, прижал лицом к груди. Теперь они плакали вместе, а вместе — не врозь, скоро не уймешься.

Обессиленные, опустошенные слезами, сидели молодые супруги возле грустно поникшего унитаза, на связанной девчоночьей постельке и нехитрых пожитках. Казенную-то постельку Коляше пришлось сдать.

Угодили они в вагон со старорежимным туалетом, который по величине, пожалуй, превосходил кухню в иной советской квартире. Женяра мелко покашливала — везла она с войны, из пыльной почтовой кладовки, болезнь бронхов. Коляша подумал: хорошо было бы чем-то окно завесить, но ничего под рукой нет, да и заметно сделается. Слушая стук колес под полом, звяк шатающегося в дыре унитаза, отчужденно молчали, и горесть ли разлуки с армией, с друзьями, молодостью, оставленной на войне, предчувствия ли будущей нелегкой жизни, все это так подавило их, что не хотели они ни говорить, ни шевелиться.

На исходе дня, далеко уж от станции отправления Коляша встряхнулся и нажал пальцем на распухший от

слез кончик носа молодой супруги, и она ему признательно улыбулась.

Коляша Хахалин человек какой — он не может вот так сидеть долго, бездействовать, слушать песнь впавшего в инвалидное состояние унитаза. Он выбрал из пазов рамы гвозди, остатные стекла, высунулся в окно нужника, предусмотрительно сняв пилотку и засунув ее за пояс. Холодящим к вечеру ветром трепало все еще недлинные Коляшины волосы, освещало его тело и душу.

За окнами мелькали села, хаты по одной, а где и кучкой, сколь их ни били, ни молотили, они сбегали с бугорков к рельсам. У иной хаты и крыши нет, и стена уцелела всего лишь одна или только угол, но подзатянуло за годы войны жилье зеленью, обволокло бурьяном, присыпало листом. Уже развелись и бродят подле него куры, индюк нахохленно поднял голову, смотрит на поезд, грозно подергивая шеей, колебая всеми мясистыми, красными или красно-фиолетовыми гребнями и бородами: «Не лезь, клону!». Хрушка лежит в тени под стеной, баба, повернувшись к поезду объемистым задом и заголившись почти до чернильницы-непроливашки, роет картоху или месит глину; дед в картузе времен еще турецкой войны, опершись на бадог, смотрит на летящие куда-то вагоны, вспоминает, быть может, как сам когда-то возвращался с войны; силосная башня вдали, похожая на неразорвавшийся многодьюймовый снаряд; водокачка, что граната эргэдэ, стоящая на ручке; тракторок и волю в полях, вывернувшие землю черным исподом кверху; убранная, прореженная, истрепанная ветром, истоптанная скотом пегая кукуруза — неременный украинский знак, подсолнушек с примороженными ухами, там и сям припоздало сияющий, обманувший в заветрии первый заморозок, уловивший тепло бабьего лета.

Какая близкая сердцу, малознакомая сторона, которую и разглядеть-то из-за боев, дыма, занятости, передвижения большей частью ночами не удалось; память, затененная провальным сном на дне окопа, на клочке соломы в сарае, на обломке доски середь болота, на еловых лапах или под деревом, или просто с кулаком под щекою, на случайной, остылой или, наоборот, на каленой до ожогов печке, соскочишь с нее, бывало, испеченный от угара и духоты, своих не узнаешь; под ракитой придорожной, под телеграфным столбом, возле камня, случалось, и могильного, возле подбитого танка, сгоревшей машины, обязательно

прислонясь головой к чему-то, в земле или на земле утвержденному.

Однажды ночью спали солдаты под сосной, и спятился на них «студебеккер». Хорошо, мох под деревом вековой — вдавило ноги в мягкое. Пеклевану Тихонову под ноги корешок угодил — недели две с палкой ходилковылял, в госпиталь не отпустили — как воевать без такого работяги. Первый раз в жизни пофилонил, вкусил безделья Пеклеван, хитрить потом стал, от работы отлынивать...

Война, война!.. Бежит она, клятая, следом, не отставая, подступает к окну то битыми вагонами, то опрокинутым паровозом, то горелым деревом на холме, то воронкой, то в вопросительный знак загнутым рельсом, то табунком могил возле линии, кое-где уже с заржавелыми плоскими немецкими касками на неошкуренных крестах...

Почти свечерело, когда одышливо пыхтящий, нервно ревуший у каждого столба и знака паровозишко припер состав на в прах разбитую станцию и в изнеможении утих, пустив пары изо всех дыр. Железнодорожные строения, в отдалении заплаты воскресающих хат, среди которых молодцом выгладел нужник из свежего теса.

Черный паровоз в черных заплатах напоминал косача, уделанного в сражении, на току, опустившего крылья, и только красное надбровье — плакат с портретом вождя на лбу — свидетельствовало о его все еще кипящем котле и скрытой внутри мощи. Часть народу, разбирая на ходу штаны, подымая подола, хлынула от поезда в пристанционные развалины. Другая же часть, уже более разрозненно, — к гордо выпятившемуся нужнику, но он не мог вместить разом истомленных, жаждущих облегчения пассажиров. Многочисленные обремененные узлами, тюками, ведрами, мешками, чемоданами люди с криками, плачем, ахами и охами ринулись к поезду. Люди падали, спотыкались, что-то роняли на ходу и, на ходу же подбирая, стучались в вагоны, вопили, кляли все и всех на свете, мужики материли баб, бабы материли мужиков, все вместе материли железнодорожников, умоляли кого-то, указывая на ребятишек, на бинты и медали. Местами, для убедительности, пошли в ход уже и костыли.

Знакомая, почти на каждой станции повторяемая картина, на которую хоть одним бы глазом взглянуть тем, кто призвал, стронул людей с места и бросил их на произвол судьбы. Но они, те высокие люди, все праздновали Победу и опохмелялись, опохмелялись и праздновали. В голове у

них был радостный трезвон кремлевских курантов. Им никакого дела не было ни до детских, душу раздирающих голосов, ни до людей, потерявших все ориентиры жизни, себя не помнящих и обреченных. Они не видели копошившихся там, внизу, измаянных людей, не слышали и желания видеть и слышать их не испытывали.

— Маты ридна! Маты ридна! — несколько раз уже взад и вперед мимо разбитого окна, по проломленному дощатому перрону, под которым пестрели стесанной корой сосновые стояки, с широко открытым ртом пробежала здоровенная баба со здоровенным холщовым мешком на спине. Военный ношенный бушлат на ней расстегнут, под вышитой нестиранной кофтой катались туда-сюда гарбузами пудовыми груди. Из-под цветастого распущенного платка выбились, спутались, падали женщине на лицо пышные волосы, глаза, и без того навывкате, вовсе вытаращились, алый перекошенный рот исторгал мольбу или заклинание.

Коляша не обратил на эту растрепанную, заполошную бабу внимания — на каждой станции бегало, толклось, паниковало таких вот бестолковых баб тысячи. Но за этой бабой, подшибленно и покорно, провиснув на костылях, с трудом волочился солдат в мешковатой госпитальной шинели, цветом и формой скорее похожей на мужицкий армяк, в новых обмотках, в новой пилотке без звезды. Он остановился против Коляшиного вагона, всей своей воробьиной тяжестью обвиснув на костылях, сгорбатив шинель, обессиленно опустил голову так низко, что пилотка свалилась с его стриженной, будто у малого дитяти, лункой на темечке выболевшей головы. Подскочив к нему, баба подняла пилотку, водворила ее на место и громко, с полной уже безнадежностью и отчаянием зашлепала толстыми, мокрыми губами, спелость которых не могла погасить никакая гнетущая сила:

— Та вин же ж ранэный! Вин же ж с госпиталю!.. Вин же ж вмэрти може... Нам до дому трэба...— собирая во фразы слова, разбиваемые рыданиями, объяснялась баба в пространство.— Мыкола! Мыкола! Мыколочку, встань прэзд поездом на колени... Помоли народ...

— Нэ могу я на колени. Нэ гнутя у мэна ноги...— не поднимая головы, с упрямой бесстрастностью отозвался Мыкола.

Баба уже не бегала, не рвалась никуда. Зажав мешок меж колен, она выла без слов, без всякого выражения, просто выла в бездушную и безответную пустоту. На кра-

пивном мешке было ярко выведено: «Од. Смыганюк». Повидал виды этот уемистый мешок, поездил по поездам и вокзалам да на базары.

— Одарка! — тихо, но внятно позвал Коляша.

Баба испуганно заозиралась по сторонам.

— Одарка! — повторил солдат.

Баба попалась настолько бестолковая или так уж отупела от дорожной сутолоки, что ничего понять не могла, думала, блазнится — голос ей кто-то с неба подает.

— А? Що? Хто цэ?

— Да я, я! — махнул Коляша рукой бабе, — подойди сюда, не бойся.

Она неуверенно и опасливо приблизилась.

— Давай сюда мешок!

— Ой! — испугалась баба и, крепче ухватив мешок, отступила от вагона.

Коляша скосил глаз — паровоз набрал воды, заправился углем и, уже бодро соря искрами, клубил свежим черным дымом за стрелкой, готовый шлепнуться буферами в буфера, соединиться с составом и попереть поезд ко все еще далекому Киеву.

— Микола! Николай! Тезка! — позвал Коляша громче и, когда инвалид поднял голову, вытянул обе руки. — Давай сюда!

Познавший фронтовое братство, инвалид ни минуты не медля, не раздумывая, куда и зачем его зовут, приблизился к окну. Коляша забрал у него костыли, перевалил через раму окошка его почти невесомую, вроде как куриную тушку, толкнул себе за спину, на унитаза. За окном начала паниковать баба:

— Мыкола! Ты куда? А я куда, Мыколочку, а бандиты? Ой, що будэ? Що будэ?

Микола даже не глядел в ее сторону, он отдыхивался на унитаза, по привычке, еще госпитальной, догадался Коляша, потирая соединенные вместе раненые колени.

— Да шевелись ты, бочка с говном! — рявкнул Коляша и, вырвав из крепких рук бабы мешок, кинул его себе за спину, чуть не сшибив Миколу с унитаза. В мешке что-то звякнуло.

— О-о-ой, мамочку! — не пролезая в окно, причитала баба. — О-ой, горилочка моя-а!

Уцепив бабу обеими руками, Коляша, будто пушечный пыж, втащил ее в дуло окна и брякнул на пол. Подол на Одарке задрался, обнажив множество таких достоинств, которых хватило бы если не на роту, измотанную сраже-

нями, то уж на геройское отделение артрязведки младшего сержанта Каблукова всенепременно хватило бы.

— Ряту-у-уйте! — завела басом баба, все еще барахтаясь на полу.

— Ты чего орешь, Одарка?

— Ты звидкеля мое имя знаешь? — задушенным голосом парализованно распластавшаяся на полу спросила баба.

— Я все про тебя знаю. Даже фамилию. Смыганюк твоя фамилия.

— О-о-ой! — снова начала взывать Одарка. У нее застучали зубы. — Ты ж нэ з нашэго сэла! — но востроглазая, ходовая и бойкая баба тут же и заметила покачивающуюся в уголке туалета молодую женщину в военном и разом вспрянула духом. — Тю-у, жинца! Мыкола! Мыкола! Нэ бойся, Мыкола! — и разом перешла на заискивающий тон. — Тут жинца, тут хлопэць! Воны худого нам нэ зроблят...

В это время паровоз брякнул буферами в буфера, по поезду прокатилось содроганье, состав покатился назад, но тут же произошло обратное движение, и не разорвавшийся сцепок, сам себя с места стронувший состав, облепленный народом, покатился со стоянки. Одарку, успешную приподняться, шатнуло в одну, в другую сторону, она рухнула на унитаз, на лету ухватив Мыколу, но не уронила его под себя, знала, что тогда конец мужику, а ловко шмякнула его себе на живот.

— Пой-ихалы! — не веря своему счастью, прошептала Одарка, преодолевая неверие, с восторгом повторила: — Поихалы! У поезду! Слышь, Мыкола? У поезду! О, Мыколочку... Ой ты коханий мий! — запричитала она и принялась целовать своего мужа, да все смачней, смачней, и увлеклась было этим занятием, но Коляша громко кашлянул. — А дэ це мы? — очухалась Одарка и стала оглядываться вокруг.

— В сортире!

На мгновение смолкши, Одарка испуганным голосом спросила:

— А нас нэ высадють, хлопэць?

— Не должны. Я изнутри закрылся.

— А тоди х.. з им! Мэни хучь у говенной бочке, тики шоб до дому скорийше довэзти мужа.

— Одарка, прошю тэбэ, нэ ругайся! — первый раз после посадки подал голос отдышавшийся Микола.

— Усе, Мыколочку! — затараторила Одарка.— Усе, мий коханий! Усе-уце! Мовчу, як та бидна цыпулька... Гэ-гэ-гэ! — обрадовалась она сравнению себя с цыпушкой и захохотала так, что наверху зазвякало железо. Но тут же спохватилась и защипнула рот концом платка.— Ой, зовсим забула... Мовчу-мовчу!

Однако Одарка была так взвинчена, возбуждена, что уняться ей было никак не возможно, ее распирало, разрывало радостью, и она тарыхтела под звук уже набравших скорость колес.

— О, цэ людына! Цэ истинный патриот! Советский! Може сочувствовать своему брату! А то ж кругом одни хвашисты, блядь!..

— Одарка!

— Мовчу, Мыколочку! Мовчу, коханэнький мий! М-мых! — опять громко, со вкусом припечатала она мужу поцелуй. Деваться Миколе некуда — прижат к стене.— Видят же ж на костылях чоловік, медали кругом у йего, так нет же ж... А, курва товстожопая! А чего ж я сыдю? — спохватилась вдруг Одарка и начала добывать из-под себя мешок.— Мыколочку мий нэ питый, нэ етый... Ой, ой, опять!.. — похлопала она себя ладонью по рту.— А я сыдю! А я сыдю!..

Поправив унитаз, она откуда-то добыла картонку, прикрыла его зев, закинула картонку хусткой — платком — и на это сооружение выложила снедь: сало, яйца, огурцы, полувытекшие помидоры, в середку с пристуком водворила чехол из-под немецкого противогаза, который, как оказалось, был лишь маскировкой — в середине его утаена многогранная, ко дну сужающаяся бутылка. Тряхнув ею, Одарка возгласила:

— Нэ разбылась, ридна моя! — она поцеловала бутылку, попутно чмокнула своего Мыколочку: — Тоби трэба трохи выпить и закусить. Я тэж трахну, шоб дома нэ журылысь! М-мых! — снова она вlepила поцелуй Миколу.— Подвыгайся до цэго стола, ишь, кушай, сэрдэнько мое!..

— Одарка! — высунувшись на едва уже сереющий свет, инвалид кивнул в сторону молодоженов.

— Ось! Ось! — подхватила Одарка.— А добрый хлопчику! А мила жинця. Просимо ласково поснидять з нами. Ну шо, шо на тым стулу? Шо, шо у уборной! Я ж усэ накрыла, усэ вытерла...

Женяра помотала головой и укуталась в шинель. Коляша, чтоб не обидеть людей, подвинулся к «столу»,

почти уже в потемках звякнули кружками старые солдаты.

— Твое здоровье, тезка!

— Тоби того ж, брат!

И пока тянули солдаты самогонку, Одарка снова расчувствовалась:

— А, ридны вы мои! Видны вояки! А шоб та проклята война бивш ныколы нэ приходыла...— и налив себе — слышал по бульку Коляша — не менее полкружки, — выпила, утерлась, сгрехала обоих солдат в беремя, поцеловала поочередно и, аппетитно чавкая, начала есть в полной уже темноте.

Лишь бледная ночь неба и набирающего силу холода проникали в выбитое окно. Женяра робко прижалась к теплому боку мужа, он обнял ее, нащупал руку, всунул в нее кусочек хлеба с салом, мятый, мокрый помидор, обрадовался, услышав, что Женяра начала есть.

Одарка на ощупь налила по второй, но мужики уже согрелись, заговорили, отказываясь от выпивки, да разве с Одаркой совладаешь?! Она, словно танк, тараном берет. Найдя рукой Коляшину кружку, Микола прислонил к ней свою кружку, подержал и, слабее голосом, молвил:

— Будэмо жить, солдат! Будэмо жить. Так хочеться жить...

И сжалось все внутри Коляши, стеснилось и заныло: Микола чувствует — недолгий он жилец на этом свете.

— Обязательно! — нарочито бодрясь, воскликнул Коляша.— Сто лет. Нет, сто не надо. Изнеможешь за сто лет от такой жизни, себе и людям в тягость сделаешься... Будем жить, сколько отпущено там, — показал солдат на дребезжащий под потолком электропузырь без лампочки. Кто-то шевельнулся рядом с ним, робко коснулся губами его щеки. «Челове-эк! — умилился Коляша, — все понимает, все чувствует. Челове-э-эк!»

А через унитаз тянулась, грабастала Коляшу совсем уж смягаченная Одарка:

— Та хлопэць ты гарный! Та умнэсэнкий! Да звидкэля ты взявсь? — и влепила Коляше поцелуй, на этот раз в губы. Мыколу тоже вниманием не обошла, хотя тот и вжимался за унитаз от ее натиска.

Прибравшись на «столе», определив мешок за спину, подстелив что-то на холодный пол, все еще источающий запах мочи, Одарка улеглась на бок, чтоб меньше занимать места в узком заунитазном пространстве, притулила к себе мужа своего, подтыкала что-то под него, костылями оградила от холодного и шаткого унитаза, прикрыла его

своим платком и, лежа на локте, держа себя грузную почти на весу, чтоб только человеку было удобно, принялась байкать его, как маленького, совсем и не осознавая этого материнского действия. Могучее и доброе сердце Одарки расслабилось, тело согрелось и успокоилось, она вдруг всхрипнула, пока еще пробным раскатом, но и от него, от пробного, все железо в туалете вздрогнуло, бельмо пузыря на потолке сорвалось с петли и опасно закачалось над головами пассажиров. Одарка тоже вздрогнула, очнулась, ощупала Мыколу со спины, с боков, голову его удобней устроила.

— Хлопче! А, хлопче! — шепотом позвала она.

— Чего тебе, Одарка?

— А як ты все же мои имья и хвамиль узнал, га?

— Хэ, фамилия! Хэ, имя! Могу тебе всю твою биографию рассказать.

— Ой! — испугалась сраженная Одарка. — Нэ трэба, хлопэць, нэ трэба... — и долго не подавала никаких признаков жизни. Потом, совсем уж безнадежно, совсем уж отрешенно не то спросила, не то утвердила: — Хлопче, ты колдун?!

— Да еще какой! Я ж из Сибири!

— Из Собиру! — почти обреченно молвила Одарка. — Тоди понятно. Там дуже холодно и вздмэди кругом бродють...

— И колдуны, — подтвердил Коляша. — Им запросто про человека все узнать, приворожить, отворожить, немочь накликать, со свету свести... Хочешь, скажу, об чем ты сейчас думаешь?

— Ой, нэ надо, нэ надо, хлопче. Дуже я пуглива... А об чем? А об чем?

Женяра тряслась рядом, запокашливала чаще, дергала Коляшу за рукав шинели, хватит, мол, хватит.

— Та вин жэ ж! Та вин жэ ж... — продирался сквозь смех Микола. — Да вин же ж дурака валяет. Вин же ж хвамиль твою и имья на мешку узрив! О-ой, нэ могу! О-о-ой, нэ могу! Яка ты, Одарка, глупа была, така и осталась. Она у школи, — уже обращаясь к молодоженам, пояснял Микола, — усэ у мэнэ списувала, так сим групп и закинула...

— А-аж, його мать! — из деликатности осадив матюк, с восхищением громко хлопала себя по ляжкам Одарка. — О цэ уха-арь! О цэ да-а! Шо ты, жинца, будэшь робыть з им? Як жить з таким пройдохю?..

— Мучиться, — первый раз за всю дорогу подала голос

Женяра. И не знала, не ведала она, сколь пророческое слово молвила невзначай.

— Тикай вид ёго! Тикай з вагону, тикай з поизду, у поле, куда подальше тикай! Й-изх, який, а? Як пидманув, га?! — Одарка в потемках нашла голову Коляши и больно потеревила за вихор, но тут же и погладила со всепрощающим вздохом. — Нэ! Нэ тикай! Бог ёго тоби опрэдэлив — тэрпи, процуй хоть за двох, хоть на соби ташшы до гробу... Вот у мэнэ Мыколочку мий, який слабэсэнький, болизный, но я, шоб кинуты йёго, ни-ни, ни божечки мий... М-мых! — опять начала целовать Мыколу сама себя умилившая Одарка.

— Та будэ, будэ, — ласково остепенял жену муж. — Трохи подрэмлемо. Устал я, и людыны ж усталы. Добрэ, шо сортир нэ дуже вонький и ништо нэ мешае. На передовой та у госпиталях хуже бывало.

— Спы, мий Мыколочку, спы, коханий...

Они умолкли, прижавшись друг к другу. Одарка не сотрясала храпом вагон, как ожидал Коляша, думая, что вагон и с колес сойдет от такой рокочущей силы. Видимо, Мыкола уснул, и она, баюкая болезного, боялась его потревожить, не позволяя себе забыть, заснуть.

Холодная осенняя ночь хлесталась волнами в зев окна. Горстка звезд и половина луны гнались следом за поездом, на поворотах заслоняло, гасило небесные светила, и снова возникали они неожиданно, вроде бы с другой стороны, и снова гнались за орущим паровозом, за стучащими вагонами. «Может, это были другие звезды, другая луна? — пришло в полусон Коляше. — Но почему же? Звезд-то на небе много, а луна всего одна...» Коляша услышал, как плотнее и плотнее жметя к нему спутница его, расстегнул шинель, пустил ее ближе к своему теплу, и она, невеликая, уместилась в уютном его гнезде. «Милая. Родная! Как хорошо, что мы вместе, едем вот куда-то, несет нас поезд в будущую жизнь, в неизвестность. Я постараюсь быть тебе нужным и верным другом, — почти стихами говорил сам с собой Коляша. — У меня было много друзей, потому что я все без остатка отдавал людям, ничего, никогда не таил: ни хлеба, ни души, ни веселой природы своей... Случалось, через силу веселился, хотел поддержать друзей. И они не дали мне умереть, вынесли, переправили на другой берег с Днепровского плацдарма, а ведь там даже с легкими ранениями умирали. Спи, родная, грейся, дыши. Тебе, однако, попался в спутники не самый лучший, но, поди-ка, и не самый худой человек...»

Проснулся Коляша от беспокойства, возни за унита-
зом, сдавленного шепота.

— Та, Одарку... та нэ можно. Люди ж...

— Мыколочку! Мыколочку! Я никóму... ни божечки
мий!.. Бильш тэрпиты нэма сил... Мыколочку!..

— Одар... Одар!..

Одарка затыкала рот мужа рукою, грызла, терзала его,
пыталась притиснуть к себе, в уголке за громыхающим
унитазом:

— А-а, голубонька! А, коханий мий!.. Н-нэ могу
бильш... нэ мо-о-жу! — стонала она.— Н-ну ж, ну ж!
Сувай! Сувай!.. Я сама... я сама... Аж! Аж! Укуси мэнэ!
Укуси! А-э... сладэсэнський мий!..

Микола из последних сил отбивался от наседающей,
обезумевшей бабы, выполз на середину туалета. И хотя
туалет старого вагона просторен, инвалид лягал Коляшу
негнущейся ногой в его тоже негнущуюся ногу. Коляша
загораживал всем, чем мог, Женяру, чтоб не увидела она
этой ошеломляющей схватки.

— Выдчипысь! — прорычала Одарка, и Микола отле-
тел к двери туалета, ударился, затих.

За унитазом возилась, гребла взятыми вверх ляжками,
белеющими во тьме, по-звериному хрипела, вроде бы грыз-
ла какое-то дерево женщина. Унитаз набатно гремел, зве-
нел пузырь на потолке, звякал о железо... Туалет, вагон,
мир содрогался от мук женщины, истязающей самое себя.
Громко прорыдав, скуля по-песьи, женщина начала осла-
бевать. Какое-то время еще подбрасывало, дергало в кон-
вульсиях ее могучее тело. Но вот унялось, распласталось и
оно, ноги, обутые в солдатские ботинки последнего разме-
ра, опали, вытянулись, унималось хрипящее дыхание. С му-
чительным, сонным стоном женщина пробуждалась от обмо-
рочной страсти, проясняясь сознанием. Затаившись во тьме,
долго-долго не шевелилась, не подавала признаков жизни.

Поезд все стучал и стучал колесами, скрипел вагон,
бился и бился об пол унитаза, никак не проваливаясь в
дыру, колпак фонаря под потолком, готовый вот-вот ото-
рваться, лязгал. Коляша плотнее прижал к себе Женяру,
уверяя себя в том, что она ничего не слышала. Женяра
шевелинулась, прошептала: «Что это, Коля? Ой, как
страшно-то...»

Не вылезая из-за унитаза, Одарка помацала вокруг,
нашарила костыли, притянула их к себе, начала прибирать
одежду, зачесала гребенкой волосы, повязалась платком,
еще посидела, прислонившись к шаткой стене.

— Мыкола! — наконец, искаженно позвала Одарка. — Ты, можэ, попыты хочешь?

— Ни.

Опять молчание. Опять единый звук поезда, опять за окном огоньки и свет бесконечного мироздания.

— А може, яблочка?

— Ни.

— З глудзу зыхала баба... Ат, дура! А-ат, дура! У-у, курва-блядь!.. — Слышно было, как Одарка несколько раз завезла себя кулачищем по башке. — Мыкола, а Мыкола! Иды до мэнэ! Я бильш нэ буду. Иды, а...

Куда деваться солдату-инвалиду? Зашевелился, пополз под крыло своей бабы, и она укрыла его, прижала к себе, принялась раскачивать и похлопывать.

— Ничого, ничого... дома, у садочку посыдышь, виддохнешь, яечкив, сальца поишь, лекарствив добрых здобудэмо. Я дни и ноченьки буду процювать, с пид зэмли усэ для тэбэ здобуду... Любый ты мий!.. Мы ще диток нарожаемо... Усэ у нас будэ, як у добрых людын, усэ будэ. Главно, шоб той вийны проклятой бильш нэ було... Ну, спы, спы, сонэчко ты мое ясно...

На рассвете, зябко ежась, Коляша высаживал Одарку с Мыколой на станции Чудново, от которой до родного села им еще предстояло добираться пятнадцать или двадцать верст. Но они уже были считай что дома. Одарка задом наперед, подпирая раму, протискалась в окно, приняла сперва костыли, потом и мужа на руки. Подавая Одарке мешок, почти не убавившийся в весе и объеме, Коляша, наклонившись к уху попутчицы, прочастил:

— «Ой, Одарка, вражья сила, зараз в слезы, гомонить, так злякае чоловика, шоб нэ знав вин, що робыть...»

Бесовская баба, малость отоспавшаяся, снова полная сил и бодрости, подморгнула Коляше припухлым глазом:

— Нэ буду, нэ буду лякаты чоловика, — и еще раз подморгнула: — Аж цылу нидилю...

Супруги Смыганюк стояли рядом, смотрели на Коляшу радушно и благодарно, в один голос приглашали заезжать, если случится быть на Житомирщине. Микола что-то шепнул жене на ухо, та всплеснула руками, охнула, полезла в мешок, извлекла оттуда бутыль, кус сала и полбулки мятого хлеба. Это добро она совала Коляше в руки, он отбивался, отталкивал подношения.

— Визмыть, будь ласка! Ну, визмыть!..

— Визмы, брату! — подал голос Микола. — Путь твой ще долгый, время голодно. Визмы! Цэ ж солдат солдату...

Ни Коляша, ни Микола не подозревали тогда, как пригодится и выручит молодоженов та фигуристая, буржуйская еще бутылка.

Одарка и Микола медленно взнимались по дороге, ведущей за серый, пустынный холм. На холме остановились, обернулись. Одарка вскинула над головой кулачище, киношный ли «рот-фронт» изобразила, но, скорее, увереннее дала, мол, жить будемо.

Прошло еще сколько-то времени. Иней засверкал в полях и на встречных вагонах. Солнце доцветающим подсолнушком выкатилось на небо. На припеках запарило, в тени домов, будок и деревьев все так же холодно и уверенно искрил иней, и какие-то уж вовсе припоздалые листья совсем сморенно, неприкаянно, возникнув вроде бы из ниоткуда, пролетали вдоль окна, пробовали лечь на землю по-за поездом, но их еще тащило за вагоном, еще вертело, кружило и разбрасывало по сторонам ворохами и поодиночке.

— Вот так и нас волочит, кружит, — вздохнул Коляша.

— Пора и нам на волю из этого уютного помещения, — подала, наконец, голос Женяра, не делая, однако, никаких движений из обогретого уголка и не открывая глаз, но громче прежнего покашливая.

Коляша откинул защелку, попробовал открыть дверь туалета. Дверь уперлась в народ, стоящий, сидящий на полу, спиной навалившись на дверь «вечно занятого» туалета. Люди оживились, расступились сколько могли, чтоб выпустить пленников на волю и тут же втиснулись в обогретый туалет с неотложной надобностью. Скоро унитаза лежал на боку, громко брякая, народ делал свои дела в разверстую прорубь, на вертящиеся в неустанном беге, блестящие колеса. Жгут мочи, смывая испражнения, лился до тех пор, пока проводники, в отдельном вагоне меняющие одесскую самогонку да тираспольское вино на тряпки, сало и хлеб, не были на какой-то станции отысканы осматрщиками вагонов.

Появилось хмурое начальство. Нашумев на проводников, на пьяного начальника поезда, заставило их хоть немножко приглядывать за вагонами, руководить пассажирским населением. Проводники — мужик, опухший от пьянства, и остервенелая баба с разбитым фонарем — с упорной настойчивостью искали тех, кто выбил стекло в туалете, открыл его и наделал им столько беспокойства. Поиски ни к чему не привели. Проводники с досады начали

проверять билеты, наводить порядок, посбрасывали на пол какие-то узлы, мертвецки пьяных пассажиров. С десятков едущих зайцами личностей выдворили вон, кого-то сдали комендантскому патрулю, кого-то куда-то переместили согласно документам и билетам. В результате краткой, бурной деятельности железнодорожников молодожены Хахалины оказались в середине вагона. Женяра даже прилепилась одной ягодичей на нижнюю полку, вступила в контакт с ближними бабенками, которые в конце концов стеснили себя так, что и вторая невыразительная ягодича оказалась при месте.

Коляша и еще несколько мужиков солдатского ранга стояли, бросив локти на средние полки, и дремали в таком вот положении, потому что с того момента, когда, соскучившись по человеческому обществу, супруги покинули уютный туалет, в чем Коляша давно уже раскаялся, и достигли полки, прошло почти полсуток, наступила еще одна ночь, все люди должны были отдыхать.

Нога с раскрошенным коленом, не раз оперированная, долгого стояния не выдерживала, ноге ходить, двигаться нужно, а стоять на ней невыносимо — ломило все кости, таз, спину. Колено раскалялось, и горячая струна стягивалась, резала ногу пополам, наступало онемение конечности, тупая боль взяла в горсть сердце, стиснула его. И хотя Коляша перемещал тяжесть тела на левую, целую ногу — быть дальше в таком положении становилось невозможно, он чувствовал, что вот-вот упадет, провалится в гущу людей, в ноги, в узлы, в чемоданы, ведра, сумки... все тогда загремит, люди всполошатся, подумают, что мужик этот пьяный или припадочный.

Катили уже двое суток, но до Киева все далеко. Как же доехать до Урала? Как достичь обетованно русской земли и выдюжить? Там не было войны, и поезда поди-ка ходчее идут, не останавливаются у каждого столба, не пережидают какие-то спец, экстра, особого назначения составы, не сбавляют скорость то там, то сям до пяти километров в час, потому как путь «сшит на живульку» еще во время наступления наших войск на запад, пока еще не дошли до него руки. Трусливо дрожа, ржаво скоргоча железом, поезд подкрадывался к мостам, которые держались на чем-то, чаще всего на деревянных клетках, скрепленных скобами, зыбко покачивались, прогибались под тяжестью состава рельсы над бездной, поезд готов был рассыпаться вместе с мостом и рухнуть с сонным народом в холодные

воды какого-нибудь Псёла, который и на карте-то не на всякой обозначен.

Но как же радостно, как же бодро, словно жеребенчишко, вырвавшийся на волю из тесной конюшни, кричал паровоз, миновавший никому не известный мостишко через никому не известную речушку, дергал он тогда, тряс людей в вагонах: слышите, мол, слышите?! Движемся! Прем вперед, может, когда-нибудь, куда-нибудь да доедем!.. Де-эржись, ребята-а-а-а! Не-э-э-э плоша-ай!

Коляша в полуобмороке застонал. Женяра потянула его за рукав бушлата на свое место. Меж ведер, в узлы, в свалку вещей, ног, туловищ засунулся Коляша и не сразу услышал свою остамелую ногу, пошевелил пальцами и почувствовал, как мелко-мелко все в нем дрожит от перетруды сердца, как само оно уравнивается, входит в берега, снимая жар с тела, раскаленного от перенапряжения.

Бывают же счастливые, благодные минуты в жизни!

Так, меняясь местом, молодожены дожили до утра. Коляша сообразил опрокинуть вверх дном чем-то наполненное ведро, сел на него и, положив голову жене на колени, малость поспал. Взяв в перекрестья рук голову и спину Коляши, Женяра оберегала его от толчков и маленько грела руками, все еще шершавыми от мытья соленой водой и керосином.

Проснулся Коляша от бесцеремонно наглого, пересохшего голоса:

— Эй, маршál, в рот те пароход! Спишь, а скоро станция. Я щас ссал в окошко и семафор концом зацепил!.. Го-го-го!

Остряк захохотал первым. Он лежал на второй полке. Выше него, на третьей полке ютился «маршál» — плюгавый сержант с наклепленными на погоны и петлицы значками, эмблемками и блескучими нашлепками. Спустившись к своему корешу, он попросил дам отвернуться и довольно ловко, привычно, видать, справил малую нужду в окошко.

— Ваша правда, мой генерал, скоро станция! — подтвердил он. — Готовьтесь опохмеляться.

И в самом деле поезд скоро сжало тормозными колодками, дернуло, осаждало, он начал сбавлять ход.

Население «купе» было разнородно. Притиснутая к окошку, спала и всю ночь всхлипывала во сне молоденькая, белобрысая девчонка. Против нее с ребенком у груди, широко открыв рот, спала женщина средних лет. Сторожко

к ней прикинув, то и дело вскидывалась, что-то поправляла на бабе и на ребенке, подремывала чуткая, еще крепкая телом старуха. Подле старушки и женщины уютилось трое ребятешек школьного возраста, дальше — одетый в бензином воняющий ватник, глыбой навалившись на стену, ни разу не пошевелившись, грохотал всеми частями, винтами и гайками, сам, как догадывался Коляша, хозяин семейства. Два железнодорожника, очевидно, возвращавшиеся домой с восстановительных работ, братски обнявшись, посапывали возле девушки. Меж ними и Женярой, уронив руки, ноги, отвесив нижнюю губу, растрепанную косу, спала еще одна женщина, некрасиво расшеперив колени, в которых котенком лежал в комок скатавшийся фартук. Что-то зашевелилось на противоположной средней полке, в воздухе, соря крошками сохлой грязи, закачалась деревяшка с криво стертым железным наконечником.

Народ просыпался, зевал, чесался.

«Мой генерал» — блатняк, как определил Коляша по выговору, — где-то проошивавшийся войну, возвращался куда-то и зачем-то, балагурил, гоготал, чувствуя себя самым главным победителем на земле. Девушка возле окна тоже проснулась, вытерла тыльной стороной ладони губы, подобрала волосы, надвинула на глаза уголок серенькой косынки и отвернулась, прислонившись лбом к стеклу.

— Ну, че? — свесившись с полки, приставал к ней исколотый по груди, по рукам, «исписанный» по морде бритвой «маршáл». — Че снилось-то? Кавалер? Жених? Щупал, небось, стишки на ухо шептал? «Напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я». И выходит, что? Выходит, что создан он для блаженства? Езданул чемоданчик и лататы! Гага-га-а! А ты и жопу расквасила... щастье так близко, так возможно...

— Отстань от человека! Отстань! — сказала пожилая женщина, остерегавшая семейство. — Ей и без того тошнее тошного... И дети тут. Оне от немцев сраму навидались и наслушались, самолучшего, привозного... Тихона разбужу — он тя скоренько уймет! Вылетишь в окно, што воробей!

— Да я... Да...

— Тихо, маршáл, тихо! Спертая паровая и половая сила перед тобой. Гляди на детей и учитывай свои возможности...

— Бабуль, а, бабуль, скоко твоему-то?

— Скоко-скоко? Зачем тебе? Ну, тридцать восемь Тихону.

— И уже четверо?

— Не четверо, а пятеро. Один в вакуацию с пионерлагерем попал. И где он счас, родимой? Найдем ли? — за-сморкалась женщина, — да двоих малюток еще схоронили под немцем...

— Во-от эт-то да-а-а! Во-от эт-то рабо-о-отник!

— И работник! И заботник! Не вам, прощелыгам, чета! Опора державе, надежда народу.

Тем временем поезд остановился на какой-то дымной и мрачной станции. К нему со всех сторон, будто на приступ, ринулись торговки и опять забегали вдоль поезда, от окна к окну, закричали, забренчали котелками пассажиры.

«Маршáл» и «мой генерал», опустив в котелке деньги за окно, подняли в обмен лепешку, сорящую отрубями, вареную горячую картоху, огурцы, помидоры, полную пилотку груш и яблок.

— Во дерут, с-суки! Во дерут! Пользуются, что с вагона выйтить нельзя... — лаялся «маршáл», а «мой генерал» в это время рядился: — Не-э, не-э. Ты сперва дай попробовать. Не-э, так не пойдет! Нам уж продали разок водичку! Больше не наякорите! Давай-давай!

В аптечном, грязном пузырьке, подобранном, должно быть, под ногами, подана «проба». Ее понюхали, лизнули по очереди «маршáл» и «мой генерал», инвалиду-соседу, видать, старому специалисту по напиткам, дали лизнуть.

— Да вроде бы ниче, не особо разбавлена.

— За двести, барыга! Даю двести.

— Ни-и, — раздалось из-за окна. — За двисти покупай у другом мести! В нас дровы дороже...

— Да вы ж уголь тырите!

— За вуголя стреляють.

— Н-ну, падла! Ну двести с полтиной! Ну триста, падла! Нету больше! Ну... С кого дерешь-то? С фронтовиков-страдальцев, а? Ну, ни стыда, ни совести! А ну, кореш, высунь ногу в окно! Да не ту, не ту! Деревянную! Во, с кого ты дерешь! Во кого ты, вонючка, терзаешь своей спикующей...

Бутылка, прихваченная грязным бинтом за горло, взметнулась на деревяшке вверх. «Маршáл» поймал ее, будто рыбину, прижал к груди: «Оп-ппа-а-а!» — и, погладив трепетной ладонью, поцеловал в донышко.

— М-мух, родимая! М-мух, погубительница рода человеческого! — и заблажил с подтрясом: «А без денех жи-ысь плах-хая, не годицца н-никуды-ы-ы!..»

...Жизнь в купе шла своим чередом, точнее, не шла, ехала. Люди встряхивались, приводили себя в порядок. Наверху пили, веселились, внизу деловитая женщина, намочив из бутылки тряпицу, обтерла лица ребяташек, свое лицо тоже утерла, из той же бутылки маленько попила. Девушка за столиком все так же притиснуто лицом к стеклу сидела, не двигалась, смотрела вдаль. Женщина потянула ее за рукав, подала бутылку. Девушка, неумело отпив из горлышка, выдохнула: «Спасибо!». Питуху сверху предлагали ей тяпнуть, протягивали кружку. Девушка никак на это не откликнулась. Мать Тихона меж делом поведала молодоженам историю, приключившуюся в пути с девушкой.

В то время люди, в общем-то, не женились, сходились, как Коляша с Женярой. Бывали, и нередко, случаи, когда мужики, а то и проходимки-бабы «подженивались». Истосковавшиеся где-то в трудармиях, на путях, в казармах, в спецподразделениях девчонки, молодухи и вдовы, подхваченные всеобщим возбуждением, сжигаемые долго сдерживаемыми страстями, попавши в скопища людей, с ходу, с лету соединялись с кавалерами, пылко падали на грудь избраннику, и не раз такие вот союзы кончались несчастьем. Мошенник-кавалер уносил с собой хранимое, нехитрое девичье имущество.

Вот и эта младая спутница лишилась осчастливившего ее кавалера — ушел, смылся в ночь возлюбленный и чемоданишко прихватил. А она по мобилизации работала на восстановлении путей, ломала наравне с трудармейцами, кое-что заработала, скопила, выменяла на тяжелую рабочую пайку, ехала домой с небогатым, зато своим имуществом.

— Ладно еще, — говорила старая женщина, — в тесноте, в многолюдстве не добрался ушкуйник до главной девичьей ценности. Имущество — дело наживное, но если у девушки пломба сорвата, — тут уж дело непоправимое.

Велись и долго будут хитроумно вестись подсчеты потерь в хозяйстве, назовут миллиарды убытков, невосполнимый урон в людях, но никто никогда не сможет подсчитать, сколько дерьма привалило на кровавых волнах войны, сколько нарывов на теле общества вызвала она, сколько блуду и заразы пробудилось в душах людских, сколько сраму прилипло к военным сапогам и занесено будет в довольно стойко целомудрие свое хранящую нацию.

Пока Коляша предавался глубоким, современным мыслям, троица наверху опохмелилась, начала картежную битву. Валёк — так звали «моего генерала» — играл с теми, кто ехал на крыше вагона, посредник меж играющими, инвалид на деревяшке, сноровисто переправлял вверх карты с «ходом» в котелке, привязанном к изношенным обмоткам, принимал подачу обратно. То и дело слышалось: «Туфта!», «Шнекарь!», «Понтит, псина, понтит!», «Эй, на халупе!..» Валёк, вылезши в окно, ухватившись рукой за козырек водоотвода, лаялся с кем-то из верхних игроков. «Марш!л» и инвалид держали его за ноги.

— Я тя спущу с хавиры и приколю к опшэстvenному нужнику финкарем, если будешь туфтить. Веди игру честно!..

На полувосстановленном мосту с низко провисшими, негабаритными перекрытиями народ на крышах пал влэжку. Слух пронесся: несколько человек все-таки снесло под колеса, тех, кто был привязан к трубам вентиляторов или по пьянке забылся, — разmozжило.

Слухов по густонаселенному, давно и тесно живущему поезду ходило не меньше, чем по переселенческим баракам где-нибудь в таежном поселке, и прорицателей было полно, и певцов, и нищих, и ворья, и торговцев разными товарами, в том числе и фотками, переснятыми с поганых немецких открыток. Игроки накупали снимков целую горсть, перебирали, комментировали:

— Н-ну, с-сэка, че делат, а?! Наши так не умеют! Уж на что у меня маруха на Екибастузе была, на все дыры мастерица! Да куда ей до заграницы!

— Подучатся!

— Гли, гли, как он ей!.. Н-ну, падла, не могу. Терпленье мое лопається!.. Эй, ты, невеста без места! — навис Валёк с полки, тыча снимок девушке в нос. — Гли, учись!.. Как переймешь опыт, лезь сюды! Ну, че ты? Че ты рыло воротишь? Денег дам, накормлю...

На том самом, полуаварийном, негабаритном мосту оторвало котелок с картами, и он, брякнув о переплеты, кружился в воздухе, пока не шлепнулся в воду.

— Полтыщи за колоду карт! — заорал Валёк голосом Карла Великого, сверзившегося во время боя с седла с криком: «Полцарства за коня!» — Ну, тыщу!..

В это время в вагон вошел отряд военных, проверяющих документы. Старший из них, видимо, был уже наслышан о вольнице в этом вагоне, да и Тихон, глава семейства, не подававший вроде бы и признаков жизни,

при приближении патрулей вытащил пачку документов, стянутую красной резинкой, и, указывая наверх, сказал:

— Вы не нас, вы их вон, шпану эту, как следует проверьте да этапом куда следует отправьте. В общественном месте им, паскудникам, быть не полагается.

Когда «моего генерала» и «маршала» повели из вагона, а присмирившему инвалиду погрозили пальцем, Валёк прошипел: «Финарь по тебе тоскует!» — рогаткой пальцев хотел ткнуть в глаза Тихону, но тот неожиданно проворно перехватил его руку и крутанул так, что в блатяге что-то хрустнуло, он осел на пол, уронив ведро. Тихон подержал его мордой к полу.

— Попадись мне — ноги из жопы выдерну!

На полках разместили ребятишек и жену Тихона. Постелив шинеленки, сунув узел с манатками в голову, супруги Хахалины легли на нижнюю полку и попеременно спали до самого Киева, куда прибыли глухой ночью, и там, конечно, никто никого не ждал.

Киевский вокзал чудом не рухнул до основания — в нем сохранился нижний этаж, и, сидючи пока на улице, в закуске, возле стенки, впритирку к военным, Коляша услышал еще одну чудную притчу, которых в те годы возникало и ходило тьма. Вокзал этот, якобы, был строен по французскому проекту. Но нашим, российским строителям фундамент, крепления, перекрытия и прочее показалось весьма и весьма хлипким. Они увеличили мощность главных узлов вдвое или даже втрое. Немцы ж народ шибко грамотный. Он, немец, и убивает, и разрушает все по науке. Так вот, немцы заложили в киевский вокзал взрывчатку с расчетом на французский проект, рванули германской взрывчаткой, и по германскому разумению вокзал должен был разрушиться. Но проект-то французский, динамит немецкий, да вокзал-то наш, российский, и хрен возьми — обвалившуюся на него тяжесть первый этаж удержал, и народу достался весь обширный нижний зал вокзала, к которому было уже кое-что пристроено, примазано, прилеплено. На втором этаже начались восстановительные работы.

Как часто немецкий порядок, сталкиваясь с беспорядком советским, терпел сокрушительное поражение! Если б фюрер и его сподручные учли, с каким невиданным бардаком они столкнутся, может, поняли бы, что заранее обречены, глядишь, и войну не начинали бы...

На киевском вокзале и в окрестностях его скопилось более тридцати тысяч одних только военных пассажиров. Чтобы получить по продталонам паек — булку хлеба и две селедки — надо было стоять за ними не менее трех суток. Уехать пассажирским поездом из Киева практически было невозможно. Помочь могли только сила, наглость и взятка — ничем этим Коляша с Женярой не располагали.

Утром, когда ожил, зашебутился народ, Коляша понял, что одну, очень большую оплошность он уже сделал — надо было ночью сходить в уборную, непременно велеть сходить туда и Женяре. Коляша простоял в очереди к заветному очку более часа. Из уборной в воронкой продавленный бетонный пол вспененным потоком хлестала моча, неся в бойких струях окурки, плевки, бумажки, тряпочки.

Поток мужиков раздвоился, и второе, более шустрое крыло взяло направление в женский туалет. Оттуда тоже скоро вылился вялый, но с каждой минутой мощи набирающий ручей. Воронка среди вокзала переполнилась. Из нее устремился ручей к порогу, через порог, через перрон, на пути.

Бабенки танцевали и ныли возле своего туалета, взывали к мужицкой совести. Да куда там?! На ходу вдвояря на место добро, деловито застегивая ширинки, иные военные еще и пошучивали, один зло бросил на ходу:

— Обоссали офицерские блиндажи на войне, подмочили крепкие наши тылы, теперь приучайтесь в штаны!..

— Ах так! Вы еще и глумиться! — закричала мужеподобная женщина-майор, с танками на погонах и, выхватив из кобуры пистолет «ТТ», казавшийся огромным и нелепым в ее неожиданно красивой руке, половину обоймы высадила в потолок.

— Ря-а-ату-уйте! — заорали наверху.

Произошло смятение, спрашивали, кто кого убил. Мужики шархнулись от женского туалета. Крикнув: «За мной!» — майорша с обнаженным пистолетом вошла под низкие своды сортира, загазованного что вредный химический цех, и оттуда в панике сыпанули бравые вояки, иные со штанами в беремя.

— Быстро, пока мужики не очухались от потрясения, рви! — скомандовал Коляша. Женяра юркнула в женский табун.

Только на вторые сутки молодые супруги втиснулись в тесноту вокзала. «Держи деньги в темноте, а девку в тесноте!» — усмехнулся Коляша. Молодая супружница Хаха-

лина почти не ела, не пила. На улице ночью быстро они промерзли, — раскашлялась она, жалась к Коляше, пытаясь согреться. «Не заболела ли?» — испугался Коляша. Внезапно его осенило: есть и пить Женяра старается меньше и потому, что продукты кончаются, и еще чтоб реже ходить в туалет.

На вокзале и вокруг него царило пьянство, воровство, разухабистость богатеньких военных, едущих из-за границы, и полное уныние таких, как супруги Хахалины, а было их тут большинство. Комендатура лаялась, гоняла людей с места на место, особенно сверху, где шли работы, и чтоб не обрушилось чего вниз, на людей; без конца проверялись документы. Расспросить, узнать что-либо и где-либо было делом бесполезным. Железнодорожные служащие прятались от военных, в военных же службах только надсадно орали и грозились. Тех, кто решался идти на власть грудью, скручивали, уводили под арест.

Действовала тысячелетиями отработанная беспроигрышная военная система: ты всем обязан, тебе — никто и ничем.

По вокзалу и его окрестностям катились слухи, и самый из них упорный: будут формироваться спецэшелоны из теплушек — до Урала, Сибири и Дальнего Востока, чтоб разгрузить от людского месива западные вокзалы, станции и дороги. Будто бы один такой эшелон уже ушел — до Саратова или на Москву. Но пока что по киевским путям безостановочно неслись эшелоны из-за рубежа с демобилизованным народом, не останавливаясь по той простой причине, что беспризорный военный люд брал в осаду эти поезда. Поговаривали, будто поездные бригады и локомотивы меняются и заправляются в Дарнице, за Днепром. Может, туда отъехать? Но как? На чем?

Колебания и сомнения Коляши ахнулись после совсем уж безобразной сцены, случившейся на вокзале среди бела дня. Любви тут завязывались и происходили без конца и на виду у всех. Ночью парочки разбредались по ближним развалинам, прятались и дружили там. Темный и суровый ликом офицер в окопной, псиной провонявшей шинеленке мял под этой боевой шинелью податливую бабенку и вдруг повалил ее на пол, разорвал на ней исподнее, начал в каком-то жутком порыве растерзывать женщину при всем густом народе. Хохот, свист, возмущение, ропот, шуточки, команды со всех сторон. Кто-то из самых веселых парней начал детскую считалочку. Бабенка не вывертывалась из-под мужика, только выстанывала, закрыв

глаза обеими руками: «Господи, прости! Господи, прости!..»

Прибежал патруль. «Прекратить безобразие!» — закричал старший патрульный с портупеей через плечо. Офицер никак не реагировал на его клич. И тогда, взвизгнув и затопав ногами, багровый от стыда и возмущения, патрульный цапнул сладострастника за сапог, а тот, оскалившись, выхватил пистолет. Хватило работника ненадолго. Он упал лицом на захарканый пол, оттолкнул бабенку и, полежав какое-то время, застегнулся, протянул патрульному пистолет, указывая кивком головы на женщину:

— Ее не троньте... пожалуйста! — и пошел впереди патрульных.

Бабенка, подбирая на себе рванье, ползком-ползком к своему узлу да и на улицу и где-то уж за вагонами, на путях пронзительно закричала. Думая, что она бросилась под поезд, Коляша вместе с любопытной толпой вышел на пути. Там шла обычная маневровая работа, все было спокойно. Понаблюдав за работой маневровой бригады,ждавшись, когда паровоз остановится, Коляша угостил составителя поездов табачком, подготовленным специально на этот случай, поговорил с бригадиром о том, о сем и спросил, нет ли у них пути на Дарницу. Бригадир ответил, что сейчас вот всю подборку порожняка бригада делает на Дарницу, возможно, даже своей маневрушкой и поволокет туда сценку, паровозу пора заправляться.

— Люди! Машинист! Механик! Увезите в Дарницу! Пропадем мы тут с моей бабенкой.

— А ты думаешь, в Дарнице легче?

— Пусть на тридцать верст будет ближе к дому,— пошутил Коляша.— У меня салишка кусок есть, самогонки немного...

— Ну, что с тобой делать, брат-кондрат? — молвил со вздохом машинист.— Поедете в тендере. Из угля голов не высывайте! Не один ты такой догадливый. На мосту постовые сймают вашего брата, мне нагорит.

Женяру уж ничем было не удивить, не испугать, тем более паровозным тендером. Как мышка-норушка, зарылась она в уголь. Коляша рядом примостился. Тронулись! Поехали!

Залязгало, загрохало над ними и за ними. Сверху искры летят, да все горячие. Душит супругов густущим смоляным дымом — сырой, паршивый уголь на маневрушки дают. На мосту, не совсем еще восстановленном, тендеришко разболтало, разбайкало что люльку ребячью,

того и гляди — вывалятся молодые люди в Днепр-реку, а в ней вода глубокая, холодная — Коляша изведая позапрошлой осенью и сейчас невольно ужасался, съежился в себе. Зато дым отнесло вниз, под колеса, закручивало его в узлы, по реке растягивало, над водой волокно.

Моргнуть глазом не успели молодожены — вот и Дарница! Выгружайся, народ! А как выгрузились супруги Хахалины, глянули друг на друга — винтом пошли, Женяра в одну сторону, Коляша в другую — так их устрепало за короткую дорогу, что и не узнавали они друг друга. Крепкие белые зубы молодой жены сделались еще белее, но смех ее перешел в хриплый, долго не унимающийся кашель. Подались к водокачке — отмыться, водички попить, поесть маленько и осмотреться, провести рекогносцировку, — как говаривали братья-артиллеристы.

Со временем Коляша прочтет и узнает, что они с молодой жеңой в точности повторили путь романтических влюбленных — лейтенанта Шмидта и Зинаиды Ризберг, только пламенный революционер и утонченная, книг читающая курсистка проделали путь от Киева до Дарницы в полупустом мягком вагоне, на красном бархатом обитых диванах, а освободители мира от фашизма, спасители отечества, приумножившие и без того громкую славу родных вождей и полководцев, — на грязном, водой от пыли облитом угле.

В Дарнице было чуть полегче и почему-то потеплее. Молодожены просто не заметили, что помягчало в природе, — первые холода пробно прошлись по земле и по народу, упредительно пощупав их за слабо, по-дорожному легко прикрытые тела, сделав разведку боем по лесам и полям, по царству зверей и людей, холод приник к земле, обратился в мокро, начал парить и гноить то, что удалось сшибить с дерев, с колосьев, с зевастых подсолнухов и цветов. Чернела прель под зимним солнцем. Чернели поля и леса по-за станцией, но ярко, празднично светилось то, чего холод не достал, не убил, не скрючил, не уронил.

Молодожены, навалившись друг на дружку плечами, сидели в привокзальном скверике, подремывая на солнышке. Тут на них и налетел суровый работник комендатуры станции Дарница, приказал показать документы. Пока начальник внимательно рассматривал бумаги, Коляша рассмотрел его. Хоть и молод лейтенант, но навоевался досыта, ордена и нашивки о ранениях виднеются за бортами распахнутой офицерской шинели, губу покривило

контузией. Чем-то он очень сильно напоминал командира взвода управления артиллерийского дивизиона Пфайфера. Недолго тот воевал, не успела война научить его осторожности, воспитатели уже приучали парня к бесстрашию, к жертвенности во имя идей светлого будущего. Был он из образованной семьи, его представления о доблести, о мужестве и славе были почерпнуты из книг, из бесед школьных пионервожатых и тыловых комиссаров, потому и спешил он отдать жизнь свою и отдал скоренько, не намучившись в окопах.

И вот лейтенант, очень похожий на Пфайфера, — Коляша чуть не спросил его фамилию, — сменил суровость на милость, расспросил супругов Хахалиных, каким путем и зачем попали они в Дарницу, шевельнул кривой загогулиной плохо пробритого рта:

— Муж с женой. Это другое дело. А то милуются тут по кустам всякие... — Он уже пошел, но обернулся: — Я буду иметь вас в виду.

— В виду. Иметь, — начал заводиться супруг Хахалин, но молодая жена резко дернула его за рукав, остепеняя. Ой, сколько раз ей придется повторять этот жест, сдерживающий горячность мужа. Сколько пролить слез, научая его степенности в речах, остерегая от губительных действий, да все ее усилия по перевоспитанию мужа или хотя бы пробуждению степенности и благоразумия — особого успеха не имели.

Прошла еще одна ночь.

Утром у солдат с проходящего эшелона Коляша купил булку хлеба по сходной цене и в то же утро под воздействием воспоминаний о фронтовом братстве, о светлом образе офицера Пфайфера и лейтенанта из винницкой комендатуры совершил он еще одну, весьма поучительную ошибку. Увидев, что к воинскому эшелону прицеплено три зеленых вагона с кремовыми занавесочками и возле них прогуливается чистенький, излучающий приветливость генерал-майор с круглой попкой, с брюшком кругленьким, с подбородочком репкой, луночкой украшенным, все, все, особенно детский носик, располагало если не к вольности, то уж к приветливости всенепреренно. Сплетя на груди руки меж лапами расстегнутого мундира, накинутого на плечи, генерал прогуливался вдоль состава, дышал свежим воздухом. Мирная ли осень, земля ли в последнем увядании и багрянце, облик ли праздно прогуливающегося генерала и подвинули фронтовика к не совсем продуманному действию. Коляша подзаправился, подобрался и заступил

дорогу генералу, который, слышалось солдату, тихо и про-
никновенно произносил: «Роняет лес багряный свой
убор...»

— Здравия желаю, товарищ генерал! — бодро заявил
Коляша, прикладывая пальцы к пилотке. Вспомнил вдруг,
что везде и всюду в армии повторяют поучительную запо-
ведь: «К пустой голове руку не прикладывают», — и тут же
понял, что сделал он глупость, неизвестно которую по
счету в жизни, уже и за дорогу эту немало их сотворил, но
отступать было поздно. Коляша залепетал о том, что он,
бывший фронтовик, ранен, едут вот с женой, тоже фронто-
вичкой, на Урал, деньги и продукты на исходе, так нельзя
ли им, пусть бы хоть в тамбуре или в коридоре...

Взгляд генерала медленно пробуждался, он еще не
видел, не различал солдата перед собою, да и не слышал,
он все еще глядел сквозь человека на багряный осенний
лес и, шевеля губами, шел дальше, сквозь время, сквозь
свет, сквозь солдата, так и не поняв, кто это перед ним
мельтешит и издает какие-то звуки. Никогда, нигде, никто
не смел заступать ему дорогу, тем более — беспокоить
просьбами. Глас земной, солдатский так и не достиг его
сознания, не потревожил вельможный слух.

— Извините! — жалко молвил во след генералу
Коляша, да еще чуть и не поклонился. «Э-э-эх, Колька-
свист, разудала твоя голова! Размундяй ты, размундяй!
Учит тебя жизнь, учит, да все никак не научит...»

Генерал подхватил спавший с плеча мундир и, огрев
Коляшу не просто негодующим, но испепеляющим взгля-
дом, молодецкато вспрыгнул на подножку вагона. Сырым
плевком лепился солдат Хахалин на междупутье и вновь
осознал давно известную истину: чем выше чин, тем убий-
ственнее от него происходит унижение, и потому впредь
не лезь вверх ни с какими просьбами, не нарушай той
границы, которая пролегла меж верхним и нижним эшело-
ном.

— Эй ты! А ну отойди на х... от вагона! — на подножке
генеральского вагона, чего-то дожевывая, повис молодень-
кий солдат, свеженький лицом, с еще только начинающи-
мися усами, с комсомольским значком на гимнастерке.

— Это ты мне?

— Тебе, тебе! Кому ж еще? Шляется тут всякая пое-
бень...

— Спустишь на землю. Я плохо слышу после контузии.

Солдат, чего-то ворча, спрыгнул с подножки, и пока он
нехотя, надменно надвигался, Коляша поднял с между-

пути скошенную, вроде арабской сабельки загнутую тор- мозную колодку — одного удара ею достанет, чтоб отучить этого молокососа навеки не только лаять на людей, но и жевать генеральские объедки.

— А ну, повторяй за мной: «Дяденька боец! Я прошу вас, отойдите, пожалуйста, от генеральского вагона».

— Да я...

— Расколю башку. Пока твои бздилоходы тебя хватятся, ты вонять уж будешь! Н-ну! Ну! Как тебя учили в пионерском лагере? Как учат в комсомольской организации?

— Дяденька боец... я прошу вас...

Не дослушав молодого холуя, вымучивающего вежливые слова, Коляша брезгливо отбросил мазутом облитую колодку и сказал, хлопая его по плечу:

— Держись за свое место! Псом дворовым будешь, зато глотать жирные кости станешь, спать в конуре, под крышей, на сухой подстилке. Не то что некоторые...

Около вокзала, съездившись, засунув руки в рукава, покашливая, поджидала своего супруга посиневшая от вдруг потянувшего с Днепра холодного ветра, сиротливая женщина. «И зачем мне все это? — сокрушался Коляша, — вокзалы, холуи, бардак этот вселенский? Куда я еду? Куда меня влечет? Зачем? Семей, видите ли, обзавелся, пристяжку спроворил! Добирал бы остатки урожая в украинском совхозе «Победа», дрова воровал бы, яблони тряс по садам, напившись самогонки, ходил бы с мужиками плакать на братскую могилу по великим праздникам...

Среди ночи супругов Хахалиных, прижавшихся за нетопленной печкой дарницкого вокзала, отыскал запаленно дышащий сержант и приказал, чтоб они скорее, с манатками — к лейтенанту.

— Ну, вояки! — пошевелил где-то возле уха концом рта лейтенант. — Ваша скромность и смирение вознаграждены! Не надоедали мне и всем добрым людям, и за это вот он, — указал лейтенант на заулыбавшегося сержанта, — посадит вас, незаконно, в незаконный вагон, и вы, может быть, незаконно доедете до Москвы.

Оказалось, что все эшелоны с войсками, идущие из-за рубежа, имеют вагоны прикрытия — два четырехосных вагона, в которых можно было бы уместить две сотни демобилизованных душ. Вагоны, стоящие между паровозом и эшелоном — на случай аварии или диверсии в пути, — должны «прикрыть», самортизировать весь осталь-

ной состав, словом, смертники-вагоны. В общем-то, это то же самое, что загородить собой товарища комиссара от пули врага или закрыть грудью амбразуру. То есть никакого в этом здравого смысла не было. Загородить грудью, в особенности женской, хоть кого и хоть чего можно только в кино, но загоразивать груженные вагоны пустыми вагонами — это даже для кино, пусть и самого патристического, не годилось, потому что при экстренном торможении груженные вагоны, нажав на негруженные, просто выдавили бы их наверх, как пустые, хрупкие спичечные коробки.

Строго-настрого наказав молодоженам, чтоб в вагон они влезали без шума и никогда, никуда, ни под каким видом больше не вылазили, «даже если будут оружием пужать», ну и не выдавали бы его и товарища лейтенанта, сержант подсадил Женяру и хромого ее мужа в вагон.

— Счастливо-о! Эх, и мне бы скорее домой! Я бы хоть на чем...

Женяра с Коляшей думали, что в вагоне поедут одни, и боялись этого — полное ж бесправие, любой бандит под видом патруля пришьет и фамилию не спросит. По напряжению, которое передалось Коляше, он чувствовал, что спутница его боится тьмы и дороги, нащупал ее рукой, приободрил.

— Да закройте вы двери! Кто там? Высадят всех к херам! — раздался голос в темноте, и слабый, угольно светящийся фонарик, пометавшись по темному пространству, к радости супругов, обнаруживших, что вагон полон спящего народу, указал им в дальний угол вагона и даже подержал там пляшущее пятнышко света. Коляша захлестнул притвор вагона и осторожно пробрался к жене — она что-то подстелила, какую-то тряпицу на хрустящее на полу стекло, шлак, угольную крошку, поймав мужа за руку, потянула вниз и, когда он прилег головой на рюкзакишко, уютно подлезла к нему под бочок.

— Я так рада, что мы едем!

— Погоди еще, не говори «гоп»... Не нагрязнул бы патруль.

Женушка угнездилась у Коляши под боком и уснула, греет чуть слышным теплом и даже во сне осторожным дыханием. «И чего это я психанул-то? Она-то при чем, если кругом такое творится! У нас ведь уж если бардак, то обязательно грандиозный, если урожай — то стопудовый, если армия, то самая непобедимая!.. Допобеждались вот. Да и сам ведь вспоминал, как на фронте спать ложились

обязательно головой к чему-то, солдат к солдату жался, а женщина, одна на таком ветру, в такое дикое время, само собой, норовит к кому-то прильнуть, заслониться...»

— Поехали, механик, поехали! — раздалось за вагоном.— Сто четвертый поджимает.

— Поехали так поехали...

Коляша с удовольствием еще послушал переключку помощника машиниста с машинистом: «На выходе зеленый». — «Вижу на выходе зеленый...» — и уснул под «зеленый», потому как не спал ладом уж несколько суток.

И когда раздалась грозная команда: «А ну, выходи из вагона! Кому сказано?» — и увидел наставленные с улицы два черных автоматных дула, не сразу понял, где он, что с ним, и не вдруг опустил обратно на священную советскую землю, охраняемую самыми справедливыми строгими законами.

— Опять началось! — запричитал рядом с Коляшей пожилой, давно не бритый солдат.— Че вы нас на каждой станции гоняете, че нервируете? Мы вам пленные, чо ли? Враги, чо ли? Мы домой едем!..

— А ну прекрати трепаться! — гаркнул старший патруля, младший лейтенантишко, и запрыгнул в вагон, сверкнув до блеска начищенными хромовыми сапогами.— Сейчас же! Сейчас же очистить вагон!

Никто в вагоне не сделал никакого движения.

— Я кому сказал?! — младший лейтенант по-грязному обматерился. Был он в нарядном картузе, в диагональном обмундировании, перетянутый в талии, со значками, портупей, весь вычищенный, выглаженный, праздничный.

— И не стыдно твоей сытой роже? — покачал головой все тот же пожилой солдат.— Ты посмотри, на кого орешь! Над кем изгаляешься!

Младший лейтенант осмотрел вагон внимательней. Коляша, приподнявшись, тоже осмотрел население вагона. Были здесь, в основном, военные и, в основном, битые-перебитые. Были и гражданские. Но женщина всего одна — Женяра.

— Не положено! — стараясь удержаться в повелительном, начальственном тоне, снова начал младший лейтенант.— Вагоны должны следовать порожняком. Это опасно для жизни...

— Для чьей?

— Для вашей, разумеется.

— Ну, о наших жизнях не беспокойся. Мы такое повидали, что не дай тебе Бог во сне увидеть.

— И все-таки мне придется очистить вагон.
— Это кто так думат? — наступал солдат-сосед.
— Я!
— Ну, твое «я» ишло галифо твое не прожгло, токо оттопырило.
— Вы у меня запомните станцию Бахмач! Запомните! Сейчас патрули откроют огонь.
— По нам?
— По вам!
— Вали! Стреляй! Фашист немецкий не добил, дак свой, доморощенный...
— Это ты обо мне? — побледнел младший лейтенант.— Я — фашист доморощенный?!
— Ты, ты! Вызрел! — не унимался пожилой солдат.
— Я тебе покажу — фашист! Я тебе покажу! Огонь! — скомандовал младший лейтенант своим подручным. И те, зажмурившись, дали очередь вверх.

— Эко напугал! Ты слыхал — нет, молокосос, пословицу: не стражай девку мудям, она весь видала! Прошу, дамочка, прошшэнья! — поклонился вежливо солдат в сторону совсем зажавшейся в угол Женяры.

На выстрелы примчался начальник эшелона, тоже с патрулями, ладный такой капитан, при орденах. И когда, брызгая слюной, содрогаясь, негодуя, сбиваясь с пятого на десятое, младший лейтенант объяснил ему обстановку, вывизгивая: «Приказ наркома! Неподчинение! Арест! Трибунал!..», — капитан вскочил в вагон, любопытствуя, осмотрел присмирившее его население, покачал головой и, ободряюще на ходу улыбнувшись, спрыгнул на мазутную землю.

— Нам они не мешают, — заявил он распетушившемуся командиришке и, одернув на нем вылезавшую из-за пояса гимнастерку, добавил: — Ну и че они тебе? Едут люди и пусть едут. Может, пересадишь их в пассажирские вагоны?

— Это не моя компетенция.

— Во, какая грамотная гнида! — снова начал заводиться Коляшин сосед.

— Я тебя арестую! — заявил младший лейтенант.

— Попробуй!

Капитан увел своих хорошо поддатых орлов, но на помощь младшему лейтенанту прибыл еще один отряд. Человек уже шесть с автоматами вертелось возле вагона, требовало, чтоб если не все, то непокорный бунтовщик вышел из вагона и встал под конвой, иначе будет хуже,

иначе они задержат эшелон и нагорит всем, в том числе и безответственно себя ведущему начальнику эшелона.

Кто-то со стоном попросил в вагоне:

— Да выйди ты, отец, выйди. Либо помолчи. Высадят ведь, суки, всех. Это ж такие крючки...

— Кто крючки? Кто суки?

— Ребята! — громко, на весь вагон обратился к народу Коляшин сосед. — Где-то тут граната валялась? Дайте мне ее. Тряхну я эту шушеру. Довоевывать так довоевывать.

Сосед туфтил, нагоняя на патрулей холод, понимал Коляша, откуда гранате взяться? Как вдруг с другого конца вагона поднялся высокий военный, и Коляша ахнул, узнав в нем того лейтенанта, что смял бабу на полу киевского вокзала. В руке его была зажата «лимонка», и так она была стиснута, что козонки пальцев побелели. Он решительно шел к патрулям, пляшущим пальцем пытаясь попасть в кольцо запала гранаты.

— С-сыно-ок! — бросился наперерез ему Коляшин сосед. Запнулся за кого-то, упал, лоя лейтенанта за сапоги. — Сы-но-ок! Сдамся я имя! Выйду! Пускай заарестовывают! Не надо боле крови, сынок, не надо... Я ить пошуты-ы-ы-ыл...

Патрули побежали от вагона. Споткнувшись о рельсы, двое упали, уронили автоматы и не вернулись за ними, ползя под вагоны на карачках. Лейтенант резко закрыл дверь вагона. Сделалось полутемно. Постоял у щелястых дверей, уткнувшись лбом в железо, повернулся и сказал скрипучим голосом, опуская руку с гранатой в карман.

— Я тоже попугал, отец. Успокойся...

Возле вагона шарились, шептались.

— Дак че делать-то?

— Не знаю. Шарахнут гранатой, имя че...

— И красавчик наш смылся куда-то!

— Галифе новое, видать, полощет у колонки...

— Да закрыть их к херам, и все! — за дверями вагона, скрипнув, звякнув, опустилась в железный паз щеколда. — Попомните станцию Бахмач!

В вагоне сперва сдержанно, затем веселее начали посмеиваться, не зная, что железнодорожный товарный вагон изнутри не отпереть, и, если долго придется ехать, — дело дрянь, считай, что в тюремном вагоне они, только в тюремном кормят, поят и до ветру выводят, здесь же хоть подохни — никто не побеспокоится.

Сосед по фамилии Сметанин, пробирающийся в родное Оренбуржье, ввел в курс дела супругов Хахалиных: народ

в вагоне большей частью пролетарского происхождения. Те, что катили из-за границы, еще кое-что имели из провизии, имущества и трофеев. Но страдальцы-госпитальники, нестроевики и пестрый люд, отторженный от армии, ее кухонь, пусть и с негустым, но все же устойчивым приварком, трудармейцы и всякие отбракованные, — эти бедовали уже давно и променяли все с себя, вплоть до нижнего белишка. Есть в вагоне типы потаенные. Один из них, молодой парень в шелковом кашне и театральном костюме тонкого сукна, неизвестно зачем бывавший в Германии и чего там делавший, вез, например, полный чемоданчик камешков для зажигалок и намерен на них нажать капитал. Ведь если каждый камешек продать по десятке, — Сметанин постучал себя по шапке согнутым пальцем: «Во, голова!». Другой вез два чемодана масляных красок в тубиках. Сметанин по этой причине считал его художником и жалел его, блажененького. Были военные, нахватавшие тряпок, барахла и потому боявшиеся выходить из вагона, оставлять без присмотра добро. Они неприязненно относились к пролетарьям, которым терять нечего, кроме военных цепей, просили что-нибудь купить им на станциях или променять и за это маленько делились добытым харчем с соседями. В вагоне, слава Богу, не оказалось блатных и всяких разбитных картежников вроде «маршала» и «моего генерала». Небольшое, случайное собрание случайного люда в сухогрузном вагоне, в котором возили и зерно, и уголь, и вот поставили его прикрытием, поскольку была у вагона крепкая ходовая часть, да и коробка вагона почти новая — вагону этому работать бы, добро возить, вез же он в основном барахольщиков, скрытых, неразговорчивых, и, не будь Сметанина, Коляша с Женярой куда острее чувствовали бы свое одиночество после гомонящего военным людом набитого вокзала.

Сметанин был высокий, плоский по спине и по груди мужик. На груди его с левой стороны болтались четыре медали, подстрахованные на застежках бабьими булавками, справа — два ордена Отечественной войны, «Звезда» и гвардейский значок. Питался Сметанин одними «концёрвами», по его определению, — конскими, хотя была это обыкновенная говядина — тушенка армейского назначения. «А жир? — возражал Сметанин. — Где жир-то? На дёнышке плюнуто, лавровый листок брошен, чтоб седельный запах отшибить... Конь это, конь, кляча колхозная, выбракованная — мне ли не знать, как колхозный конь пахнет!..»

Слово «выбракованный» было самое любимое и привычное у Сметанина. На консервы, тоже, по его мнению, выбракованные, он уже и глядеть не мог. Когда Коляша с Женярой дали ему кусок хлеба, сальца, луковицу и яблоко, он чуть целоваться не полез.

— Да милые вы мои ребятишки! — пел Сметанин. — Да ешьте вы, ешьте эту выбраковану концёрву, коль глянется. Да пошто глянется-то? Возьмут варено мясо, в банку затолкают, харчок сверьху — и ешь! Какое это мясо? Его уж, вроде бы, ели и высрали...

В выборе выражений Сметанин себя не стеснял. Коляша понял, что у него это самый что ни на есть натуральный разговор. Спервоначала сосед еще спохватывался, приложив руку к медалям, кланялся в сторону Женяры: «Прошу прошшэнья, дамочка!», после совсем забылся, повествовал историю своих походов совершенно свободным, великим русским языком. По тому, как большую часть времени он проводил, стоя на коленях, лежа на локте, Коляша догадался, что Сметанин из пехоты, тот нисколько не удивился тому, что молодой сосед угадал род его войска.

— Из ёй, из ёй! Чтоб она, блядь, горела синим огнем на сырых дровах. Кабы не Чащин товарищ капитан, давно бы я землю не мучил и воздух с бракованных концёрвов не портил.

Сметанин был на фронте с сорок первого года и все в пехоте.

— Уцелей-ко, попробуй! — восклицал он. — И по госпиталям валялся, и под колеса танков попадал, и в землю заживо бомбами закапывало, и отступал, и голодовал, и холодовал, где-то в Белоруссии даже тифом болел и чуть в заразном изоляторе не сдох... Ну, думаю, теперь-то уж меня выбракуют и, если не домой, то хоть в какую-то, не в пехотную роту пошлют. Ведь ветром же шатат, а я пулеметчик. Где мне станок унести или хотя бы и ствол? Да без меня много желающих по тылам ошиваться, воевать подале от переднего края. Хоть верь, хоть не верь, друг мой молодой, денег скопил: шил и починял обутки командирские, ну и приворовывал, конечно, где курку украду, где гуся, где свечку, где топор, где часишки трофейные подберу, зажигалки, ручки писчие с голыми бабами. Ну, думаю, как ранют, я в тылу какому-нибудь ферту все это суну — и меня хоть ненадолго дале от бойни подоржат, хоть с полгода — отойти чтоб, укрепиться нервьами. Но все не за нас, ни вошь, ни Бог. Херакнуло так, что мешок

мой с трофеями в одну сторону полетел, я — в другую! И вот знаш, парень, уставать я стал. Вижу, ты вон тоже изукрашен, и меня поймешь. Хожу, как в воду альбо в помойку опушенный: что скажут — сделаю, не скажут — не надо, шшэлку себе, солдатскую спасительницу, могу выкопать, могу не выкопать; пожрать не принесут — ничего, добывать не стану... Обессилился, обовшивел, седина по мне пошла, будто плесень по опредому пню. Все одно, думаю, до конца мне не довоевать, маяться же я больше не могу, и, чем скорее меня кончат, тем скорее душа и тело успокоятся. Домой писать промежду прочим тоже перестал. Пусть, думаю, постепенно привыкают жена, дети к мыслям о моей потере. Ну, а в таком состоянии духа, сам знаешь, на передней линии огня долго не протянешь, там ты все время должен быть, как пружина, настороже, ушки чтоб на макушке, глаза спереди, глаза сзади, желательно, и на жопе чтоб глаза и уши были и видели и чуяли чтоб все, потому, как сам себя остерегаешь, так и сохранишься в этом аду, и чтоб не тебя фашист, а ты его убил... Ой, парень, сколько я энтото фашиста положи-ы-ы-ыл! Ежели на том свете будет суд Божий, меня сразу, без допросу и без анкет, в котел со смолой. Душегу-ууб! Хожу я, значит, землю копаю, пулемет на горбу вперед на запад ташшу и чую, скоро, скоро отмаюсь. Но тама,— показал Сметанин в потолок вагона,— распоряженье насчет моей выбраковки ишшо было не дадено. А вот письмо от моей бабы пришло. На имя командира части. А у нас токо-токо ротного убило, новый ротный пришел. С батальона. Капитан Чащин. Ну, новый-то он новый, да дыры на ём старые. С госпиталю он поступил. Меня к ему и вызывают. Сидит в блиндаже мужик, худю-у-у-ущий, хворый на вид весь, как ворон черный. Я ишшо подумал — осетин, небось, альбо чечен. А он меня на русском чистогане: «Ты што распротвою мать, от семьи спрятаться хочешь?» — «Умереть я хочу, товарищ капитан». — «Чего-чего?!» — «Умереть, говорю, хочу. Все надоело». — «А вот тебе! — заорал капитан, тыкая себя кулаком в ширинку. — Хуеньки не хочешь?»

Бодрое, игровитое слово-то, навреде как детская побрякушка. Я с того момента слово это полюбил и на поправку пошел, душа в mine воскресать начала. Товарищ Чащин, он с понятием, он слово-то словом, но дело делом, коло себя меня держал, навреде как вестового и писаря. Какой из меня писарь? А сапожник и шорник хоть куды — с детства к шилу да к постегонкам приученный.

Обшивал, обмывал, упочинивал, обувь тачал и командирам, и солдатам. Ночей не спал. Когда и коней почишу, когда чего поднесу, подам, покопаю, раненых соберу. И вот под крылышком-то капитана Чашина, дай ему Бог здоровья, да под командирскими накатами очухался я, и, когда меня снова во взвод возвели, к пулеметчикам,— голой рукой меня не возьмешь! Я уж снова весь при себе, и нюх мой от пороха и гнилых соплей прочистился. Работат!

Н-на! А ить задурел я, о-ох, задурел!.. Это коды мы Бёрлин взяли и загуляли все: и офицера, и рядовые,— так я уж и от памяти отстал: ночь мне, день, немец, русский, узбек, татарин — все мне собутыльники! Всех я люблю! Волокут меня к Чашину, теперь уж к комбату, майору. Ты что, говорит, старый, обалдел, что ли? Так точно, обалдел, говорю, потому как жив остался и до се этому не верю. Он меня подтолкнул к окну — это мы под Берлином, в каком-то городе стояли, на берегу реки, может, моря, кажись, Ундермунде или Мундерунде — у него, у немца, рази запомнишь.

«Че ты видишь?» — спрашивает товарищ Чашин, теперь уж майор, а я уж привык — все капитан да капитан. «Дома», — говорю. «А ишшо че?» — «Ишшо, ишшо? Воду, — говорю, — вижу». — «А ишшо?» — «Боле ниче не вижу, товарищ капитан. Мне бы опохмелиться, тоды бы, может, зренья прорезалось...» — «Я тя опохмелю! Я тя опохмелю! Ты что, старая кляча, не видишь, што уж лето на дворе? Ты же с весны гуляш! Куда в тя лезет-то? Струмент сапожный потерял. Иль пропил... К немке, к молодой, по пьянке подвалился, бесстыжая твоя рожа! У тебя ж четверо детей! Дочь невеста! Мне уж жопу чесали за твои художества! Под трибунал попадешь!.. Ты же в армии, мерин сивый! Что, что победа? Ну, погуляли все, люди как люди, а ты, как хер на блюде!..»

И опять, в такой погибельный момент приблизил меня к себе товарищ Чашин, уж майор, — велел мне подавать, но помаленьку, чтоб постепенно голова прояснялась и сердце чтоб от неупотребления сразу не остановилось, чтобы тоже в границы входило. И все, парень, опять наладилось, пошло, как надо, — молиться век мне и моей семье на товарища Чашина. Но тут нас хлесь в ашалоны, да в Молдавию и перевели. Тама от нас товарища Чашина отозвали. Кто говорит, будто в академию, кто, мол, по раненьям домой. А я думаю, в Кремль его взяли, да и не ошиблись — бо-о-о-ольшо-ого ума человек! Там такие люди нужны, чтоб с

умом руководить державой и направлять ее, куда надо, а куда не надо — не направлять...

Н-на, оборвалось во мне что-то, заныло, заскулило в нутрях. И давай я опять гу-уля-ать-куралеси-ыть... Но товарищ Чащин все предусмотрел. Новый комбат меня с деревни, где мы помогали колхозникам урожаем убирать да смуглянок-молдаванок в кукурузе перебирать, нажравшись синего вина, — велел на губвахту посадить. Отсиделся я, отлежался на губе, мне документы в зубы, мешок кондёрвов, мать бы их, маленько хлеба, маленько денег — и катись вояка Сметанин домой — от греха подальше. Ну я, само собой, с ребятами загулял. Но ребята не дали мне разойтись. Место мне в этом вагоне — из Румынии эшелон-то идет, — нашли и в вагон связку одеяльев забросили, вот оне, энти одеялья, — для коней, заместо попон служили. Матерья на их плащпалатонная, ее простежили с куделей, с ватой ли сырцом и полевых артиллерийских коней грели. Мне сказали, там, в деревне, мол, сгодятся, там все разуты-раздеты, а из матерьи такой хоть штаны, хоть юбки шей. До-о-о-олго я ехал на тех одеяльях один. Придут патруля, я сразу на себя генеральский вид напушу: «Имушщество казенно охраняю, попоны для коней», — и отлипнут оне. Потом народ полез-попер, мне и радостней, и веселей, да вот только от попок энтих тыловых беспокойство. Два одеяла я уж на хлеб променял. Ишшо бы надо хлебца раздобыть. Придется тебе, парень, энтим делом заняться — я худой промышленник. У нас теперича вроде как семья. Ты уж, дамочка, не обращай внимания. Невыдержанный я на язык. Деревня-мама!..

Н-на-а, деревня! У ее и названье-то Кухахталовка! И жись в ей не жись, а и не знаю, как назвать... Вот лепят и лепят: «Жись до войны была! Жись до войны!» Может, кому и была, да не нашему брату. Кухахталовка наша почти в самом степу, хлебушко родится с пятого году на шестой, картошка — моих мудей не хрушшее!.. Ой, опять прошу прошшэнья, дамочка молодая. Вся надежа на скот, на овцу, на ямана, да на коня, да на Ивана. А ён, Иван-то, который в двадцать первом годе не вымер, дак в тридцать третьем годе ноги протянул. Ладно, у нас отец мозговитый, на каку-то стройку махнул, кочергой в домне шевелить обучился, и за ту кочергу ему хорошие деньги давали. Да только выпить он у нас был большой спец. Но деньжонок все же присылал, когда и с имушщества чего. Я за старшего в семье. Семеро нас, и не по лавкам, а по полу да по полатам. Из семерых четверо девок. Меня скорее женить,

чтоб я с дому не смылся. Всего приданого нам с Грунькой: деревянна кровать с клопами возле дверей... Скрипит, курва, што твой шкилет. На полатах девки возятся, подслушивают. А еда кака? Картошки, молоко да арженина. Девки ночью на полатах ка-ак пе-орнут! — у нас с молодой полон рот битых тараканов... Послушай, солдатушко хромой, нас эти попки намертво заперли?

— Намертво!

— Н-н-на-а-а! Теперь нам не помочиться, не опростаться, не попить?

— Терпеть придется.

— Терпе-эть? Все терпеть да терпеть... Не привыкать нашему брату терпеть, ну, а ежели как терпиловка кончится? Опеть свалка? Опеть кровь?..

— Тихо, отец. Я попробую упросить осмотрщика вагонов.

— Молчу, молчу,— Сметанин в потемках звучно, сладко зевнул и уже на отходе ко сну добавил: — Эх, Кудахталовка, Кудахталовка, мать бы ее ети! Знаю, че меня ждет. В Молдавии бы остаться, коло винограду, коло молдаванок! У-ух, егоисты мы, мужики! У-ух, егоисты! Детишки-то как? Старшу замуж надо выдавать...

Всю ночь, как на грех, как на изгальство, гнало поезд, тащило в холодную, ветреную Россию, и только на расвете случилась остановка. Но Коляша не дозволялся никого снаружи. Мочились мужики в притвор двери, по-большому терпели. Сметанин не раз уж вежливо пукнул, заглушая звук кашлем. По вагону начало все гуще разносить вонь и звуки. А поезд все бежал, бежал. И уснул Коляша на одеяле-попоне, отделенной Сметаниным. Когда проснулся, поезд все качало, все волокло. И он опять забылся. И опять проспал заправочную остановку, узловую станцию, на которой комендантские работники открыли вагон и спутники облегчились. Киевский лейтенант, с гранатой, еще и выпил, да крепко. Лицо его, серое и костлявое, осветилось загоревшимися глазами, сталистым взглядом прожигал он все, на что смотрел. Гаденыши бахмачской комендатуры по линии передали, чтоб мятежный вагон закрывали. И спутников снова заперли, снова упрятали. Пьяный лейтенант цеплялся ко всем, задираля парня с красками, говорил, чтоб тот уж сейчас начинал писать трофейными красками победные картины.

— Вон тех вон, в углу, изобрази! Пока мы кровь проливали, землю носом рыли, они, голубчики, гнездышко семейное свили!..

— Ложился б ты спать, товарищ лейтенант,— подал голос Сметанин.— Выпил и ложись. Зачем людей задирал?

— А-а, старый хрен! Слышал я, слышал, как вылизывал ты жопу своему капитану... Выжил! Сохранился!

— За что он нас-то, господи! — испуганно вздохнула Женяра, прижимаясь к Коляше.— Да сними ты бушлат. Пусть увидит твой орден, медаль солдатскую — «За отвагу», нашивки за ранения...

— Он и без того видит, что я не грибы на фронте собирал.

Лейтенант унялся, захрапел, но храпел как-то настороженно, с перерывами. Разойдется, расхрапится — и стоп! Словно вслушивается во что-то вокруг и потихоньку, полегоньку опять захуркает, погружаясь глубже в тяжелый сон. Женяра, боясь лейтенанта, кашляла в шапку или в отворот Коляшиной шинели.

— Не обижайтесь вы на него,— сказал Сметанин,— где-то его крепко помололо, может, и в плену... О-ох, и погинуло же там народу, поугасало жизней...

Ни с того, ни с сего, от полного уже безделья во тьме крошечной потянуло Коляшу позаигрывать с женой. Она смиренно, скорей даже испуганно отнеслась к этому, но вдруг рукой поймала руку мужа и с низу перенесла ее на свой лоб, с тихим стоном придавила к голове — лоб, лицо, голова у нее пылали.

«Заболела! — всполошился Коляша,— а я тут со своими забавами...»

— Простудилась? От стены холодно?

Женяра молчала. Коляша ее тормошил, пытался укутать.

— Не надо,— отвела она руку мужа.— Я же двое суток не ходила на двор. Я больше не могу...

— Так же ты молчала?

— Я боялась автоматчиков... и еще... еще боюсь отстать от поезда.

— Да ты че?! Я ж какой-никакой шофер, все правила дорожные знаю. Горит красный — стоим! Зеленый зажегся — поехали. Может, загородить тебя, и ты у дверей, в притвор, а?

— Нет, я не смогу при мужчинах. Не беспокойся. Я еще потерплю. Только пока не прикасайся ко мне... Не сердись. Ну, прости, пожалуйста...

Коляша укутал жену, как мог, и ушел к двери вагона,

сел так, чтоб на него сквозило из притвора, чтоб не проспять остановку.

Только на рассвете, где-то уже за Орлом, поезд выдохся, замер, и Коляша услышал похлопывание клапанов колесных букс — приближался осмотрщик вагонов. «Скорей, скорей! — торопил его Коляша про себя. — Хоть бы больной вагон не попался. Расцепку начнут...» Но вот хлопнули две крышки задних колес, сейчас осмотрщик пойдет к последней — передней паре, к паровозу, посмотрит, молотком по торозным колодкам и по башмакам, их удерживающим, постучит, потычет шупом в паклю со смазкой, если потребуется, мазуту подольет, тампон в пустую буксу вложит — в пути паклю на растопку вытаскивают, — еще разок мазутом из чайника подзаправит, высморкается, еще чернее измажет и без того уже чумазый нос, вздохнет освобожденно и подумает тоскливо: «Э-э-эх, теперь бы закурить!..» Шаги хрустят по каменной крошке, усталые неторопливые шаги — похоже, идет пожилой осмотрщик, пожилой лучше, не верхогляд, пожилой горе и нужду понимает, об девках или еще об чем таком не задумается. Как только шаги захрустели под дверями вагона, Коляша позвал в меру громко, но и не так, чтоб перепугать в задумчивость погруженного человека, — осмотрщики, замечал Коляша, все какие-то задумчивые:

— Осмотрщик вагонов, стой!

Шаги замерли.

— А? Че? Откуль?

Коляша представил, как напуганный мужик ворочает головой, угадывая, откуда голос, может, даже на небеса поглядит — уж не Он ли окликнул работягу.

— Послушай, осмотрщик! Вагон, против которого ты стоишь, заперли гады из комендатуры. Мы не арестанты, не бандиты, мы с войны домой едем..

Какое-то время вагон напряженно ждал, за дверьми ни движения, ни звука — осмотрщик, глаз у него острый, натренированный, смотрит: пломбы иль завертки на вагоне нету, часовые поблизости не маячат, во всех, почитай, вагонах прикрытия едет разный люд, ничего особенного; спросят: «Какая станция? Далеко ли до Москвы?», когда и закурить дадут.

По задвижке стукнуло шупом.

«О, батюшки!» — отпустило Коляшу.

Дверь с рокотом откатилась в сторону, и, приподнявшись на цыпочки, ощупал взглядом население вагона мазутом пропитанный человек.

— Да как это скок же вы, не оправлявшись-то, едете?

Чуть не сшибив осмотрщика с ног, народ сыпанул, прыгивая вниз. Сметанин сунул работяге заранее приготовленную консерву, Коляша — осьмушку табаку и бегом потащил жену вперед, за паровоз.

— Туда! — махнул он на вдоль ящичков автоблокировки разросшиеся, черные от копоти кусты и бурьян. — Я никого не пущу! Не бойся! Паровоз отцепляют — без паровоза никуда не уехать.

Приближалась жидкая цепь семенящих мужиков, на ходу расстегивающих штаны, на шею вешающих ремень.

— Имейте совесть, мужики! В сторону, мужики, в сторону! За паровоз нельзя! — Коляша раскинул руки.

Лейтенант киевский, весь, вроде бы, из одних крупных и тоже злых костей сложенный, презрительно фыркнул обросшим ртом. Паровоз, попыхивая, увез на подножке прилепившегося с желтым флажком сцепщика. Осмотрщик сидел на сигнальном столбике, курил и с чувством личного облегчения наблюдал, как военные шуруют на вагонные колеса напряженными струями, и, хотя надо было указать на беспорядок, ничего не говорил, не указывал. Коляша, угодивший в цепь рядом с лейтенантом, заметил, что Создатель обделил пятерых мужиков, творя этого человека, и, пожалуй что, лейтенанту с таким богатством терпеть без бабы труднее, чем всем другим, оттого он и не совладал с собою на киевском вокзале, вот тут и толкуй о равенстве и братстве... И еще Коляша, к которому по мере облегчения возвращался юмор, думал о том, что у мужика с такой аппаратурой и характер должен быть соответственный — большой, добрый, — иначе ж бедствие, в первую голову — женщинам...

Увидев застенчиво улыбающуюся, прибранную, где-то даже умывшуюся Женяру, Коляша переметнулся мыслью на человеческое счастье, о котором всю дорогу так хлопочет род людской и сулит его советская власть, а оно так близко, так возможно!..

— Вот спасибо! Вот спасибо! — досасывая сигарку, твердил сцепщик вагонов. — Не куря пропадаем. Заправка будет, дак минут не меньше сорока простоице, можете и за кипятком сходить...

— Тебе спасибо! — помогая супружнице взобраться в вагон и поскорее спрятаться в обжитом уголке, — благодарил Коляша. — Отец, а отец! — позвал он Сметанина. — Побудь тут, я за кипятком поковыляю.

Женяра, прежде его и на шаг не отпускавшая, на этот

раз не возражала, поверила, стало быть, что муж ей достался хóдок: все дорожные правила знает — с таким не пропадешь! Осмотрщик вагонов смастерил крюк из толстой проволоки и показал мужикам, как изнутри, в щель либо через люк, откидывать и накидывать вагонную накладку, чем привел в неопиcуемый восторг Сметанина и всю остальную публику. Теперь можно ехать, не открываясь на крупных станциях, зато ночью, на полустанках, чтоб не навлекать на себя гнев и внимание надзирающей власти, можно делать все, что захочешь. Свобода!

— Да ить не все жа скурвились, спились да изворовались за войну. Поезжайте с Богом! — в ответ на благодарности молвил осмотрщик вагонов и пошел дальше исполнять свою работу.

Дальше двигались без особых приключений. Вояки, ехавшие из Румынии с вином и добром, веселились в своих вагонах, играли на гармошках и аккордеонах, перешучивались со встречными девчатами и бабами-торговками, шумной толпой высыпали на станциях, провожая тех, кто доехал «до места», обнимались, кричали, иногда и качали кого-то. Словом, почти как у задумчиво-грустного Блока: «Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели...», — только вагоны были не зеленые и синие, все одинакового цвета, и на войне российские люди были все на одной. Будь Коляша в своей артбригаде, в своем дивизионе и взводе, тоже б домой с братвою, по-человечески ехал, тоже б пел и веселился да спьяну плакал. А ныне вот приходится молчать, будто чужестранцу, и оправляться ходить крадучись. Завоевал. Еще Женяра, молодая супруга, после той станции за Орлом горечи в душу добавила, шеборшилась под боком и руку мужа тащила ко лбу — легче, мол, ей сделалось, можно дальше ехать без мучений, да руку-то мужнину, еще и целовать принялась. Его аж в жар бросило: «Что ты? Что ты?» — слезы в нем закипели. Он к себе прижал Женяру, зубы до хруста стиснул и дал себе слово: всю жизнь ее жалеть и заботиться всегда о ней — женщина ж, беспомощный человек.

Ехали, ехали, с пересадками, с перегрузками, с перетрусками — от Соликамска до Красновишерска трюхали на родной Коляше и такой же хромой, какая у него была когда-то, полуторке. И пока ехали, валяясь в грязном кузове, на соломе, вынутой из торговых ящиков, Коляша явственно видел два черных трупа, катавшихся по кузову, от которых отламывались горелые кости, кожа, и пони-

мал, что кошмарные сны, которые преследуют его ежедневно, не скоро отступятся от него, память и за всю жизнь не отболит.

А между тем к концу пути Женяра, молодая его супруга, не просто покашливала, но хомкала утробным кашлем, будто в ней поршневым насос клапаном работал.

Мать Женяры, Анна Меркуловна, была еще крепкая и даже моложавая с виду женщина. Встретила она молодых супругов среди ночи неприветливо, почти сурово, прикоснувшись к щеке дочери губами, поскребла довольно выразительным носом воздух, сморщилась и ткнула пальцем в Коляшу:

— Муж, небось?

— Му-уж,— прошелестела губами Женяра.

— Бракованный какой-то. Лучше-то не досталось? — и постукала себя кулком по зевающему рту. — Лучших девчонки побойчее тебя расхватили! И кашляешь, будто колхозная кляча. Не туберкулез ли с фронта вместо трофеев привезла? Ну ладно, ложитесь на лежанку, за печь. Днем баню истоплю, тогда уж на постелю допущу.

Городок Красновишерск стоял на самом северном краю Молотовской области, да и всей России, пожалуй что. Говорили, что еще севернее есть старинные города Чердынь и Ныроб, но новожитель пермских земель Хахалин Николай Иванович не верил этому — куда уж дальше-то?

При Анне Меркуловне состоял молодой мужик из тех самых западноукраинских селян, перевоспитанием которых занимался конвойный полк. Чего-то он подсчитывал, чем-то руководил, возил в леса на лошади продукты, фураж, строительные материалы — там, в студеных горах, на глухих речках Цепёл, Молмыс, Язьва — устраивались жить, валили и сплавливали лес переселенцы с Украины, и не только с Западной. Кое-что снабженец не довозил до поселков, ночной порой сваливал возы и мешки в белоусовском дворе, в пристройках. Анна Меркуловна щеголяла по дому в шелковом китайском халате с ярким павлином на спине и пичужками поменьше — на рукавах. Шубка на ней была с лисьим, но уже монгольским воротничком, на пальцах золотые перстни. Кладовка и подпол забиты продуктами, и, тем не менее, Анна Меркуловна — прямой человек — упредила дочь с зятем:

— Чтобы за неделю получили паспорта, определялись на работу и на свой паек. Я сама живу коровой да еще за карточку, за рабочую,— полы в общежитии мою.

Женяра виновато поникла: она знала, что им с мужем и неделю не протянуть на завоеванном, от родины полученном довольствии. Солдату Хахалину при демобилизации выплатили сто восемьдесят рублей и продовольственных талонов на десять дней. Женяре — хоть и маленькому почтовому начальнику — отвалили аж восемьсот рублей и талонов тоже на десять дней, еще билет бесплатный и новое обмундирование ей выдали. Коляша Хахалин явился на пермскую землю в пилотке и в сапогах, а тут уже зима! Хорошо, что от Белоусова-отца кое-что осталось и от брата. Мать выкинула мятые, пыльные вещи, сказала, что люди едут с фронта как люди.

— Вон офицер из какого-то смертша и ковров, и вещей дорогих навез, да и золотишка, а тут ровно с каторги парочка явилась: гола, нага, хвора к тому же.

Уже на другой день, не глядя на хворь, Женяра, не переставая покашливать, давя одышку, управлялась по двору, доила и поила корову, муж ее чистил стайку, колол дрова, вел себя пока безропотно, но чувствовала она, что муж нагревается, закипает и скоро-скоро, воткнув топор в чурку, решительно рявкнет: «А шли бы вы все вместе со своим хозяйством на хер!» — бросит жену и рванет из Красновишерска куда глаза глядят.

Глядя ночью мужа по голове, по отросшим, ершистым волосам, Женяра просила:

— Не спорься с мамой, Коля, не спорься. Терпи. Я же терплю. Всю жизнь. Мама у нас всегда и во всем права, и всегда сверху. Папу, брата и меня она жевала, жевала, всю дорогу жевала. Она даже в письмах нас жевала. И папа с братом, если живы, спрятались от нее. Теперь вот мы ей на зуб попали...

— Н-ни-иы-ычего! Меня не больно ужуешь! Я спереду костист, сзади говнист, — хорохорился Коляша.

Женяра, скрыв беременность, поступила на почту — таскать сумку. Коляше легкой работы не находилось, и он начал помогать приживале Анны Меркуловны — возить в лес грузы.

Боже, Боже! Что там делалось, в лесу-то, в уральском-то!.. Переселенцы, пурхаясь в глубоких снегах, на морозе, в непривычных горах, среди холодных камней и в скалах, возле стиснутых льдом речек, погибали сотнями. Дело доходило до того, что в некоторых поселках перестали хоронить покойников. Общение с миром и жителями переселенцам было категорически запрещено, отлучки куда-либо — тоже. Вечно пьяный, одичавший комендант

поселка на Цепёле, имеющий право стрелять в людей за любую провинность, в конце концов застрелился сам. Никто из барачников выйти уже не мог, и никакая сила не могла заставить людей взять в руки пилу и топор. Переселенцы съели коней, собак, кошек, толкли кору с опилками. И когда какая-то комиссия, правительственная или международная — небесными, не иначе, путями донесло глас страдающего народа до Канады — на тракторе прорвалась на северный Урал, опасаясь международного скандала, зашевелились внутренние каратели и палачи, возглавляемые в области генералом Зачепой, наполовину татарин, наполовину хохлом. Через несколько лет этот деятель будет избран депутатом Верховного Совета как железный чекист и истинный коммунист, а еще через года три во время денежной реформы нагреет он родное государство на несколько миллионов и, будучи помещен в закамскую психушку, быстренько кончит там свои дни, потому что орал на всю округу, мол, есть воры и повыше него и он всех выведет на чистую воду, исчезнет беззвучно и бесследно с испоганенной и ограбленной земли.

Зачеповцы доставляли продукты лишь в последний в миру поселок с подобающим месту названием — Сутяга. Далее переселенцы тащили продукты на волокушах по «точкам». Дело часто кончалось «передачей» — умерших в упряжке людей меняли те, что могли еще двигаться и тащить волокуши дальше. Переселенческие поселки на западном склоне Урала опустели. Коляша, ездивший с делягой-переселенцем в тайгу, на речки Цепёл, Молмыс и Осмыш, побывал в тех мертвых поселках. На печках, слепленных из каменного плитняка и проросших осинником, белели скелеты. Более всех поразили бывшего солдата два сцепившихся меж собой скелета: большой скелет держал в объятиях скелет маленький, кости белые так спутались меж собой, что было их не разнять.

Спустя годы в этих местах, за что-то Богом проклятых, новые зачеповцы, борясь за светлое будущее, разместят лютый политический лагерь с лирическим названием — «Белый лебедь».

Однако, все это произойдет потом. А пока Коляша, потаскав мешки с мукой и солью, перетрудил раненую ногу, заприхрамывал сильнее обычного и однажды едва отодрал кальсоны от коленного сустава — рана вновь начала гноиться, из нее начали выползать белыми червячками крошки костей и полусгнившие лангетки.

Так и не удивив трудовым энтузиазмом город Красновишерск, не украсив городскую Доску почета своим портретом, Коляша Хахалин отправился на медкомиссию в Соликамск, откуда кинут был в областной центр — город Молотов, где и провалялся до тепла в госпитале.

По надсаженной, разрушенной войной стране шли полным ходом восстановительные работы и катилась безудержная победная болтовня. Все громче, все красивей, все героичней и романтичней преподносились подвиги на ней бесконечные. И под этот звон, под песни и патриотический, все заглушающий ор косяком вымирали фронтовики от застарелых ран и болезней. И бдительными зачеповцами вычищались ряды советских людей от скверны. Людей, перенесших невыносимые страдания и муки в оккупации и в плену, нескончаемым потоком гнали и гнали на очередное перевоспитание — в лагеря, в края далекие, гибельные. Урал прогибался старым хрустким хребтом от тяжести концлагерей, на нем размещенных, от костей, в него зарытых.

Вожди и теоретики коммунизма по науке ведали, что после каждой почти войны во всех странах бывали волнения, бунты и даже революции. Поводов для ропота и недовольства у победителей фашизма было более чем достаточно. Вернувшись с войны, они застали надсаженные, голодные, запущенные, быстро пустеющие русские деревни, где продолжало царить укоренившееся в годы советского правления бесправие, по сравнению с которым проклятое на Руси крепостное право выглядело детской забавой. Двенадцать миллионов — гласила людская молва — медленно погибали в лагерях смерти, и столько же стерегло их, придумывая все новые и новые преступления ни в чем не повинным людям. Вместо обещанной, заслуженной, выстраданной, сносной хотя бы жизни, заботы о победителях — новые гонения, неслыханные зверства, страдания в концлагерях.

Брали и в войну, даже из госпиталей. Один поэт, тихо сказывали госпитальные работники, бывший шахтер Домовитов, над койкой которого, к несчастью его, размещалась радиоточка, выключив радио после прослушивания боевой сводки, кратко прокомментировал ее: «Вот, всех врагов посокрушали, а у нас, как и прежде, никаких потерь...» Той же ночью вместе с перепуганным дежурным врачом вошли в палату еще два врача в белых халатах, сказали, что больного переводят в другой госпиталь, переложили с

кровати на носилки и унесли — на десять лет — в Усольские лагерь...

Коляша — человек битый, голосу не подавал, с героями войны всякие споры прекратил, даже против глупейших высказываний, вроде: «Вызываю огонь на себя!» или «Я бы с ним не пошел в разведку», — не спорил. Он уже понял и смирился с тем, что и боль от ран, и большая память — это на всю жизнь, это до гробовой доски, и, когда наплывало прошлое, брало за горло, — он покорно вновь и вновь переживал и пропускал через себя, через свое усталое сердце неотвязное горе, военные будни, слышанное, виденное, в котором было уже и не разобраться: где явь, где бред. И чем больше вдали про войну, сочиняли красивые слова и картины, тем больше тому сердцу было, тем горше память — от себя не убежишь, не спрячешься.

Ближе к концу сорок третьего вместо выбывших бойцов начались пополнения из западных украинцев и из тех, что с сорок первого года, с массового отступления, сидели под спидницей, под бабьей, стало быть, юбкой, — как огрызнется немец, ударит, так доблестная пехота и разбежится, оголив артиллерию и все, что позади нее. В батальоны, в роты для корректировки огня ходили обычно связист с командиром взвода управления или с командиром отделения разведки. И вот драпанула пехота вместе с ухарями-командирами и речистыми комиссарами, воюйте на здоровье двое дураков-артиллеристов! Да? Но это ж не в кино, много не навоюешь. А немцы с танками — вот они, насаждают, и тогда старший передает координаты, а связист, весь напряженный, собранный для драпа, напряженно ждет, когда раздастся на батареях слово «Выстрел!» — и затем, выдернув заземлитель, повесив телефонный аппарат на шею, ждет уже на выходе из блиндажа или в исходе траншеи, когда над головой, снижаясь, зашипят снаряды, настоящий же артиллерист, тем более телефонист, обязан отличать по звуку полет своих снарядов, и в момент первых взрывов, но лучше за секунды до них, надо вымахнуть в поле и дать стрелкача, да такого, чтоб ноги земли не слышали.

Ну и что? Прибегут они на наблюдательный пункт или на батарею прямиком, там объятья, поцелуи, отцы-командиры картузы в воздух бросают: «Ах, герои, герои, герои!»? Да в лучшем случае комбат или кто из дивизиона скажет: «Выскочили? Живы? Ну, ужинайте давайте и за

лопаты — надо окапываться, а то нам тут так дадут, что и обмотки разматаются».

И с разведкой то же самое. Уж больно ловко и героически дела обстоят. Коляша всего один раз ходил в разведку, да вовек ее не забудет. Под Проскуровом — город такой был, и, между прочим, бригада родная, артиллерийская, была поименована Проскуровской, но коли название города переименовали, сделался он Хмельницкий, то как теперь бригаде-то именоваться? Ну да ладно, разберутся, кому надо.

Значит, по военным планам должны войска фронта уже далеко за Проскуровом быть, но его еще и не видать. Застраили возле каких-то деревушек и неожиданного, настоящего, овражного леса, уходящего до горизонта. Снова контратака, и снова пехота спрыснула. Попробовали было и артиллеристы истребительного полка дерануть от орудий, следом за пехотой, да появился комполка в нарядной папахе, встал кривоного на бруствер, орет: «Смотрите, подлецы, как вашего командира полка убивать будут!..» — расчеты начали возвращаться к орудиям, стрелять; тех, кто прятался, отыскивали, адъютанты и политруки пинками гнали на позиции.

День сидят, другой сидят — ни с места. Пехоты нет. Слух катится, заградотрядчики вылавливают по деревням в гражданское переодевшихся воинов и вот-вот в атаку погонят. В это время на передовую прикатила стая грязью забрызганных машин, и коренастый человек в кожане стремительно направился в блиндаж командира стрелковой дивизии, между прочим, гвардейской, и командир ее — Герой Советского Союза — за Сталинград. Да где вот они, те, кто насмерть стоял на Волге? Просрали, как говорил, воспитывая Коляшу в Новосибирске, важный чин, настоящую-то, кадровую армию, рассорили людей русских по полям битв и вот теперь в отребье превратившихся окруженцев, местных бздунов за родину заставляют воевать. А родина-то у них здесь, и они ее больше любят, чем ту, что за Уралом.

Одним словом, зашевелилась передовая после отъезда большого чина в кожане, говорили, сам Жуков наезжал и давал разгон. Атаковать противника надо, а где он, сколько его, какие его планы? Вот тут-то и сгодились артиллеристы, вот тут-то и выпало им заниматься не своим делом — идти в разведку.

Еще на Днепровском плацдарме на наблюдательный пункт третьего дивизиона упал с неба десантник с простре-

ленным парашютом и вывихнул ногу. Его лечили и допрашивали. Парень доказал, что он был из той самой бригады, которую бездарно погубили, выбросив с большой высоты на ветер и под огонь немцев. Уцелел он только потому, что догадался прыгать с красным, а не с белым парашютом, красный темно в ночи глядится, купол прострелили уже над самой землей. Парень был ловкий и боевой, говорил, что после того, что он пережил в небе, ему уже ничего не страшно на земле. Его оставили в бригаде, в управлении третьего дивизиона, и скоро он возглавил разведку. Ему-то и поручено было отобрать людей и ночью сходить на «ту сторону», посмотреть, что там и как, если возможность будет, взять «языка».

В число четверых попал и Коляша Хахалин, видимо, по признакам увертливости и ловкости тела, здоровенный еще мужик Герасименко, как догадался Коляша, ему надлежало тащить «языка», и тоже боевой, в стрелковых ротах повоевавший боец Обухов.

Десантник весь день не отлипал от стереотрубы, изучал местность и противника, вел свою троицу поздней ночью, почти уже под утро, уверенно, точно вывел к двум клуням, порядочно отстоящим от села. В клунях были склады, и вокруг них ходил часовой. Его-то, часового, зябнущего в отдалении от своих, и решено было брать, да вот в жизни так заведено, что не все просто берется, что близко ведется, и с шоферской практики Коляше известно: самый длинный путь тот, что кажется коротким.

Знающий приемы десантник прыгнул на часового, сорвал с него автомат, но растерявшийся было немец так хрястнул через голову разведчика, что тот какое-то время и двигаться не мог. Коляша Хахалин, в обязанности которого входило зажать пленному рот и сунуть кляп с приготовленной для этого дела пилоткой, получил такой удар, что взрывом мелькнуло пламя из его правого глаза, упал он головой в ровик, копаный от бомбежки, следом к нему прилетел и утих разведчик Обухов. Спас собратьев-разведчиков Герасименко. По плану он должен был надеть на пленного наручники и шел на врага последним. Немец и Герасименко завез плюху, но этого так просто не сшибешь! Герасименко с испугу, не иначе, но говорил-то он потом другое и по-другому, ударил постового самоковными наручниками и попал по голове. Фриц заорал. К этой поре маленько очухался десантник, выскочили из ровика Коляша с Обуховым и попутали немца, недели-таки на руки врага самоковные наручники с пуд весом, заткнули

вражескую орущую пасть, но и покой нарушили. По ним и по нейтральной полосе открылся сплошной огонь.

«За мной!» — скомандовал десантник. Разведчики поволокли немца в темень. Немец не хотел ползти, сопротивлялся. Десантник концом финки подгонял врага: кольнет — тот двинется, упрется — десантник снова его кольнет...

Огонь отдалялся, и разведчики не сразу поняли, что отползают в тыл, не сразу же и оценили действия старшего — сунься они через нейтралку, их давно бы уже перебили, такой шел огонь, иль оцепили бы, накрыли и самих в плен забрали.

Десантник клонил группу в лесистые овраги.

В деревне нарастал шорох, крики, зазвенел мотор мотоцикла, собаки залаяли. Старший сказал: «Ну, фриц, прости, не уберег тебя твой бог», — и, как борова, заколол пленного. Разведчики долго плутали по лесу, слыша повсюду голоса и выстрелы. Наткнулись, наконец, на ограду из колючих растений, оцарапавшись, продрались сквозь нее и оказались в неразоренной, на зиму закрытой пасеке, где и сидели три дня, опасаясь пчел, фашистов, жевали плесневелые, мышами источенные сухари, старые соты и воск.

Тем временем наши войска перешли в наступление, продвинулись вперед. Избитая, исцарапанная, голодная разведка явилась в свою часть. Там уже и похоронки на всех четверых заготовлены.

А вот еще история, презанимательная, на этот раз из авиационной жизни, которую Коляша услышал в госпитале.

В начале войны одна из наших штурмовых воздушных дивизий летала и билась на первых, примитивных «Илах». Самолет состоял из отлитой вроде сигареты болванки с пропиленной в ней дырой — для пилота, приделанных к этой болванке крыльев, хвоста и не очень убойного вооружения, защиты же ни сзади, ни спереди — зачем вообще советскому воину, пусть и летчику, защита, когда товарищ Сталин и его гениальные помощники предусмотрели только наступать, громить, побеждать. Но на болванке той летали летчики кадрового состава, и немцу не вдруг удалось побивать и выжечь воистину стойкую, воистину славную дивизию, но все равно без обороны тяжелые в управлении, слабоманевренные самолеты были обречены, и в конце концов остался в дивизии один только «Ил». Все

технические силы бросались на этот избитый, издырявленный, троса и кишки за собой волокущий самолет, когда он возвращался с операции и плюхался брюхом на посадочную полосу. И летчики строем стояли, чтобы подняться в воздух и лететь на врага, который тучею гонялся за этим, все время воскресающим, бессмертным штурмовиком.

Будь на месте немцев наши военные заправились, они давно уже списали в расход две или три фашистских воздушных дивизии и ордена бы получили. А немец, пока не добил, не уничтожил последний русский самолет, рапортовать не станет, — не наловчился он еще как следует рапортовать о досрочно выполненных планах, о стройках, завершенных за три года вместо пятилетки, ему, немцу, еще предоставится возможность перенять наш передовой опыт по этой части, он еще докажет, что мухлевать умеет не хуже нас, пусть и не по всей Германии, а лишь на передовой, самой ее демократической части.

Но в конце концов упрямые немцы добились упрямого русского самолета, на который молились, за который держались, за костями которого скрывались: штаб дивизии, политотдел, хозяйственные и технические службы, секретные, финансовые отделы, смершевцы, трибунальщики, медики и сигнальщики, — в ту пору даже в полносоставной авиационной части сражались один летающий к пяти обслуживающим летающего. К концу же войны эта цифра утроится, где и упрятерится, потому как самолет делается мощнее, боевитей, грозней, следовательно, и военных тунеядцев и дармоедов на него навешается несметное количество.

Или история, свидетелем и участником которой был и сам боец Хахалин.

После Проскурова хорошо и ладно покатило наступление вперед на запад, и осень сухая была, фруктов и овощей урожай невиданный, жратвы от пуза, знай вой, громи захватчика! Как вдруг — о, сколько этих «вдруг» на войне! — вдруг спотычка, заминка, остановка возле небольшого уютенького городка Староконстантинова. Станция тут была довольно разветвленная, и, должно быть, немцы не все, что намечали, успели эвакуировать.

Ну, пошла война нормальная, привычная, из пушек и минометов по городишку и станции палить начали, штурмовики закружились над целями, им известными. Город сплошь крыт рыжей черепицей, полетели вверх, красно сверкая, искры и осколки. В некоторых местах города

задымило, на станции густо полыхали и клубами огня рвались цистерны и какие-то резервуары.

За день вперед не продвинулись, город Староко­н­стан­тинов не взяли. Ночью — менялась ли пехота на передо­вой, резерв ли к ней подтягивался — целый батальон, ориентируясь по нашим аховым картам, заблудился на пути к цели. Он даже и не заблудился, а как-то сумел про­ма­зать передовую и углубиться в тылы врага. Утром из штаба полка запрос: сообщите, где находитесь? Какая бое­го­товность? Командир батальона по карте дает квадрат мес­то­нахождения, ориентиры, и главный из них — перед батальоном железнодорожная станция, а вот соседей ни справа, ни слева отчего-то нету. Не прошло и десяти минут, как сам уже командир полка требует уточнений. И раз, и два, и три требует — и все выходит, что доблест­ный его батальон обошел город Староко­н­стан­тинов, нахо­дится в его тылу, и, коли никакого сопротивления не встретили, значит, противник ночью город оставил, и выходит что? Выходит, его полк взял сам, один этот город, имеющий важное стратегическое значение по причине крупного железнодорожного узла, совсем мало разбитого нашими штурмовиками и артиллерией.

К этой поре, к концу сорок четвертого года, червоноар­мейские командиры воевать немного подучились, хотя людей по-прежнему не щадили и не жалели, и армия несла прямые потери на фронте, не меньшие, чем и в сорок пер­вом, но уж зато хитрить, обманывать, карьеру лепить наловчились так, что со времен сотворения где-либо и каких-либо армий не встречалось такого. И эта вот хит­рость, обман большого и даже совсем небольшого коман­дования тихо и «незаметно» всюду, вплоть до Кремля, — поощрялись и сходили как бы за «мелкую инициативу», а средь солдат — «за находчивость». Все чаще и чаще круп­ные города штурмовались и брались без надлежащей под­держки, без подтягивания свежих сил, одной армией, диви­зией с ходу, с лету, «умелым маневром». И уж, конечно, за все за это командиры армий, корпусов, дивизий отмеча­лись и в приказе Верховного, повышались в звании, непре­менно получали звезду Героя Советского Союза.

Армией, корпусом, дивизией, а если полком? Один стрелковый полк вот взял и овладел городом Староко­н­стан­тиновом и важным железнодорожным узлом, — да ведь осыплют наградами и почестями весь полк, присвоят гвар­дейское звание полку, и впредь полк будет называться — Отдельный, Староко­н­стан­тиновский, самого ж полковника

в генералы произведут, звезду Героя ему на грудь прицепят и на дивизию поставят, остарел прежний комдив, волокется вот где-то со штабом своим и войском, а тут передовой полк сверхбоевую задачу выполнил, городом овладел, о чем командир полка с утра пораньше доложил в верха и от радости загулял.

Ан, не успела дивизия подтянуться и развернуться, как батальон, забравшийся сдуру в тылы противника, попал в переплет, завязал бой с отходящим из Старокостантинова немцем, был почти полностью смят, потому как нигде, ни к кому не привязан, никем не поддержан. И в городе самом постреливают, кто, где, почему?

Пока выясняли обстановку, пока выручали остатки батальона, вот тебе и обед. А после обеда привычно уже, в четыре часа по радио должен прозвучать приказ Верховного Главнокомандующего о наших победах, об освобожденных городах и населенных пунктах — душу греют эти сообщения, на моральный дух войска очень положительно влияют, сил прибавляют.

Коляша, помнится, с телефоном из блиндажа вылез, сидит на бровке хода сообщения, ноги свесив, греется на солнышке. И вот он, приказ, радист звук усилил. Все слушают голос Левитана, торжественно, железно звучащий. Пошло перечисление городов и городков, названия частей, их освободивших, и, среди прочих других побед, как-то особенно громко, почти оглушающе прозвучало название — Старокостантинов, и особо выделен и отмечен доблестный стрелковый полк, героическим броском его освободивший, и фамилия командира полка названа чуть ли не наперед командира дивизии стрелковой.

Связист Хахалин умирать будет, но не забудет, как умолкло все вокруг, как перестало бродить, шевелиться, дышать войско — обманули самого Верховного Главнокомандующего, самого товарища Сталина!

Коляша Хахалин поскорее с глаз вон и с собою телефон, в землю, под накат. В блиндаже, схватившись за голову, командир дивизиона сидит, не лается, ничего не говорит. Поднял голову, глянул на Коляшу унылым взглядом:

— Вызывай комбатов, — затем протянул руку за трубкой и сказал: — Выкатывайте орудия на прямую. Не разведано? Не засечено? А я этого, по-вашему, не знаю? Засекать во время боя, бить по действующим точкам. Ага, я вам сей миг поднесу и данные, и согласованность!.. Сейчас начнется то, что у нас именуется штурмом, — погонят все

стадо без разбора, так помогайте штурмующим и не давайте лишка народу губить, у нас его и так осталось...

И погнали правого и виноватого, всех, кто был на виду, на ходу и на пути повстречался. Вперед, вперед, под пулеметы, искупая позор, расплачиваясь за разгильдяйство. К вечеру город взяли, не шибко и искрошив его, да и неко-го особо было крошить — немцы отвели уже основные силы, оставив хорошо поставленные пулеметы на водокачке, на пожарной каланче, на вершине костела, на луковках прикладбищенского храма да на чердаках высоких домов, которых, слава Богу, в этом городе оказалось немного.

И сколько ж народу, все тех же сырых солдатиков, осталось лежать в полях, по высоткам да по зеленым улочкам тихого городка, который можно и нужно было взять бескровно!..

Коляша Хахалин этаких историй знает и наслышался столько, что, ежели их порассказать, — тысяча и две ночи получится. Но он уже давно, с детства считай, знает, о чем говорить можно, а о чем помолчать следует или Женяре за печкой высказать, облегчить сердце. Чтобы не впасть во грех, он не станет ходить с выступающими героями, врать про войну, лучше стишок сочинит и пошлет в газетку, там его напечатают и три, а когда и пять рублей пришлют, аккуратно на поллитру, иногда и с закуской.

В областном, не очень уютном, переполненном госпитале Коляша Хахалин с ходу освоился с культурной его общественностью и с ходу же написал стих в стенгазету под названием «Победный стяг», заделался активным читателем госпитальной библиотеки, распространителем «Блокнота агитатора» и другой политической литературы. Проводил беседы в палатах на разные темы, совершенствовался в игре на гармошке, но выступать вместе с группой бойкоязыких выздоравливающих не ходил, чем весьма удивлял бывшего начальника финансового отдела гвардейской стрелковой дивизии Гринберга Моисея Борисовича, возглавлявшего в госпитале агитационную кампанию. Гринберг Моисей Борисович хотя ранен и не был, но ежегодно проводил в госпитале профилактическое лечение сердца, печенки и почек, подорванных на фронте. Коляша сказал наседающему на него активисту, что подвигов никаких на фронте не сотворил. «Да как же так?! — изумлялся Гринберг. — Два ранения, орден и медаль имеее, кто ж тогда герой, как не вы? Кому ж тогда молодежь воспитывать?..»

В Красновишерске разрешилась девочкой Женяра и намекнула в письме, что надо бы узаконить супружеские отношения, расписаться, ребенок должен быть зарегистрирован и на довольствие поставлен. Пока она дочку везде записывает по фамилии Хахалина, однако ж всюду требуют свидетельство о браке.

Коляша длинно, путано ответил, что не отрицает он своих родительских обязанностей, и, когда из госпиталя выйдет, найдет легкую работу, встанет на квартиру, — непременно вытребует к себе семью в областной центр, потому как в Красновишерск, к любимой теще, его несколько не манит.

Тертый калач Коляша Хахалин ловок и увертлив в этой жизни сделался. Да половчей и повертче его народу развелось дополна. Все должности, где можно получать зарплату и ничего не делать или ловчить, показывая, как ее, работу, усердно делаешь, — порасхватили, и вышел Коляша на всем доступные, ближние рубежи: хватил базару — поторговал табачком, разбавляя самосад тертой жалицей и сухой полынью; ездил со спекулянтами в город химиков Березники за содой, хорошо выручился, но, как выручился с компанией инвалидов, так в компании той денежки и прокутил. Успел, правда, отправить Женяре пятьсот рублей — аккурат на булку хлеба.

И все-таки на легкую работу он попал — военкомат помог устроиться физорггом-организатором на завод имени товарища Ленина, в Мотовилихе. Физкультурный отдел завода возглавлял румяный, жизнерадостный мужик по фамилии Абальц, по имени-отчеству Карл Арнольдович, который почему-то всем приказывал называть его Ленчиком.

Привезенный с Запада и брошенный сгорать в горячий цех на Урале, он выдавал себя за немца, хотя намешано в нем было кровей с десяток. Начальство, глядя на бурного и бестолкового работягу, турнуло его на мороз — отгружать и погружать отливки — немец же! Кабы чего не взорвал! Со двора Ленчика убрало время и тигриная ловкость. Сделался он ни много ни мало — комендантом общежития, сперва одного, затем всех заводских общежитий. Ленчик вспоминал ту пору — это самую-то середину войны! — жмурясь, что кот. Попил он и поел сладко; кадры женские поспасал от застоя, пока не нарвался на Людку Перегудину, которая, забеременев, не полезла в петлю, не стала пить отраву, не сделала аборт, как многие ухажерки Ленчика. Она пошла к парторгу завода, а тогда еще редко

ходили бабы к комиссарам, к парторгам. Тот заводской парторг был из военных комиссаров, инвалид войны. Он вместо того, чтоб уговаривать, убеждать, взял Ленчика за грудки и, багровея, сказал: если он, недобитый враг, обездолит русскую бабу и ребенка,— поедет в лес — валить древесину для лож боевых винтовок и на лыжи...

К поре пересечения жизненных путей Ленчика и Коляши у Абальцев было уже двое детей. Людка ходила разодетая в шмотки из американских подарков, прицеливалась родить третье дитя. Ленчик заправлял заводской физкультурой и жил, в общем-то, как и прежде, вольной физкультурной жизнью. К Коляше Хахалину — фронтовику, который к физкультуре был не годен и вообще ничего не умел — ни физкультурить, ни руководить, начальник отнесся по-отечески, не должно так быть, чтоб фронтовик пропадал. Распознав о его писчих увлечениях, Ленчик на первый случай организовал корпункт при физотделе, назначив во главе его Коляшу, и приказал писать отчеты в многотиражку, в областные газеты «Молодая гвардия» и «Звезда» — о громких спортивных делах на заводе имени товарища Ленина.

И пошло-поехало творчество! Прозой Коляша писал о физвоспитании, о спортивных соревнованиях на заводе, стихами же восславлял весь советский спорт, ну и не забывал выдать к женскому дню Восьмое марта, к Первомаю, ко дню Парижской коммуны стихопroduкцию. Стишки исхитрялся он писать «лесенкой», как у Маяковского, — чтоб гонорару выходило побольше. Поскольку Ленчик его угощал, он тоже был вынужден угощать своего шефа. Начал посещать литературный кружок при Союзе писателей, разок-другой вступил в творческую полемику, потом уж и завсегдаем литсобраний сделался, прослыл теоретиком поэзии и компаньоном в застолье...

И только никак не получалось помочь Женяре. Иногда это угнетало совесть поэта. Ленчик Абальц, узнав однажды, сколько платят за заметки и стишки, возмущился, по-русски изматерился и подал мысль заняться Коляше судейством. Футбол хромоту судить несподручно, но волейбол, пинг-понг, легкоатлетические соревнования, когда надо судить за столом или наверху, в корзине, — он вполне одолеет, пусть только изучит наставления и правила, а потом уж, на месте, соображает, кого, как, за что и, главное, за сколько судить. Меж цехами, особенно меж заводами идет сражение, как у турков с русскими под Измаилом. За первенство профсоюзные коллективы всегда

готовы «подсобить» судье в его справедливой и сложной работе.

Славно пошли дела у Коляши Хахалина, карманные деньги завелись, друзей полон город Молотов. Он и про Женяру с дочерью забывать начал. Но она явилась из Красновишерска сама, да еще и с ребенком.

Была у Ленчика Абальца резервная комната в одном из старых общежитий, в ней и обретался Коляша, часто, по просьбе хозяйина, освобождал комнату и койку, иной раз и на всю ночь — значит, Ленчик сказал своей жене, что уехал судить областные соревнования, а она делала вид, будто верила этому, потому как Ленчик с «соревнований» привозил какой-нибудь сувенир и деньги.

Женяра — проницательный человек, сразу же угадала сущность мужниного жилья, назвала его комнатой свиданий и решительно потребовала:

— Вот что, друг ситный! Ты уж больно поговорки и приговорки всякие любишь, так вот есть такая: лучше жениться, чем волочиться. Айда-ко под венец, а то, я гляжу, ты здесь здорово захолостяковал, не говорю уж про нас с дочкой, вроде бы даже и про хромую ногу забыл — петушком прыгаешь!..

Пришлось идти в Мотовилихинский ЗАГС — расписываться. Свидетелями при регистрации являлись Абальц Карл Арнольдович и Людмила Прокофьевна Абальц-Перегудина. «Сведи Бог вас и накорми нас!» — молвила свидетельница и увела молодоженов к себе, выставила на стол винегрет, соленые грибы и вареную картошку да бутылку разведенного спирта. Жених от себя, из бокового кармана заношенного бушлата поллитровку вынул. И грянула свадьба, скорая, что вода полая. Пили и пели. Коляша, уперев негнущуюся ногу в дырку детского стульчака, играл на гармошке, валясь с боку на бок, тенорил, правда, хриповато. Как всегда по пьяни, завел он песню своей незабываемой артиллерийской бригады, от которой только песня и осталась, — бригаду и всю Краснознаменную Киевско-Житомирскую дивизию давно уже расформировали, знамена в военный музей сдали. В смысле слова и искусства все схватывающий на ходу, он изрядно поднаторел на гармошке, так что, если даже на тротуар где усядется, — без милостыни не останется.

Солдату на фронте тяжело без любимой,

Ты пиши мне почаще, пиши, не тревожь.

Быть может, не скоро вернусь я к любимой,

Но становится легче, когда песню поешь...

Когда песня дошла до середины и накатили слова:

Алена, Алена, дорогая подруга,
От меня далеко ты — и в год не дойдешь,
Быть может, не скоро вернусь я к любимой... —

все уж лицо Коляши залило слезами, с носу капало, в углах губ скапливалась соленая влага, гармонист тряс горькою головою, стяхивая мокро на воздух.

Все плакали. Кроме трезвой Женяры. Прижав ребенка к себе, она смотрела, как уверенно, притиснув к стене стульчак с дыркой для горшка, наяривает на гармошке, поет и плачет ее ныне законный муж, и едва удерживалась, чтобы не нахлестать этого непутевого мужичонку по щекам, потом упасть ему на грудь и тоже выплакаться.

— Чтоб тебя, Коляша, пополам да в черепья, как говаривала моя мама, — жалостно проговорила Людка, утираясь бумажной салфеткой. — Вечно ты разбередишь душу, про папу моего бедного напомним — совсем ведь, совсем молодой погиб... — всхлипывала Людка, доставая из буфета еще одну бутылку.

— Может, хватит, — подала робкий голос невеста.

— Чего хватит? Чего хватит? Ты посмотри на моего благоверного — в него же, как в паровозный тендер, — из шланги лить надо!

Ленчик Абальц от похвалы запламенел что праздничный кумач, обнял жену волосатой ручищей, попытался ее нежно приласкать, но она толкнула его локтем в грудь и, разливая жидкость по рюмкам, наставительно молвила:

— Вот че я те, подруга моя дорогая, скажу. В девках ты много плакала, значит, замужем тебе выть. Забирай-ка ты своего физкультурника и увози куда глаза глядят. Сопьется он здесь, разбалуется совсем, ханыгой станет...

В дальнейшем продолжении застольного разговора Людка твердо и почти трезво заявила, что своего супруга ей уж не исправить, и она ему все равно голову отрубит или посадит лет на десять. Вот дети подрастут, и она исполнит свой завет. Пока же потерпит. Ради детей.

Самое интересное было то, что Ленчик Абальц выслушивал эти угрозы, чуть ли не зевая, — скучно ему было слушать подобные речи. Наслушался он их — кто его к смерти не приговаривал?! Советская власть — за чужую кровь; бабы — за любовь и обман; бухгалтеры — за путаную отчетность; блатяги — за мухлевание в картах; спортсмены — за увертливость и неправильное судейство соревнований на первенство завода или города...

...Не вдруг, не сразу устроилась жизнь супругов Хахалиных — время пришло такое, что все устраивались, внедрялись в мирную жизнь, и этой паре никак не находилось подходящего места среди людей.

Жили они в той самой «комнате свиданий». Женяра числилась уборщицей и вахтершей в общежитии, еще подрабатывала стиркой, шитьем, упочинкой. Коляшу она устроила на почту — экспедитором, однако он и там пил, да к тому же простужался, часто болел и попадал в госпиталь, откуда выписываться не торопился. И всякий раз, завалившись в госпиталь, Коляша заставлял там новых больных, раненые бойцы вымирали, а Гринберг Моисей Борисович до того долечился, что и в самом деле стал болеть, сделался плох, одряб, посерел лицом, но упрямо ходил воспитывать молодежь по клубам, красным уголкам цехов и предприятий, по школам. Жаловаться, правда, стал, что молодое поколение в школах слушает ветеранов невнимательно, более того, бросает обидные реплики из зала.

«Люди начинают уставать от вранья», — думал Коляша Хахалин, которого все чаще называли уже Николаем Ивановичем, правда, частенько шалопай Коляша настигал солидного Николая Ивановича, давал ему подножки.

Всякий человек есть человек, инвалид — тоже, и российский человеку, хоть он и больной, хоть и в госпитале, — тоже выпить хочется, но где средства брать? Пенсию жена забирает, зарплата короче воробьиного носа — редко удается рублишко-другой утаить, выходит, надо самому вертеться, добывать денег на выпивку.

Водились в госпитале и по-за ним «стервятники» из ветеранов, это те, что рыскали по городу, тряся инвалидной книжкой, покупали без очереди продукты, шмотки, билеты на железнодорожном вокзале и тут же продавали их по спекулятивным ценам. Коляша презирал «стервятников», плевался, ругал их, мол, позорят честь советского воина, но так грыз внутри червь, так сосал его ненасытный глист, что не выдержал он и подался к магазину «Колбасы», где уже паслось с десяток шустряков в капроновых шляпах, с колодками на пиджаках.

Коляша к этой поре инвалидность утратил — себе дороже, пенсия-то сто восемьдесят рублей, на стакан кислухи едва хватает. Ежемесячно на комиссию — день пропадает без оплаты, восемьсот граммов хлеба по карточкам, когда булка хлеба тянула на базаре на тысячу. Вот Коляша и перестал ходить на комиссии. Не он один, многие калеки

войны утратили инвалидность по третьей группе. И, ох, спохватятся они на старости лет, тратя последние нервы, примутся восстанавливать инвалидность, и у кого справки из госпиталя велись, те с грехом пополам, с проволочками, достойными строгого коммунистического учета, восстановятся. Но многие так и лягут в гроб, хлопоча о справках, так и не дождутся благ от государства, которое спохватится и вспомнит о солдатах, спасших мир и отечество от фашизма, лишь к тридцатилетию Победы, когда уж совсем проредятся колонны бывших бойцов и не так уж накладно государству будет благодетельствовать оставшихся в живых.

Выпячивая грудь с колодками, Коляша купил два килограмма сосисок и вошел в соседний, каменный двор, где перекупщиков уже дожидались торопливые люди. Женщина в грубых, какой-то химией скоробленных ботинках, желтая лицом, с пепельными натеками под глазами, заталкивая в сумку висюльки сосисок, с ненавистью глядела на продавца:

— Колодки нацепил! В штабе каком-нибудь ошивался альбо в комиссаришках... — и пошла по грязным лужам, не разбирая дороги, шурша тяжелой, как бы жестяной юбкой, тоже химией вылуженной.

Зарекся Коляша ходить с бригадами «стервятников» на промысел, но на уговоры Гринберга поддался, сделал вылазку-другую на платные вечера с патриотическими выступлениями. В доме пионеров, по наводке и подсказке Людки Абальц-Перегудовой, засекала Женяра мужа. Ну и дала она копот!

— Да что же это ты делаешь?! До чего же ты, Колька-свист, докатился?!

Коляша поразился: Женяра вспомнила — и к месту! — его давнее прозвище.

— Я за что к тебе приластилась-то! Да за то, что ты про святое дело — про войну — не брехал, в партию в ихнюю не записался! Насмотрелась я за войну-то, наслушалась наших партийцев почтовых да из цензуры которые... Ты думаешь, где вот они сейчас? Так же, как мы, бездомовые, полуголодные, маются? Да о них-то как раз братики-энквэдэшники позаботились! Предложили занять квартиры в центре Риги, дали хлебные должности! Живут, жируют по Латвиям да по Эстониям! Но я им не завидую, неэт! Придет, придет пора — вернутся прибалты из лагерей и ссылок, не все, но вернутся... И что тогда? Что, я тебя спрашиваю?

— Да откуда я знаю? — отозвался Коляша и подумал, что, если жена узнает, как он сосисками подторговывал, — тогда уж все! Тогда конец их семейному союзу!..

— А ты знай! Знай! И войну помни! А то опустился до того, что тоже по школам да по клубам пошел! Вместе с этими, что в капроновых шляпах... Тоже принялся брехать, копейки и рюмки сшибать! Хоть бы стишки свои патриотические читал, а то туда же: «Я! Я! Мы! Мы!» Герои, понимаете ли, отважные воины!.. Да как же тебе, израненному, в военное говно носом натыканному, не стыдно-то?! Как же тебе не совестно?! — Женяру бил кашель, она вскочила и, показывая куда-то в темный угол, пыталась выкрикнуть: — Вот клянусь! Памятью отца клянусь! Дитем нашим клянусь: если ты будешь так себя вести — брошу я тебя! Брошу! И шляпу эту, шляпу... — она поискала глазами капроновую шляпу, нашла, швырнула на пол и принялась ее топтать, раненно при этом кричала, плакала, закатиисто кашляла.

Не выдержав такого бунта и суда, Коляша прижал к себе свою Женяру, чувствуя под руками ходуном ходящие от кашля лопатки, ощущал все ее усталое, изношенное до времени тело, успокаивая кашель, гладил по спине русскую, горькую бабу, многотерпеливую жену свою богоданную и, тоже заплакав, под конец беседы дал обещание, что никогда больше, никогда не будет врать про войну и ни за что ее, Женяру, ни на кого не променяет.

Уже поздней ночью, от слез и нервного приступа ослабевшая, обласканная, утешенная мужем, уютно лежа на его все еще мускулистой руке, Женяра рассказывала о самом сокровенном:

— Вот ты сперва добивался, но потом, по пьянке и в суете, про все забыл, кто был у меня первый мужчина, и как он был, и что было. И врать не стану, первый ведь первый, а второй есть второй. Привязалась я к тому мужчине и отдалась ему не только потому, что срок пришел и терпение не стало, но и потому, что всю эту тыловую публику он презирал и грошил. Из госпиталя, лейтенант пехоты, при орденах, по ошибке, видать, к нам назначен был. Как напьется, а пил он кажин день, так и пойдет, и пойдет: «Ах вы, тыловые крысы! Ах вы, рожи поганые! Вот вы где присосались! Вот в каком малиннике пасетесь!..» Я хоть в кладовке, хоть в норе своей пыльной копошусь, но все слышу и восхищаюсь! Ездили мы с ним однажды на станцию за поступлениями, завернули в садочек — яблочек потрясти, вкусили плода, как Адам и Ева, ну и... Упекли скоро бун-

таря-лейтенанта туда, куда надо,— на передовую. А я, слава Богу, осталась без последствий. Наши коты иной раз в кладовку заглядывали, так я эту погань склизкую шваброй... О-о, Господи! Ни молодости, ни цветов, ни свиданий, одни слезы. Девки на сортировке как грянут, бывало, в сотню голосов «Лучинушку» иль «Под окном черемуха колышется...» — я слезами в своем уголке зайдусь. Не раз меня и водой отпаивали, не раз и я отпаивала... И аборт девки сами себе делали — от случайных кавалеров, и срамом занимались, сами себя удовлетворяя. Что тут сделаешь? Природа свое берет. Бог им судья. В цензуре несколько кобыл друг с дружкой грешили, дак сейчас и это не диво. Диво, что фельдшершко наш с парнем-баянистом жил — при таком-то избытии мающихся женских тел!.. А мой лейтенант с передовой прислал одно письмо — и отрезало. Пропал, видно,— уж больно бедовый был! — Женяра помолчала, вздохнула и потеревила Коляшу за вихор.— Двое мужчин в моей жизни было, и оба охломоны,— закончила она беседу и, по-детски тонко всхлипнув, уснула.

Коляша же долго еще лежал, не шевелясь, и думал о том, что жену свою он уважает, может, даже любит, да до сего дни как-то не догадывался об этом подумать. Но что жалеет он жену и дальше еще больше будет жалеть, это уж точно, это уж верняк.

Часть третья ЛУННЫЙ БЛИК

Женяра сообщила, что есть набор на сибирские новостройки и есть места на почте нового района. Пожалуй что, пора им покидать «комнату свиданий» и весь этот уральский рай, да и устраиваться основательно, а то в гнилой общежитке и сами догниют.

И покатила семья Хахалиных с толпами, кучами, стадами на загадочную сибирскую землю. И однажды, стоя у дверей вагона, Коляша объявил жене, что проезжают они его родину, где уж нет никого и ничего — ни родных и ни родного.

В далеком горном краю супруги Хахалины устроились в новом городке гидростроителей работать на почту: она — оператором, он снова экспедитором. Не сразу, но и жилье получили, и зажили той жизнью, какою жили мил-

лионы, сотня миллионов советских граждан, едва сводя концы с концами, из года в год простаивая в очередях за всем, что выкидывали в магазинах для продажи.

После угарного Урала в новом таежном городке здорьеве Женяры пошло на поправку, но пристала пора дочери Шурке поступать в институт, в педагогический призвание ее кликало, и начали они готовиться к переезду в краевой центр. А в нем копоти, дыму и каких-то частиц и новых элементов в смеси с радиацией еще больше, чем на Урале. Но... как же! Как же! Дочь мечтает стать педагогом!

Шурочка же призвание свое выявила в иных направлениях — на втором курсе вместо науки обрела брюхо. Взявши хахалю Валеру за грудки, родители ее заставили «мастера» сделаться их зятем. И вот уже и Шурочка, и Валера-студент, спустившийся с первобытных тувинских гор в центры, в науку, и сынок их Игорь повисли на бедной почтовой зарплате супругов Хахалиных.

Еще в конце пятидесятых годов инвалиду войны Хахалину вырешили участок земли, и, если б не участок тот, не свои овощи, — подыхать бы с голоду всему этому боевому тунеядному взводу, как называл иждивенцев и нахлебников Николай Иванович. Участок недалеко, в пригороде, и, сначала играя в огород и землю, супруги постепенно втянулись в это дело, вырастили полезные кусты, деревца, построили избушку с печкой, двумя топчанами и столом меж ними, да и привязались ко клочку земли, ими обустроенному.

Угомонился, притих, не егозился, не искал жизненных разнообразий Николай Иванович, хотя чувствовал, что рамка той жизни, в которую он втиснут, тесна, однако люди и к колодкам, и к кандалам привыкали. Рамка, она только шею стесняет, голову же тревожит совсем по другой причине — натура-дура все еще ехать, бежать куда-то зовет. Николай Иванович укрощал себя, сколько мог, но совсем уж немолодым съездил на дали дальние, в святые места, за что и получил новую кличку — монах.

Будучи в очередной раз в госпитале, от праздности и безделья он возьми да и напиши однажды письмо в город Ровно, Гурьяну с Туськой, безо всякой надежды на ответ — времени-то прошло — вечность! Но как совладать с побуждениями безродного человека — искать и найти хоть какую-то родную душу на земле? А ответ-то, бахтрах, через месяц и пришел. Только на конверте, на обратном адресе, значится: Гарпина Тарасовна Гунько.

Чудеса в решете! Откликнулась Гапка, та самая, с которой у Коляши летучий роман заводился. Она сообщила, что Гурьяна с Туськой здесь уже давно нэмае. Гурьян еще много рокив назад поихав на свежее вино до Кишинева да и потерялся. Туся ждала его, ждала и кинулась искать. И нашла — аж на острове Валааме, куда свозили безнадежных калек. Оттуда, с Валаама, Туська сперва присылала письма, интересовалась хозяйством, но потом писать перестала, по-видимому, узнала, что до своих хат начали возвращаться настоящие, по Собиру кое-где уцелевшие хозяева.

И вот еще годы спустя, выйдя на пенсию, покати́л Николай Иванович в Ленинград, оттуда на туристическом теплоходе правиться к Валааму. Если б кто его спросил, зачем и почему он в такую даль едет, резонно ответить старый солдат не сумел бы.

В пути у Николая Ивановича случилось очень загадочное, можно сказать, символическое видение. После того, как туристы перестали бегать друг за дружкой по палубе, на корме отгремела музыка, под которую, кто во что горазд, прыгали, топотили, вихлялись, а которые пары в экстазе почти и совокуплялись, и усталые, разгоряченные танцоры, готовые к ночным схваткам, разбрелись по каютам, Николай Иванович придвинул витое кресло к носовой загородке, наблюдал за природой и думал о жизни. На воде озера, успокоенного, мирно дремлющего, лежало серебристое с краев, в середине медно окислившееся отражение луны. Теплоход все норовил наехать на него, расколоть, раскрошить, но пятно луны легко, играючи откатывалось от почти его достигшего железного плуга, оставляя лишь призрачный, легкой фольгой расстилающийся блик. Не отрываясь, смотрел и смотрел беспокойный человек на эту затейливую игру, и то ему хотелось, прямо-таки нетерпеливо ждалось, чтобы шумящей водой теплоход смял, порезал волшебнo сияющий круг, но еще шибчеe хотелось ему, чтоб вечно так было: широкое, тихое озеро с пятнами островов вдали, искрящихся огнями,— и там кто-то живет! Вот так бы плыть, плыть, замороженному луной, утихшему в себе, все тревоги позабывшему, себе, только себе и природе принадлежащему, доверчиво ей отдавшемуся. В книгах это называется точным словом — блаженство!

Да разве возможно блаженство там, где есть люди, исчадьа эти, советские охламоны, везде со своими уставами, правилами, указаниями — жить, как велено, но не так, как твоей душеньке хочется.

— Гражданин! — тронули Николая Ивановича за плечо.— Отбой был, пора в каюту. Ночью на палубе нельзя.

— Ну почему нельзя-то, почему? Не лунатик я, вина не пил, почти не пил,— поправился Николай Иванович.— На мачту не полезу, за борт не выброшусь.

Он говорил и в то же время смотрел, что там и как с лунной-то? И вдруг теплоход наехал, разбил отражение небесного светила. Николай Иванович схватил дежурного матроса за руку и потащил на корму. Разрезанная пополам, разбитая на куски, смятая луна растерянно качалась за кормой, но, соединяясь воедино, блики, крошки, тени, обиженно моргая, укатывались вдаль, подранком билась поврежденная луна, укрываясь в темень берегов.

— Ты пойми, пойми, что произошло-то! Тут весь смысл нашей проклятой жизни! Мы пришли, чтобы разрушить прекрасное. И выходит что? Ах, как бы тебе, парень, это объяснить. Жалко, понимаешь, жалко все, себя, тебя, людей, это озеро...

— Ну вот, а говорите — не пьяный. Вон какую барабу несете. Идите и проспитесь.

Никем не понятый, Николай Иванович ушел в четырехместную каюту, где попутчики его уже крепко спали и видели, поди-ка, уж четвертый, если не пятый, сон. В бутылке за диваном у Николая Ивановича еще было вино «Ркацители». Он его допил прямо из горла, упал, не сняв пиджака, лицом в подушку и подумал, что зря он едет на Валаам, не найдет он там среди толпы инвалидов своей братвы, не обретет успокоения. И жизнь он прожил зряшную, никчемную: ни шофера, ни отца, ни поэта — ничего-ничего из него не получилось. А ведь сулила же чего-то жизнь-то, манила в даль светлую, ко дням необыкновенным и делам захватывающим звала.

Ну, а Женяра, Шурка, Игорь? Разве этого мало — вырастить, не уморить в Стране Советов, в такое-то время дочь, а потом и внука. Это ж у нас почти подвиг — выжить-то! Но подвиг-то, если по совести, сотворила Женяра. А зачем? Для чего? Для кого? Шурка ушла в люди, чужой стала. Игоря, гляди, так уж скоро в армию заберут, тоже чужим сделают.

Люди вон и на Луну слетали уж, а я все изображаю из себя что-то, рифмую: «клизму — коммунизму», «вперед — зовет»... И в литературные кружки перестал ходить. А ведь в Перми, в заводском кружке иль при Союзе писателей, бывало, как травану насчет лада и

склада, традиций русской литературы, настаивая на том, что в стихах главное — идейное содержание, и коли его нет, идейного-то содержания, то и братья за перо незначем... И соглашались — сперва дружно, потом разрозненно, потом спорить начали, потом и насмеяться. А сами-то, сами-то чего пишут? Какую барабу — эх, какое ловкое паренё слово-то ввернул — несут? «Гипотенуза тела твоего распростерлась, как лоно луны». «Эрос, склонившийся с небес, тыквы живота твоего катает под тихое рыданье ночи, и слышу я глаза твои, пронзившие беззвучие космоса». Ну чем, чем это лучше стихов одного участника ВОВ: «С насильем нашим не мирюся, с тоталитаризмом крепко бьюся и, если Родина поκληчет со двора, как прежде, в бой пойду я под «ура!»?»

Луна взшла, светла пшеница,
Чуть золотеет сизый дым.
Я вновь пришел тебе присниться,
В цветах, с гармошкой, молодым.

И ни повестки, ни вокзала,
И смех, и губы не на срок.
Но ты сама зубами развязала
Солдатский узел всех дорог...

А я еще на Брянском фронте
Убит с полротой по весне...
Под утро спящих вдов не троньте —
Они целуют нас во сне.

Вот написал же безвестный поэт такое! Долго учился, небось, человек, много читал, обдумывал, страдал душевно и стихи не выдрисывал к очередному Великому Празднику — они у него в сердце закипали, в голове отливались, и раскаленные строки бумагу прожигали. Идея, о которой так пекся когда-то начинающий поэт Хахалин, в стихе налицо, без коммунизмы и клизмы. А ведь написано стихотворение в самые худшие годы тоталитаризма и всеобщего оглупения...

«Ах ты, разакты! Кто же это иссосал мою жизнь, как дешевую папироску, и окурочек выплюнул. Э-эх, Коляша ты Коляша! Зря, однако, на теплоход погрузился. Роздыху не получил, но, как говорят советские критики, самокопанием занялся».

Грустные думы, ночные картины и вино расслабили Николая Ивановича так, что спал он до самой пристани,

монастыря, издали красиво на Валааме глядящегося, не зрел, сразу уперся взглядом в кирпичные, временем, водой и людьми искарябанные, гнилой зеленью объятые стены.

Никаких инвалидов на Валааме уже не было. Они, как сказал монах Ефимий, не так давно переселены под город Медвежьегорск, который на Беломорканале. Монастырь возвращен подлинным его хозяевам, кои потихоньку, с Божьей помощью возвращаются в свою поруганную, проматеренную обитель, изгоняют из нее дух мучения и нечисти, замаливают людские грехи, ремонтируют помещение и службы.

Отец Ефимий был в монастыре вроде ротного старшины или колхозного бригадира, распорядился хозяйством, наряжал на работу. Отставшего от теплохода Николая Ивановича, уже носящего какое-никакое брюшко, тоже впряг в работу, и он, терзая больную ногу, таскал носилки с ломью кирпича, мусора, которого инвалидный дом нагромоздил на острове целые курганы и не все в этих курганах давалось огню.

Ночами отец Ефимий учил Николая Ивановича молиться, потому как из-за своей пролетарской сути он не умел и лба перекрестить, не знал ни одной молитвы. Стоять на коленях, да еще на одном, было утомительно, болели кости, ломило спину. Но мучения эти были не то что сладки, они утешающи были и происходили в каком-то другом человеке, о котором Николай Иванович и не подозревал, что он находится в середине сердца. Главное — покой, вкрадчивый, врачующий покой посетил душу Николая Ивановича, и он с каким-то слезливым чувством повторял за отцом Ефимием: «Огради мя, Господи, силою честного и животворящего креста и сохрани нас от всякого зла».

Молитвы были складны, легко запоминались, это тебе не вирши про Кремль, про Сталина и про партию — их он перечитал целый вагон и сам насоставлял — собрать, так толстый том получится. Молитвы, говорил отец Ефимий, сотворены с Божьей помощью святыми мучениками и отшельниками, не гонялись они за славой, не ставили имен под своими творениями. «И гонорару не требовали!» — подхватил сшибатель стихотворных рублишек по газетам и многотиражкам.

Питались монахи постно, не избыточно: рыбкой, которую бреднем вытаскивали из озера, обрезаясь об шипучую и острую осоку. Тут поэт-стихотворец услышал редкост-

ное по точности слово — «мудорез» — монахи-то бродили в осоке без штанов. Картошечка с постным маслом, свекла, морковка и много капусты. Монахи, и молодые, и старые, были все поджары, туго запоясаны по дамским талиям, не курили, не пили, разве что квас. Брюшко Николая Ивановича скоро опало, начал он втягиваться в тихую, трудом наполненную жизнь. Но однажды, когда причалил к Валааму теплоход с туристами, торопливо засобирался.

— Семья у меня, дети. Так что спасибо за приют и ласку, — и, потупившись, признался отцу Ефимию: — Нет, отче, такая жизнь не для меня. Я уж, как и многие советские граждане, развращен, разбалован нищенской вольностью, привык мало работать и мало получать. Молитесь уж не за нас, за детей наших — может, хоть они спасутся от этой блудной и распаскудной жизни...

На прощанье Николай Иванович поцеловал крест на груди и руку монаха. Отец Ефимий перекрестил его вослед.

Всю дорогу держался Николай Иванович, не пил, крестился прежде, чем приняться за трапезу, дома заявил, что чуть было не сделался монахом, едва не остался на острове Валааме навсегда — служить Господу нашему. Он приобрел в Покровской церкви икону Святой Богоматери, напечатанную на бумаге, за десять рублей, крестился на нее перед обедом и отходя ко сну.

Домашние ухмылялись, не верили в его святость.

— Не срамотил бы, блядун и пьяница, молитвы-то, не гневил бы Господа — он и без того на нас, росейских, давно сердитый... — пеняла Женяра мужу.

На что Николай Иванович, сторожась, отвечал:

— Не веруешь — не надо! Другим же веровать и душу очищать не мешай! — и строго, видать, кому-то из монахов подражая, поджимал губы, седой щетиной обметанные, — бритва у него была электрическая, киргизского производства, она шибко шумела, но не брала волос под корень.

Умерла теща, Анна Меркуловна. Ехали на далекую Вишеру долго, канителью, едва к выносу тела успели. В доме хозяйничал все тот же хваткий чугрей, и при нем была молчаливая, но все видящая женщина, якобы родственница, управлявшаяся по хозяйству, довольно уже обширному. На нем-то, на хозяйстве этом, надорвалась Анна Меркуловна, которую, сказывали соседи, постоялец крепко поколачивал. Он ее, ослабевшую духом и телом, и

забил-таки до смерти. Откупаясь от загребущего постояльца, вдова Белоусова переписала на него хозяйство, счет в сберкассе, все, кроме дома, — боялась женщина, догадывались дочь с зятем, что больную он мог и выбросить из дома.

Хотели супруги Хахалины дожить до девяти дней кончины матери и отвести поминки, но взматерелый, грузный, с облезшей головой поселенец, глядя медведем из-под костлявого лба, сказал:

— Чего до дому не идэте?

— А ты чего до дому не идешь? Чего тут присосался? Боишься, что на родной стороне кишки выпустят за делишки твои прошлые? — взвелась Женяра.

— Мэни и здесь добрэ. Ничого тут вашего нэмае! Вымэтайтэсь!

— Плати за дом, и мы плюнем тебе в обмороженные глаза и уедем.

— Скики?

И Женяра назвала, для нее, почтового работника, получавшего сто десять рублей и перед пенсией перевалившего за сто сорок, невысказанную сумму — три тысячи рублей, — ровно столько, сколько не хватало дочери и зятю, копившим на «Жигули».

— Обрадовала ты бендеровца, обрадовала! Он-то думал, тысяч двадцать сдерешь! — сказал Николай Иванович жене уже в вагоне.

Вообще-то он за все дни пребывания в Красновишерске рта не открыл. Вошло уже в привычку: когда тихая с виду жена гневалась и выпаливала скопившийся заряд — супруг должен был терпеть и молчать.

— Чего ж ты промолчал, такой находчивый и смелый?

— А чего тут скажешь? Тут, как интеллигентно выразился гениальный пролетарский поэт, должен разговаривать товарищ маузер! А я, как ты знаешь, насчет маузеров и прочего ныне воздерживаюсь.

Женяра знала, что он терпеть не мог пролетарского поэта, особенно в последнее время.

Когда вышел на пенсию Николай Иванович и появилась у него прорва свободного времени, он чаще стал ходить в библиотеку, приобщался к серьезному чтению, и, чем больше он приобщался, тем отстраненней от слова трескучего и дешевого себя чувствовал — прочирикал дар свой маленький, за фук отдал, играя в поэтические пешки, искал легкой жизни и в поэзии, не задумываясь над тем,

что большинство гениальных поэтов рано умирали, перекаливая свою жизнь, сжигая ее в пламени, самими же возженном, или были перебиты за дерзость, за честь, за ум и талант черными завистниками, обделенными Создателем талантом и разумом.

Более других его много лет назад потрясла преждевременная смерть Николая Рубцова, стихи которого он не только читал, запоминал, но и пел под гармошку, изобретая собственный мотив. Не без ехидства, с целью уязвления Коляша сказал Женяре: поэт Рубцова руками задушила женщина.

— Женщина! Понимаешь?!

— Да как не понять? — отозвалась Женяра. — Если бы ты знал да ведал, сколько раз мне хотелось тебя удивить... — и, помолчав, добавила со вздохом: — Видать, и в самом деле есть Бог. Уберег он меня от этого тяжкого греха.

Коляша Хахалин, стихоплет и плут, под видом библиотеки ходил в те поры на вечера «Кому за пятьдесят» и, выдав себя за горького вдовца, обгулял там парочку еще годных в дело бабенок. Однако со временем всякие походы «на сторону» и любого рода отклонения прекратил, весь отдавшись созданию личного земного рая на загородном участке. Наезжавшая на участок в неурочный час, иногда и в ночной — чтобы захватить супруга с какой-нибудь ухажеркой в отдельной-то избушке, — Женяра с годами ревнивые подозрения отбросила. Коляша, вечный пролетарий, детдомовщина, неумеха, так заболел землей и так на ней устряпывался, что не только про баб, но и про поэзию думать сил у него не хватало.

Но вот вырос и начал плодоносить сад с кедром, огород рожал, как у некоторых земледельцев — героев соцтруда, плодovито. Ослабла трудовая повинность, самому себе назначенная, снова появилось время на раздумья, бессонницы подступили снова, и снова Николай Иванович задавал себе вопрос, отчего, почему не сложилась его жизнь, как он хотел бы ее сложить или так, как назначил Создатель? Отчего он уподобился тем, кто, съевши пять эшелонов харчей и выделив эшелон дерьма, исчерпывали тем самым явление свое на свет, сами становясь удобрением? «А вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок о вас не расскажут, ни песен о вас не споют». Кто-то должен быть в этом виноват? Кто-то и ответить за это должен...

Серьезные книги давали ответ уклончивый, часто путанный, серьезные писатели-мыслители, прежде всего величайший смутьян Лев Толстой, — сами мучались теми же вопросами, какие почти столетие спустя, на другом конце России донимали хромого инвалида войны Николая Ивановича Хахалина.

Тогда-то и пошел он искать ответа и виноватых на сборище недобитых, снова в банды собирающихся большевиков — эти всегда знали на все ответы, и путь в светлое будущее всегда был им ясен: перемоги себя, растопчи ближнего своего, наступи сапогом на хрустящую его грудь и спокойно, гордо следуй дальше — великая цель всеобщего счастья человечества оправдывает любые средства, любые жертвы...

Так было, такая мораль торжествовала. Но все переменялось, все подверглось сомнению, и, если бывшие партоткрытия неистовствуют, борются, значит, перед ними открылись новые цели, появился более ясный и прямой путь в будущее — по кривому-то они уже шли.

Нет, ничего не переменялось, лишь сделалось явным, дозволенно изрекалось — отомстить всем, кто валил или молчанием и терпеливостью своей помогал валить идею коммунизма, кто оттер в сторону сытых борцов за правое дело.

Нестриженная, с бантами и флагами кучка век доживающих борцов копошилась возле пьедестала огромного каменного изваяния Ленину, который на самом деле был карликом и о котором Бунин — волшебник русского слова, никого не страшась, в удушливые смертные годы писал: «Маленький, картавый, нерусский, с недолеченным сифилисом».

Шустрый малый с раздвоенным ликом: сверху — крыса, ко крысе подставлен зад сытой хохлушки, — по фамилии Кашенко под ручку помогал взгромоздиться на камень очередному мятежному оратору, который снова звал народ русский ко крови, поносил режим, современных палачей, брызгая натуральной слюной.

«Э-э, пареваны-большевики! Э-э, товарищ Кашенко! При режиме вы бы уже давно с вырванными языками лес валили в глуби здешней тайги...»

Малый этот беспробудно пил в молодости, валялся на улицах, под забором, должно быть, по этой причине

остался он при пионерском теле, и вот приросла, прикрепилась крысино-хохлацкая морда к фигуре недоноска, не прощающего человечеству пропитую юность и молодость, мстящего всем за то, что его, как и весь русский народ, спаивали.

Но вот метнулся угодник-шестерка в гущу толпящегося, потрясающего кровавыми знаменами сборища, среди которого было две примелькавшиеся стервятницы и один стервятник с гармошкой, по найму шныряющих по разного рода сборищам, мелькали они даже и в столичной хронике, да и остальной народ лицами был мучительно знаком старому солдату, — вдруг ударило по башке: «Да в конвойном ровенском полку я их всех видел, рожи-то у падали этой везде и всюду совершенно одинаковые!»

Кащенко влек под локоток лошадеподобного, с лошадиной же отвислой губой, местного вождя народов — Рванова, негромко, но внятно повторяя: «Дорогу будущему президенту! Дорогу будущему президенту!» — и вышиб два-три аплодисмента из негустой толпы. Рванов — типичный советский проходимец, плод той системы, созданию которой он способствовал и небескорыстно служил. Будучи директором крупного комбината, отравляя небо, воду, землю газами, химией и всякой иной заразой, морил детей, десятки лет гнал военную продукцию устарелых моделей, разорял государство и народ, конечно же, не знавший, что творит, выпускает халтуру, зато есть работа, зарплата подходящая по сравнению с «мирной» зарплатой остальных совграждан. Сам голова сделался генералом, академиком, от самонадеянной тупости выдал он народу книгу под названием: «Я — Рванов». Самодержец всея Руси писал — «мы», а этот вот сразу «я». Дела на его заводе, морально и материально устарелом, шли ко краху, и пройдоха этот вместо того, чтобы покаяться вместе с партией, его и крах этот породившей, доказывает с помощью блудного пера таких шестерок, как Кащенко, что было все хорошо, и его предприятие до ручки за несколько лет довели демократы, и ничего ему не остается, как по наказу народа идти вверх и наводить там порядок. По-за трибуной, среди своих Рванов, правда, талдычит, что миллионов десять — двенадцать рабочего скота придется пустить «под жернова», зато уж остальной народ достигнет наконец блаженных берегов с надписью: «Светлое будущее».

Следом за Рвановым грузно и грозно шагал еще один защитник русского народа, с подходящей фамилией —

Фурчик. Этот занимал когда-то высокий пост в местных партийных сферах и не мог никому простить, что в одночасье его лишили.

Никто из этой троицы не имел ни ума, ни талантов никаких, они даже гвоздя забить не умели и по этой причине могли только руководить, а для них руководить — значит говорить. Вот и говорили, не разумея смысла, гремели голосом и звали народ теперь уж к светлому прошлому, не понимая даже такой малости, что «в обратный отправившись путь, все равно не вернешься обратно», что, роя яму для других, как правило, ее копатели угадывали туда если не первыми, то в очередной шеренге.

Сколько Коляша видел снимков убийц возле убитых, особенно немецких солдат возле трупов русских. Страшно! Но Коляша ни разу не видел снимков: русских возле убитых ими врагов. Больше того, за время пребывания на фронте не помнил он, чтобы кто-то из наших изъявил желание сфотографироваться возле убитых. Правда, и фотоаппаратов у русских не было, но при желании чего нельзя сделать? А желания-то ни у кого и не возникало. Помнил он несколько случаев, и себя тоже, когда солдатам хотелось взглянуть на того, кого они убили или предполагали, что убили, и на всех такая «встреча» производила гнетущее впечатление. Какое все-таки тяжелое дело — убивать! А любоваться убийством, позировать — это уж верх всякого бездушия или безумия. Но эти вот, что громоздятся на пьедестале памятника самого страшного убийцы двадцатого века, смутьяна и безбожника, — эти могут, эти убьют, и ногу поставят на грудь поверженного, и будут позировать, ибо зло, взлелеянное большевиками, взматерело, укрепилось, сделалось безглазо и совсем бессердечно.

И вот сюда, к этому сброду, подался бывший солдат, инвалид войны — за утешением. Ай-яй-яй, Николай Иванович, Николай Иванович! Сам же ведь сочинил когда-то: «Поэтом можешь ты не быть, но и свиньей быть не обязан».

Пошел, поковылял Николай Иванович с площади и вдруг почувствовал, как продевается рука под его локоть. Рядом шагал Гринберг Моисей Борисович, вечный его спутник по госпиталям. Ну, что да как, да какими судьбами здесь, в Сибири? Дочка с семьей, оказывается, здесь. В санэпиднадзоре трудится, зять в торговой сети. Внучка уже местный институт культуры заканчивает, внук —

ловелас, на ше с матери с отцом сидит, делает вид, что в университете учится, на самом же деле к чернорубашечникам примкнул и борется за освобождение русского народа из-под ига демократов.

Они зашли в дорогое кафе под названием «Марианна» при городском парке и выпили дорогой иностранной водки под названием «Горбачев». Перед тем, как выпить первую, Николай Иванович снял шляпу, поискал нужный угол и перекрестился, чем потряс Моисея Борисовича. Махнули по второй, Моисей Борисович постучал по бутылке ногтем:

— Ирония судьбы: борец с алкоголизмом и коммунизмом удостоился такой вот боевой памяти,— и, опустив глаза долу, добавил: — А что крестишься, Николай Иванович,— одобряю. Надо ж кому-то и наши грехи замаливать.

Николай Иванович читал: водку «Горбачев» производил русский купец по фамилии Горбачев, сейчас она варится в одном лишь месте — в Берлине, но насчет иронии судьбы возражать не стал — уж чего-чего, ироний на Руси всегда было достаточно.

Старые вояки допили бутылку. Их изрядно развезло, и они, поддерживая друг дружку, вышли на улицу. На площади ораторов уже не было, но от памятника, изваянного скульптором Пинчуком, разносилась песня: «Смело мы в бой пойдем за власть советов и как один умрем...»

— Снова умирать зовут, но когда-то ж надо и жить?..

— Нам от коммунистов, фашистов деваться некуда, но тебе, Моисей Борисович, детям твоим и внукам можно в Израиль податься.

Гринберг, видно, много уж думал над данным вопросом, потому и ответил без промедления, резко:

— Где он, тот Израиль? И шо я там потерял? Я,— Моисей Борисович постучал каблуком в криво налитый, как бы черными коростами покрытый асфальт,— я на этой земле произошел на свет и в ней покоиться буду. Дети ж и внуки пусть сами решают свои задачи. Хватит-таки, что их за нас все время уверху решали...

Где-то, что-то они еще добавляли. Гринберг Моисей Борисович был менее, чем Николай Иванович, разрушен, может, по еврейской натуре хитрил, не допивал до дна, но товарища по войне не бросил, доставил домой.

— Экие красавцы! — всплеснула руками Женяра и домой Гринберга не отпустила, бегала к соседям, звонила, чтоб дети и внуки не теряли отца и деда, беседовала с фронтовиками, которые в пьяном виде смотрели телевизор и матерно комментировали происходящее на экране.

За папой, Моисеем Борисовичем, утром приехала все еще моложавая, но уже усатая дочь по имени Эра. Посмотрев пристально на едва живых ветеранов, она принесла из машины шкалик коньяку, два «сникерса» и, понаблюдав, как трудно опохмеляются, мучительно восстают к жизни престарелые вояки, потягивая сигарету, криво усмехнулась:

— Пили бы уж лучше мочу.

Ох, ох, ехидная дамочка, не забыла ведь, напомнила о давнем, еще на пермской стороне происходившем увлечении госпитальников. Где-то они прослышали о чудодейственном свойстве мочи и принялись ее хлестать пуще, чем водку, надеясь выздороветь, омолодиться и дать еще дрозда в этой жизни. Инвалиды и ветераны войны время от времени поддавались психозу самолечения и то употребляли где-то дорого купленное мумие, которое часто оказывалось обыкновенной смолой, то, потев и претя, пили травы с медом, непременно собранным с донника, то гонялись сами, но чаще гоняли жен и детей за маральим корнем или вываренной жидкостью из оленьих пантов. И дело кончилось тем, что дошли до мочи. Главный врач госпиталя, все уже чудачества и увлечения своих пациентов перетерпевший, зная, что ему не побороть их: нет на земле упрямей и психоватей инвалидишек этих,— печально говорил опившимся мочой и сплошь запивающим ее водкой или самогоном:

— Вы уж хоть не свою мочу-то пейте. У вас же вся трубуха гнилая и перетряхнутая. Берите хоть у детей, что ли.

Эркина моча тоже бывала в ходу, она сама ее и заносила по пути в школу. Моисей Борисович, по-братски смеясь, говорил, чтоб не сэкономили лекарства — дочь у него зассыха. И вот бывшая зассыха, под ээка стриженная, за рулем автомобиля, в плотно ее фигуру облегающем свитерке, кожаная куртка на ней с молниями, желтыми нитками простроченная, цигаркой дымит, над стариками насмехается.

— О-ох-хо-хо-о-о-о! Время, время! — обнялись на прощанье заслуженные люди. Что-то бесконечно горькое, даже пространственно-печальное было в расставании двух погулявших стариков, может, уж и чувствовали они, что могут на этом свете более и не встретиться... Женяра банку маринованных огурцов и малинового варенья банку в Эркину машину сунула. Интеллигенция ж. Все с базару

да втридорога. А тут плоды со своего участка. Эрка не покичилась, поблагодарила за подарки.

И вот лежит Николай Иванович в своей хорошо натопленной избушке. Под шорох дождя за окном, кустов шептанье пытается уснуть.

Днем приезжала Женяра, помогала прибраться на зиму — сгребали листья, ботву и всякий мусор. Дымно горела куча на меже огорода. Она и сейчас, под дождиком, еще сочится изморным, белесо во тьме плавающим дымом, и что-то тлеющее в куче время от времени воспрянет, займется качающимся огоньком, попрыгает петушком и западет в кучу, спрячется.

«Так вот и наша теперешняя жизнь дотлевают, — справляя малую нужду в кусты крыжовника, меланхолично размышлял бывший солдат, слушая, как за дверью, возле печки покашливает Женяра. — Говорил, к костру не лезь — дыму много, а она в ответ: «Я так люблю осенний костерок, и осень люблю, и все это». — А вокруг в недвижимом воздухе плавали, стелились над огородами дымы, тихое солнце покоилось над дальними горами и лесом, словно не хотело оно закатываться, жаль ему было покидать эту землю и людей, так ему радующихся весной, летом, даже осенью этой, покойной и прозрачной. «Не хочу, не хочу, чтоб Женяра умирала... раньше меня... не могу я без нее. Господи, внемли, не отвори лика своего от нас. Я, как капусту срубим и увезем, схожу в церковь, помолюсь, свечу поставлю... Я еще не забыл монастырь и молитвы... Господи!..»

Управившись в огороде и вокруг избушки, супруги Хахалины в две руки сняли с плиты бак с горячей водой, здесь же, в избушке, у порожка обмылись в детской ванночке. Обтирая супруга, Женяра как бы нечаянно тренькнула рукой по его сморщенному органу:

— Сникнул боец, устал сражаться с нашим братом.

Николай Иванович со снисхождением усмехнулся:

— Он, как нонешний необошшевик, воспрянет, когда надо.

— Да уж, — ободряюще хмыкнула Женяра и достала плоскую бутылку с иностранным вином-настойкой из иностранному же расписанной холщовой сумки.

Николай Иванович повертел бутылку, по фасону напоминающую ту посудину, в какой на фронте изредка выдавали мазь от вшей, и вообще прежде содержали в такой

посудине разную смертельную химию, не смешивая ее с другими сосудами, совсем иного, пользительного, направления. Он, конечно же, сразу догадался: бутылка эта — презент от зятя.

Дождавшись, когда муж размякнет от заморского вина, Женяра снова заведет разговор о продаже главного их богатства — этого загородного участка с синеньким домиком-конурой.

Зять — парняга, спрыснувший из горячего цеха алюминиевого завода и занявшийся коммерцией, сперва перекупал в издательствах книги, с добавкой развозил их в «Жигулях» по районам, к поездкам и на разные сборища, ныне подсел: народ, какой побогаче, насытился книгой, народ, которому не до книг, сам торгует по улицам чем попадя и ворует, где чего возможно украсть. Зять, на лице которого сыпь от былых прыщей, словно от пороха, малообразительный, туповатый, развернуться среди делег не смог, опустил до жалкого челнока, занялся перепродажей разной мелочевки, но замашки менялы-толкача обрел. Охота ему сменить «Жигули» на хотя бы подержанный «мерседес» и на нем въехать в компанию крутых парней. Вот он через тещу и действует, напиток бодрящий шлет.

Николай Иванович к старости стал со всем согласный, потому как кругом и во всем виноватый. Но с участком уперся, намертво встал на этом рубеже старый солдат. «Если тебе, — говорил он Женяре, — с твоими дряхлыми легкими не терпится пожить на кухне у зятя с дочерью и поспать на драной раскладушке — действуй! Но только после того, как снесешь меня на кладбище и закопаешь так глубоко, что я не смогу вылезть — тебя пожалеть...»

Николай Иванович решительно отставил дорогую бутылку, опустил на карачки и выкатил из-под своего топчана алюминиевую лагуху с настойкой, каковую местные дачники-инвалиды и просто зрелые умом люди навострились варить из ягод и дрожжей так, что итальянскому «Амаретто» иль молдавской «Фетяске» умолкнуть надобно и не вонять на русской земле. Женяра собирала на стол, искоса наблюдала за мужем и ни в чем ему пока не перечила. Молча стукнулись кружками, отхлебнули напитка, который шибал не только в нос, но и во все отверстия, какие имеются на теле человека, пронзал тело бодрящей свежестью, сминал организм, крадучись, подползая к голове, трогал и мучил разуменье человеческое, расшевеливал его на шалости.

Когда выпили по второй, по третьей и неторопливая, благодатная трапеза подходила к концу, Женя сказала, кивая на иностранную бутылку:

— Может, потом, ночесь захочется, так ты эту иностранную мочу и выпьешь.

По голосу жены Николай Иванович угадал, что сегодня она не будет допекать его просьбами насчет продажи участка и расстанутся они мирно. Он останется до морозцев на посту — караулить капусту — срубает ночами бичи и проходимцы всякие овощ, хозяйка же поедет домой — доглядывать Игоря, который учиться не хочет, но чуть родители отдалятся, зазывает девок в квартиру, крутит магнитофонишко, и чего они там одни-то делают — пойди угадай. Здоровенный оболтус, а на огород не загопишь, прибраться в доме не заставишь. Все стены над кроватью его украшены в чулки лишь одетыми девками, немца Шварценеггера меж них поместил внучонок. Значит: дед бил немца, бил и добил, внучек из него идола сделал...

Вычитав о том, что у Николая Рубцова был любимым поэтом Тютчев, Николай Иванович добыл однотомник давнего поэта и навсегда влюбился в стихи, чеканные, мелодичные и такими чувствами наполненные, что и объяснить невозможно. Иногда он баловал Женяру, читал ей вслух.

— «Вот бреду я вдоль большой дороги, — закинув руки за голову, наизусть читал самое любимое стихотворение жены Николай Иванович. — В тихом свете гаснущего дня... Тяжело мне, замирают ноги... Друг мой милый, видишь ли меня? Все темней, темнее над землею — улетел последний отблеск дня... Вот тот мир, где жили мы с тобою... Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, завтра память рокового дня... Ангел мой, где б души ни витали, ангел мой, ты видишь ли меня?»

Лежали порознь на топчанах. Молчали. И осень по-за окном, молчаливая, вздыхала последним теплом, сеялись листья со старой белоплодной ранетки. Когда-то успела состариться и она. Николай Иванович хотел нынче выкорчевать ее — свету бы в избушке больше сделалось. Копнул, а корень-то у деревца еще крепкий, лишь сверху гнилью тронутый. Пожалел яблоньку хозяин. И правильно сделал — она вон своедельному вину-то ароматище и крепость такие придает. Козырем кроет всю остальную мелкочу. Листья реют за окном, последние листья нынешней

осени. А весной как белоплодка зацветет — какими запахами она окрестность омывает!

— И чего ты стишки забросил? Может, тоже до жалостной какой души достучался бы,— тихо молвила со своего топчана Женяра и, не дождавшись ответа, добавила: — Зять-то, Веня-то, твои стихи хвалил.

«Не обошлось все же без зятя любимого,— сморщился Николай Иванович.— Они: дочь, зять, жена, действуя союзом, решили dokonать хозяина. На поэзии!»

Пошла мода издавать книжки за свой счет. И вечно начинающего поэта Хахалина решили свалить: продать дачный участок и издать за половину денег стихи, а вторую половину пустить на «мерседес». Да Николай Иванович, может, с годами и не помудрел, зато окреп характером. Собрал газетные и альманашные вырезки, прочел старые блокнотики и впал в полное удручение: отдельные строчки, даже стишата, если их подладить, посидеть над ними,— можно читать в домашней обстановке, но лучше — в пьяной компании. Однако на люди выносить это лежалое, затасканное добро?..

Чтобы все же не сразу признать свой творческий крах, Николай Иванович накупил бледно и бедно изданные сборнички, чаще всего печатаемые в районных типографиях. Из глубин ящиков столов не было вынута по Сибири ничего, что залезалось потому, что не понято, не принято временем и цензурой из-за сверхгениальности продукции, не пускаемой в «столицы». Из кухонных столов и домашних загашников вынута все и всех повторяющая стихоплетия районного масштаба, в которой воспевались березки, цветы-незабудки, чаще же всего слышался чуть внятный лепет по покинутой родной деревне, тоска по сгнившему крыльцу, поросшему травой, которого касалась когда-то детская босая ножка. Убогая поэтическая, сама себя выпестовшая, на всех и на все обиженная глухая провинция прилюдно обнажилась, показывая рахитные ноги, винтом завязанный патриотический пуп на вздутом от картошки животе.

Тем бы и утешился Николай Иванович, но попади же ему в столичном журнале обзор книжек, тоже изданных за свой счет там, в пространной святой Руси. У «них» — усек он — не одна мелкотравчатая дребедень выходит из-под оттесненного на обочину потока литературы. «И на развернутом, на звездном свитке надмирные мерцали письмена». «Как скоро минет ночь, из поллитровки брызнет рекой народный стон, и зашумит камыш. Иль это глотку

жет зарею новой жизни, или в углу скребет о чем-то скорбном мышью...» «Толклись вчера, бегут сегодня — соревновательная власть — в иссохшую ладонь Господню всадить по шляпку медный гвоздь...»

Доконал Николая Ивановича, довел до мысли не продавать участок ради какой-то, никому не нужной книжки такой вот распростецкий стих: «Сына взяли, и мать больная. В комнате солнечной темно, а на улице праздник — Первое мая. Вождем завесили ей окно». Вот чтобы написать насчет окна, которое завесили вождем, надо и жизнь прожить другую, и, пожалуй что, другим и родиться.

В Перми знавал он двоих шалопаев, пьют, девок пикорчат, шлеляются и каждые два года выпускают по сборнику стихов. В здешнем издательстве, а то в столичном, и каких стихов! Он завидовал им, поносил, где можно. Но вот дозрел понять, что шалопаи — шалопаями, а поэзия от кустюма и примерного поведения мало зависит.

Николай Иванович растопил своими стихами печку, оставив лишь одно, недавно как-то само собой сложившееся: «Ах ты, Женя-Женяра, жена дорогая, мы на свете вдвоем, больше нет никого. Наша жизнь изошла, наша жизнь догорает, дыма нет, и уголья в печи дотлевают давно. Пусть на сердце печально, но кругом так светло. Ради этого света, ради доброй печали прошагали мы жизнь, не скопивши добра. Ну и что? Мы такое с тобой повидали, что за нами, дай Бог свету светлого детям, столько ж в сердце печали, столько ж в доме добра!..»

Женяра увидела лист на столе, шевеля губами, прочла и тихо заплакала. «Ну вот, мне и самый дорогой гонорар! Его даже не пропьешь...» — вздохнул Николай Иванович.

Женяра искренне, как всегда, вздыхала: нужда, дети, жизнь нищенская, инвалидная не позволили учиться, развиваться и сделаться поэтом ее мужу. Ох, Женяра, Женяра! Святая и добрая душа! Не запомнила она стих, который, тыкая пальцем в изболевую ее грудь, орал стихоплет Хахалин давно еще, в Перми: «Не верь, не верь поэту, дева, его своим ты не зови. И пуще пламенного гнева страшись поэтовой любви...»

Столик был прикреплен к стене укусами. Николай Иванович просунул руку меж укусин и столешницей, тронул мягкие волосы жены — к старости они еще пушистей стали — тоже, видать, вянут. Женяра прижалась щекой к руке мужа и не стала больше ничего говорить. Да и куда

деваться-то? Век, худо ли, хорошо ли, изжили, роднее родных сделались. Супруг иной раз еще потянет за рубашку жену к себе, она, хоть и ткнет его локтем: «Когда на тебя и уем будет?!» — переберется к нему и, если драгоценный внучек Игорь не доведет и по дому не устряпается, приступ астмы не мучает, — куда тебе, с добром рассамоварится, распыщется, хоть и северных кровей, но южанкам в страсти не уступит. В простое молодость провела, потом аборт замучили, ныне только и поиметь бы удовольствие, но отчего-то после каждого «сиянца», как называет это дело сосед по даче Костя Босых, с годами как-то не по себе делается, неловкость накатывает — ровно бы с родной он матерью грех поимел... «Муж жену береги, как трубу на бане!» — вроде вот нелепая поговорка, а коль к месту, так и в самый раз.

Дождь на дворе расходился, четко било каплями в заплату из жести — починял телеантенну, искрошил лист шифера и залатал дыру, разрезав и распрямив старое жестяное ведро, — где шиферу-то взять и на что — все уходит на немощную семью дочери, которая и ликом, и ухватками удалась в покойную бабу, Анну Меркуловну, царство ей небесное, задрыге. Себе от двух пенсий супруги Хахалины оставляют на хлеб, на сахар да на постное масло, на молочное не стало сходиться. Дорожает жизнь. И чем больше и скорее дорожает, тем шибче отчуждение. Люди, разодетые в иностранное, дети, как попугайчики. От машин иностранных и ларьков с товарами в городе не протолкнуться. И все злей, все неистовей, все вороватей делаются российские люди. Капусту в сорок шестом и в сорок седьмом охраняли? Да в те полуголодные годы и в голову никому не приходило унести ее с поля, разве что колхозную, по пути если. А тут рассаду с полей воруют, картошку выкапывают, скот режут и увозят. Приходится охранять стада отрядом с карабинами. И ведь что интересно. Осень — золотая, урожайное лето замыкающая, в двух районах картофель в полях остался. В газете объявление: берите, копайте за так. Некоторые поля даже комбайном подкопали — собирай. И что же? Толпы хлынули на тучные поля богатых ассоциаций?! Хера! Толпы на вокзалах и на базаре барахлом трясут, ворованной капустой торгуют, ягодами втридорога. Да взять того же внука, Игоря, бабкой вконец избалованного. Он что, пойдет картошку в полях собирать? Да он скорее пристукнет когнибудь, оберет в узком месте...

Кап, кап, кап — бьет дождем в жель. Вот и над крыльцом тесина шевельнулась — гвоздь расшатался, не забыть бы завтра прибить — заснуть мешает, кажется, кто-то ходит, за капустой крадется...

Надо бы подняться, участок обойти, покашлять. Ай да аллах с ней, с капустой, и со всем этим хозяйством. Все равно Женяра после смерти мужа подарит эту виллу детям, те, ветрогоны, продадут участок богачам. Богачи снесут избышку либо временное отхожее место в ней сделают, обезьянничая, возведут что-то похожее на иностранную хоромину. Но главное — срубят кедр, а он такой молодец, такой пышный, такой бобер в шерсти! Лет через пять-семь шишки выдаст!.. Да не дожить уж садовнику до своего ореха, не дотянуть...

Ныла раненая нога, и он все искал ей место. Вот, кажется, угнезвился, в мягкое, в теплое костью попал, боится пошевелиться. Ладно, нога ранена, кость разбитая почти всю послевоенную пору гнила, усохла нога, кость проело, в воронке черный паук паутину свил из фиолетовых и багровых жилок. Царапины, раны, ушибы, которых за жизнь накопилось лишковато, болят, зубы посыпались, лечить, сверлить, горечь всякую глотать приходится. Но еще ничего, еще в меру, да в норму — так и винца дернет своего, водочки с друзьями или с зятем этим наглым и хватким по праздникам пузырек раздавит.

Бутылку ту, иностранную, после отбытия Женяры с последним автобусом домой он почти прикончил. Расслабило, рассолодило человека, думал, сразу и уснет, ан там брякнет, тут стукнет, капли в жель бьют, яблочко остатное покатило по крыше, в стекло приветно тюкнуло. Ладно, если яблочко. Но коли птичка — она, говорят, к смерти в окно людское стучится...

В мороси и ветоши туманной дремоты-полусна Николая Ивановича чаще других мучило видение: фашисты снова в России, дошли до Урала, и их медленно оттуда прогоняют. И вот рубеж, с которого Коляша начал воевать. Ему тяжело думать оттого, что он знает все про войну, — как долго, как трудно изгонять зарвавшегося чужеземца. Весна зеленью сочится, птицы от песен изнемогают, мирные поля, леса, а в небе взрывы. За Окой котлован, и чувствует он — в крепком этом котловане засели они, и надо их долго гнать, далеко гнать, снова гнать...

Все же хорошо расположен участок Хахалиных. Женяра воды из речки принесла, успела почти засветло уехать, чтоб тот кавалер не разгулялся шибко в квартире. Главное достоинство старых участков — это речка Грамотушка, текущая среди садов. Раньше, говорят, в ней водился пескарь, голян, даже харюзок попадался. А сейчас Грамотушка летами едва на поливку накапливает воды. И только вспомнил Николай Иванович про речку, только мысленно ее узрел, как всплыло: «Село стоит на правом берегу, а кладбище — на левом берегу. И самый грустный все же и нелепый вот этот путь, венчающий борьбу и все на свете,— с правого на левый, среди цветов в обыденном гробу...»

Кап, кап, кап, гынь, гынь, гынь — поет мотор машины, вьется фронтовая дорога, растянувшаяся на всю жизнь...

Нет, видно, с ходу не уснуть, и выпивка не помогает, и припоздалое общение с женой не ко здравью и успокоению. Тоже вот противоречие: в молодости, за рулем так и долило сном, хоть спички в глаза вставляй, а ныне не спится, мается товарищ Хахалин...

Что же, что же еще-то помогает, кроме дороги-то и звука ноющего мотора? Отбыть, уехать, улечь в беззвучный, беспокойный старческий сон. А-а, поэзия, стишки: то они баламутят, то в умиление ввергают, то мечтательность навевают, с той мечтательностью нисходит на человека благостный сон.

«Улетели листья с тополей, повторилась в мире неизбежность. Не жалей ты листья, не жалей, а жалей любовь мою и нежность...» — как трогательно-то, как складно!.. За что же дура-баба удавила мужика, приземлила поэта на самом взлете? Ах, бабы, бабы! Мору на вас нету! Гапка из тьмы взошла что месяц полуночный... И сколько Коляша тех баб познал! Но Эллочку и Гапку — первых в жизни своей женщин, помнил и поминал всегда с трепетом и душевным подъемом. Да и есть за что — это ж не женщины, это ж эрэсы, то есть «катыши», — ка-ак начнут пламенить — вся земля горит и колыхается, держись, мужик, за весло, кабы в волны не снесло.

Кап, кап, кап, гынь, гынь, гынь — идет дождь, едет машина, едет, вьются верстами строчки: «Когда пробьет последний час природы... — Кап, кап, кап... Состав частей разрушится земных... — гынь, гынь, гынь... — Все зримое опять покроют воды...» — Отчего же не каплет-то? Не бьет в железо? А-а, ветер налетел, отклонил струйки дождя,

кабы снег не принесло... Что ж, может и снег выпасть — через несколько дней Покров, и самое время снегу быть. Снег на Покров, стало быть, зима теплая будет, бают старики. Не дай Бог зиму лютую, студеную, ведь и в нынешние-то, в сиротские-то зимы трубы по городу лопаются, парит везде и всюду, люди мерзнут, дети болеют и мрут. Во! Снова — кап, кап, кап, — сла-ава Богу... «И Божий лик изобразится в них»...

Гынь, гынь, гынь, гы-ы-ынь, гы-ы-ынь, — тянется и тянется дорога во тьме, и нету ей конца, и даже сон не может одолеть ту давнюю, словно в другой жизни пролегшую дорогу. Старый солдат поднапрягся, вспоминая молитву на сон грядущий, которой старательно учил его отец Ефимий. Казалось ему, молитвы он основательно забыл, как успел забыть Туську с мужем, где-то затерявшихся в бурной жизни и скорей всего канувших в ней, да и сам отец Ефимий, остров Валаам с черными фигурами монахов на берегу, будто тени, виделась тоже где-то в другой жизни, может, и в ином мире. Но лунный блик все так же явственно качался на воде, катился впереди теплохода. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоя Матере, преподобных и богоносных отец наших... А мы вот материмся в мать-то, выходит, и в нее, в Божию мать... — ворвалось в молитву, будоража ее успокоительное действие. Николай Иванович осилился, отринул думы про грешное... — и всех святых помилуй нас. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны...», — шевелил губами Николай Иванович, вышептывая Божеское, и в то же время слушал чутко: не крадется ли сквозь дождь и шорохи враг какой за капустой. И понимал: молитва и суетность несовместимы, не проникла молитва в душу его, как Тютчев или тот же Рубцов, скользит Божеское по поверхности башки и скатывается с нее, как брызга с вилка капусты.

Мать-перемать, все-таки вставать придется, вокруг грядок пройтись — враги, кругом враги и воры, какой уж тут сон, вина своего да иностранного надулся, тоже жмет, на улку позывает — где тут Бога дозваться, достучаться до его небесных врат. В штаны бы не напустить. Грешен, грешен батюшко, ладно хоть к раскаянью готов, маяту души и тяжесть тела испытывает гнетущую. Чего дальше-то будет? Главное, не заболеть бы, не залежаться и как при-

дет ОНА — сразу бы, как ту капусту, хрясь топориком под корень — и отдаться Богу на милость, в распоряжение верховное. А там уж Он сам распорядится, кого куда определить, в нужное направление направит...

Но главное всего, чтоб жива была Женяра. Уснет он вот так и не проснется... Она по Божьему завету оплачет его, снарядит в дальний путь, потом и сама рядышком тихо ляжет. Чего ж ей одной-то тут делать? Неинтересно одной, пусто одной...

Вон у тихого пенсионера Зайцева, домик которого за речкой, умерла жена — и потерялся он в жизни, никому совсем не нужен, даже и богатому внуку...

Прошлой зимой, да на исходе уж зимы, собрались они сюда с Костей Босых — соседом по огороду, в котором сам он ничего не делал, только, раздевшись до трусов, рубил окучником беспощадно крупный сорняк, материл правителей на весь белый свет, крыл Рейгана, Саддама Хусейна, когда и Ким Ир Сену попадало, и нашим всем по очереди. Нынче Ельцина кроет Костя почем зря. А в огороде работала его Аннушка, этакая мышка-норушка, с Женярой скорешившаяся по причине характера. Жену свою в молодости Костя тоже обижал, а ныне уж ни гугу — боится остаться один. Подались они за город, намереваясь натопить избушку, но главное — выпить на раздолье и всласть поговориться. У ворот инвалидного садового объединения «Луч» сторожа встретили, точнее, он их встретил, зная, что у парней этих с собою непременно есть кое-что. Ну, ла-ла-ла, то да се, как тот, как этот, у Зайцева за речкой его однофамильцы изгрызли всю вишню и все ранетки, огород весь исколесили, а его вот нет и нет, с самой осени, с октябрьских праздников. Может, заболел, а может... Тут инвалидишки переглянулись меж собой и, ничего не говоря более, ринулись по целику за речку...

Костя Босых этого Зайцева презирал за угодливость, за тихий нрав и голос едва слышный. Они и познакомились-то бурно. Существовали тогда еще хитрушки под названием «магазин для ветеранов». Их магазин был отгорожен от народа фигуристой железной решеткой, у которой от открытия до закрытия толпился русский люд, ждал, когда подвезут чего-нибудь съестное в продажу, кроя иной раз и этих дармоедов за фигуристой решеткой, к которым, как везде у нас, поналепилась куча: афганцы, герои каких-то других войн и вылазок, в Эфиопию, в Египет и еще куда-

то,— мудрая партия, как всегда, мудро поступала, откупаясь подачками. Участникам и инвалидам ВОВ преподносилось это как милость и выглядело так, будто вожди от себя и от своих деток отрывали последнее и отдавали страдальцам.

Томятся как-то инвалиды в магазине, и дерни за язык этого Зайцева нечистый. Всегда за цветками в уголке жался и оттудова тихонечко вопрошал: «Кто последний? Я за вами». И вякнул из ухоронки своей умильным голосом: «Вот спасибо товарищу Брежневу, пайку для нас подешевле вырешил...» В магазине в ту пору как на грех и на беду случился Костя Босых. Занимая очередь, он всегда и везде грудью вперед, голосом орет громким, да и есть отчего быть голосу — в боковом кармане старого бушлата у него плоская фляга — для хоккея, он из нее пьет хоть где, хоть с кем. Вот выпил, вытерся рукавом, горлышко фляге вытер и, не спрашивая Коляшу, хочет он или нет, посудину сунул. «Э-эх ты! — загремел Костя на пенсионера Зайцева. — Ты и на фронте, и в тылу сироткой был, вот этаким сиротой и пред Богом предстанешь! Па-айку вырешили! Спасибо партии родной, дала по баночке одной! А я, распротвою мать, воевал за то, чтоб прийти в магазин и на свой трудовой аль на пенсионный рубель купить все, чего душа пожелает! Па-а-айку вырешили!..» «Котя, Котя! — теребила его за рукав в платочек укутанная, кроткого вида женщина. — Ну че ты его оглушаешь? Исправишь ты его сей миг, што ли? Перевоспитаешь?..»

Костя Босых только этой женщины слушался, только ей внимал. Укротив себя, побулькал из фляжки, на которой было выгравировано: «Советский хоккей лучший в мире на все времена!», кинул руки по спинке диванчика, меж двумя цветками ременного вида, поставленными для красоты и эстетизма в прихожей «блатного магазина».

Долго еще бурчал Костя, комментируя поведение не только Зайцева, но и тех, кто, отоварившись, выпячивался задом в дверь, продолжая кланяться и благодарить благодетелей-продавцов.

Внук у Зайцева и тогда уже был деловой: минута в минуту, чуть ли не в самое жерло магазина вметывалась красная машина, и в шарфах до задницы, в волчьих шапках и в дубленках, ворвавшись в помещение, внук с женою волокли старика Зайцева к весам, затем, дружной компа-

нией вывалившись в прихожую, быстро разбирали старый, поди-ка еще фронтовой, рюкзак: «Это тебе, дед, потреблять нельзя — гастрит; это тебе, дед, есть вредно — печень; это, дед, влияет на склероз, это — на почки; от печени толстеть будешь, правнуку ты его даришь...» И в результате «чистки» рюкзака оставался дед Зайцев с перцем, горчицей и кетчупом, назначение которого он не знал. До женитьбы долго гонял и мучил внук деда: наедет с бандой девок и парней, отправит деда домой, чтоб не мешал веселиться. Потом, когда женился, переместил деда в совгород почти на постоянное местожительство.

Дверь в домике Зайцева заперта изнутри, окно льдом заросло.

Нашли лом, дагнули дверь — и дохнуло на инвалидов тухлой волной тления: под одеялом, в полушубке, в солдатской шапке, завязанной под подбородком, стеклянистым инеем покрытый, смиренно вытянув руки в рукавицах, лежал почерневший старичок с небольшим, изъеденным мышами, лицом. Жил и все славил: «Партия! Партия! Сталин! Сталин! Ленин! Ленин! Вперед — народ!» Под конец уж только внука: «Вадик-Вадик!..»

Едва нашли старики того Вадика. В новых спальнях кварталах он пребывал. Ехать за город не хотел. Костя Босых, Николай Иванович зашлись в ярости, затопали так, что хрустали в квартире забренчали и ведро с бутылкой виски с полки сорвалось. Жена внука Зайцева, в голубом атласном кафтанчике, в атласных туфельках, выскочила и заорала: «Вы что, хулиганы, в тюрьму захотели? Сгною старперов!» Коляша, к разу вспомнив незабвенного солдата Сметанина, деловым тоном воззвал:

— Костя! Давай гранату! Тряхнем этот рай напоследок!..

Костя рукой за пазуху, железной пробкой зазвенел об хоккейную флягу, будто кольцо из чеки гранаты вынимая.

— Мужики-ы-ы-ы! Да вы что-о-о-о-о? — завопил Вадик и откинул в глубь квартиры бойкоязыкую жену. — Любые деньги, мужики! Лю-у-убы-ые! Похороните деда! Похороните! Я его любил и помнить буду, но я смерти боюсь, мужики-ы-ы-ы...

— А мы, думаешь, не боялись ее, когда моложе тебя, под огнем, в окопах дрогли?! А ну, собирайся, курва!

Они заставили-таки Вадика хоронить деда, пусть и в закрытом гробу, заставили и жену его, и малого их сына на кладбище быть. Заставили и поминки в кафе «Изумруд» справить. Чуть только Вадик или его повелительница сопротивление оказывать начнут, Николай Иванович глянет на Костю Босых, и тот сразу за пазуху лапой. Хотели даже заставить Вадика и девять дней справить, и сороковины, но тут уж взмолился сам Костя:

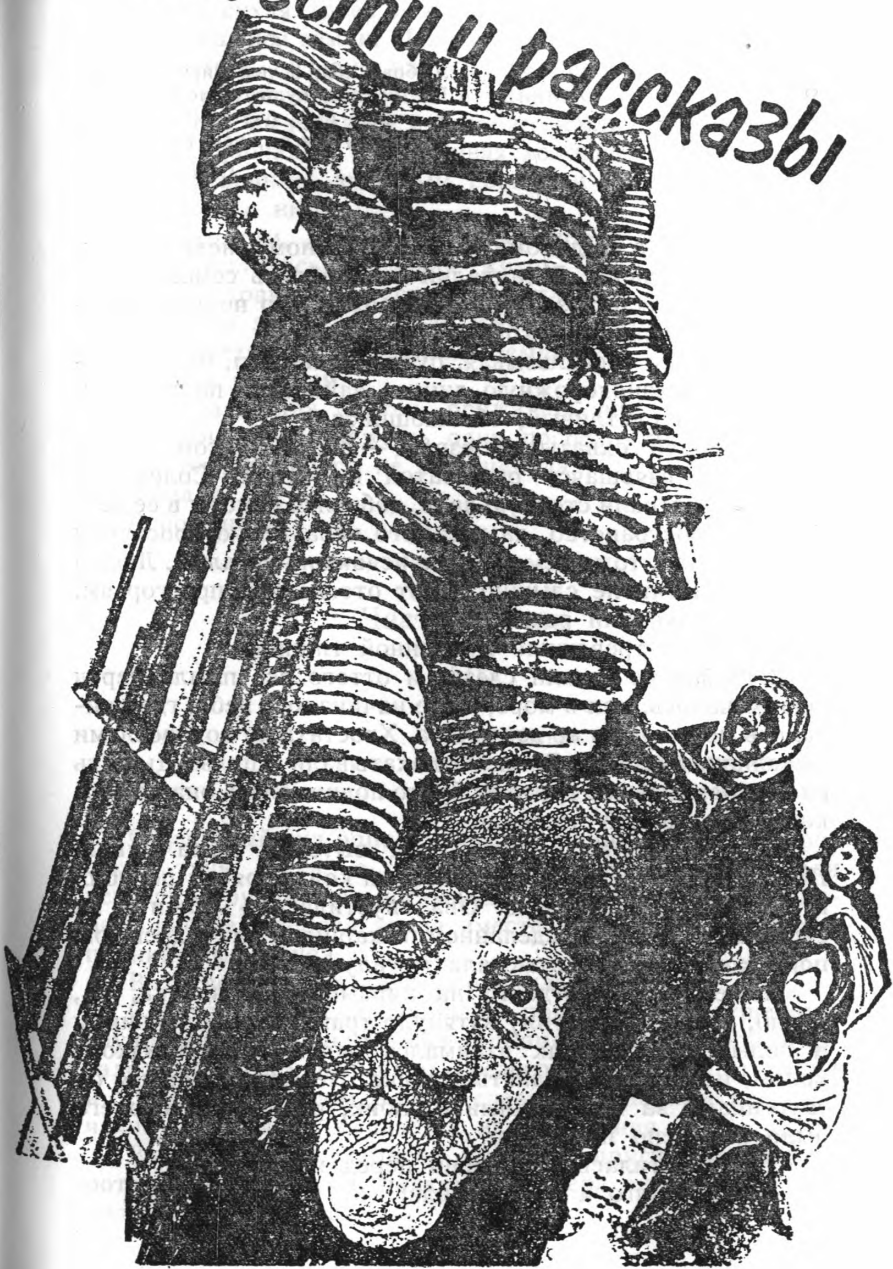
— Коляша, Николай Иванович, мы ведь спьяну и в самом деле прикончить можем этого поганца. Да ну его... к аллаху!

...О, как же длинна, как бесконечна осенняя ночь, что та давняя и дальняя дорога на фронт.

Благословенна и проклята будь она.

*Овсянка — Красноярск
Сентябрь 1994 — январь 1995*

Повести и рассказы



ПАСТУХ И ПАСТУШКА

Любовь моя, в том мире давнем,
Где бездны, кущи, купола,—
Я птицей был, цветком и камнем.
И перлом — всем, чем ты была!

Геофиль Готье

И брела она по дикому полю, непаханому, нехоженому, косы не знавшему. В сандалии ее сыпались семена трав, колючки цеплялись за пальто старомодного покроя, отделанного сереньким мехом на рукавах.

Оступаясь, соскальзывая, будто по наледи, она поднялась на железнодорожную линию, зачистила по шпалам, шаг ее был суетливый, сбивающийся.

Насколько охватывал взгляд — степь кругом немая, предзимно взявшаяся рыжеватой шерсткой. Солончаки накрапом пятнали степную даль, добавляя немоты в ее безгласное пространство, да у самого неба тенью проступал хребет Урала, тоже немой, тоже недвижно усталый. Людей не было. Птиц не слышно. Скот отогнали к предгорьям. Поезда проходили редко.

Ничто не тревожило пустынной тишины.

В глазах ее стояли слезы, и оттого все плыло перед нею, качалось, как в море, и где начиналось небо, где кончалось море — она не различала. Хвостатыми водорослями шевелились рельсы. Волнами накатывали шпалы. Дышать ей становилось все труднее, будто поднималась она по бесконечной шаткой лестнице.

У километрового столба она вытерла глаза рукой. Полосатый столбик, скорее вострый кол, порябил-порябил и утвердился перед нею. Она спустилась к линии и на сигнальном кургане, сделанном пожарными или в древнюю пору кочевниками, отыскала могилу.

Может, была когда-то на пирамидке звездочка, но, видно, отопрела. Могилу затянуло травой-проволочником и полынью. Татарник взнимался рядом с пирамидкой-колом, не решаясь подняться выше. Несмело цеплялся он заусенцами за изветренный столбик, ребристое тело его было измучено и остисто.

Она опустилась на колени перед могилой.

— Как долго я тебя искала!

Ветер шевелил полынь на могиле, вытеребивал пух из шишечек карлика-татарника. Сыпучие семена чернобыла и замершая сухая трава лежали в бурых щелях старчески потрескавшейся земли. Пепельным тленом отливала предзимняя степь, угрюмо нависал над нею древний хребет, глубоко вдавшийся грудью в равнину, так глубоко, так грузно, что выдавилась из глубин земли горькая соль, и бельма солончаков, отблескивая холодно, плоско, наполни мертвенным льдистым светом и горизонт, и небо, спаявшееся с ним.

Но это там, дальше было все мертво, все остыло, а здесь шевелилась пугливая жизнь, скорбно шелестели немощные травы, похрустывал костлявый татарник, сыпалась сохлая земля, какая-то живность — полевка-мышка, что ли, суетилась в трещинах земли меж сохлых травок, отыскивая прокорм.

Она развязала платок, прижалась лицом к могиле.

— Почему ты лежишь один посреди России?

И больше ничего не спрашивала.

Думала.

Вспоминала.

Часть первая

БОЙ

«Есть упоение в бою!» —
какие красивые и устарелые слова!..

Из разговора, услышанного на войне

Орудийный гул опрокинул, смял ночную тишину. Пресекая тучи снега, с треском полосую тьму, мелькали вспышки орудий, под ногами качалась, дрожала, шевелилась растревоженная земля вместе со снегом, с людьми, приникшими к ней грудью.

В тревоге и смятении проходила ночь.

Советские войска добивали почти уже задушенную группировку немецких войск, командование которой отказалось принять ультиматум о безоговорочной капитуляции и сейчас вот вечером, в ночи, сделало последнюю сверхотчаянную попытку вырваться из окружения.

Взвод Бориса Костяева вместе с другими взводами, ротами, батальонами, полками с вечера ждал удара противника на прорыв.

Машины, танки, кавалерия весь день металась по фронту. В темноте уже выкатывались на взгорок «катюши», поизорвали телефонную связь. Солдаты, хватаясь за карабины, зверски ругались с эрэсовцами — так называли на фронте минометчиков с реактивных установок — «катюш». На зачехленных установках толсто лежал снег. Сами машины как бы приосели на лапах перед прыжком. Изредка всплывали над передовой ракеты, и тогда видно делалось стволы пушчонок, торчащих из снега, длинные спички пэтээрлов. Немытой картошкой, бесхозьяственно высыпанной на снег, виделись солдатские головы в касках и шапках, там и сям церковными свечками светились солдатские костерки, но вдруг среди полей поднималось круглое пламя, взнимался черный дым — не то подорвался кто на мине, не то загорелся бензовоз либо склад, не то просто плеснули горючим в костерок танкисты или шофера, взбодряя силу огня и торопясь доварить в ведре похлебайку.

В полночь во взвод Костяева приволоклась тыловая команда, принесла супу и по сто боевых граммов.

В траншеях началось оживление.

Тыловая команда, напуганная глухой метельной тишиной, древним светом диких костров — казалось, враг, вот он ползет-подбирается, — торопила с едой, чтобы поскорее заполучить термосы и умотать отсюда. Храбро сулились тыловики к утру еще принести еды и, если выгорит, водчонки. Бойцы отпускать тыловиков с передовой не спешили, разжигали в них панику байками о том, как тут много противника кругом и как он, нечистый дух, любит и умеет ударять врасплох.

Эрэсовцам еды и выпивки не доставили, у них тыловики пешком ходить разучились, да еще по уброду. Пехота оказалась по такой погоде пробойней. Благодушные пехотинцы дали похлебать супу, отделили курица эрэсовцам. «Только по нам не палить!» — ставили условие.

Гул боя возникал то справа, то слева, то близко, то далеко. А на этом участке тихо, тревожно. Безмерное терпение кончалось. У молодых солдат являлось желание ринуться в кромешную темноту, разрешить неведомое томление пальбой, боем, истратить накопившуюся злость. Бойцы постарше, натерпевшиеся от войны, стойче переносили холод, секущую метель, неизвестность, надеялись — пронесет и на этот раз. Но в предутренний уже час, в километре, может, в двух правее взвода Костяева послышалась большая стрельба. Сзади, из снега, ударили полу-

торасотки-гаубицы, снаряды, шамкая и шипя, полетели над пехотинцами, заставляя утягивать головы в воротники оснеженных мерзлых шинелей.

Стрельба стала разрастаться, густеть, накатываться. Пронзительней завывли мины, немазанно скрежетнули зрэсы, озарились окопы грозными всполохами. Впереди, чуть левее, часто, заполошно тьякала батарея полковых пушек, рассыпая искры, выбрасывая горячей вехоткой скомканное пламя.

Борис вынул пистолет из кобуры, поспешил по окопу, то и дело проваливаясь в снежную кашу. Траншеи хотя и чистили лопатами всю ночь и набросали высокий бруствер из снега, но все равно хода сообщений забило местами вровень со срезами, да и не различить было этих срезов.

— О-о-о-од! Приготовиться! — крикнул Борис, точнее, пытался кричать. Губы у него состылись, и команда получилась невнятная. Помкомвзвода старшина Мохнаков поймал Бориса за полу шинели, уронил рядом с собой, и в это время зрэсы выхаркнули вместе с пламенем головатые стрелы снарядов, озарив и парализовав на минуту земную жизнь, кипящее в снегах людское месиво; рассекло и прошило струями трассирующих пуль мерклый ночной покров; мерзло застучал пулемет, у которого расчетом воевали Карышев и Малышев; ореховой скорлупой посыпали автома-ты; отрывисто захлопали винтовки и карабины.

Из круговерти снега, из пламени взрывов, из-под клубящихся дымов, из комьев земли, из охающего, ревающего, с треском рвущего земную и небесную высь, где, казалось, не было и не могло уже быть ничего живого, возникла и покатила на траншею темная масса из людей. С кашлем, с криком, с визгом хлынула на траншею эта масса, провалилась, забурлила, заплескалась, смывая разъяренными отчаяньем гибели волнами все сущее вокруг.

Оголодалые, деморализованные окружением и стужей, немцы лезли вперед безумно, слепо. Их быстро прикончили штыками и лопатами. Но за первой волной накатилась другая, третья. Все перемешалось в ночи: рев, стрельба, матюки, крик раненых, дрожь земли, с визгом откаты пушек, которые били теперь и по своим, и по немцам, не разбирая — кто где. Да и разобрать уже ничего было нельзя.

Борис и старшина держались вместе. Старшина — левша, в сильной левой руке он держал лопатку, в правой — трофейный пистолет. Он не палил куда попало, не суетился. Он и в снегу, в темноте видел, где ему надо

быть. Он падал, зарывался в сугроб, потом вскакивал, поднимая на себе воз снега, делал короткий бросок, рубил лопатой, стрелял, отбрасывал что-то с пути.

— Не психуй! Пропадешь! — кричал он Борису.

Дивясь его собранности, этому жестокому и верному расчету, Борис и сам стал видеть бой отчетливей, понимать, что взвод его жив, дерется, но каждый боец дерется поодиночке, и нужно знать солдатам, что он с ними.

— Ребя-а-а-ата-аа-а! Бей! — кричал он, взрыдывая, брызгаясь бешеной вспенившейся слюной.

На крик его густо сыпали немцы, чтобы заткнуть ему глотку. Но на пути ко взводному все время оказывался Мохнаков и оборонял его, оборонял себя, взвод. Пистолет у старшины выбили, или обойма кончилась. Он выхватил у раненого немца автомат, расстрелял патроны и остался с одной лопаткой. Оттоптав место возле траншеи, Мохнаков бросил через себя одного, другого тощего немца, но третий с визгом по-собачьи вцепился в него, и они клубком покатались в траншею, где копошились раненые, бросаясь друг на друга, воя от боли и ярости.

Ракеты, много ракет взмыло в небо. И в коротком, полощущем свете отрывками, проблесками возникали лоскутья боя, в адовом столпотворении то сближались, то проваливались во тьму, зияющую за огнем, ощеренные лица. Снеговая пороша в свете сделалась черной, пахла порохом, секла лица до крови, забивала дыхание.

Огромный человек, шевеля громадной тенью и развевающимся за спиной факелом, двигался — нет, летел на огненных крыльях к окопу, круша все на своем пути железным ломом. Сыпались люди с разваленными черепами, торной тропой по снегу стелилось, плыло за карающей силой мясо, кровь, копать.

— Бей его! Бей! — Борис пятился по траншее, стрелял из пистолета и не мог попасть, уперся спиной в стену, перебирал ногами, словно бы во сне, и не понимал, почему не может убежать, почему не повинуются ему ноги.

Страшен был тот, горящий, с ломом. Тень его металась, то увеличиваясь, то исчезая, сам он, как выходец из преисподней, то разгорался, то темнел, проваливался в геенну огненную. Он дико выл, оскаливал зубы и чудились на нем густые волосы, лом уже был не ломом, а выданным с корнем дубьем. Руки длинные, с когтями...

Холодом, мраком, лешачьей древностью веяло от этого чудовища. Полыхающий факел, будто ответ тех огненных бурь, из которых возникло чудовище, поднялось с четвере-

нек, дошло до наших времен с неизменившимся обликом пещерного жителя, овеществляя это видение.

«Идем в крови и пламени...» — вспомнились вдруг слова из песни Мохнакова, и сам он тут как тут объявился, рванул из траншеи, побрел, черпая валенками снег, сошелся с тем, что горел уже весь, рухнул к его ногам.

— Старшина-а-а-а! Мохнако-о-ов! — Борис пытался забить новую обойму в рукоятку пистолета и выпрыгнуть из траншеи. Но сзади кто-то держал, тянул его за шинель.

— Карау-у-у-ул! — тонко вел на последнем издыхании Шкалик, ординарец Бориса, самый молодой во взводе боец. Он не отпускал от себя командира, пытался стащить его в снежную норку. Борис отбросил Шкалика и ждал, подняв пистолет, когда вспыхнет ракета. Рука его отвердела, не качалась, и все в нем вдруг заостенело, сцепилось в твердый комок, теперь он попадет, твердо знал — попадет.

Ракета. Другая. Пучком выплеснулись ракеты. Борис увидел старшину. Тот топтал что-то горящее. Клубок огня катился из-под ног Мохнакова, ошметки разлетались по сторонам.

Погасло.

Старшина грузно свалился в траншею.

— Живой! Ты живой! — Борис хватал старшину, ощущая.

— Всё! Всё! Рехнулся фриц! С катушек сошел!.. — втыкая лопатку в снег, вытирая ее о землю, задышливо выкрикивал старшина. — Простыня на нем вспыхнула... Страсть!..

Черная пороша вертелась над головой, ахали гранаты, сыпалась стрельба, грохотали орудия. Казалось, вся война была сейчас здесь, в этом месте, кипела в растоптанной яме траншеи, исходя удушливым дымом, ревом, визгом осколков, звериным рычанием людей.

И вдруг на мгновение все опало, остановилось. Усилился вой метели.

— Танки! — разноголосо завопила траншея.

Из темноты нанесло удушливой гарью. Танки безглазыми чудовищами возникли из ночи, скрежетали гусеницами на морозе и тут же буксовали, немея в глубоком снегу. Снег пузырился, плавился под танками и на танках.

Им не было ходу назад, и все, что попадалось на пути, они крушили, перемалывали. Пушки, две уже только, развернувшись, хлестали им вдогон. С вкрадчивым курлыка-

нем, от которого заходило сердце, обрушился на танки залп тяжелых эрэсов, электросварочной вспышкой ослепив поле боя, качнув окоп, оплавляя все, что было в нем: снег, землю, броню, живых и мертвых. И свои, и чужеземные солдаты попадали влещку, жались друг к другу, заталкивали головы в снег, срывая ногти, по-собачьи рыли руками мерзлую землю, старались затискаться поглубже, быть поменьше, утягивали под себя ноги — и все без звука, молчком, лишь загнанный хрип слышался повсюду.

Гул нарастал.

Возле тяжелого танка ткнулся, хокнул огнем снаряд гаубицы. Танк содрогнулся, звякнул железом, забегал влево-вправо, качнул орудием, уронил набалдашник дульного тормоза в снег и, буравя перед собой живой перекатывающийся ворох, ринулся на траншею. От него, уже неуправляемого, в панике рассыпались и чужие солдаты, и русские бойцы. Танк возник, зашевелился безгласной тушей над траншеей, траки лязгнули, повернулись с визгом, бросив на старшину, на Бориса комя грязного снега, обдав их горячим дымом выхлопной трубы. Завалившись одной гусеницей в траншею, буксуя, танк рванулся вдоль нее.

Надсаженно, на пределе завывал мотор, рубили, перемальвали мерзлую землю и все в нее вкопанные гусеницы.

— Да что же это такое? Да что же это такое? — Борис, ломая пальцы, вцарапывался в твердую щель. Старшина тряс его, выдергивал, будто суслика из норы, но лейтенант вырывался, лез занозно в землю.

— Гранату! Где граната?

Борис перестал биться, лезть куда-то, вспомнил: под шинелью на поясе у него висели две противотанковые гранаты. Он всем раздал с вечера по две и себе взял, да вот забыл про них, а старшина или потерял свои, или использовал уже. Стянув зубами рукавицу, лейтенант сунул руку под шинель — граната на поясе висела уже одна. Он выхватил ее, начал взводить чеку. Мохнаков шарил по рукаву Бориса, пытался отнять гранату, но взводный отталкивал старшину, полз на коленях, помогая себе локтями, вслед за танком, который пахал траншею, метр за метром прогрызая землю, нащупывая опору для второй гусеницы.

— Постой! Постой, курва! Сейчас! Я тебя... Сейчас! — Взводный бросал себя за танком, но ноги, ровно бы вывернутые в суставах, не держали его, он падал, запинаясь о раздавленных людей, и снова полз на коленях, толкался локтями. Он утерлял рукавицы, наелся земли, но держал

гранату, словно рюмку, налитую всклень, боясь расплескать ее, взлаивая, плакал оттого, что не может настичь танк.

Танк ухнул в глубокую воронку, задергался в судорогах. Борис приподнялся, встал на одно колено и, ровно в чиху играя, метнул под сизый выхлоп машины гранату. Жажнуло, обдало лейтенанта снегом и пламенем, ударило комками земли в лицо, забило рот, катануло по траншее, словно зайчонка.

Танк дернулся, осел, смолк. Со звоном упала гусеница, распустилась солдатской обмоткой. По броне, на которой с шипением таял снег, густо зачиркало пулями, еще кто-то фуганул в танк гранату. Остервенело дупили по танку ожившие бронейщики, высекая синие всплески пламени из брони, досадуя, что танк не загорелся. Возник немец, без каски, черноголовый, в разорванном мундире, с привязанной за шею простыней. С живота строча по танку из автомата, он что-то кричал, подпрыгивал. Патроны в рожке автомата кончились, немец отбросил его и, обдирая кожу, стал колотить голыми кулаками по цементированной броне. Тут его и подсекло пулей. Ударившись о броню, немец сполз под гусеницу, подергался в снегу, и успокоенно затаил. Простыня, надетая вместо маскхалата, метнулась раз-другой на ветру и закрыла безумное лицо солдата.

Бой откатился куда-то во тьму, в ночь. Гаубицы переместили огонь; тяжелые эрэсы, содрогаясь, визжа и воя, поливали пламенем уже другие окопы и поля, а те «катюши», что стояли с вечера возле траншей, горели, завязши в снегу. Оставшиеся в живых эрэсовцы смешались с пехотой, бились и погибали возле своих отстрелявшихся машин.

Впереди все тьякала полковая пушчонка, уже одна. Смятая, растерзанная траншея пехотинцев вела редкий оружейный огонь, да булькал батальонный миномет трубою, и вскоре еще две трубы начали бросать мины. Обрадованно, запоздало затрещал ручной пулемет, а станковый замолчал, и бронейщики выдохлись. Из окопов то тут, то там выскакивали темные фигуры, от низко севших плоских касок казавшиеся безголовыми, с криком, плачем бросались во тьму, следом за своими, словно малые дети гнались за мамкой.

По ним редко стреляли, и никто их не догонял.

Заполыхали в отдалении скирды соломы. Фейерверком выплескивалось в небо разноцветье ракет. И чьи-то жизни ломало, уродовало в отдалении. А здесь, на позиции

взвода Костяева, все стихло. Убитых заносило снегом. На догорающих машинах эрэсовцев трещали и рвались патроны, гранаты; горячие гильзы высыпались из коптящих машин, дымились, шипели в снегу. Подбитый танк остывшей тушей темнел над траншеей, к нему тянулись, ползли раненые, чтобы укрыться от ветра и пуль. Незнакомая девушка с подвешенной на груди санитарной сумкой делала перевязки. Шапку она обронила и рукавицы тоже, дула на коченеющие руки. Снегом запорошило коротко остриженные волосы девушки.

Надо было проверять взвод, готовиться к отражению новой атаки, если она возникнет, налаживать связь.

Старшина успел уже закурить. Он присел на корточки — его любимая расслабленная поза в минуту забвения и отдыха, смежив глаза, тянул сигарку, изредка, без интереса посматривал на тушу танка, темную, неподвижную, и снова прикрывал глаза, задремывал.

— Дай мне! — протянул руку Борис.

Старшина окурка взводному не дал, достал сначала рукавицы взводного из-за пазухи, потом уж кiset, бумагу, не глядя сунул, и когда взводный неумело скрутил сырую сигарку, прикурил, закашлялся, старшина бодро воскликнул:

— Ладно ты его! — и кивнул на танк.

Борис недоверчиво смотрел на усмирленную машину: такую громадину! Такой маленькой гранатой! Такой маленький человек! Слышал взводный еще плохо. И во рту у него была земля, на зубах хрустело, грязью забило горло. Он кашлял и отплевывался. В голову ударяло, в глазах возникали радужные круги.

— Раненых... — Борис почистил в ухе. — Раненых собирать! Замерзнут.

— Давай, — отобрал у него сигарку Мохнаков, бросил ее в снег и притянул за воротник шинели взводного ближе к себе. — Идти надо, — донеслось до Бориса, и он снова стал чистить в ухе, пальцем выковыривая землю.

— Что-то... Тут что-то...

— Хорошо, цел остался. Кто ж так гранаты бросает!

Спина Мохнакова, погоны его были обляпаны грязным снегом. Ворот полушубка, наполовину с мясом оторванный, хлопался на ветру. Все качалось перед Борисом, и этот хлопающий воротник старшины, будто доской, бил по голове, не больно, но оглушительно. Борис на ходу черпал рукой снег, ел его, тоже гарью и порохом засоренный. Живот не остужало, наоборот, больше жгло.

Над открытым люком подбитого танка воронкой завинчивало снег. Танк остывал. Позвякивало, трескаясь, железо, больно стреляло в уши. Старшина увидел девушку-санинструктора без шапки, снял свою и небрежно насунул ей на голову. Девушка даже не взглянула на Мохнакова, лишь на секунду приостановила работу и погрела руки, сунув их под полушубок к груди.

Карышев и Малышев, бойцы взвода Бориса Костяева, подтаскивали к танку, в заветрие, раненых.

— Живы! — обрадовался Борис.

— И вы живы! — тоже радостно отозвался Карышев и потянул воздух носиком так, что тесемка развязанной шапки влетела в ноздрю.

— А пулемет наш разбило, — не то доложил, не то повинулся Малышев.

Мохнаков влез на танк, столкнул в люк перевесившегося, еще вялого офицера в черном мундире, распоротом очередями, и тот загремел, будто в бочке. На всякий случай старшина дал в нутро танка очередь из автомата, который успел где-то раздобыть, посветил фонариком и, прыгнув в снег, сообщил:

— Офицерьа наглушило! Полна утроба! Ишь как ловко: мужика-солдата вперед, на мясо, господа — под броню... — он наклонился к санинструктору: — Как с пакетами?

Та отмахнулась от него. Взводный и старшина откопали провод, двинулись по нему, но скоро из снега вытащили оборвыш и добрались до ячейки связиста наугад. Связиста раздавило в ячейке гусеницей. Тут же задавлен немецкий унтер-офицер. В щепки растерт ящичек телефона. Старшина подобрал шапку связиста, выбил из нее снег о колено и натянул на голову. Шапка оказалась мала, она старым коршунным гнездом громоздилась на верхушке головы старшины.

В уцелевшей руке связист зажал алюминиевый штырек. Штырьки такие употреблялись немцами для закрепления палаток, нашими телефонистами — как заземлители. Немцам выдавали кривые связистские ножи, заземлители, кусачки и прочий набор. Наши все это заменяли руками, зубами и мужицкой смекалкой. Штырьком связист долбил унтера, когда тот прыгнул на него сверху, тут их обоих и размикало гусеницей.

Четыре танка остались на позиции взвода, вокруг них валялись полузанесенные снегом трупы. Торчали из свежих суметов руки, ноги, винтовки, термосы, противогаз-

ные коробки, разбитые пулеметы, и все еще густо чадили сгоревшие «катюши».

— Связь! — громко и хрипло выкрикнул полуглухой лейтенант и вытер нос рукавицей, заледенелой на пальце.

Старшина и без него знал, что надо делать. Он скликал тех, кто остался во взводе, отрядил одного бойца к командиру роты, если не сыщет ротного, велел бежать к комбату.

Из подбитого танка добыли бензин, плескали его на снег, жгли, бросая в костер приклады разбитых винтовок и автоматов, трофейное барахло. Санинструкторша отогрела руки, прибралась. Старшина принес ей меховые офицерские рукавицы, дал закурить. Перекурив и перемолвившись о чем-то с девушкой, он полез в танк, пошарил там, освещая его фонариком, и завопил, как из могилы:

— Е-е-эсть!

Побулькивая алюминиевой флягой, старшина вылез из танка, и все глаза устремились на него.

— По глотку раненым! — обрезал Мохнаков. — И... немножко доктору, — подмигнул он санинструкторше, но она никак не ответила на его щедрость и весь шнапс разделила по раненым, которые лежали на плащ-палатках за танком. Кричал обгорелый водитель «катюши». Крик его стискивал душу, но бойцы делали вид, будто ничего не слышат.

Раненный в ногу сержант попросил убрать немца, который оказался под ним, — студено от мертвого. Выкатили на верх траншеи окоченелого фашиста. Кричащий его рот был забит снегом. Растолкали на стороны, повытаскивали из траншеи и другие трупы, соорудили из них бруствер — защиту от ветра и снега, над ранеными натянули козырек из плащ-палаток, прикрепив углы к дулам винтовок. В работе немного согрелись. Хлопались железно плащ-палатки под ветром, стучали зубами раненые; и, то затихая в бессилии, то вознося отчаянный крик до неизвестно куда девшегося неба, мучался водитель. «Ну что ты, что ты, браток?» — не зная, чем ему помочь, утешали водителя солдаты.

Одного за другим посылали бойцов в батальон, никто из них не возвращался. Девушка отозвала Бориса в сторону. Пряча нос в спекшемся от мороза воротнике телогрейки, она стучала валенком о валенок и смотрела на потрепанные рукавицы лейтенанта. Помедлив, он снял

рукавицы и, наклонившись к одному из раненых, натянул их на охотно подставленные руки.

— Раненые замерзнут, — сказала девушка и прикрыла распухшими веками глаза. Лицо ее, губы тоже распухли, багровые щеки ровно бы присыпаны отрубями — потрескалась кожа от ветра, холода и грязи.

Уже невнятно, будто засыпая с соской во рту, вхлипывал обоженный водитель.

Борис засунул руки в рукава, виновато потупился.

— Где ваш санинструктор? — не открывая глаз, спросила девушка.

— Убило. Еще вчера.

Водитель смолк. Девушка нехотя расклеила веки. Под ними слоились, затемняя взгляд, недвижные слезы. Борис догадался, что девушка эта из дивизиона эрэсовцев, со сгоревших машин. Она, напрягшись, ждала — не закричит ли водитель, и слезы из глаз ее откатились туда, откуда возникли.

— Я должна идти. — Девушка поежилась и постояла еще секунду-другую, вслушиваясь. — Нужно идти, — взбадривая себя, прибавила она и стала карабкаться на бруствер траншеи.

— Бойца!.. Я вам дам бойца.

— Не надо, — донеслось уже издали. — Мало народу. Вдруг что.

Спустя минуту Борис выбрался из траншеи. Срывая с глаз рукавом настывшее мокро, пытался различить девушку во тьме, но никого и нигде уже не было видно.

Косыми полосами шел снег. Хлопья сделались белей, липучей. Борис решил, что метель скоро кончится: густо повалило — ветру не пробиться. Он возвратился к танку, постоял, опершись на гусеницу спиной.

— Карышев, Малышев, собирайте все в костер! — угрюмо распорядился лейтенант и тише добавил: — Раздевайте убитых, чтобы накрыть, — показал он взглядом на раненых, — и рукавицы мне где-нибудь найдите. Старшина! Боевое охранение как?

— Выставил.

— К артиллеристам бы сходить. Может, у них связь работает?

Старшина нехотя поднялся, затащил ту же полущубок и поволокся к пушчонкам, что так стойко сражались ночью. Вернулся скоро.

— Одна пушка осталась и четыре человека. Тоже раненые. Снарядов нет. — Мохнаков охлопал снег с ворот-

ника полушубка и только сейчас удивленно заметил, что он оторван.— Прикажете — артиллеристов сюда? — хватывая ворот булавкой, спросил он.

Борис кивнул. И те же Малышев и Карышев, которым износу не было, двинулись за старшиной.

Раненых артиллеристов перетащили в траншею. Они обрадовались огню и людям, но командир орудия не ушел с боевой позиции, попросил принести ему снарядов от разбитых пушек.

Так, без связи, на слухе и нюхе, продержались до утра. Как привидения, как нежити, появлялись из темноты раздерганными группами заблудившиеся немцы, но, увидев русских, подбитые танки, чадающие машины, укатывались куда-то, пропадали навечно в сонно укутывающей все вокруг снежной мути.

Утром, уже часов около восьми, перестали ухать сзади гаубицы. Смолкли орудия слева и справа. И впереди унялась пушчонка, звонко ударив последний раз. Командир орудия или расстрелял поднесенные ему от других орудий снаряды, или умер у своей пушки. Внизу, в пойме речки или в оврагах, догадался Борис, не унимаясь бухали два миномета, с вечера было их там много; стучали крупнокалиберные пулеметы; далеко куда-то, по неведомым целям начали бить громогласно и весомо орудия большой мощности. Пехота уважительно примолкла, да и огневые точки переднего края одна за другой стали смущенно свертывать стрельбу; рывкнув на всю округу отлаженным залпом, редкостные орудия (знатоки уверяли, что в дуло их может запросто влезть человек!), тратящие больше горючего в пути, чем пороху и снарядов в боях, высокомерно замолчали, но издалека долго еще докатывались толчки земли, звякали солдатские котелки на поясах от содрогания. Но вот совсем перестало встряхивать воздух и снег. Дрожь под ногами и в ногах унялась. Снег оседал, лепился уже без шараханья, валил обрадованно, сплошно, будто висел над землей, копился, дожидаясь, когда стихнет и уймется внизу огненная стихия.

Тихо стало. Так тихо, что солдаты начали выпрастываться из снега, сдвигать шапки с уха, оглядываться недоверчиво.

— Всѣ?! — спросил кто-то.

«Всѣ!» — хотел закричать Борис, но долетела далекая дробь пулемета, чуть слышные раскаты взрывов пробурчали летним громом.

— Вот вам и всё! — буркнул взводный. — Быть на месте! Проверить оружие!

— А-а-а-аев!.. А-я-а-аев!

Голос приближался.

— Ан-ан... Ая-я-аяев...

— Вроде вас кличут? — наострил тонкое и уловчивое ухо бывший командир колхозной пожарки, ныне рядовой стрелок Пафнутьев, и заорал, не дожидаясь разрешения: — О-го-го-о-о-о-о! — грелся Пафнутьев криком.

И только он кончил орать и прыгать, как из снега возник солдат с карабином, упал возле танка, занесенного снегом уже до борта. Упал на остывшего водителя, пощупал, отодвинулся, вытер с лица мокро.

— У-уф! Ищу, ищу! Чего ж не откликаетесь-то?

— Ты бы хоть доложил... — заворчал Борис и вытащил руки из карманов.

— А я думал, вы меня знаете! Связной ротного, — отряхивая рукавицы, удивился посыльный.

— С этого бы и начинал.

— Немцев расхлопали, а вы тут сидите и ничего не знаете! — забывая неловкость, допущенную им, затараторил солдат.

— Кончай травить! — осадил его старшина Мохнаков. — Докладывай, с чем пришел, угощай трофейной, коли разжился.

— Значит, вас, товарищ лейтенант, вызывают. Ротным вас, видать, назначат. Ротного убило у соседей.

— А мы, значит, тут? — сжал синие губы Мохнаков.

— А вы, значит, тут, — не удостоил его взглядом связной и протянул кисет: — Во! Наш саморуб-мордоворот! Лучше греет...

— Пошел ты со своим саморубом! Меня от него... Ты девку в поле нигде не встречал?

— Не-е. А чо, сбегла?

— Сбегла, сбегла. Замерзла небось девка. — Мохнаков скользнул по Борису укоризненным взглядом. — Отпустили одну...

Натягивая узкие мазутные рукавицы, должно быть, с покойного водителя, плотнее подпоясываясь, Борис сдавленно проговорил:

— Как доберусь до батальона, первым делом пришлю за ранеными. — И, стыдясь скрытой радости оттого, что он уходит отсюда, Борис громче добавил, приподняв плащ-

палатку, которой были накрыты раненые: — Держитесь, братцы! Скоро вас увезут.

— Ради бога, похлопочи, товарищ лейтенант. Холодно, мочи нет.

Борис и Шкалик брели по снегу без пути и дороги, полагаясь на нюх связного. Нюх у него оказался никудышным. Они сбились с пути, и, когда пришли в расположение роты, там уже никого не было, кроме сердитого связиста с расцарапанным носом. Он сидел, укрывшись плащ-палаткой, точно бедуин в пустыне, и громко крыл боевыми словами войну, Гитлера, но пуще всех своего напарника, который уснул на промежуточной точке, — телефонист посадил батарейки в аппарате, пытаясь разбудить его зуммером.

— Во! Еще лунатики объявились! — с торжеством и злостью заорал связист, не отнимая пальца от осой ноющего зуммера. — Лейтенант Костяев, что ль? — и, получив утвердительный ответ, нажал клапан трубки: — Я сматываюсь! Доложи ротному. Код? Пошел ты со своим кодом. Я околел до смерти... — продолжая лаяться, связист отключил аппарат и все повторял: — Ну, я ему дам! Ну, я ему дам! — вынул из-под зада котелок, на котором он сидел, охнул, поковылял по снегу отсиженными ногами. — За мной! — махнул он. Резво треща катушкой, связист сматывал провод, озверело пер вперед, на промежуточную, чтобы насладиться мезтью; если напарник не замерз, пнуть его как следует.

Командир роты разместился за речкой, на окраине хутора, в бане. Баня сложена по-черному, с каменной, — совсем уж редкость на Украине. Родом из семиреченских казаков, однокашник Бориса по полковой школе, комроты Филькин, фамилия которого была притчей во языцех и не соответствовала его боевому характеру, приветливо, даже чересчур приветливо встретил взводного.

— Здесь русский дух! — весело гаркнул он. — Здесь баней пахнет! Помоемся, Боря, попаримся!.. — был он сильно возбужден боевыми успехами, может, хватил уже маленько горячительного, любил он это дело.

— Во, война, Боря! Не война, а хреновина одна. Немцев сдалось — тучи. Прямо тучи. А у нас? — прицелкнул он пальцем. — Вторая рота почти без потерь: человек пятнадцать, да и те блудят небось либо дрыхнут у хохлуш,

окаянные. Ротного нет, а за славянами глаз да глаз нужен...

— А нас попарили! Половина взвода смята. Раненых надо вывезить.

— Да-а? А я думал, вас миновало. В стороне были... Но отбился же,— хлопнул Филькин по плечу Бориса и приложился к глиняному жбану с горлышком. У него перебило дух. Он покрутил восторженно головой.— Во напиток! Стенолаз! Тебе не дам, хоть ты и замерз. Раненых выносить будем, обоз не знаю где, а ты, Боря, на время пойдешь вместо... Знаю, знаю, что обожаешь свой взвод. Скромный, знаю. Но надо. Вот гляди сюда!— Филькин раскрыл планшетку и начал тыкать в карту пальцем. С отмороженного брющка пальца сходила кожа, и кончик его был красненький и круглый, что редиска.— Значит, так: хутор нашими занят, но за хутором, в оврагах и на поле, между хуторами и селом,— большое скопление противника. Предстоит добивать. Без техники немец, почти без боеприпасов, полудохлый, а черт его знает! Отчаялись. Значит, пусть Мохнаков снимает взвод, а сам край выбирать место для воинства. Я подтяну туда все, что осталось от моей роты. Действуй! Береги солдат, Боря! До Берлина еще далеко!..

— Раненых убери! Врача пошли. Самогонку отдай,— показал Борис на жбан с горлышком.

— Ладно, ладно,— отмахнулся комроты.— Возьму раненых, возьму,— и начал звонить куда-то по телефону. Борис решительно забрал посудину с самогонкой и, неловко прижимая ее к груди, вышел из бани.

Отыскав Шкалика, он передал ему посудину и приказал быстро идти за взводом.

— Возле раненых оставьте кого-нибудь, костер жгите,— наказывал он,— да не заблудись.

Шкалик засунул в мешок посудину, надел винтовку за спину, взмахнул рукавицей у виска и нехотя побрел через огороды.

Занималось утро, но, может, сделалось светлее оттого, что утихла метель. Хутор занесен снегом по самые трубы. Возле домов стояли с открытыми люками немецкие танки, бронетранспортеры. Иные дымились еще. Болотной лягушкой расшеперилась на дороге легковая машина, из нее расплывалось багрово-грязное пятно. Снег был черен от копоти. Всюду воронки, комья земли, раскиданные взрывами. Даже на крыши набросана земля. Плетни везде свалены; немногие хаты и сараи сворочены танками, побиты

снарядами. Воронье черными лохмами возникало и кружилось над оврагами, молчаливое, сосредоточенное.

Воинская команда в заношенном обмундировании, напевая, будто на сплаве, сталкивала машины с дороги, расчищая путь технике. Горел костерок возле хаты, возле него грелись пожилые солдаты из тыловой трофейной команды. И пленные тут же у огня сидели, несмело тянули руки к теплу. На дороге, ведущей к хутору, темной ломаной лентой стояли танки, машины, возле них прыгали, толкались экипажи. Хвост колонны терялся в еще не осевшей снежной мути.

Взвод прибыл в хутор быстро. Солдаты потянулись к огонькам, к хатам. Отвечая на немой вопрос Бориса, старшина живо доложил:

— Девка-то, санинструкторша-то, трофейной повозки где-то надыбала, раненых всех увезла. Эрэсовцы — не пехота — народ союзный.

— Ладно. Хорошо. Ели?

— Чо? Снег?

— Ладно. Хорошо. Скоро тылы подтянутся.

Согревшиеся в быстром марше солдаты уже смекали насчет еды. Варили картошку в касках, хрумкали трофейные галеты, иные и разговелись маленько. Заглядывали в баню, приноживались. Но пришел Филькин и прогнал всех, Борису дал нагоняй ни за что ни про что. Впрочем, тут же выяснилось, отчего он вдруг озверел.

— За баней был? — спросил он.

— Нет.

— Сходи.

За давно не топленной, но все же угарно пахнувшей баней, при виде которой сразу зачесалось тело, возле картофельной ямы, покрытой шалашиком из будыля, лежали убитые старик и старуха. Они спешили из дому к яме, где, по всем видам, спасались уже не раз сперва от немецких, затем от советских обстрелов и просиживали подолгу, потому что старуха прихватила с собой мочальную сумку с едой и клубком толсто напряденной пестрой шерсти. Залп вчерашней артподготовки прижал их за баней — тут их и убило.

Они лежали, прикрывая друг друга. Старуха спрятала лицо под мышку старику. И мертвых, било их осколками, посеколо одежонку, выдрало серую вату из латаных телогреек, в которые оба они были одеты. Артподготовка длилась часа полтора, и Борис, еще издали глядя на густое кипение взрывов, подумал: «Не дай бог попасть под этакое столпотворение...»

Из мочальной сумки выкатился клубок, вытащив резинку начатого носка со спицами из ржавой проволоки. Носки из пестрой шерсти на старухе, и эти она начала, должно быть, для старика. Обута старуха в калоши, подвязанные веревочками, старик — в неровно обрезанные опорки от немецких сапог. Борис подумал: старик обрезал их потому, что взъёмы у немецких сапог низки и сапоги не налезали на его большие ноги. Но потом догадался: старик, срезая лоскутья с голенищ, чинил низы сапог и постепенно добрался до взъёма.

— Не могу... Не могу видеть убитых стариков и детей, — тихо уронил подошедший Филькин. — Солдату вроде бы как положено, а перед детьми и стариками...

Угрюмо смотрели военные на старика и старуху, наверное, живших по-всякому: и в ругани, и в житейских дрязгах, но обнявшихся преданно в смертный час.

Бойцы от хуторян узнали, что старики эти приехали сюда с Поволжья в голодный год. Они пасли колхозный табун. Пастух и пастушка.

— В сумке лепехи из мерзлых картошек, — объявил связной комроты, отнявши сумку из мертвых рук старухи, и начал наматывать нитки на клубок. Смotal, остановившись, не зная, куда девать сумку.

Филькин длинно вздохнул, поискал глазами лопату и стал копать могилу. Борис тоже взял лопату. Но подошли бойцы, больше всего не любящие копать землю, возненавидевшие за войну эту работу, отобрали лопаты у командиров.

Щель вырыли быстро. Попробовали разнять руки пастуха и пастушки, да не могли и решили — так тому и быть. Положили их головами на восход, закрыли горестные, потухшие лица: старухино — ее же полушалком, с реденькими висюльками кисточек, старика — ссохшейся, как слива, кожаной шапчонкой. Связной бросил сумку с едой в щель, и принялся кидать лопатой землю.

Зарыли безвестных стариков, прихлопали лопатами бугорок, кто-то из солдат сказал, что могила весной просядет — земля-то мерзла с снегом, и тогда сельяне, может быть, перехоронят старика со старухой. Пожилой долговязый боец Ланцов прочел над могилой складную, тихую молитву: «Боже правый духов, и всякия плоти, смерть поправый и диавола упраздливший, и живот миру твоему дарованный, сам, Господи, упокой душу раба твоего... рабов твоих», — поправился Ланцов.

Солдаты притихли, все кругом притихло, отчего-то

поблел, подобрался старшина Мохнаков. Случайно в огород забредший славянин с длинной винтовкой на спине начал было любопытствовать: «А чо тут?» — но старшина так на него зашипел и такой черный кулак поднес ему, что тот сразу смолк и скоро упятился за ограду.

Часть вторая

СВИДАНИЕ

И ты пришла, заслышав ожиданье...

Я. Смеляков

Солдаты пили самогонку.

Пили торопливо, молча, не дожидаясь, когда сварится картошка. Пальцами доставали прокисшую капусту из глечика, хрустели, крикали и не смотрели друг на друга.

Хозяйка дома, по имени Люся, пугливо смотрела в сторону солдат, подкладывала сухие ветви акаций и жгуты соломы в печь, торопилась доварить картошку. Корней Аркадьевич Ланцов, расстилавший солому на полу, выпрямился, отряхнул ладонями штаны, боком подсел к столу:

— Налейте и мне.

Борис сидел у печки, грелся и отводил глаза от хозяйки, возившейся рядом, старшина Мохнаков поднял с пола немецкую канистру, налил полную кружку, подsunул ее Ланцову и криво шевельнул углом рта:

— Запыживай, паря!

Корней Аркадьевич суетливо оправил гимнастерку, будто нырять в прорубь собрался, судорожно дергаясь, всхлипывая, вытянул самогонку и какое-то время сидел оглушенный. Наконец наладилось дыхание, и Ланцов жалко пролепетал, убирая пальцем слезу:

— Ах, господи!

Скоро, однако, он приглушил застенчивость, оживился, пытаясь заговорить с солдатами, со старшиной. Но те упорно молчали и глушили самогонку. В избе делалось все труднее дышать от табачного дыма, стойкого запаха затхлой буряковой самогонки и гнетущего ожидания чего-то худого.

«Хоть бы сваливались скорее, — с беспокойством подумал взводный, — а то уже и жутко даже...»

— Вы тоже выпили бы, — обратился к нему Корней Аркадьевич, — право, выпили бы... Оказывается, помогает...

— Я дождусь еды,— отвернулся к печи Борис и стал греть руки над задымленным шестком. Труба тянула плохо, выбрасывала дым. Видать, давно нет мужика в доме.

Неустойчиво все во взводном, в голове покачивается и звенит еще с ночи. Разбил он однажды сапоги до того, что остались передки с голенищами. Подвязал их проволокой, но когда простыл и ходить вовсе не в чем сделалось, стянул сапоги с такого же, как он, молоденького лейтенанта, polegшего со взводом в балке. Стянул, надел — у него непереносимо, изводно стыли ноги в этих сапогах, и он поскорее сменял их.

Теперь вот у него такое ощущение, будто весь он в сапоге, стянутом с убитого человека.

— Промерзли? — спросила хозяйка.

Он потер виски ладонью, приостановил в себе обморочную качку, взглянул на нее осмысленно. «Есть маленько», — хотелось сказать ему, но он ничего не сказал, сосредоточил разбитое внимание на огне под таганком.

По освещенному огнем лицу хозяйки пробежали тени. И было в ее маленьком лице что-то как будто недорисованное, было оно подкопчено лампадкой или лучиной, проступали отдельные лишь черты лика. Хозяйка чувствовала на себе пристальный, украдчивый взгляд и покусывала припухшую нижнюю губу. Нос ее, ровный, с узенькими раскрылками, припачкан сажей. Овсяные, как определяют в народе, глаза, вызревшие в форме овсяного зерна, прикрыты кукольно загнутыми ресницами. Когда хозяйка открывала глаза, из-под ресниц этих обнажались темные и тоже очень вытянутые зрачки. В них метался отсвет огня, глаза в глуби делались переменчивыми: то темнели, то высветлялись и жили отдельно от лица. Но из загадочных, как бы перенесенных с другого, более крупного лица, глаз этих не исчезало выражение покорности и устоявшейся печали. Еще Борис заметил, как беспокойны руки хозяйки. Она все время пыталась и не могла найти им места.

Солома прогорела. Веточки акаций лежали горкой раскаленных гвоздиков, от них шел сухой струйный пар. Рот хозяйки чуть приотворился, руки успокоились у самого горла. Казалось, спугни ее — и она, вздрогнув, уронит руки, схватится за сердце.

— Может быть, сварилась? — осторожно дотронулся до локтя хозяйки Борис.

— А? — хозяйка отпрянула в сторону.— Да, да, сварилась. Пожалуй, сварилась. Сейчас попробуем.— Произно-

шение не украинское. и ничего в ней не напоминало украинку, разве что платок, глухо завязанный, да передник, расшитый тесьмою. Но немцы всех жителей, и в первую голову женщин, научили здесь затеняться, прятаться, бояться.

Люся выдвинула кочергой чугуна на край припечка, ткнула пальцем в картофелину, затрясла рукой. Сунула палец в рот. Получилось по-детски смешно и беззащитно. Борис едва заметно улыбнулся.

Прихватив чугуна чьей-то портянкой, он отлил горячую воду в лохань, стоявшую в углу под рукомыльником. Из лохани ударило тяжелым паром. Хозяйка вынула палец изо рта, спрятала руку под передник. Потерянно и удивленно наблюдала за действиями командира.

— Вот тепеть налейте и мне,— поставив чугуна на стол, произнес лейтенант.

— Да ну-у-у? — громко удивился Мохнаков.— К концу войны, глядишь, и вы с Корнеем обстреляетесь! — подкова рта старшины разогнулась чуть ли не до подбородка, выражая презрение, может, брезгливое многозначие иль еще какие-то скрытые неприязненные чувства, которыми полнился старшина всякий раз, когда пьянел. Вновь его обуревал кураж — так называется это на родимой стороншке взводного и помкомвзвода в Сибири.

Борис не смотрел на старшину, лишь сердито двинул в бок Шкалика:

— Подвинься-ка!

Шкалик ужаленно подскочил и чуть не свалился со скамейки.

— Напоили мальчишку! — Борис не обращался ни к кому, но старшина его слышал, внимал, поднял глаза к потолку, не переставая кривить рот в усмешке.— Садитесь, пожалуйста,— позвал Борис Люсю, одиноко прижавшуюся спиною к остывшему шестку и все прячущую руку под передником.

— Ой, да что вы! Кушайте, кушайте! — почему-то испугалась хозяйка и стала суетливо шарить по платку, по груди, ускользя глазами от взгляда Мохнакова, вдруг в нее уставившегося.

— Н-не, девка, не отказывайся,— распевно завел Пафнутьев,— не моргуй солдатской едой. Мы худого тебе не сделаем. Мы...

— Да хватит тебе! — Борис похлопал рукой по скамейке, с которой услужливо сошел Пафнутьев.— Я вас очень прошу.

— Хорошо, хорошо! — Люся как бы застыдилась, что ее упрасивают, лейтенант даже на солдата рассердился почему-то. — Я сейчас, одну минутку...

Она исчезла в чистой половине, прикрытой створчатой дверью, и скоро возвратилась оттуда без платка, без передника. У нее была коса, уложенная на затылке. Легкий румянец выступил на бледном лице ее. Не ко времени и не к месту она тут, среди грязных, мятых и сердитых солдат, думалось ей. Она стеснялась себя.

— Напрасно вы здесь расположились, — скованно заговорила она и пояснила Борису: — Просила, просила, чтоб проходили туда, — махнула она на дверь в чистую половину.

— Давно не мылись мы, — сказал Карышев, а его односельчанин и кум Малышев добавил:

— Натрясем трофеев.

— Вот уж намоемся, отстираемся, в порядок себя приведем... — завел напевно Пафнутьев.

— Тогда и в гости пожалуем, — подхватил Мохнаков, подмигивая всему застолью разом, с форсом без промаха разливая всем поровну, и Люсе тоже, убойно пахнущее зелье. Он первый громко, как бы с дружеским вызовом звякнул гнutoй алюминиевой кружкой о стакан, из деликатности оставленный Люсе. И все солдата забренчали посудинами, смешанно произнесли привычное: «Будем здоровы!», «Со свиданьем!» и так далее. Люся подождала с поднятым стаканом, не скажет ли чего командир. Он ничего не говорил.

— С возвращением вас... — потупившись, вымолвила хозяйка в ответ и отвернулась к печке, часто заморгав. — Мы так вас долго ждали. Так долго... — Она говорила с какой-то покаянностью, словно виновата была в том, что так долго пришлось ждать. Отчаянно, в один дух, Люся выпила самогонку и закрыла ладошкой рот.

— Вот это — по-нашенски! Вот видно, что рада! — загудел Карышев и потянулся к ней с американской колбасой на складнике, с наспех ободранной картофелиной. Шкалик хотел опередить Карышева, да уронил картошку. Ему в ширинку накрошилось горячее, он забился было, но тут же испуганно сжался. Взводный с досадой отвернулся. Шкалик стряхнул горячее в штанину, ему сделалось лучше.

Человек этот, Шкалик, был непьющий. Еще Борис и Корней Аркадьевич непьющие. Оттого чувствовали они себя бросовыми людьми и не такими прочными бойцами,

как все остальное воинство, которое хотя тоже большей частью пило «для сугрева», но как-то умело внушить свою полную отчаянность и забубенность. Вообще мужик наш, русский мужик, очень любит нагонять на себя отчаянность, а посему и привирает подчас насчет баб и выпивки. Пил сильно, но упорно не пьянел лишь старшина, добывая где-то, даже в безлюдных местах, горючку всяких видов, и возле него всегда крутился услужливый, падкий на дармовщину, кум-пожарник Пафнутьев. Малышев и Карышев пивали редко, зато уж обстоятельно. Получая свои сто граммов, они сливали их во флягу и, накопив литр, а то и более, дождавшись благой, затишной минуты, устраивались на поляне, либо в хате какой, неторопливо пили, чокаясь друг с другом, и ударялись в воспоминания, «советовались», как объясняли они свои эти беседы. Потом пели — Карышев басом, Малышев дискантом:

За ле-есом солнце зы-ва-сия-а-а-ало,
Гы-де черы-най во-е-еора-а-ан про-кы-ричи-ал.
Пы-рошли часы, пы-рошли мину-уты,
Ковды-ы зы-девче-е-онкой я-а-а гуля-а-ал...

— Откель будешь, дочка? — лез с вопросами к Люсе любящий всех людей на свете Карышев, покрасневшийся от выпивки. — По обличью и говору навроде расейская? — И Малышев собирался вступить в разговор, но взводный упредил его:

— Дай человеку поесть.

— Да я могу есть и говорить. — Люся радовалась, что солдаты сделались ближе и доступней. Один лишь старшина ощупывал ее потаенным взглядом. От этого все понимающего, налитого тяжестью взгляда ей все больше и больше становилось не по себе. — Я не здешняя.

— А-а. То-то я гляжу: обличие... Не чалдонка случаем? — все больше мягчея лицом, продолжал расспрашивать Карышев.

— Не знаю.

— Вот те раз! Безродная что ли?

— Ага.

— А-а. Тогда иное дело. Тогда конечно... Судьба, она, брат, такое может с человеком сотворить...

Взводный души не чаял в этих двух алтайцах-кумовьях, которые родились, жили и работали в самой красивой на свете, по их заверению, алтайской деревне Ключи. Не сразу понял и принял этих солдат Борис. Поначалу, когда пришел во взвод, казались они ему тупицами, он даже раз-

дражался, слушая подковырки и насмешки их друг над другом. Карышев был рыжий. Малышев — лысый. Эти-то два отличия они и использовали для шуток. Стоило снять Карышеву пилотку, как Малышев начинал зудеть: «Чего разболочся? Взбредет в башку германцу, что русский солдат картошку варит на костре, — и зафитилит из орудия!» Карышев срывал пучок травы и бросал на лысину Малышеву: «Блестишь на всю округу! Фриц усекет — миномет тута — и накроет!» Солдаты впокат валились, слушая перебранку алтайцев, а Борис думал: «До чего же отупеть надо, чтобы радоваться таким плоским, да и неловким для пожилых людей насмешкам». Но постепенно привык он к людям, к войне, стал их видеть и понимать по-другому, ничего уже низкого в неуклюжих солдатских шутках и подковырках не находил. Воевали алтайцы, как работали, без суеты и злобы. Воевали по необходимости, да основательно. В «умственные» разговоры встревали редко, но уж если встревали — слушай.

Как-то Карышев срубил под корень Ланцова, впавшего в рассуждения насчет рода людского: «Всем ты девицам по серьгам отвесил: и ученым, и интеллигентам, и рабочим в особенности, потому как сам из рабочих, главнее всех сам себе кажешься. А всех главнее на земле — крестьянин-хлебороб. У него есть все: земля! У него и будни, и праздники — в ней. Отбирать ему ни у кого ничего не надобно. А вот у крестьянина отвеку норовят отнять хлеб. Германец, к слову, отчего воюет и воюет? Да оттого, что крестьянствовать разучился и одичал без земляной работы. Рабочий класс у него машины делает и порох. А машины и порох жрать не будешь, вот он и лезет всюду, зорит крестьянство, землю топчет и жгет, потому как не знает цену ей. Его бьют, а он лезет. Его бьют, а он лезет!»

Карышев сидел нынче за столом широко, ел опрятно и с хитровой мудрецей поглядывал на Корнея Аркадьевича. Гимнастерку алтаец расстегнул, пояс отвязал, был широк и домовит. Картошку он чистил брюшками пальцев, раздевши ее, нааметно подсовывал Люсе и Шкалику. Совсем уж пьяный был Шкалик, шатался на скамейке, ничего не ел. Нес капусту в рот, да не донес, всю на гимнастерку развесил. Карышев тряхнул на нем гимнастерку, ленточки капусты сбросил на пол. Шкалик тупо следил за его действиями и вдруг ни с того ни с сего ляпнул:

— А я из Чердынского району!..

— Ложился бы ты спать, из Чердынского району,—

заворчал отечески Карышев и показал Шкалику на солому.

— Не верите? — Шкалик жалко, по-ребячьи лупил глаза. Да и был он еще парнишкой — прибавил себе два года, чтобы поступить в ремесленное училище и получать бесплатное питание, а его цап-царап в армию, и загремел Шкалик на фронт, в пехоту.

— Есть такое место на Урале, — продолжал настаивать Шкалик, готовый вспылить или заплакать. — Там, знаете, какие дома?!

— Большие! — хмыкнул Пафнутьев, мужичонка прицепистый, всем недовольный оттого, что с хорошей службы слетел. Состоял он при особом отделе армии, но одного, осужденного в штрафную, до ветру отпустил, тот взял да в село ушел, гимнастерку променял, сапоги, пьяный и босой возвратился. За потерю бдительности Пафнутьев и оказался на передовой.

— Ры-разные, а не большие, — поправил его Шкалик, — и что тебе наличники, и что тебе ворота — все из... изрезанные, изукрашенные. И еще там купец жил — рябчиками торговал... Ми... мильены нажил...

— Он не дядей тебе случайно приходился? — продолжал расспрашивать Пафнутьев, и Люся почувствовала: не по-хорошему он парнишку подбедает. Шкалик ничего разобрать не мог, охотно беседовал.

— Не-е, мой дядя конюхом состоит.

— А тетя — конюшихой?

— Тетя? Тетя конюшихой. Смеетесь, да? — Шкалик прошелся по застолью убитыми горем глазами, часто захлопал прямыми и белыми, как у поросенка, ресницами. — У нас писатель Решетников жил! — звонко закричал Шкалик и стукнул кулачишком по столу. — «Подлиповцы» читали? Это про нас...

— Читали, читали... — начал успокаивать его Корней Аркадьевич. — Пила и Сысойка, девка Улья, которую живьем в землю закопали... Все читали. Пойдем-ка спать. Пойдем баиньки. — Он подхватил Шкалика, поволок его в угол на солому. — До чего ты ржавый, крючок! — бросил он Пафнутьеву.

— Во! — кричал Шкалик. — А они не верят! У нас еще коней разводили!.. Графья Строгановы...

— И откуда в таком маленьком человеке столько памяти? — развел руками Пафнутьев.

— Хватит! — прикрикнул Борис. — Дался он вам...

— Я сурезно...

Все в Борисе одрябло, даже голос, в паутинистом сознании путались предметы, лица солдат, ровно бы выцветшие, подернутые зыбкой пеленой. Сонная тяжесть давила на веки, расслабляла мускулы, даже руками двигать было тяжело. «Уходился,— вяло подумал Борис.— Больше не надо выпивать...» Он начал есть капусту с картошкой, попил холодной воды и почувствовал себя тверже.

Старшина покуривал, пуская дым в потолок, и все так же отдаленно улыбался, кривя угол рта.

— Извините,— сказал хозяйке Борис, как бы проснувшись, и пододвинул к ней банку с американской колбасой. Он все время ловил на себе убегающий взгляд ласковых, дальним скользящим светом осиянных глаз. Будто со старой иконы или потертого экрана появились, ожили глаза и, то темнело, то прояснялось лицо женщины.— Держу при себе, как ординарца, хотя он мне и не положен,— пояснил Борис насчет Шкалика, чтобы хоть о чем-то говорить и не пялиться на хозяйку.— Горе мне с ним: ни починиться, ни сварить... и все теряет... В запасном полку отощал, куриной слепотой заболел.

— Зато мягкосердечный, добренький зато,— неожиданно вставил Мохнаков, все глядя в потолок и как бы ни к кому обращаясь. Взгляд и лицо Мохнакова совсем затяжелели. А в горле появилась ржа. Помкомвзвода почему-то недобро подъяedal взводного. Солдаты насторожились — этого еще не было. Старшина, будто родимый тятя, опекал и берег лейтенанта. И вот что-то произошло между ними. Ну произошло и произошло, разбирайтесь потом, а сейчас-то в этой хате, при такой молодой и ладной хозяйке, после ночного побоища всем хотелось быть добрыми, хорошими. Ланцов, Карышев, Малышев, даже Пафнутьев с укором взирали на своих командиров.

Борис не отозвался на выпад старшины и не прикасался больше к кружке с самогонкой, хотя солдаты и насылались с выпивкой, зная, что чарка всегда была верным орудием в примирении людей. Даже Ланцов разошелся и пьяно лип с просьбой выпить.

Родом Ланцов из Москвы. В детстве на клиросе пел, потом под давлением общественности к атеистически настроенному пролетариату присоединился, работал корректором в крупном издательстве, где, не жалея времени и головы, прочел без разбора множество всяческой литературы, отчего привержен сделался к пространным рассуждениям.

— Ах, Люся, Люся! — схватившись за голову, долговязо раскачивался Ланцов и артистично замирал, прикры-

вая глаза.— Что мы повидали! Что повидали! Одной ночи на всю жизнь хватит...

«Прямо как на сцене,— морщился Борис.— Будто он один насмотрелся».

Пересиливая раздражение, Борис положил руку на плечо солдата:

— Корней Аркадьевич! Ну что вы, ей-богу! Давайте о чем-нибудь другом. Спойте? — нашелся взводный.

Звенит зва-янок насче-от па-верки-и-и,
Ланцов из за-я-амка у-ю-бежа-а-а-ал...—

охотно откликнувшись, заорал Пафнутьев. Но Корней Аркадьевич прикрыл его рот сморщенной ладонью.

— Насчет Ланцова потом. Говорить хочу. Я долго молчал. Я все думал, думал и молчал.— Взводный чуть заметно улыбнулся солдатам: пусть, мол, потешится человек.— Я сегодня думал. Вчера молчал. Думал. Ночью, лежа в снегу, думал: неужели такое кровопролитие ничему не научит людей? Эта война должна быть последней! Или люди недостойны называться людьми! Недостойны жить на земле! Недостойны пользоваться ее дарами, жрать хлеб, картошку, мясо, рыбу, коптить небо. Прав Карышев, сто раз прав, одна истина свята на земле — материнство, рождающее жизнь, и труд хлебопашца, вскармливающий ее...

Что-то раздражало сегодня лейтенанта, всё и все раздражали, но Ланцов с его рассуждениями в особенности. И хотя Борис понимал, что пора уже всем отдыхать и самого на сон ведет, он все же подзадорил доморощенного философа в завшивленной грязной гимнастерке, заросшего реденькой, сивой бородой псаломщика:

— Так. Земля. Материнство. Пашня. Все это вещи достойные, похвальные.— Борис заметил, как начали переглядываться, хмыкать бойцы: «Ну, снова началось!» — но остановить себя уже не мог. «Неужто я так захмелел?..» — но его несло. Отличником в школе он не был, однако многие прописные истины выучил наизусть: — Ну а героизм? То самое, что вечно двигало человека к подвигам, к совершенству, к открытиям?

— Героизм! Подвиги! Безумству храбрых поем мы песню! — с криком вознес руки к потолку Ланцов.— Не довольно ли безумства-то? Где граница между подвигом и преступлением? Где?! Вон они, герои великой Германии, отказавшиеся по велению отцов своих — командиров от капитуляции и от жизни, волками воющие сейчас на морозе, в снегах России. Кто они? Герои? Подвижники?

Переустроители жизни? Благодетели человечества? Или вот открыватели Америк. Кто они? Бесстрашные мореплаватели? Первопроходцы? Обратные благодетели? Но эти благодетели на пути к подвигам и благам замордовали, истребили целые народы на своем героическом пути. Народы слабые, доверчивые! Это ж дети, малые дети Земли, а благодетели — по их трупам с крестом и мечом, к новому свету, к совершенству. Слава им! Памятники по всей планете! Возбуждение! Пробуждение! Жажда новых открытий, богатств. И все по трупам, все по крови! Уже не сотни, не тысячи, не миллионы, уже десятками миллионов человечество расплачивается за стремление к свободе, к свету, к просвещенному разуму! Не-эт, не такая она, правда! Ложь! Обман! Коварство умствующих ублюдков! Я готов жить в пещере, жрать сырое мясо, грызть горький корень, но чтоб спокоен был за себя, за судьбу племени своего, собратьев своих и детей, чтобы уверен был, что завтра не пустит их в распыл на мясо, не выгонит их во чистое поле замерзать, погибать в муках новый Наполеон, Гитлер, а то и свой доморощенный бог с бородкой иудея или с усами джигита, ни разу не садившегося на коня...

— Стоп, военный! — хлопнул по столу старшина и поймал на лету ложку.— Хорошо ты говоришь, но под окном дежурный с колотушкой ходит...— Мохнаков со значением глянул на Пафнутьева, сунул ложку за валежник.— Иди, прохладись, да пописать не забудь — здесь светлее делается,— похлопал он себя по лбу.

Люся очнулась, перевела взгляд на Ланцова, на старшину, видно было, что ей жаль солдата, которого зачем-то обижали старшина и лейтенант.

— Простите! — склонил в ее сторону голову Корней Аркадьевич. Он-то чувствовал отзывчивую душу.— Простите! — церемонно поклонился застолью Ланцов и, хватаясь за стены, вышел из хаты.

— Во, артист! Ему комедь представлять бы, а он в пехоте! — засмеялся Пафнутьев.

Большоголовый, узкогрудый, с тонкими длинными ногами, бывший пожарник походил на гриб, растущий в отбросах. В колхозе, да еще и до колхоза проявлял он высокую сознательность, чего-то на кого-то писал, клепал и хвост этот унес за собой в армию, дотащил до фронта. Злой, хитрый солдат Пафнутьев намекал солдатам — чего-чего, но докладать он научился, никто во взводе не пострадает. И все-таки лучше б его во взводе не было.

Мохнаков умел управляться со всяким кадром. Он

выпил самогона, налил Пафнутьеву, дождался, когда тот выпьет, и показал ему коричневую от табака дулю:

— Запыжь ноздрю, пожарный! Ты ведь не слышал, чего тут черножничник баял! Не слышал?

— Ни звука! Я же песню пел,— нашелся Пафнутьев и умильно, с пониманием грянул дальше:

Росой с тра-я-вы-ы он у-ю-мыва-ялся-а-а,
Малил-ыл-ся бо-е-огу на-я-а васто-о-о-ок...

Шкалик сел на соломе, покачался, поморгал и потянулся к банке.

— Не цапай чужую посудину! — рыкнул на него старшина и сунул ему чью-то кружку. Шкалик понюхал, заезвал косорото. Затошнило его.

— Марш на улицу! Свинство какое! — Борис, зардевшись, отвернулся от хозяйки, уставился на старшину. Тот отвел глаза к окну, скучно зевнул и стал громко царапать ледок на стекле.

— Да что вы, да я всякого навидалась! — пыталась ликвидировать неловкую заминку Люся. — Подотру. Не сердитесь на мальчика. — Она хотела идти за тряпкой, но Карышев деликатно придержал ее за локоть и показал на банку с колбасой. Она стала есть колбасу. — Ой! — спохватилась хозяйка. — А вы сала не хотите? У меня сало есть!

— Хотим сала! — быстро повернулся к ней старшина и охально ощерился. — И еще кое-чего хотим, — бросил он с ухмылкой вдогонку Люсе.

Пафнутьев, подпершись ладонью, тянул тоненько песню про Ланцова, который из замка убежал. Сколько унижали в жизни Пафнутьева, особенно в тыловой части, в особом-то отделе, все время заставляя хомутничать, прислуживать и все передовой стращали, а оно и на передовой жить можно. Бог милостив! Кукиш под нос? Да пустяк это, но все же царапнуло душу, глаза раскисли, сами собой как-то, невольно раскисли.

— Жалостливость наша, — мямлил Пафнутьев, и все поняли — это он не только о себе, но и о Корнее Аркадьевиче. — Вот я... обутой, одетый, в тепле был, при должности, ужаси никакой не знал... Жалость меня, вишь ли, разобрала... Чувствие!

Мохнаков навис глыбою над столом, начал шарить по карманам, чего-то отыскивать. Вытащил железную пуговицу, подбросил ее, поймал и чересчур решительно вышел из избы, тяжелее обычного косолапя. Последнее время как-то подшибленно стал ходить старшина, заметили сол-

даты, пьет зверски и все какой-нибудь предмет ловко подбрасывает — пуговицу, монету, камешек, и не ловит игриво, прямо-таки выхватывает предмет из пространства, а то бросит и тут же забудет про него, уставится пустым взглядом в пустоту. Начал даже синенькой немецкой гранатой баловаться. Граната наподобие пасхального яичка — этакая веселая игрушка, бросает иль в горстище ее тискает старшина, а у той пустяшной гранатки и чека пустяшная, что пуговка у штанов. Зароптали бойцы, если желательно старшине, чтобы ему пооторвало руки иль еще кой-чего, пусть жонглирует вдали, им же все, что с собой, — до дому сохранить охота.

В хату возвратился Ланцов, мотнул головой Борису.

Взводный подпрыгнул, кого-то или чего-то сронил со скамьи, разбежавшись, торкнулся в дверь.

В потемках сеней в него ткнулся головой Шкалик. Не мог найти скобу. Борис втокнул Шкалика в хату, прислушался. В темном углу сеней слышалась возня: «Не нужно! Да не надо же! Да что вы?! Да товарищ старшина!.. Да... Холодно же... Да, господи!..»

— Мохнаков!

Стихло. Из темноты возник старшина, придвинулся, тяжело, смрадно дыша.

— Выйдем на улицу!

Старшина помедлил и нехотя шагнул впереди Бориса, не забыв пригнуться у притолоки. Они стояли один против другого. Ноздри старшины посапывали, вбирая студеной воздух. Борис подождал, пока стукнет дверь в хату.

— Чем могу служить? — дыхание у старшины выровнялось, он не сипел уже ноздрями.

— Вот что, Мохнаков! Если ты... Я тебя убью! Пристрелю. Понял?

Старшина отступил на шаг, смерил взглядом лейтенанта с ног до головы и вяло, укоризненно молвил:

— Оконтузило тебя гранатой, вот и лезешь на стены. Чернокнижника завел.

— Ты знаешь, чем меня оконтузило.

В голосе лейтенанта не было ни злобы, ни грозы, какая-то душу стискивающая тоска, что ли, сквозила издалека, даже завестись ответно не было возможности. На старшину тоже стала накатывать горечь, печаль, словом, чем-то тоскливым тоже повеяло. Он сердито поддернул штаны, запахнул полушубок, осветил взводного фонариком. Тот не зажмурился, не отвел взгляда. Изветренные губы лейтенанта кривило судорогой. В подглазьях темень от земли и

бессонницы. Глаза в красных прожилках, шея скособочилась — натер шею воротником шинели, может, и старая рана воспалилась. Стоит, пялит зенки школьные, непорочные. «Ах ты, господи, боже мой!..»

— По-нят-но! Спа-си-бо! — Мохнаков понял, сейчас вот, в сей миг понял, этот лупоглазый Боречка, землячок его родимый, которым он верховодил и за которого хозяйничал во взводе, — убьет! Никто не осмелится поднять руку на старшину, а этот... Такой вот может, такой зажмурится, но убьет, да еще и сам застрелится чего доброго. — Стрелок какой нашелся! — нервно рассмеялся старшина и подбросил фонарик. Светлое пятнышко взвилось, ударилось в ладонь и погасло. Старшина поколотил фонарик о колено и, когда загорелось еще раз, придвинул огонек к лицу Бориса, будто подпалить хотел едва наметившуюся бородавку. — «Эх, паря, паря!» — Я ночую в другой избе, — сказал он и пошел, освещая себе дорогу пятнышком. — Катитесь вы все, мокроштанники, брехуны!.. — крикнул уже издали старшина.

Борис прислонился спиной к косяку двери. Его подтачивало изнутри. Губы свело, в теле слабость, в ногах слабость. Давило на уши, пузырилось, лопалось что-то в них. Он глядел на два острых тополя, стоявших против дома. Голые, темные, в веник собранные тополя недвижны, подрост за ними — вишенник, терновые ли кусты — клубятся темными взрывами.

Сколки звезд светились беспокойно и мерзло. По улицам метались огни машин, вякали гармошки, всплескивался хохот, скрип подвод слышался, где-то напуганно лаяла охрипшая собака.

«Ах ты, Мохнаков, Мохнаков! Что же ты с собой сделал? А может, война с тобой?..» — Борис опустил на порожек сеней, сунул руки меж колен, мертво уронил голову.

Лай собаки отдалился...

— Вы же закоченели, товарищ лейтенант! — послышался голос Люси. Она нащупала Бориса на порожке и мягко провела ладонью по его затылку. — Шли бы в хату.

Борис передернул плечами, открыл глаза. Поле в язвах воронок; старик и старуха возле картофельной ямы; огромный человек в пламени; хрип танков и людей, лязг осколков, огненные вспышки, крики — все это скомкалось, отлетело куда-то. Дергающееся возле самого горла сердце сжалось, постояло на мертвой точке и опало на свое место.

— Меня Борисом зовут, — возвращаясь к самому себе, выдохнул с облегчением взводный. — Какой я вам товарищ лейтенант!

Он отстранился от двери, не понимая, отчего колотится все в нем, и сознание — все еще отлётчивое, скользкое, будто по ледяной катушке катятся по нему обрывки видений и опадают за остро отточенную, но неуловимую грань. С трудом еще воспринималась явь — эта ночь, наполненная треском мороза, шумом отвоевавшихся людей, и эта женщина с древними глазами, по которым искрят небесные или снежные звезды, зябко прижавшаяся к косяку двери.

— Как тихо! Все остановилось. Прямо и не верится. Вам принести шинель?

— Нет, к чему? — не сразу отозвался Борис. Он старался не встречаться с нею взглядом. Какую-то пугливую настороженность вызывали в нем и этот чего-то прячущий взгляд, и звезды, робко протыкающие небесную мглу или в высь поднимающуюся и никак не рассеивавшуюся тучу порохового дыма. — Пойдемте в избу, а то болтовни не оберешься...

— Да уж свалились почти все. Вы ведь долго сидели. Я уж беспокоиться начала... А Корней Аркадьевич все разговаривает сам с собой. Занятный человек... — хозяйка хотела и не решалась о чем-то спросить. — А старшина?..

— Нет старшины! — преодолевая замешательство, коротко ответил взводный.

— В избу! — сразу оживилась, зашпешила хозяйка, нашаривая скобу. — Я уж отвыкла. Все хата, хата, хата... — Она не открыла дверь сразу. Борис уперся в ее спину руками — под тонким ситцевым халатом круглые, неожиданно сильные лопатки, пуговка под пальцы угодила. Люся поежилась, заскочила в хату. Борис вошел следом. Пряча глаза, он погрел руки о печь и начал разуваться.

В хате жарко и душно. Подтопок резво потрескивал. Горели в нем сосновые добрые поленья, раздобытые где-то солдатами. Сзади подтопка, вмурованный в кирпичи, сипел по-самоварному бак с водою. Взводный понскал куда бы пристроить портянки, но все уже было завешено пожитками солдат, от них расплывалась по кухне хомутная прель. Люся отняла у Бориса портянки, приладила их на поленья возле дверцы подтопка.

Ланцов качался за столом, клевал носом.

— Ложились бы вы, Корней Аркадьевич. — Борис при-

жимался спиной к подтопку и ощущал, как распускается, вянет его нутро.— Все уже спят, и вам пора.

— Варварство! Идиотство! Дичь! — будто не слыша Бориса, философствовал Ланцов.— Глухой Бетховен для светлых душ творил, фюрер под его музыку заставил маршировать своих пустоголовых убийц. Нищий Рембрандт кровью своей писал бессмертные картины! Геринг их уворновал. Когда припрет — он их в печку... И откуда это? Чем гениальнее произведение искусства, тем сильнее тянутся к нему головорезы! Так вот и к женщине! Чем она прекрасней, тем больше хочется лапать ее насильникам...

— Может, все-таки хватит? — оборвал Борис Корнея Аркадьевича.— Хозяйке отдохнуть надо. Мы и так обеспокоили.

— Что вы, что вы? Даже и не представляете, как радостно видеть и слышать своих! Да и говорит Корней Аркадьевич красиво. Мы тут отучились уж от человеческих слов.

Корней Аркадьевич поднял голову, с натужным вниманием уставил на Люсю.

— Простите старика.— Он потискал костлявыми пальцами обросшее лицо.— Напился, как свинья! И вы, Борис, простите. Ради бога! — уронив голову на стол, он пьяненько всхлипнул. Борис подхватил его под мышки, свалил на солому. Люся примчала подушку из чистой половины, подсунула ее под голову Корнея Аркадьевича. Услышав мягкое под щекою, он хлюпнул носом: — Подушка! Ах вы, дети! Как мне вас жалко! — свистнув прощально носом, он отчалил от этих берегов, задышав ровно, с пришлепом.

— Пал последний мой гренадер! — через силу улыбнулся Борис.

Люся убирала со стола. Взявшись за посудину с самогонном, она вопросительно взглянула на лейтенанта.

— Нет-нет! — поспешно отмахнулся он.— Запах от нее... В пору тараканов морить!

Люся поставила канистру на подоконник, смела со стола объедь, вытряхнула тряпку над лоханкой. Борис отыскал место среди разметавшихся, убитых сном солдат. Шкалика — мелкую рыбешку — выдавили наверх матерые осетры — алтайцы. Он лежал поперек народа, хватал воздух распахнутым ртом. Похоже было — кричал что-то во сне. Квасил губы Ланцов, обняв подушку. Храпел Малышев, и солому трепало возле его рта. Взлетали планки пяти медалей на булыжной груди Карышева. Сами медали у

него в кармане: колечки соединительные, говорит, слабы — могут отцепиться или вши отъедят.

Борис швырнул на пол шинель к ногам солдат, рывком выдернул из-под них клок измочаленной соломы и начал стелить в головах телогрейку. Люся смотрела, смотрела и, на что-то решившись, взяла с полу шинель, телогрейку лейтенанта и забросила их на печь, приподнявшись на припечек, расстелила одежду, чтобы лучше просыхала, и, управившись с делом, легко спрыгнула на пол.

— Ну, зачем вы? Я бы сам...

— Идите сюда! — позвала Люся.

Стараясь ступать тихо, лейтенант боязливо и послушно поволокся за ней.

В передней горел свет. Борис зажмурился — таким ярким он ему показался. Комната убрана просто и чисто. Широкая скамья со спинкой, на ней половичок, расшитый украинским орнаментом, пол земляной, но гладко, без щелей мазанный. Среди комнаты, в деревянном ящике, — раскидистый цветок с двумя яркими бутонами. На подоконнике тоже стояли цветы в ящиках и старых горшках. Воздух в передней домашний, земляной. Скучная опрятность кругом, и все же после кухонного густолюдья, спертого запаха отдавало здесь нежилым, парником вроде бы отдавало.

Борис переступал на холодном, щекочущем пятки полу, стыдясь грязных ног, и с подчеркнутым интересом глядел на лампочку нерусского образца — приплюснутую снизу.

Люся, тоже ровно бы потерявшись в этой просторной, выветренной комнате, говорила, что селение у них везучее. За рекой вон хутор поразбили, а здесь все цело, хотя именно здесь стоял целый месяц немецкий штаб, но наши летчики, видать, не знали об этом. Локомобиль немцы поставили. В хате квартировал важный генерал, для него и свет провели, да ночевать-то ему здесь почти не довелось, в штабе и спал. Отступали немцы за реку бегом, про локомобиль забыли, вот и остался он на полном ходу.

Сбивчиво объясняя все это, хозяйка раздвинула холщовые занавески с аппликациями. За узкой фанерной дверью обнаружилась еще одна небольшая комнатка. В ней был деревянный, неровно пригнанный пол, застланный пестрой ряднинкой, этажерка с книгами, поломанный гребень на этажерке, наперсток, ножницы, толстая хомутная игла, воткнутая в вышитую салфетку. У глухой стены против окна — чистая кровать с одной подушкой. Другую подушку, догадался Борис, хозяйка унесла Корнею Аркадьевичу.

— Вот тут и ложитесь,— показала Люся на кровать.

— Нет! — испугался взводный.— Я такой...— пошарил он себя по гимнастерке и ощутившее почувствовал под нею давно не мытое, очерствелое тело.

— Вам ведь спать негде.

— Может быть, там,— помявшись, указал Борис на дверь.— Ну, на скамье. Да и то...— он отвернулся, покраснел.— Зима, знаете. Летом не так. Летом почему-то их меньше бывает...

Хозяйке передалось его смущение, она не знала, как все уладить. Смотрела на свои руки. Борис заметил уже, как часто она смотрит на свои руки, будто пытается понять — зачем они ей и куда их девать. Неловкость затягивалась. Люся покусала губу и решительно шагнула в переднюю. Вернувшись с ситцевым халатом, протянула его.

— Сейчас же снимайте с себя все! — скомандовала она.— Я вам поставлю корыто, и вы немножко побанитесь. Да смелей, смелей! Я всего навиделась.— Она говорила бойко, напористо, даже подмигнула ему: не робей, мол, гвардеец! Но тут же зарделась сама и выскользнула из комнаты.

Раскинув халат, Борис обнаружил на нем разнокалиберные пуговицы. Одна пуговица была оловянная, солдатская, сзади пришит поясок. Смешно сделалось Борису. Он даже чего-то веселое забормотал, да опомнился, скомкал халат, толкнул дверь, чтобы выкинуть дамскую эту принадлежность.

— Я вас не пушу! — Люся держала фанерную дверь.— Если хотите, чтобы высохло к утру,— раздевайтесь!

Борис опешил.

— Во-о. Дела-а! — почесал затылок.— А-а, да что я на самом деле — вояка или не вояка?! — решительно сбросил с себя все, надел халат, застегнул и, собрав в береме манатки, вышел к хозяйке, да еще и повернулся лихо перед нею, отчего пола халата закинулась, обнажив колено с крупной чашечкой.

Люся прикрыла рот ладонью. Поглядывая украдкой на лейтенанта, она вытащила из кармана гимнастерки документы, бумаги, отвинтила орден Красной Звезды, гвардейский значок, отцепила медаль «За боевые заслуги». Осторожно отпорол желтенькую нашивку — знак тяжелого ранения. Борис щупал листья цветка, нюхал красный бутон и дивился — ничем он не пахнет. Вдруг

обнаружил — цветок-то из стружек! Червонный цветок напомнил живую рану, занудило опять нутро взводного.

— Это что? — Люся показала на нашивку.

— Ранение, — отозвался Борис и почему-то соврал поспешно, — легкое.

— Куда?

— Да вот, — ткнул он пальцем в шею себе. — Пулей чиркнуло. Пустяки. Люся внимательно поглядела, куда он показал: чуть выше ключицы фасолиной изогнулся синеватый шрам. В ушах лейтенанта земля, вспаленные глаза в темно-угольном ободке. Колючий ворот мокрой шинели натер шею лейтенанта, он словно был в галстукке. Кожей своей ощутила женщина, как саднит шея, как все устало в человеке от пота, грязи, пропитанной сыростью и запахом гари военной одежды.

— Пусть все лежит на столе, — сказала Люся и снялась с места. — Немножко еще помучайтесь, и я вас побаню.

«Побаню!» — подхватил взводный тутушнее слово.

— Возьмите книжку, что ли, — приоткрыв дверь, посоветовала Люся.

— Книжку? Какую книжку? Ах, книжку!

В маленькой комнатке Борис присел перед этажеркой. Халат скрипнул на спине, он скорее выпрямился, распахнул полы, оглядел себя воровато и остался недоволен: мослат, кожа в пупырышках от холода и страха, бесцветные волоски разбродно росли на ногах и на груди.

Книжки касались все больше непонятных ему юридических дел.

«Вот уж не подумал бы, что она какое-то отношение имеет к судам».

Среди учебников и наставлений по законодательству обнаружилась тонехонькая, зачитанная книжка в самодельной обложке.

— «Старые годы», — вслух прочел Борис. Прочел и как-то даже сам себе не поверил, что вот стоит он в беленькой, однооконной комнате, на нем халат с пояском. От халата и от кровати исходит дразнящий запах. Ну может, и нет никакого запаха, может, блазнится он. Тело не чувствовало халата после многослойной зимней одежды, как бы сросшейся с кожей. Борис нет-нет да и пошевеливал плечами.

Все еще позванивало в голове, давило на уши, нудило внутри.

«Поспать бы минут двести-триста, а лучше четыреста!» — глядя на манящую чистоту кровати, зевнул

Борис и скользнул глазами по книжке. «Довелось мне раз побывать в большом селе Заборье. Стоит оно на Волге. Место тут привольное...» — Борис изумленно уставился на буквы и уже с наслаждением, вслух повторил начало этой старинной, по-русски жестокой и по-русски же слезливой истории.

Музыка слов, даже шорох бумаги так его обрадовали, что он в третий раз повторил начальную фразу, дабы услышать себя и удостовериться, что все так оно и есть: он живой, по телу его пробегает холодок, пупырит кожу, в руках книжка, которую можно читать, слушая самого себя. Как будто опасаясь, что его оторвут, Борис торопливо читал слова из книжки и не понимал их, а только слушал, слушал.

— С кем вы тут?

Лейтенант смотрел на Люсю издалека.

— Да вот на Мельникова-Печерского напал, — отозвался он наконец. — Хорошая какая книжка.

— Я ее тоже очень люблю. — Люся вытирала руки холщовой тряпкой. — Идите, мойтесь. — Повязанная платком, она снова сделалась старше, строже, и глаза ее опять отдалились в обыденность.

Прежде чем попасть за русскую печку, в закуток, где была теплая лежанка — на ней-то и приспособила Люся деревянное корыто, оставила баночку со своедельным мылом, мочалку, ведро и ковшик, — Борис выскреб из-под стола запинанного туда озверело храпящими солдатами чердынского вояку, сводил его до лохани, подержал под мышки до тех пор, пока не перестало журчать, а журчало долго, и только после этого сказал себе бодренько:

— Крещайся, раб божий! — сказал и, едва не опрокинув корыто, с трудом уселся в него.

Он мылся, подогнув под себя ноги, и чувствовал, как сходит с него не грязь, а отболелая кожа. Из-под кожи, скотской, толстой, грубой, соленой, обнажается молодое, ссудороженное усталостью тело, и так выветляется, что даже кости слышны делают, душа жить начинает, по телу медленно плывет истома, качает корыто, будто лодку на волне, и несет, несет куда-то в тихую заводь полусонного лейтенантишку.

Он старался не наплескать на пол, не обшлепать стену, печку и все же обшлепал печку, стену и наплескал на пол.

В запечье совсем сделалось душно, потянуло отсыревшей глиной, назьмом, в носу сделалось щекотно. Вспомнилось Борису, как глянулось ему, когда дома переклады-

вали печь. Виднелось все до мелочей. Дома все перевернуто, разгромлено — наступала вольность на несколько дней. Бегай сколько хочешь, ночуй у соседей, ешь чего придется и когда придется. Мать, явившись с уроков, брезгливо корчила губы, гусиным шагом ступала по мокрой глине, ломая кирпичи. Весь ее вид выражал нетерпение, досаду, и она поскорее скрывалась в горнице, разя отца взыскующе-суровым взглядом.

Отец, тоже умаянный в школе, виновато подвизывался мешком, включался в работу. Печник ободрял его, говоря, вот, мол, интеллигент, а грязного дела не чуждается. Отец же поглядывал на дверь горницы и заискивающе предлагал: «Детка, ты, может быть, в столовой покушаешь?..»

Ответом ему было презрительное молчание.

Борис таскал кирпичи, месил глину, путался под ногами мужиков, грязный, мокрый, возбужденно звал: «Мама! Смотри, уж печка получается!..»

А она и в самом деле получалась: из груды кирпичей, из глины выросло сооружение, зевастое чело, глазки печурок, даже бордюричек возле трубы.

Печку наконец затопляли, работники сосредоточенно ждали — что будет? Нехотя, с сипом выбрасывая дым в широкую ноздрю, разгоралась печка. Еще темная, чужая, она постепенно оживлялась, начинала шипеть, пощелкивать, стрелять искрами на шесток и обсыхать с чела, делаясь пестрой, как корова, становясь необходимой и привычной в дому.

На кухонном столе печник с отцом распивали поллитровку — для подогрева и разгона печи. «Эй, хозяйка! Принимай работу!» — требовал печник.

Хозяйка на призыв не откликнулась. Печник обиженно совал в карман скомканые деньги, прощался с хозяином за руку и, как бы сочувствуя ему и поощряя в то же время, кивал на плотно затворенную дверь: «Я б с такой бабой дня не стал жить!»

В какой-то далекой, но вдруг приблизившейся жизни все это было. Борис подтирал за печкой пол и не торопился уходить, желая продлить нахлынувшее — этот кусочек из прошлого, в котором все теперь было исполнено особого смысла и значения.

Шкалика снова успели запинать под стол, и он там на голом прохладном полу чувствовал себя лучше. «А пусть не лезет ко взрослым!»

Отжав тряпку под рукомойником, Борис сполоснул руки и вошел в комнату.

Люся сидела на скамье, отпарывала подворотничок, как бы спаявшийся с гимнастеркой плесенно-серыми наплывами.

— Воскрес раб божий! — с деланной лихостью отпарывал Борис, слабо надеясь, что в подворотничке гимнастерки ничего нету, никаких таких зверей.

Отложив гимнастерку, Люся, теперь уже открытым взглядом, по-матерински близко и ласково глядела на него. Русые волосы лейтенанта, волнистые от природы, взялись кучерявинками. Глаза ровно бы тоже отмылись. Ярче адела натертая ссадина на худой шее. Весь этот парень, без единого пятнышка на лице, с безгрешным взглядом, в ситцевом халате, до того был смущен, что не угадывался в нем окопный командир.

— Ох, товарищ лейтенант! Не одна дивчина потеряет голову из-за вас!

— Глупости какие! — отбился лейтенант и тут же быстро спросил: — Почему это?

— Потому что потому, — заявила Люся, поднимаясь. — Девчонки таких вот мальчиков чувствуют и любят, а замуж идут за скотов. Ну, я исчезла! Ложитесь с богом! — Люся мимоходом погладила его по щеке, и было в ласке ее и в словах какое-то снисходительное над ним превосходство. Никак она не постигалась и не улавливалась. Даже когда смеялась, в глазах ее оставалась недвижная печаль, и глаза эти так отдельно и жили на ее лице своей строго сосредоточенной и всепонимающей жизнью.

«Но ведь она моложе меня или одногодок?» — подумал Борис, юркнув в постель, однако дальше думать ничего не сумел.

Веки сами собой налились тяжестью, сон медведем навалился на него.

Ординарец комроты Филькина, наглый парень, горящий тем, что сидел два раза в тюрьме за хулиганство, ныне пододевшийся в комсоставовский полушубок, в чесанки и белую шапку, злорадно растолкал Бориса и других командиров задолго до рассвета.

— Ой! А я выстирать-то не успела! Побоялась идти ночью по воду на речку. Утром думала... — виновато сказала хозяйка и, прислонившись к печке, ждала, пока Борис переоденется в комнате. — Вы приходите еще, — все так же виновато добавила она, когда Борис явился на кухню. — Я и выстираю тогда...

— Спасибо. Если удастся, — сонно отозвался Борис и прокашлялся, подумав: это она старшины побоялась.

С завистью глянув на мертво спящих солдат, он кивнул Люсе головой и вышел из хаты.

— Заспались, заспались, прапоры! — такими словами встретил своих командиров Филькин. Он, когда бывал не в духе, всегда так обидно называл своих взводных. Иные из них сердились, в пререкания вступали. Но в это утро и языком-то ворочать не хотелось. Комвзводы хохлились на стуже, пряча лица в поднятые воротники шинелей. — Э-эх, прапоры, прапоры! — вздохнул Филькин и повел их за собой из уютного украинского местечка к разбитому хутору, навстречу занимающемуся рассвету, сталисто отсвечивающему на дальнем краю неба, мутно проступившему в заснеженных полях.

Комроты курил уже не сигареты, а крепкую махру. Он, должно быть, так и не ложился. Убивал крепким табаком сон. Он вообще-то ничего мужик, вспыхивает берестой, трещит, копать поднимать любит большую. Но и остывает быстро. Не его же вина, что немец не сдается. Комроты сообщил, что вчера наши парламентарии предложили полную капитуляцию командованию группировки и по радио до позднего часа твердили, что это последнее предупреждение. Отказ.

Засел противник по оврагам, в полях — молчит, держится. Зачем? За что? Какой в этом смысл? И вообще какой смысл во всем этом? В таком вот побоище? Чтоб еще раз доказать превосходство человека над человеком? Мимоходом Борис видел пленных — ничего в них не только сверхчеловеческого, но и человеческого-то не осталось. Обмороженные, опухшие от голода, едва шевелящиеся солдаты в ремках, в дырявой студеной обуви. И вот их-то добивать? Кто, что принуждает их умирать так мучительно? Кому это нужно?

— Кемаришь, Боря?

Борис вскинулся. Надо же! Научился на ходу дрыхать... Как это у Чехова? Если зайца долго лупить, он спички зажигать научится...

Светлее сделалось. И вроде бы еще холоднее. Все нутро от дрожи вот-вот рассыплется. «Душа скулит и просится в санчасть!..» — рыдающими голосами пели когда-то земляки-блатняги, всегда изобильно водившиеся в родном сибирском городке.

— Видишь поле за оврагами и за речкой? — спросил Филькин и сунул Борису бинокль со словами: — Пора бы уж своим обзавестись... Последний опорный пункт фашистов, товарищи командиры, — показывая рукой на село за

полем, продолжал комроты. Держа на отлете бинокль с холодными ободками, Борис ждал, чего он еще скажет.— По сигналу ракет — с двух сторон!..

— Опять мы?! — зароптали взводные.

— И мы! — снова разъярился комроты Филькин.— Нас что, сюда рыжики собирать послали? У меня чтоб через час все на исходных были! И никаких соплей! — Филькин сурово поглядел на Бориса.— Бить фрица, чтоб у него зубы крошились! Чтобы охота воевать отпала...

Прибавив для выразительности крепкое слово, Филькин выхватил у Бориса бинокль и поспешил куда-то, выбрасывая из перемерзлого снега кривые казачьи ноги.

Взводные вернулись в проснувшееся уже местечко, как велел командир роты, выжили солдат из тепла во чисто поле.

Солдаты сперва ворчали, но потом залегли в снегу и примолкли, пробуя еще дремать, кляня про себя немцев. И чего еще ждут проклятые? Чего вынюхивают? Богу своему нарядному о спасении молятся? Да какой же тут бог поможет, когда окружение и силы военной столько, что и мышь не проскочит из кольца...

За оврагом взвилась красная ракета, затем серия зеленых. По всему хутору зарычали танки, машины. Колонна на дороге рассыпалась, зашевелилась. Сначала медленно, ломая остатки плетней и худенькие сады по склону оврагов, врассыпную ползли танки и самоходки. Затем, будто сбросив путы, рванулись, пустив черные дымы, заваливаясь в воронках, поныривая в сугробах.

Ударил артиллерия. Зафукали из снега эрэсы. Вытащив пистолет со сношенной вóронью, метнулся к оврагам комроты Филькин. Бойцы поднялись из снега...

Возле оврагов танки и самоходки застопорили, открыли огонь из пушек. От хутора с воем полетели мины. Филькин осадил пехотинцев, велел ложиться. Обстановка все еще неясная. Многие огневые перемещены. Связь снегом похоронило. Минометчики и артиллеристы запросто лупанут по башкам, после каяться будут, магарыч ставить, чтоб жалобу на них не писали.

И в самом деле вскоре чуть не попало. Те же гаубицы-полуторасотки, которые в ночном бою бухали за спиной пехоты, начали месить овраги и раза два угодили уж поверху. Бойцы отползли к огородам, уроненным плетням, заработали лопатами, окапываясь. Мерзло визжа гусеницами, танки начали обтекать овраги, выползли к полю, охватывая его с двух сторон, сгоня врага в неглубокую пойму речки, по которой сплошь впритык стояли не дви-

гаясь машины, орудия, вездеходы, несколько танков с открытыми люками.

Пехота раздробленно постреливала из винтовок и пулеметов. Значит, не наступила ее пора. Тут всякий солдат себе стратег.

Когда-то Борис, как и многие молодые, от начитанности прыткие командиры, не понимал этого и понимать не желал. На фронт из полковой школы он прибыл, когда немец спешно катился с Северного Кавказа и Кубани. Наши войска настойчиво догоняли противника, меша сначала кубанский чернозем, затем песок со снегом, и никак не могли догнать.

Борису так хотелось скорее настичь врага, сразиться.

«Успеешь, младший лейтенант, успеешь! Немца хватит на всех и на тебя тоже!» — снисходительно успокаивали неторопливо топающие, покуривающие табачок рассудительные бойцы. В мешковатых шинелях, с флягами и котелками на боку, с рюкзаком, горбато дыбющимся за спиной, они совсем не походили на тот образ бойца, какого мечтал вести вперед Борис. Они и двигались-то неторопливо, но так ловко, что к вечеру неизменно оказывались в селе или станице, мало побитых врагом, располагались на ночевку удобно, обстоятельно, иные даже и на пару с чернооками, податливо игривыми казачками.

«Вот, понимаешь, воины! — негодовал младший лейтенант. — Враг топчет нашу священную землю, а они, понимаешь!»

Сам он до того изнервничался, до того избегался, нагодовался в придонских степях, что появились у него мозоли на ногах и на руках, по телу пошли чирьи. Его особенно изумили мозоли на руках: земли не копал, все только суетился, кричал, бегал — и вот тебе на!..

Врага настигли в Харьковской области. Дождлся-таки боя молодой и горячий командир. Дрожало все в нем от нетерпеливой жажды схватки. Запотела даже ручка нагана, заранее вынутого из кирзовой кобуры и заложенного за борт телогрейки. Он неистово сжимал ручку, готовый расстреливать врага в упор, если понадобится, и рукояткой долбануть по башке. Обидно было немножко, что не дали ему настоящий пистолет — из нагана какая стрельба?! Но в руках умелого, целеустремленного воина, как учили в полковой школе, древний семизарядный наган может стать грозным оружием.

И не успели еще разорваться последние снаряды артна-

лета, еще и ракеты, свистнувшие над окопами и каплями опадающие вниз, не погасли, как выскочил Борис из траншеи, громогласно, как ему показалось, на самом деле сорванно и визгливо закричал: «За мной! Ур-ра!» — и, махая наганом, помчался вперед. Помчался и отчего-то не услышал за собой героических возгласов, грозного топота. Оглянувшись: солдаты шли в атаку перебежками, неторопливо, деловито, как будто не в бою, на работе были они и выполняли ее расчетливо, обстоятельно, не обращая вроде бы никакого внимания друг на друга и на своего боевого командира.

«Трусы! Негодяи! Вперед!..» — заорал пуще прежнего младший лейтенант, но никто вперед не бросился, кроме двух-трех молоденьких солдатиков, которых тут же и подсекло пулями. И тогда пришло молниеносное решение: пристрелить. Пристрелить для примера одного из этих молчаливых бойцов, с лицом, отстраненным от боя, от мира и от всего на свете, с фигурой совсем не боевой...

И как на грех плюхнулся рядом с ним дядька, плюхнулся и начал немедленно орудовать лопатой, закапывая сначала голову, потом дальше, глубже вгрызаясь в землю.

Борис на него заорал, даже затопал: «Ты что, копать сюда прибыл или биться?» — собрался даже, нет, не застрелить — боязно все же стрелять-то, — хотя бы стукнуть подлеца наганом. Как вдруг солдат этот, с двухцветной щетиной на лице, каурой и седой, бесцеремонно рванул лейтенанта за сапог, уронил рядом с собой, да еще и подгрел под себя, будто кубанскую молодуху. «Убьют ведь, дура!» — сказал солдат и стал куда-то стрелять из винтовки, потом вскочил и невообразимо проворно для его возраста ринулся вперед, и вроде бы как занырнул в воду, крикнув напоследок: «Не горячись!.. За мной следи!..»

Смеяться над Борисом особо не смеялись, но так, между прочим, подъелдыкивали: «Нам чо? Мы за нашим отцом-командиром — как за каменной стеной, без страха и сомнения!.. Он как побежит, как всех наганом застрелит!.. Нам токо трофеи собирать!..»

Не сразу, нет, а после многих боев, после ранения, после госпиталя застыдил себя Борис, такого самонадеянного, такого разудалого и несуразного, дошел головой своей, что не солдаты за ним, он за солдатами! Солдат, он и без него знает, что надо делать на войне, и лучше всего, и тверже всего знает он, что, пока в землю закопан, — ему сам черт не брат, а вот когда выскочит из земли наверх — так неизвестно, чего будет: могут и убить. По-

этому, пока возможно, он не выберется оттуда и за всяким-яким в атаку не пойдет, будет ждать, когда свой ванька-взводный даст команду вылезать из окопа и идти вперед. Уж если свой ванька-взводный пошел, значит, все возможности к тому, чтобы не идти, исчерпаны. Но и тогда, когда ванька-взводный, поминая всех богов, попа, Гитлера и много других людей и предметов, вылезет наверх, даст кому-нибудь пинка-другого, зовя в сражение, старый вояка еще секунду-другую перебудет в окопе, старшася с каким-либо делом, дело же, не пускающее его наверх, всегда найдется, и всегда в вояке живет надежда, что, может, все обойдется, может, вылезать-то вовсе не надо — артиллерия, может, лупанет, может, самолеты его или наши налетят, начнут без разбору своих и чужих бомбить, может, немец сам убежит, либо еще что случится...

А так как на войне много чего случается, — глядишь, эта вот секунда-другая и продлит жизнь солдата на целый век, в это время и пролетит его пуля...

Но прошел всякий срок. Дальше уж оставаться в окопе неприлично, дальше уж подло в нем оставаться, зная, что товарищи твои начали свое тяжкое, смертное дело и любой из них в любое мгновение может погибнуть. Распаяя самого себя матом, разом отринув от себя все земное, собранный в комок, все слышащий, все видящий, вымахнет боец из окопа и сделает бросок к той кочке, к пню, к забору, к убитой лошади, к опрокинутой повозке, а то и к закоченелому фашисту, словом, к заранее намеченной позиции, сразу же падет и, если возможно, палить начнет из оружия, какое у него имеется. Если его при броске зацепило, но рана не смертельная — боец палит еще пуще, коли подползет к нему свой брат-солдат помочь перевязкой, он его отгонит, призывая биться. Сейчас главное — закрепиться, сейчас главное — палить и палить, чтобы враг не очухался. Бейся, боец, пали, не метусись и намечай себе объект для следующего броска — боже упаси ослабить огонь, боже упаси покатиться обратно! Вот тогда солдатики слепые, тогда они ничего не видят, не слышат и забудут не только про раненых, но и про себя, и выложат их за один бой столько, сколько за пять боев не выложат...

Но вот закрепились бойцы, на следующий рубеж перекинулись — вздохнул раненый солдат, рану пощупал и начал принимать решение: закурить ему сейчас и потом себя перевязать или же наоборот? Санитара ждать очень длинное, почти безнадежное дело, солдат — рота, санитар — один, ну два, очоуришься, ожидаючи помощи,

надо самостоятельно замотать бинты и двигаться к окопу. Живой останешься — хоть ешь его, табак-то. Перевязывать себя ловко в запасном полку, под наблюдением ротного санитаря. Лежа под огнем, охваченного болью и страхом, перевязывать себя совсем несподручно, да и индикета не хватит.

Санитаров же не дожидаться, нет. Санитары и медсестры, большей частью кучерявые девицы, шибко много лезут по полю боя в кинокартинах, и раненых из-под огня волокут на себе, невзирая на мужицкий вес, да еще и с песней. Но тут не кино.

Ползет солдат туда, где обжит им уголок окопа. Короток был путь от него навстречу пуле или осколку, долгод путь обратный. Ползет, облизывая ссохшиеся губы, зажав булькающую рану, под ребром, и облегчить себя ничем не может, даже матюком. Никакой ругани, никакого богохульства позволить себе сейчас солдат не может — он между жизнью и смертью. Какова нить, их связующая? Может, она так тонка, что оборвется от худого слова. Ни-ни! Ни боже мой! Солдат разом делается суеверен. Солдат даже заискивающе-просительным делается: «Боженька, миленький! Помоги мне! Помоги, а? Никогда в тебя больше материться не буду!»

И вот он, окоп. Родимый. Скатись в него, скатись, солдат, не робей! Будет очень больно, молонья сверкнет в глазах, ровно оглушит тебя кто-то поленом по башке. Но это своя боль. Что ж ты хотел, чтобы при ранении и никакой боли? Ишь ты какой, намазанный-сухой!.. Война ведь война, брат, беспощадная...

Бултых в омут окопа — аж круги красные пошли, аж треснуло что-то в теле и горячее от крови сделалось. Но все это уже не страшно. Здесь, в окопе, уж не дострелят, здесь воистину как за каменной стеной! Здесь и санитары скорее наткнутся на него, надо только орать сколько есть силы и надеяться на лучшее.

Бывало, здесь, в окопе, ослабивши напряжение в себе, и умрет солдатик с верой в жизнь, огорчившись под конец, что все вот вынес, претерпел, до окопа добрался... в госпиталь бы теперь, и жить да жить...

Он даже не помрет, он просто обессилеет, ослабнет телом, но сознание его все будет недоумевать и не соглашаться с таким положением — ведь все вынес, все претерпел. Ему теперь положено лечиться, и жизнь он заслужил...

Нет, солдат не помрет — просто сожмется в нем сердце от одиночества и грустно утихнет разум.

...Ну а если все-таки по-другому, по-счастливому если? Дотянул до госпиталя солдат, вынес операцию, вынес первые бредовые, горячие ночи, огляделся, поел щей, напился чаю с сахаром, которого накопилось аж целый стакан! И письма бодрые домой и в часть послал, первый раз, держа за койку, поднялся и слезно умилился свету, соседям по палате, сестрице, которая поддерживала мослы его, вроде бы как сплющенные от лежания на казенной койке. И случалось, случалось — с передовой, из родной части газетку присылали с каким-нибудь диковинно-ужасным названием: «Смерть врагу!», «Сокрушительный удар» или просто «Прорыв», и в «Прорыве» том выразительно написано, как солдат бился до конца, не уходил с поля боя будучи раненым и «заражал своим примером...»

Удивляясь на самого себя, пораженный словами: «бился до конца», «заражал своим примером», — солдат совершенно уверует, что так оно и было. Он ведь и в самом деле «заражал», и столько в нем прибудет бодрости духа, что с героического отчаянья закрутит солдат любовь с той самой сестрицей, что подняла его с койки и учила ходить, — аж целый месяц, а то и полтора продлится эта испепеляющая любовь.

И когда снова вернется солдат в родную роту — будет сохнуть по нему сестрица, может, месяц, может, и больше, до тех пор сохнуть, пока не дрогнет ее сострадательное сердце перед другим героем и день сегодняшний затемнит все вчерашнее, ибо живет человек на войне одним днем. Выжил сегодня — слава богу, глядишь, завтра тоже выживешь. Там еще день, еще — смотришь, и войне конец!

Нет, не сразу, не вдруг уразумел Борис, что воевать, не погибая сдуру, могут только очень умные и хитрые люди и что, будь ты хоть разгерой — командир или обыкновенный ушлый солдат в обмотках, — когда вымахнете из окопа, оба вы: и он — солдат, и ты — командир, становитесь перед смертью равны, один на один с нею останетесь.

И тут уж кто кого.

Ветер вовсе утих. Снег не кружило, и на небе с одной стороны объявилась мутная луна, тоже как будто издолбленная осколками, а с другой пробилось сквозь небесную муть заиндевелое, сумрачное солнце.

«И почему это в самые лихие для людей часы в природе что-нибудь...» — Борис не успел довершить эту мысль. Филькин совал ему бинокль. Совал молча. Но лейтенант уже и без бинокля видел все. Из села, что было за овра-

гами и полем, на плоскую высотку, изрезанную оврагами, но больше всего в голую пойму речки, помеченную редкими обрубьями кустов, выпала туча народу — не стало видно снега. Из оврага тоже вываливали и вываливали волна за волной толпы людей и бежали навстречу тем, что прибоем накатывали из села. Сужалось и сужалось белое пространство. И стекали темные струи в речку, по которой и в которой уже шевелился темный поток людской, норовя найти выход, утечь куда-то.

На всех скоростях катили танки, вдруг сверкнуло что-то игрушечно, вихрем клубя, смахивая снега со склонов в речку.

«Кавалерия!» — ахнул Борис, и у него подпрыгнуло, задергалось сердце, будто в детстве, когда он видел стремительную атаку конницы в кино. Не доводилось ему видеть конных атак наяву, ведь конники в этой войне действовали спешившись. И закипела, заплескалась от взрывов речка. Палили азартно, вдохновенно пушки, минометы, реактивные установки, летели вверх комья земли, вороха снега, куски мяса, ключья одежды, колеса, обломки дерева, распоротое железо. Кружило, вертело. Снег пылил. Дымно от танков было. Топот коней, рокот танков, людские вопли.

Пехотинцы тоже кричали, ярились, даже рвались к оврагам, но все же первой и унялась пехота.

И за оврагами, в поле, в пойме речки все унялось.

Слабое шевеление. Агония. Смерть. Все унялось.

Две машины кострами горели в поле, пустив большой дым в небо, к солнцу, все больше яснеющему. Сыпалась пальба уже торопливая, бестолковая, безнаказанная — так палая на охоте в ныряющего подранка.

— Вот и все! — почему-то шепотом сказал комроты Филькин. Сказал, удивился, должно быть, своему шепоту и зычно гаркнул: — Все, товарищи! Капут группировке!

Пафнутьев услужливо застрочил из автомата в небо, запрыгал, простуженным дискантом выдал «ура!».

— Чо вы? Охренели?! Победа же! Наголову фашист!.. — кричал он своим товарищам.

Бойцы подавленно смотрели на поле, истерзанное, испятнанное, черное, на речку, вскрывшуюся из-под льда от взрывов и крови. Народ возле хутора был все больше пеший, рядовой, и каждый сейчас говорил сам себе: «Не дай бог попасть в такое вот...»

Филькин начал угощать всех без разбора душистыми трофейными сигаретами, балагурил, развлекал народ,

молотил кулаком по спинам, сулился прислать кухню, полную каши, и водки раздобыть не по наличию людей, по списочному составу, и к орденам представить всех до одного — герои! Он бы еще много чего наобещал, но его позвали к телефону.

Вернулся Филькин из бани не такой уж веселый. Выгрызая из обгорелой кожуры картофельную мякоть, он повернулся карманом к Борису и, когда тот достал себе обугленную картофелину, мотнул головой и усмехнулся:

— Это вместо обещанной каши. Оставь старшину за себя. Пойдем получать указания. Нет нам покоя, и скоро, видимо, не будет. — Он вытер руки о полушубок, полез за кисетом. — Возьми Корнея или пузырька своего. Мой кавалер опять куда-то провалился! Ну он у меня дофорсит! Я его откомандирую к вам, ты ему лопату повострее, ружье побольше, котелок поменьше...

— Это мы можем, это — пожалуйста!..

Борис взял и Корнея Аркадьевича, и Шкалика. Он хотел обойти поле, двинулся было на окраину хутора, но Филькин ухнул до пояса и уже за оврагами, выбирая снег из карманов, вяло ругался:

— Войну на войне все равно не обойдешь...

На поле, в ложках, в воронках, особенно возле изувеченных деревцев, возле темно шевелящейся речки, кучами лежали убитые, изрубленные, подавленные гусеницами немцы. Попадались еще живые, изо рта их шел пар. Они хватались за ноги, ползли следом по снегу, истолченному, опятнанному кровью.

«Идем в крови и пламени, в пороховом дыму», — совсем упившись, не пел, а рычал иногда Мохнаков какую-то совсем уж дремучую песню времен гражданской войны. «Вот уж воистину!..»

Обороняясь от жалости и жути, запинаясь за бугорки снега, под которыми один на другом громоздились коченелые трупы, Борис зажмурился глазами: «Зачем пришли сюда?.. Зачем? Это наша земля! Это наша родина! Где ваша?»

Корней Аркадьевич, в поясище словно бы перешибленный стягом, оперся на дуло винтовки:

— Неужели еще повторится такое? Неужели это ничему людей не научит? Достойны тогда своей участи...

— Не вякал бы ты, мудрец вшивый! — процедил сквозь зубы комроты Филькин.

Борис черпал рукавицею снег, кормил им позеленевшего Шкалика.

— Боец! — кривился, глядя на Шкалика, комроты Филькин. — Ему бы рожок с молочком!

На окраине села, возле издолбленной осколками, пробитой снарядами колхозной клуни, крытой соломой, толпился народ. У широко распахнутого входа в клуню нервно перебирали ногами тонконогие кавалерийские лошади, запряженные в крестьянские дровни. И откуда-то с небес или из-под земли звучала музыка, торжественная, жуткая, чужая. Приблизившись ко клуне, пехотинцы различили — народ возле клуни толпился не простой: несколько генералов, много офицеров, и вдруг обнаружился командующий фронтом.

— Ну нанесла нас нечистая сила... — заворчал комроты Филькин.

У Бориса похолодело в животе, потную спину скоробило: командующего, да еще так близко, он никогда не видел. Взводный начал торопливо поправлять ремень, развязывать тесемки шапки. Пальцы не слушались его, дернул за тесемку, с мясом оторвал ее. Он не успел заправить шапку ладом. Майор в желтом полушубке, с портупеей через оба плеча, поинтересовался — кто такие?

Комроты Филькин доложил.

— Следуйте за мной! — приказал майор.

Командующий и его свита посторонились, пропуская мимо себя мятых, сумрачно выглядевших солдат-окопников. Командующий прошелся по ним быстрым взглядом и отвел глаза. Сам он, хотя и был в чистой долгополой шинели, в папаче и поглаженном шарфе, выглядел среди своего окружения не лучше солдат, только что вылезших с переднего края. Глубокие складки отвесно падали от носа к строго и горестно сжатым губам. Лицо его было воскового цвета, смятое усталостью. И в старческих глазах, хотя он был еще не старик, далеко не старик, усталость, все та же безмерная усталость. В свите командующего слышался оживленный говор, смех, но командующий был сосредоточен на своей какой-то неизвестной мысли.

И все звучала музыка, нарастая, хрипя, мучаясь.

По фронту ходили всякого рода легенды о прошлом и настоящем командующего, которым солдаты охотно верили, особенно одной из них. Однажды он якобы напоролся на взвод пьяных автоматчиков и не отправил их в штрафную, а вразумлял так:

— Вы поднимитесь на цыпочки — ведь Берлин уж

видно! Я вам обещаю, как возьмем его — пейте сколько влезет! А мы, генералы, вокруг вас караулом стоять будем! Заслужили! Только дюжьте, дюжьте...

— Что это? — поморщился командующий. — Да выключите вы ее!

Следом за майором стрелки вошли в клуню, проморгались со свету.

На снопах блеклой кукурузы, засыпанной трухой соломы и глиняной пылью, лежал мертвый немецкий генерал в мундире с яркими колодками орденов, тусклым серебряным шитьем на погонах и на воротнике. В углу клуни, на опрокинутой веялке, накрытой ковром, стояли телефоны, походный термос, маленькая рация с наушниками. К веялке придвинуто глубокое кресло с просевшими пружинами, и на нем — скомканный клетчатый плед, похожий на русскую бабью шаль.

Возле мертвого генерала стоял на коленях немчик в кастрюльного цвета шинели, в старомодных, антрацитно сверкающих ботфортах, в пилотке, какую носил еще Швейк, только с пришитыми меховыми наушниками, а перед ним на опрокинутом ящике хрипел патефон, старик немец крутил ручку патефона, и по лицу его безостановочно катились слезы.

Майор решительно снял трубку с пластинки. Немец старик, сверкая разбитыми стеклами очков, так закричал на майора, что затряслись у него мешковатые штаны, запрыгала желтая медалька на впалой груди и вдруг высыпались последние мелкие стекла из очков, обнажив почти беззрачные облезлые глаза.

— Зи дюрфэн нихт, — наступал немчик на майора: — Конвенцион... Вагнер... Ди либлингмузик вом генераль... Ди тотэн хабэн кайнен шутц! Ди тотэн флэен ум гнадэ ан! Зи дюрфен них!¹.

Переводчица в красиво сидящем на ней приталенном полушубке, в шапке из дорогого меха, в чесаных валеночках, вся такая кудрявенькая, нарядненькая, вежливо приобняла немчика, отводя его в сторону и воркуя:

— Ист дас аух ди либлингмузик вом фюрер?

— Я, я. Майн фюрер... мэг эр инс грас байсэн!²

— Эр вирд, вирд балд крэпирен унд дан вэрдэн тагс

¹ — Вы не смеете... Любимая музыка генерала... Мертвые не имеют защиты! Мертвые зывают к милости! Вы не смеете! (нем.)

² — Это и фюрера любимая музыка?

— Да, да. Мой фюрер... чтоб он сдох! (нем.)

унд нахтс Вагнер, Бах, Бетховен унд андэрэ дейчен генос-сен эрклингэн, ди траурэнмузик ломпониэрэн кенэн...¹

— О, фрау, фрау,— закачал головой немец. — Об дэр готт ин дэр вельт экзистiert?² — и, припавши к ножкам кресла, начал отряхивать пыль и выбирать комочки глины из ковра, желая и не смея приблизиться к мертвому генералу.

В разжавшейся, уже синей руке генерала на скрюченном пальце висел пистолет. И не пистолет, этакая дамская штучка, из которой мух только и стрелять. И кобура на поясе была игрушечная, с гербовым тиснением. Однако из этого вот пистолета генерал застрелил себя. На груди его, под орденскими колодками и знаками различий, давленной клюквиной расплылось пятнышко. Генерал был худ, в очках, с серым, будто инеем взявшимся лицом. В полуоткрытом рту его виднелась вставленная челюсть. Очки не снялись даже после того, как он упал. Седую щетку усов под носом прочертила полоска крови, тоже припорошенная пылью. Косицы на лбу генерала провалились, обнаружив угловатый череп с глубокими залысинами. Шея выше стоячего воротника мундира была в паутине морщин и очернившихся от смерти жилок. Клещом впился в нее стальной крючок.

— Командующий группировкой,— разъяснил майор,— не захотел бросить своих солдат, а рейхскомиссар с высшим офицерьем удрал, сволочь! Разорвали кольцо на минуты какие-то и в танках по своим солдатам, подлецы!.. Неслыханно!

— Таранили и нас — не вышло! — не к месту похвастался Филькин и смешался.

Майор с интересом посмотрел на него, собирался что-то спросить, но в это время за клуней загрохотал танк и просигналила машина.

— Мешок железных крестов прислал фюрер погибающим солдатам. Вот они. Раздать не успели.— Майор попинал брезентовый мешок с железными застежками и покачал головой: — О боже, есть ли предел человеческого безумия?!

Корней Аркадьевич с интересом посмотрел на майора и собрался вступить с ним в разговор, но в это время уже раздраженно засигналила машина.

¹ — Сдохнет скоро, сдохнет, тогда день и ночь будут звучать Вагнер, Бах, Бетховен и все им подобные немецкие товарищи, умеющие сочинять похоронную музыку... (нем.).

² — О, фрау, фрау!.. Есть ли в мире Господь? (нем.)

Майор велел нести генерала. Борис из-под лба глянул на щеголеватого одетого, чисто выбритого офицера. «Фронт-овой барин! Надорваться опасается! Вся грязную работу нам...»

Филькин высвободил из руки генерала пистолет и протянул его майору. Глаза майора забежали: ему, видать, хотелось взять пистолет генерала и похвастаться перед штабными девицами таким редкостным трофеем. Но тут же истуканом стоял хмурый, костлявый солдат, щенком дрожал зеленый парнишка в горбатой шинели, с откровенной неприязнью глядел лейтенант с оторванной тесемкой у шапки — голодный, злой лейтенантишко.

— Да на кой мне такое орудье?! — небрежно отмахнулся майор. — Отдай вон ему — в память о благодетеле. — Майор, брезгливо сморщась, помогал старикашке немчику подняться с колен. — Или вон ей, — кивнул он на переводчицу.

— А что! Я не против, — не расслышав неприязни в голосе майора, завела глаза под зачерненные ресницы переводчица: — Исторический экспонат!..

Но комроты Филькин словно и не слышал, и не видел военную барышню. Он со щелчком вынул обойму из пистолетика и запустил ее в угол, за вейлку, вспугнув оттуда стайку затаившихся воробьев, после чего, словно бабку, подкинул пистолетик к ногам старика немца. Тот не брал пистолетик, пятился, и тогда переводчица снова взяла его под руку и запела, заворковала что-то теплое, нежное, бархатисто-чувствительное, не переставая в то же время стрелять глазами во все густеющее офицерье, с удовольствием отмечая, что ее видят и уже любят глазами.

Старик клюнул носом в поклоне, цапнул сухими птичьими лапками пистолетик, прижал к груди, будто икону: «Данке! Данке шён», — он тут же спохватился, догнал пехотинцев, неловко тащивших деревянное тело генерала, стянул с головы швейковскую пилотку. Волосы на нем росли клочковато, весь он, словно древняя плюшевая вещичка, побитая молюю. Суетясь вокруг стрелков, забегая то слева, то справа, что-то наговаривал выходец из пыльных веков, пытался помочь нести своего господина. По рыхлым щекам старика все попрыгивали слезы.

Смекалистые, бесстрашные фронтовые воробьи спорхнули на вейлку и нырнули в нее, как только люди удалились.

Возле клуни ждал «студебеккер» с открытым бортом, прицепленный к танку. Солдаты прицелились затолкнуть

покойника в кузов, но старенький немец, петушком подпрыгивая и ловясь за доски, лез в машину. Майор подсадил его, и солдат снова закланялся, забормотал что-то благодарственное, заискивающее.

Приняв бережно голову генерала, он волоком подтащил покойника к кабине, ногой раскатал пустые артиллерийские гильзы и, подсунув свою пилотку, опустил на нее затылком своего господина. Девушка-переводчица бросила в кузов высокий нарядный картуз. Ловко, точно вратарь, упав на одно колено, старикашка немец его изловил.

— Данке шён, фройляйн! — не забыл он учтиво поклониться переводчице и надел картуз на своего господина. Сразу из жалкого старика-покойника генерал превратился в важного сановитого мертвеца.

Командующий фронтом был уже возле саней, в голове которых на коленях стоял пожилой автоматчик, туго намотав вожжи на кулаки.

— Разумовский! — позвал командующий. Майор, руководящий погрузкой мертвого генерала, метнулся к саням.

— Су-шусь, та-рищ-рал! — как на параде, рывкнул майор.

Старикашка немец поднял голову, молитвенно сложив птичьи лапки, закатив глаза в небо, вежливо прося тишины.

Командующий с досадой шмыгнул носом и повелительно приказал:

— Схоронить генерала, павшего на поле боя, со всеми воинскими почестями: домовину, салют и прочее. Хотя прочего не можем.— Командующий отвернулся, опять пошмыгал носом.— Попов на фронте не держим. Панихиду по нему в Германии справят. Много панихид.

Кругом сдержанно посмеялись.

— Его собакам бы скормить за то, что людей стравил. За то, что Бога забыл.

— Какой тут Бог? — поник командующий, утирая нос рукавицей.— Если здесь не сохранил,— потыкал он себя рукавицей в грудь:— Нигде больше не сыщешь.

Борису нравилось, что сам командующий фронтом, от которого веяло спокойной, устоявшейся силой, давал такой пример благородного поведения, но в последних словах командующего просквозило такое запекшееся горе, такая юдоль человеческая, что ясно и столбу сделалось бы, умей он слышать, игра в благородство, агитационная иль еще какая показуха, спектакли неуместны, после того, что

произошло вчера ночью и сегодняшним утром здесь, в этом поле, на этой горестной земле. Командующий давно отучен войной притворяться, выполнял он чей-то приказ, и все это было ему не по нутру, много других забот и неотложных дел ждало его, и он досадовал, что его оторвали от этих дел. Мертвых и плененных генералов он, должно быть, невиделся вдосталь, и надоело ему на них смотреть.

Чего он приволокся, этот сановитый чужеземец, в заснеженную Россию? Улегся в этой колхозной клуне, на кукурузных снопах. Почему не принял капитуляцию? Стратег! Душа его, видать, настолько отутовела, что он разучился ценить человеческую жизнь. Долг? Страх? Равнодушие? Что руководило им? Почему он не застрелился раньше? Человек свободен в выборе смерти. Может быть, только в этом и свободен. Если этот руководящий немец не мог достойно жить, мог бы ради солдат, соотечественников своих, ради детей их, наконец, умереть раньше, умереть лучше. Он же знал, старый вояка, что группировка обречена, что надеяться на чудо и на Бога — дело темное, что у побежденных завоевателей не бывает даже могил и все, что ненавистно людям, будет стерто с земли. Чему он служил? Ради чего умер? И кто он такой, чтобы решать за людей — жить им или умирать?

Переводчица охотно, даже с умилением, перевела приказ командующего о погребении генерала, не расслышав все остальное, и старикашка немец, поднявшись в кузове, подобострастно начал кланяться командующему, прижав к животу свои лапки, и твердить привычную фразу, намертво засевшую в холуйской голове:

— Данке! Данке, шён, герр генерал...

Командующий что-то буркнул, резко отвернулся, натянул папаху на уши и по-крестьянски, бережно подоткнув полы шинели под колени, устроился в санях. Что-то взъерошенное и в то же время бесконечно скорбное было в узкой и совсем не воинственной спине командующего, и даже в том, как вытирал он однопалой солдатской рукавицей простуженный нос, виделась человеческая незащищенность. Так и не обернувшись больше, он поехал по полю. Сани качало и подбрасывало на бугорках, обнажало трупы и остатки трупов.

Кони вынесли пепельно-серую фигуру командующего на танковый след и побежали бойчее к селу, где уже рычали, налаживая дорогу, тракторы и танки. И когда за сугробами скрылись лошади и тоскливая фигура командующего, все долго и подавленно молчали.

— С ординарцем-то что делать — не спросили? — прервала молчание переводчица и снова многозначительно округлила красивые, подведенные глаза.

— А-а, пусть остается при своем хозяине, — раздраженно уронил майор Разумовский и закрыл борт кузова. — Не мне же обмывать этого красавца! — и повернулся к пехотинцам. — Можете быть свободны, ребята. Спасибо!

— Не на чем! — ответил за всех Филькин и потопал со своим воинством отыскивать командира полка.

Танк с прицепленной к нему машиной скоро их обогнал. Шофер машины, которого сорвали с рейса, рывками крутил руль, закусивши в углу рта мокрую сигарку, и чего-то сердито говорил майору Разумовскому, мотая головой на кузов, где гроыхали, катаясь, медные артиллерийские гильзы и старикашка немец оборонял от них покойного господина. Майор что-то отвечал шоферу и приветливо поднял руку в кожаной перчатке, прощаясь с пехотинцами, сошедшими в целик. Переводчица, стоявшая в кузове, даже глазочком не зацепилась за них.

— Лахудра! — Филькин звучно плюнул вслед машине. Шагнув в колею, пробитую танком, он брезгливо скрикнул: — Вонь от этого генерала или от этого денщика! В штаны они наклали, что ли?

Никто не поддержал разговора. Усталость, всегда наваливающаяся после боя, клонила всех в забытье, в сон. Неодолимо хотелось лечь тут же на снег, скорчиться, закрыть ухо воротником шинели и выключиться из этой жизни, из стужи, из себя выключиться.

А в хуторе людно и тесно. Набились туда толпы пленных. Среди них снова Мохнаков, оживленный, со сдвинутой на затылок шапкой.

— Старшина! — звонко крикнул Борис.

Мохнаков неохотно вылез из гущи пленных, заталкивая что-то в карманы.

— Ну, что ты орешь? — зашипел он. — Перемерзли все, как псы!

— Отставить!

— Отставить так отставить, — потащился за ним старшина и, думая, что у лейтенанта все еще со слухом не в порядке, выругался: — Откель и взялся на нашу голову?!

Одно желание было у Бориса: скорей уйти из этого расхлопанного хutora, от изуродованного, заваленного тру-

пами поля подальше, увести с собой остатки взвода в теплую, добрую хату и уснуть, уснуть, забыться.

Но не все еще перевидел он сегодня.

Из оврага выбрался солдат в маскхалате, измазанном глиной. Лицо у него было будто из чугуна отлито — черно, костляво, с воспаленными глазами. Он стремительно шел улицей, не меняя шага свернул в огород, где сидели вокруг подоженного сарая пленные, жевали что-то и грелись.

— Отдыхаете культурно? — пророкотал солдат и начал срывать через голову ремень автомата. Сбил шапку на снег, автомат запутался в башлыке маскхалата, он рванул его, пряжкой расцарапало ухо.

Немцы отвалились от костра, парализованно наблюдая за солдатом.

— Греться, живодеры! Я вас нагрею! Сейчас, сейчас... — Солдат поднимал затвор автомата срывающимися пальцами, Борис кинулся к нему и не успел. Брызнули пули по снегу, простреленный немец забился у костра, выгибаясь дугою, другой рухнул в огонь. Будто вспугнутые вороны, заорали пленные, бросились врассыпную, трое удирали почему-то на четвереньках. Солдат в маскхалате подпрыгивал так, будто подбрасывало его землю, скаля зубы, что-то дикое орал он и слепо жарил куда попало очередями.

— Ложись! — Борис упал на пленных, сгребал их под себя, вдавливая в снег.

Патроны в диске кончились. Солдат все давил и давил на спуск, не переставая кричать и подпрыгивать. Пленные бежали за дома, лезли в хлев, падали, проваливаясь в снегу. Борис вырвал из рук солдата автомат. Тот начал шарить на поясе. Его повалили. Солдат, рыдая, драл на груди маскхалат.

— Маришку сожгли-и-и! Селян в церкви сожгли-и-и! Мамку! Я их тыщу... Тыщу кончу! Гранату дайте! Резать буду, грызть!..

Мохнаков придавил солдата коленом, тер ему лицо, уши, лоб, греб снег рукавицей в перекошенный рот. Солдат плевался, пинал старшину.

— Тихо, друг, тихо!

Солдат перестал биться, сел, озираясь, сверкая глазами, все еще накаленными после припадка. Разжал кулаки, облизал искусанные губы, схватился за голову и, уткнувшись в снег, зашелся в беззвучном плаче. Старшина принял шапку из чьих-то рук, натянул ее на голову солдата, протяжно вздохнул, похлопал его по спине.

...В ближней полуразбитой хате военный врач с засученными рукавами бурого халата, напяленного на телогрейку, перевязывал раненых, не спрашивая и не глядя — свой или чужой.

И лежали раненые вповалку — и наши, и чужаки, стояли, вскрикивали, плакали, иные курили, ожидая отправки. Старший сержант с наискось перевязанным лицом, с наплывающими под глаза синяками, послонявил сигарку, прижег и засунул ее в рот недвижно глядевшему в пробитый потолок пожилому немцу.

— Как теперь работать-то будешь, голова? — невнятно из-за бинтов бубнил старший сержант, кивая на руки немца, замотанные бинтами и портянками. — Познобился весь. Кто тебя кормить-то будет и семью твою? Хюрер? Хюреры, они накормят!..

В избу клубами вкатывался холод, сбегались и сползались раненые. Они тряслись, размазывая слезы и сажу по ознобелым лицам.

А бойца в маскхалате увели. Он брел, спотыкаясь, низко опустив голову, и все так же затяжно и беззвучно плакал. За ним с винтовкой наперевес шел, насупив седые брови, солдат из тыловой команды, в серых обмотках, в короткой прожженной шинели.

Санитар, помогавший врачу, не успевал раздевать раненых, пластать на них одежду, подавать бинты и инструменты. Корней Аркадьевич включился в дело, и легко раненный немец, должно быть, из медиков, тоже услужливо, сноровисто начал обихаживать раненых.

Рябоватый, кривой на один глаз врач молча протягивал руку за инструментом, нетерпеливо сжимал и разжимал пальцы, если ему не успевали подать нужное, и одинаково угрюмо бросал раненому:

— Не ори! Не дергайся! Ладом сиди! Кому я сказал, ладом!

И раненые, хоть наши, хоть исчужа, понимали его, послушно, словно в парикмахерской, замирали, сносили боль, закусывая губы.

Время от времени врач прекращал работу, вытирал руки о бязевую онучу, висевшую у припечка на черенке ухвата, делал козью ножку из легкого табака. Он выкуривал ее над деревянным стиральным корытом, полным потемневших бинтов, рваных обуви, клочков одежды, осколков, пуль, желтых косточек. В корыте смешалась и загустела брусничным киселем кровь раненых людей, своих и чужих. Вся она была красная, вся текла из ран, из

человеческих тел с болью. «Идем в крови и пламени, в пороховом дыму».

Топилась щелястая, давно не мазанная печь. Горели в ней обломки частокола, ящики из-под снарядов. Дымно было в избе и людно.

Врач, из тех вечных «фершалов», что несут службу в лесных деревушках или по старым российским городишкам, получая малую зарплату, множество нагоняев от начальства и благодарностей от простолюдыя, коему он драл зубы, вырезал грыжи, спасал баб от самоубортов, боролся с чесоткой и трахомой,— врач этот высился над распластавшимися у его ног людьми, курил, помаргивал от дыма, безразлично глядя в окно, и ничего его вроде бы тут не касалось. Выше побоища, выше кровопролития надлежало ему оставаться и, как священнику во время панихиды, «быв среди горя и стенаний», умиротворять людей спокойствием, глубоко спрятанным состраданием.

Корнея Аркадьевича трясло, постукивали у него зубы, он, вытирая снегом руки, когда вышли из избы, завел:

— Вот чем она страшна! Вот чем! В крови по шею стоит человек, глазом не моргнет...

— Ничего вы не поняли! Зудите, зудите...— Борис чуть было не сказал: врачу, мол, этому труднее, чем тебе, Ланцов. Ты свою боль по ветру пускаешь, и цепляется она репьем за другие души. Но он вспомнил и сказал совсем о другом: — Мохнаков где?

— Умотал куда-то,— пряча глаза, отозвался Шкалик.

«Вот еще беда!» — Борис вытер мокрые руки о полы шинели, потащил из кармана рукавицы.

— Идите во вчерашнюю избу, займут ее. Я скоро...

В оврагах, жерласто открытых, сверху похожих на сваленные ветвистые ели, в подмоинах ручья все изрыто, искромсано бомбами и снарядами. В перемешанной глине и снегу валялись убитые кони, люди, оружие, колеса, банки, кружки, фотокарточки, книжки, обрывки газет, листовок, противогазы, очки, шлемы, каски, тряпки, одеяла, котлы и котелки, даже пузатый тульский самовар лежал на боку, иконы с русскими угодниками, подушки в деревенских латаных наволочках — все разорвано, раздавлено, побито все, ровно бы как после светопреставления,— дно оврагов походило на свежую лесосеку, где лес порублен, увезен, остались лишь ломь, пенья, обрубки. Трупы, трупы, заброшенные комьями земли, ворохами сена. Многие трупы уже выкорчеваны из сугробов, разуты, раздеты. У совсем уж

бедных мертвецов вывернуты карманы, оборванные вместе с цепочками, сдернуты с ниток нательные кресты. Здесь уже попаслись, пострадавали стервятники-мародеры. Вокруг каждого растерзанного до шкуры, до гривы и хвоста разобранного остова мертвого коня густая топина, отпечатки солдатской обуви, вороньих лап, собачьих или волчьих следов. И всюду, в ухоронке, под навесами оврагов, малые костерки, похожие на черные язвочки. Возле одного костерка на короточках сидел немец, замотанный в тряпки, перед ним на винтовке, воткнутой штыком в снег, котелок с черным конским копытом. Солдат совал под котелок горсточку сухого бурьяна, щепочки, отстругнутые от приклада винтовки, в надежде сварить еду, хлебнуть горячего — так они вместе и остыли, костерок и солдат, которому даже и упасть некуда было, снег завалил его со всех сторон, сделался белой ему купелью. «Вот сюда бы Гитлера приволочь полюбоваться на это кино».

К убитому немецкому офицеру вел след новых, вовнутрь стоптанных валенок. Борис загреб снегом лицо покойного с разъятой, разорванной пастью, забитой кроваво смерзшейся крошкой, и пьяно побежал вниз по оврагу, уже не останавливаясь возле выкорчеванных трюпов.

В глубине оврага, забросанная комьями глины, лежала убитая лошадь. Во чреве ее рылась собака, вжимая хвост в облезлые холки. Рядом прыгала хромая ворона. Собака, по-щенячьи твякая, бросалась на нее. Ворона отлетала в сторону и ждала, чистя клюв о снег.

Взгляд собаки неведомой породы, почти голотелой, с наборным, вяло болтающимся ошейником, был смутен и дик. Собака дрожала от холода, алчности. Длинными, примороженными, что капустные листья, ушами да дорогим ошейником она еще напоминала пса редких кровей из какого-нибудь благопристойного рейнского замка.

— Пошла! Цыть! Пошла! — затопал Борис и расстегнул кобуру.

Собака отскочила, вжав хвост еще глубже в провалившийся зад, и уже не по-щенячьи затыкала, а раскатисто зарычала, обнажив источенные зубы. Она щерилась, одновременно слизывая сукровицу с редких колючек, обметавших морду, и все дрожала, дрожала обзислой голой кожей, под которой было когда-то барски холеное тело. Ворона, сидя на козырьке оврага, перестала чистить клюв в снегу, воззрясь на человека и собаку, внезапно закаркала призывно, перевозбужденно.

Борис опасно обошел собаку и, не переставая оглядываться, поспешил в глубь оврага. Ворона, проводив его поворотом головы, спорхнула вниз и смолкла. Борис облегченно снял руку с пистолета.

За ближним поворотом оврага, в вершинке его, поросшей чернобыльником, крапивой, кустарником, сплошь выломанным на топливо, Борис увидел шустро орудующего кузнечными щипцами человека. По горбатой спине, по какой-то пакастой, песьей торопливости он узнал, кто это и что делает. Борис хотел закричать, но сведенные губы зашевелились сперва с шипом, потом, словно пар пробивши, пошел изнутри взводного скулеж, собачий, сдавленный.

Старшина резко обернулся. Лицо его начало бледнеть. Он следил за рукой лейтенанта — не полезет ли тот в кобуру. Но Борис не двигался, даже не моргал. Все так же резиново шевелились его обескровленные губы, задержалось горло в пупырышках, зачерненных грязью. Старшина бросил в снег ржавые щипцы, валенком забросал разъятый рот мертвеца.

— Ну что ты, что ты? — подойдя, похлопал он Бориса: — Не бойсь, тут все свои.

— Не прикасайся ко мне!

— Да не прикасаюсь, не прикасаюсь, — отступил старшина, прикрывая будничностью тона смятение, может, и страх. — Бродишь, понимаешь... Враг кругом... Мины кругом... Может рвануть, а ты бродишь...

Взводный переломился в пояснице и, волоча ноги, почти касаясь руками снега, подошел к стене оврага, лбом привалился к мерзлой, пресно пахнущей земле. Горло его порезанно дергалось, выжимая клейкую слюну. С теменью в глазах стоял он и отходил от оморочи, вытирая рукавом губы. Глянул на небо, стоял какое-то время, ничего не понимая, но различил свет и пошел на него. Все колыхалось перед ним, он упал в воронку, стукнулся о мерзлые комья и от боли очнулся.

Два окоченелых эсэсовца сидели в глубокой бомбовой воронке и в упор смотрели на него судачьими глазами. Лейтенант забился, замычал, срывая ногти, пытался вылезть наверх.

Мохнаков плеснул в рот чего-то горячего и этим горячим словно бы прочно заткнул дыру в мерзло дребезжащем нутре Бориса. Что-то скребло его, отдавалось в ушах — он глядел, не понимая. Старшина ножом очищал шинель на нем.

— Не... не... не...

— Экий ты, ей-богу какой! — старшина с досадой щелкнул трофейным ножом. — Война ведь это война — не кино! Пойми ты! Тут, видал? Голый голого тянет и кричит: «Рубашку не порви!» — принюхавшись по-собачьи, старшина совсем уж обыденно закончил: — Славяне борова палят! Пищу варят, бани топят... Живой о живом... А ты? — он громко высморкался, достал кисет. Кисета у него оказалось два: один красный, из парашютного шелка, другой холщовый, с кисточками, вышитый кривыми буквами. Какие-то далекие и милые девчушки посылали такие кисеты на фронт с трогательными надписями: «Давай закурим!», «На вечную память и верную любовь!», «Любовь моя хранит тебя!»...

Старшина раздернул тесемки на красном кисете, поднес его под нос взводному. В кисете были колечки с примерзшей к ним кожей, золотые зубы, вывернутые вместе с окровленными корнями, ладанки, крестики, изящный портсигар.

— Видал? Нюхай вот. И молчи.

Борис словно вывернутой, слабой рукой отводил, отталкивал от себя кисет.

— Нет, ты смотри, смотри, мотай на ус.

— Да не хочу я этого видеть, не хочу! — через продолжительное время, подавленно, но внятно заговорил Борис. — Зачем тебе это?

— А ты будто и не знаешь?

— Догадываюсь. Ребята уже давно заметили неладное. Пафнутьев раньше всех. Да я-то не верил.

— Теперь поверишь! — старшина харкнул в снег. — Курить будешь? И не надо, не учись. Храни здоровье. И честь смолоду. Ох-хо-хо-хо-ооо! Ох-хо-хо-хо-ооо, — вдруг захохотал, завыл, заохал старшина и, упав на землю, начал биться лицом в мерзлые комки: — Ох, война, ох, война-а-а, война-а-а, па-адла-а-ааа! Ох, блядь!..

— Мохнаков! Мохнаков! — топтался вокруг него Борис. — Да Мохнаков! Перестань! Ну что ты, ей-богу. Ну перестань! Ну, старшина же...

Когда, из чего, чем развели они огонек, Борис помнил плохо, но тепло почуял. Потянул к нему руки, морщась от кислого бурьянного дыма, приходил в себя. Воткнув на винтовочные шомпола по куску полузамерзшего кислого хлеба, старшина отогревал хлеб, отогревался сам и отдаленно, глухо повествовал:

— Я, паря, землячок мой дорогой, в тятю удался. Он у меня, родимай, все хвалился, что с пятнадцати лет к солдаткам хмель-пиво пить ходил, а я, паря, скромнее был его: только в шестнадцать оскоромился. В семнадцать тятка давай меня женить скорее, а то, говорит, убьют, обормота, мужики, иль бабы от любви задушат. В восемнадцать у меня уж ребенок в зыбке пицал и титьку требовал. В девятнадцать второй появился, да все девки — Зойка, Малашка, я уж парня начал выкраивать да вытачивать, да тут меня — хоп и в армию, и с тех пор я, почитай, дома и не видел. В отпуске после Халхин-Гола был, и все. Правда, парня все-таки успел за отпуск смастерить — мастак я на эти дела, о-ох, мастак! Мне вот юбку на бочонок с селедкой надень или платье на полевую кухню надень и скажи — баба, дай выпить — и полезу, никакой огонь меня не остановит!

Хлебушек совсем раскис, но был горяч, пах дымом, хрустел угольком, тепло расходилось по нутру.

— ...Тебе уже двадцатый, — напрягся слухом Борис, — но ты еще и не знаешь, куда она комлем лежит. Немцам вон и бордели, и отпуска... а у нас потаскушку свалишь — и праздник тебе.

«Чего это он? — снова заставил себя слушать Борис. — А-а, про баб опять...»

— К потаскушкам бы и приставал. Зачем же к честной женщине-то лезешь? Озверел?

— Все они честные. Такая вот «честная» и наградила трофейным добром. Столько поубито и столько сведено народу, чего там какая-то бабенка... А ты бы вправду застрелил бы меня? — испытывающе, сбоку глядел Мохнаков на лейтенанта.

— Да!

Старшина скрипуче крикнул, затянулся сигаркой, выпустил себе в глаза дым.

— Светлый ты парень! Почитаю я тебя. — Мохнаков пальцами раздавил сигарку, вытер руку об валенок. — За то почитаю, чего сам не имею... Э-эх. Шибко ты молод. Не понять тебе. Весь я вышел. Сердце истратил... И не жаль мне никого. Мне и себя не жаль. Не вылечусь я. Не откуплюсь этим золотом. Так это. Дурь, блажь. Баловство.

Чувствуя себя совсем виноватым, Борис произнес:

— Может, попросить полкового врача?.. Я бы... мог...

— Ду-ура! Не суйся уж куда тебя не просят!.. Эх ты, Боря, Боря, разудала голова! Меня ж в штрафную запердят.

- В штрафную?
- Ну а куда же еще?
- Да за что в штрафную-то?
- За смелость. Понял?
- Пойдем отсюда, Мохнаков, а? Пойдем!

Старшина хотел стряхнуть снег и землю с обвислой спины лейтенанта, руку уж было протянул, но спохватился, убрал руку, еще запоет: «Не... не... не...»

По слепому отростку оврага, до краев забитому яркочелым, рыхлым снегом, пер старшина с выпущенными поверх валенок брюками, торил дорогу. Во всей его с размаху, топором рубленной фигуре, в спине, тугой, как мешок с мукою, и в крутом медвежьем загривке, чудилось что-то сумрачное. В глуби его, что в тайге, которая его породила, угадывалось что-то затаенное и жутковатое, темень там была и буреломник.

Борису даже и не хотелось привыкать к мысли, что такого диковинной силы человека можно потерять из-за пустяка. Богатырь и умирать должен по-богатырски, а не гнить от паршивой болезни морально ущербных морячков и портовых проституток. Старшина начал отступать еще с границы, не однажды валялся в госпитале, знал холод, окружения, прорывы, но в плен не угодил. Везло, говорит, и, наверное, оттого везло, что придерживался старинного правила русских воинов — лучше смерть, чем неволя.

Старшина вжился в войну, привык к ней и умел переступить те мелочи, которые часто бывают не нужны на войне, вредны фронтовой жизни. Он никогда не говорил о том, как будет жить после войны. Он мог быть только военным, умел только стрелять и ничего больше. Так думалось о нем. А что теперь? Что дальше?

Борис уткнулся в жестяную твердь полушубка Мохнакова. Старшина остановился у среза земли, упершись во что-то глазами. Лейтенант проследил за взглядом Мохнакова. Втиснувшись задом в норку, выдолбленную в стене оврага, толсто заваленного снегом, сидел немец. Рукавица с кроликовой оторочкой была высунута из снега и на ней лежали часы. Дешевенькие, штампованные часы швейцарской фирмы, за которые больше литра самогона цивилизные люди не давали.

Старшина валенком разгреб ноги немца. Снег наверху был чист и рассыпчат, но внизу состылся в кровавые комки. Ноги немца, игрушечно повернутые носками сапог в разные стороны, покоились ровно бы отдельно от человека.

Немец дернулся к старшине, но тут же перевел тусклый взгляд на Бориса, шевельнул обметанным щетиной ртом:
— Хифе... Хильфе...

Под недавней, остренькой, но уже седой щетиной шелушились коросты, впалые щеки земляно чернели, всюду: в коростах, в бровях и даже в ресницах — копошились, спешили доесть человека вши.

— Хильфе! Хильфе!.. За мир битте... реттен зи мих...

— Чего он говорит?

— Просит спасти.

— Спаси! — Мохнаков покачал головой. — С двумя-то перебитыми лапами? — старшина снова отхаркнулся в снег. — Своих с такими ранениями хоронить сегодня будем...

Борис начал без надобности заправлять шинель, шарить руками по поясу.

Немец ловил его взгляд:

— Реттен зи виллен... Хильфе...

— Иди-ка отсудова, лейтенант.

— Ты что? Ты что задумал?

— Я тебе сказал — иди! — снимая с плеча автомат, повторил Мохнаков. — И не оглядывайся.

Борис понимал — немец обречен, иначе такой живучий человек примет еще столько нечеловеческих мук, и самая страшная и последняя мука, когда твари ползучие доедают человека. Добивши этого горемыку, Мохнаков сотворит большую милость, иначе они будут спускаться по остывающему телу, с головы, из ушей, бровей под одежду, облепят пояс, кишеть будут под мышками и, наконец, в комок собьются в промежности, будут жрать бесчувственное тело, пока оно еще теплое, потом сыпанут с него серой пылью, покопоятся и застынут вокруг трупа. Они тоже подохнут! Напьются крови, нажрут и передохнут! Пере-до-о-охнут!..

Неистовое, мстительное чувство охватило Бориса, вызвало в нем прилив негодования, но голос еще живого человека, испеченный морозом, царапал сердце.

Немец вывалился из норки, дергался в снегу живым до пояса туловищем, пытался ползти за Борисом и все протягивал ему руку. Он еще надеялся выкупить свою жизнь такими крохотными, такими дешевенькими часами.

— Да иди же ты, ебут твою мать! — гаркнул Мохнаков.

Рванувшись вверх, Борис приступил полу шинели, упал и замолотил, замолотил руками и ногами, словно выбивался вплавь из давящей глубины.

Донеслось хриплое, надтреснутое завывание — так кричат в тайге изнемогающие звери, покинутые своим табуном.

Борис прикрыл уши рукавицами, но он слышал, слышал предсмертный вой и экономную очередь автомата, оборвавшую его.

Под ясным и холодным солнцем, окольцованным стужей, укатывающимся за косогор, двигались люди. Снежно и тихо было вокруг, до звона в ушах.

Мохнаков догнал Бориса в поле, подвел к повозке, опрокинул ее, вытряхнув, будто из домовины, окоченевшего раненого, хлопнул по дну повозки ладонью, с исподу и вовсе на домовину похожей, разулся и начал вытряхивать из валенок снег.

— Чо сидишь-то? Маму вспомнил? Переверни портянки сухим концом!

Борис стягивал валенки, вытряхивал и выбирал из них горстями снег, а в голове его само собой повторялось и повторялось: «Больную птицу и в стае клюют. Больную птицу...»

От хутора к местечку тянулись колонны пленных. В кюветах, запорошенных снегом, валялись убитые кони и люди. Кюветы забиты барахлом, мясом и железом. За хутором, в полях и возле дороги скопища распотрошенных танков, скелеты машин. Всюду дымились кухни, уже налажены были пожарки: бочки из-под бензина, под которыми пластался огонь; в глухо закрытых бочках, на деревянном решетье прожаривалось белье, гимнастерки и штаны. Солдатня в валенках, в шапках и шинелях плясала вокруг костров. Так будет полчаса. Затем белье и гимнастерки — на себя, шинели, валенки и шапки — в бочку.

Миротворно постукивали движки. Буксовали машины. В полях темнели пятна сгоревших скирд соломы. Возле густого бора, вздымающегося по склону некрутого кособобка, стояли закрытые машины и палатки санрот. Здесь показывали кино на простыне, прикрепленной к стволам сосен. Лейтенант и старшина немного задержались, посмотрели, как развеселый парень Антоша Рыбкин, напевая песни, запросто дурачил и побеждал затурканных, суетливых врагов.

Зрители чистосердечно радовались успехам киношного вояки.

Сами они находились на совсем другой войне.

«Идем в крови и пламени, в пороховом дыму».

Скрипели и скрипели шаги по снегу. Тянулись и тянулись колонны пленных по дороге, отмеченных реденькими столбами с обрезью вислых проводов, втянутых в снег. Столбы либо уронены и унесены на дрова, либо внаклон, редко-редко где одиноким истуканчиком торчал сам по себе бойкий подбоченившийся столбик.

Старшину и Бориса согнали на обочину дороги «студебекеры». В машинах плотно, один к одному, сидели, замотанные шарфами, подшлемниками, тряпьем, пленные. Все с засунутыми в рукава руками, все согбенные, все одинаково бесцветные и немые.

— Ишь,— ругался Мохнаков,— фрицы на машинах, а мы пешком! Хоть дома, хоть в плену, хоть бы на том свете...

— Часы-то взял?

— Не, выбросил.

Вечер медленно опускался. Радио где-то слышалось. Синь проступала по оврагам, жилистой сделалась белая земля. Тени от одиноких столбов длинно легли на поля. Под деревьями загустело. Даже в кювете настоялась синь.

Ходили саперы со щупами и тоже таскали за собой синие, бесплотные тени. Поля в танковых и машинных следах. Израненная, тихая земелюшка вся перепоясана серыми бинтами. Из края в край по ней искры ходили, не остыло еще, не отболело, видать, страдающее тело ее, синими сумерками накрывало усталую, безропотную землю.

Хозяйки дома не было. Солдаты все уже спали на полу. Дневалил Пафнутьев. Морда у него подозрительно раскраснелась. Ушные глазки сияли лучезарно и возбужденно. Ему хотелось беседовать и даже петь, но Борис приказал Пафнутьеву ложиться спать, а сам примостился у печки, да так и сидел, весь остывший изнутри, на последнем пределе усталости.

Он время от времени облизывал губы, шершавые, что еловая шишка. Ни двигаться, ни думать не хотелось, только бы согреться и забыть обо всем на свете. Жалким, одиноким казался себе Борис и рад был, что никто его сейчас не видит: старшина снова остался ночевать в другой избе, хозяйка по делам, видать, куда-то ушла. Кто она? И какие у нее дела могут быть, у этой одинокой, нездешней женщины?

Дрема накатывает, костенит холодом тело взводного.

Чувство гнетущего, нелегкого покоя наваливается на него. Не познанная еще, вялая мысль о смерти начинает червяком шевелиться в голове, и не пугает, наоборот, как бы пробуждает любопытство внезапной простоты своей: вот так бы заснуть в безвестном местечке, в чьей-то безвестной хате и ото всего отрешиться. Разом... незаметно и навсегда...

Было бы так хорошо... разом и навсегда.

А дальше пошло-поехало, полусон, полубред, он и сам понимал всю его нелепость, но очнуться, отогнать от себя липкое, полубредовое состояние не мог, не было сил.

Виделась ему в ломаном, искрошенном бурьяне черная баня, до оконца вросшая в землю, и он даже усмехнулся, вспомнив сибирскую поговорку: «Богатому богатство снится, а вшивому — баня...»

Вот баня оказалась на льду, под ней таяло, и она лепехой плавала в навозной жиже, соря черной сажой и фукая пламенем в трубу. Из бани через подтай мостки неизвестно куда проложены. По мосткам, зажав веник под мышкой, опасно пробирался тощий человек. Борис узнал себя. В бане докрасна раскаленная каменка, клокочет вода в бочке, пар, жара, но на стенах бани куржак. Человек уже не Борис, другой какой-то человек, клацая зубами рвет на себе одежду и, подпрыгивая, орет: «Идем в крови и пламени...» — пуговицы булькают в шайку с водой. Человек хлещет прямо из шайки на огненно горячую каменку. Взрыв! Человек ржет, хохочет и пляшет голыми ногами на льду, держа на черной ладони сверкающие часики, в другой руке у него веник, и он хлещет себя, хлещет, завывая: «О-о-ох, война-а-аа! Ох, война-а-аа!» Весь он черный делается, а голова белая, вроде бы в мыльной пене, но это не пена, куржак это. Человек рвет волосы на голове, они не рвутся, ломаются мерзло, сыплются, сыплются. Человек выскочил из бани — мостки унесло. Прислонив руку к уху, человек слушает часы и бредет от бани все глубже, дальше — не по воде, по чему-то черному, густому. Кровь это, прибором, валом накатывающая кровь. Человек бросает часики в красные волны и начинает плескаться, ворохами бросает на себя кровь, дико гогоча, ныряет в нее, плывет вразмашку, голова его чем дальше, тем чернее...

Никогда, наверное, ни один человек не радовался так своему пробуждению, как Борис обрадовался ему. Впрочем, было это не пробуждение, а какой-то выброс из чудовищного помутнения разума. Казалось, еще маленько, чуть-чуть еще продлить тот кошмар, и сердце его, голова,

душа его или то, что зовется душой, не выдержат, возопят и разорвутся в нем, разнесут в клочья всю его плоть, все, в чем помещается эта самая человеческая душа.

«Во довоёвался! Во налюбовался видами войны!» — тихая, раздавленная, зашевелилась первая мыслишка в голове Бориса после того, как он, чуть не упавши с припечка, очнулся и для начала ощупал себя, чтобы удостовериться, что он — это он, жив пока, все свое при нем, разопрел он и угорел он возле печки, растрескавшейся от перегрева.

Воинство спит, Шкалик бредит, Ланцов рукой по соломе водит — выступает, речь говорит, философствует. Пафнутьев напился-таки на дармовщинку до полных кондиций, и как хрястнулся со скамьи под стол, так там меж ножек и заснул, высунув наружу голову, как петух из курятника.

«Что это я? Что за блажь? Что за дурь в голову лезет? Так ведь и спятить можно. Люди как люди, живут, воюют, спят, врага добивают, победу добывают, о доме мечтают, а я? «Книжков начитался!» Правильно Пафнутьев, правильно, ни к чему книжки читать, да и писать тоже. Без них убивать легче, жить проще!..»

Придерживаясь за стены, ощупью Борис пробрался в маленькую комнатку. Не открывая глаз, разделся, побросал амуницию куда-то во тьму, упал на низкую кровать.

Никакие потрясения не могли еще отнять стремления молодого тела к отдыху и восполнению сил.

И снова виделся ему сон, снова длинный, снова нелепый, но этот начинался хорошо, плавно, и, узнавая этот сон-воспоминание, лейтенант охотно ему отдался, смотрел будто кино в школьном клубе: земля, залитая водою, без волн, без трещин и даже без ряби. Чистая-чистая вода, над нею чистое-чистое небо. И небо и вода оплеснуты солнцем. По воде идет паровоз, тянет вагоны, целый состав, след, расходясь на стороны, растворяется вдали. Море без конца и края, небо, неизвестно где сливающееся с морем. И нет конца свету. И нет ничего на свете. Все утопло, покрылось толщей воды.

Паровоз вот-вот ухнет в глубину, зашипит головешкою, и коробочки вагонов, пощелкивая, ссыплются туда же вместе с людьми, с печами, с нарами и солдатскими пожитками. Вода сомкнется, покроет гладью то место, где шел состав. И тогда мир этот, залитый солнцем, вовсе успокоится, будет вода, небо, солнце — и ничего больше!

Зыбкий мир, без земли, без леса, без травы. Хочется подняться и лететь, лететь к какому-нибудь берегу, к какой-нибудь жизни.

Но тело приросло к чему-то, вкоренилось. Ощущением безнадежности, пустоты наполнилось все вокруг. Усталые птицы, изнемогая в непрерывном полете, падали на крыши вагонов, громко бухали крыльями по железу. Их закруживало, бросало в двери, они шарахались по вагону.

И опять тот человек из бани, нагой, узластый, явился, начал махать веником, гоняться за птицами, сшибал их веником, свертывал им головы, бросал их под нары. Птицы предсмертно там бились, хрипло крича: «Хильфе! Хильфе!». Лейтенант хватал человека за руки, пробовал отнять у него веник. «Жрать чего-то надо?! — отбивался от него, отмахивал его веником человек. — Приварок сам в руки валит!» А птицы все хрипели: «Хильфе! Хильфе!». Выскальзывая из вагона, они беззвучно хлопали крыльями по воде. Были они все безголовые, игрушечно крутились на одном месте, из черенков шей ключом била кровь, и снова волны крови заплескались вокруг, и паровоз уже шел не по воде, а по густеющей крови, по которой вразмашку плыл человек, догоняя безголовую утку, он ее хватал, хватал ртом, зубами и никак не мог ухватить...

Сон крутился на одном месте. Жутко, невыносимо было. Борис занес ногу над пустотой, чтобы выпрыгнуть из бешено мчавшегося вагона, чтобы избавиться от этой жути, и замер, почувствовав на себе пристальный взгляд.

Он вздрогнул, схватился за кровать и привстал, поднятый этим взглядом.

Рядом стояла Люся.

— У вас горел свет, — заговорила она поспешно. — Я думала, вы не спите... Я выстирала верхнее. Белье бы еще постирать...

Он еще не вышел из сна, ничего не понимал. Когда он ложился спать, света не было.

— Я думала, вы... — снова начала Люся и остановилась в замешательстве. Долго стояла она над ним, склонившись, смотрела, смотрела на него и досмотрелась.

Быстро-быстро, мешая русские и украинские слова, чтобы не дать себе остановиться, она продолжала: как хорошо, что пришли ночевать снова те же военные. Она уже привыкла к ним. Жалко вот, не смогла их снова уговорить пойти в чистую половину. На кухне устроились... А на улице морозно... Хорошо, что бои кончились. Еще лучше, если бы вовсе война кончилась... А солдаты где-то

раздобыли сухих дров. Сегодня они неразговорчивые, сразу спать легли, и выпивал только один пожарник-кум...

— Какой я сон видел!

Нет, он ее не слышал, не отошел еще ото сна, говорил сам с собою или за кого-то ее принимал.

— Страшный, да? Других снов сейчас не бывает...— Люся поникла головой.— Я думала, вы больше не придете...

— Почему же?

— Я думала, вдруг вас убьют... Стрельба такая была...

— Это разве стрельба? — отозвался он, протер глаза тыльной стороной руки и внезапно увидел ее совсем близко. В разрезе халата начинался исток груди. Живой ручеек катился стремительно вниз и делался потоком. Далеко где-то, оттененное округлостями, таинственно мерцало ясное женское тело. Оттуда ударяло жаром. А рядом было ее лицо, с вытянутыми, смятенно бегающими глазами. Борис слышал, слышал — кисточки кукольно загнутых ресниц щекочут кожу на его щеке. Сердце взводного начало колотиться, укатываясь под гору. Приглушая разрастающееся в груди стучание, все ускоряющийся бег, он сглотнул слюну.

— Какая... ночь... тихая... — и минуту спустя уже ровнее: — Снилось, как мы по Барабинской степи на войну ехали... Степь, рельсы — все под разливом. Весна была. Жутко так... — Он чувствовал: надо говорить, говорить и не смотреть больше туда. Нехорошо это, стыдно. Человек забылся, а он уже и заподглядывал, задрожал весь! — Какая ночь... глупый сон... какая ночь... тихая... — Голос его пересох, ломался, все в нем ломалось: дыхание, тело, рассудок.

— Война... — тоже с усилием выдохнула Люся. Что-то замкнулось и в ней. Слабым движением руки она показала — война откатилась, ушла дальше.

Глаза плохо видели ее, все мутилось, скользило и укатывалось куда-то на стучащих колесах. Женщина качалась безликой тенью в жарком, все сгущающемся пале, который клубился вокруг, испепеляя воздух в комнате, сознание, тело... Дышать нечем. Все вешее в нем сгорело. Одна всеильная власть осталась, и, подавленный ею, он совсем беззащитно пролепетал:

— Мне... хорошо... здесь... — и, думая, что она не поймет его, раздавленный постыдностью намека, он показал рукой: ему хорошо здесь, в этом доме, в этой постели.

— Я рада...— донеслось издали, и он так же издалека, не слыша себя, откликнулся:

— Я тоже... рад...— И, не владея уже собой, сопротивляясь и слабея от этого сопротивления еще больше, протянул к ней руку, чтобы поблагодарить за ласку, за приют, удостовериться, что эта, задернутая жарким туманом тень, качающаяся в мерклом, как бы бредовом свете, есть та, у которой стремительно катится вниз исток грудей, и кружит он кровь, стремящееся набатом сердце под ослепительно мерцающим загадочным телом. Женщина! Так вот что такое женщина! Что же это она с ним сделала? Сорвала, словно лист с дерева, закружила, закружила и понесла, понесла над землею — нет в нем веса, нет под ним тверди...

Ничего нет. И не было. Есть только она, женщина, которой он принадлежит весь до последней кровинки, до остатного вздоха, и ничего уж с этим поделать никто не сможет! Это всего сильнее на свете!

Далеко-далеко, где-то в пространстве он нащупал ее руку и почувствовал пупырышки под пальцами, каждую, даже невидимую глазом пушинку тела почувствовал, будто бы не было или не стало на его пальцах кожи и он прикоснулся голым нервом к ее руке. Дыхание в нем вовсе прекослось. Сердце зашло в яростном бое. В совсем уж бредовую темень, в совсем горячий, испепеляющий огненный вал опрокинул взводного.

Дальше он ничего не помнил.

Обжигающий просверк света ударил его по глазам, он загнанно упал лицом в подушку.

Не сразу он осознал себя, не вдруг воспринял и ослепительно яркий свет лампочки. Но женщину, прикрывшую рукою лицо, увидел отчетливо и в страхе сжался. Ему так захотелось провалиться сквозь землю, сдохнуть или убежать к солдатам на кухню, что он даже тонко простонал.

Что было, случилось минуты назад? Забыть бы все, сделать бы так, будто ничего не было, тогда бы уж он не посмел обижать женщину разными глупостями — без них вполне можно обойтись, не нужны они совершенно...

«Так вот оно как! И зачем это?» — Борис закусил до боли губу, ощущая, как отходит загнанное сердце и выравнивается разорванное дыхание. Никакого такого наслаждения он как будто и не испытал, помнил лишь, что женщина в объятиях почему-то кажется маленькой, и от этого еще больше страшно и стыдно.

Так думал взводный и в то же время с изумлением ощущал, как давно копившийся в теле навязчивый, всегда-

шний груз сваливается с него, тело как бы высветляется и торжествует, познав плотскую радость.

«Скотина! Животное!» — ругал себя лейтенант, но ругань вовсе отдельно существовала от него. В уме — стыд, смятение, но в тело льется благодное, сонное успокоение.

— Вот и помогла я фронту.

Борис покорно ждал, как после этих, внятно уроненных слов женщина влепит ему пощечину, будет рыдать, кататься по постели и рвать на себе волосы. Но она лежала мертво, недвижно, от переносицы к губе ее катилась слеза.

На него обрушились неведомые доселе слабость и вина. Не знал он, как облегчить страдание женщины, которое так вот грубо, воспользовавшись ее кротостью, причинил он ей. А она хлопотала о нем, кормила, поила, помыться дала, с портянками его вонючими возилась. И, глядя в стену, Борис повинился тем признанием, какое всем мужчинам почему-то кажется постыдным.

— У меня... первый раз это... — и, подождав немного, совсем уж тихо: — Простите, если можете.

Люся не отзывалась, ждала как будто от него еще слов или привыкала к нему, к его дыханию, запаху и теплу. Для нее он был теперь не отдаленный и чужой человек. Раздавленный стыдом и виною, которая была ей особенно приятна, он пробуждал женскую привязанность и всепрощение. Люся убрала щепотью слезу, повернулась к нему, сказала печально и просто:

— Я знаю, Боря... — и с проскользнувшей усмешкой добавила: — Без фокусов да без слез наш брат как без хлеба... — легонько дотронулась до него, ободряя и успокаивая: — Выключи свет, — в тоне ее как бы проскользнул украдчивый намек.

Все еще не веря, что не постигнет его кара за содеянное, он послушно встал, прихватив одеяло и заплетаясь в нем, прошлепал к табуретке, поднялся, повернул лампочку, потом стоял в темноте, не зная, как теперь быть. Она его не звала и не шевелилась. Борис поправил на себе одеяло, покашлял и мешковато присел на краешек кровати.

Над домом протрещал ночной самолетик, окно прочертило зеленым пятнышком. Низко прошел самолетик — не боится, летает.

За маленьким самолетиком тащились тяжелые, транспортные, с полным грузом бомб. А может, раненых вывозили. Одышливо, трудно, будто лошадиное сердце на

подъеме, работали моторы самолетов, «везу-везу» — выговаривали.

Синеватый, рассеянный дальностью, луч запорошил в окне, и сразу, как нарисованная, возникла криволапая яблоня на стеклах, в комнате сделалось видно этажерку, белое что-то, скомканное на стуле, и темные глаза прямо и укорно глядящие на взводного: «Что же ты?»

Нет, уйти к солдатам на кухню нельзя. А как хотелось ему сбегать, скрыться, однако вина перед нею удерживала его здесь, требовала раскаянья, каких-то слов.

— Ложись,— обиженно и угнетенно, как ему показалось, произнесла Люся.— Ногам от пола холодно.

Он почувствовал, что ногам и в самом деле холодно, опять послушно, стараясь не коснуться женщины, пополз к стене и уже собрался вымучить из себя что-то, как услышал:

— Повернись ко мне...

Она не возненавидела его, и нет в ее голосе боли, и раскаянья нет. Далеко и умело упрятанная нежность как будто пробивалась в ее голосе.

«Как же это?..» — смятенно думал Борис. Стараясь не дотрагиваться до женщины, он медленно повернулся и скорее спрятал руки, притаился за подушкой, точно за бруствером окопа, считая, что надо лежать как можно тише, дышать неслышно, и тогда его, может быть, не заметят.

— Какой ты еще...— услышал Борис, и его насквозь прохватило жаром — она придвигалась к нему. Люся подула Борису в ухо, потрепала пальцем это же ухо и, уткнувшись лицом в шею, попросила: — Разреши мне тут,— точно показывала Люся рубец на шее,— разреши поцеловать тут,— и, словно боясь, что он откажет, припала губами к неровно заросшей ране.— Я дура?

— Нет, почему же? — не сразу нашелся он и понял, как глупо вышло. Рубец раны, казалось ему, неприятен для губ, и вообще блажь это какая-то. Но уступать надо — виноват он кругом.— Если хочешь...— обмирая, начал лейтенант.— Можнó... еще...

Она тронула губами его ключицу, губами же нашла рубец и прикоснулась к старой ране еще раз, еле ощутимо, трепетно.

Дыхание Бориса вновь пресеклось. Кровь прилила к вискам, надавила на уши и усилила все еще не унявшийся шум. Горячий туман снова начал наплывать, захлестывать разумение, звуки, слух, глаза, а шелест слов обезоруживал его, ввергая в гулкую пустоту.

— Мальчик ты мой... Кровушка твоя лилась, а меня не было рядом... Милый мой мальчик... Бедный мальчик...— она целовала его вдруг занывшую рану. Удивительно было, что слова ее не казались глупыми и смешными, хотя какой-то частицей сознания он понимал, что они и глупы, и смешны.

Преодолевая скованность, захлестнутый ответной нежностью, Борис неуверенно тронул рукой ее волосы — она когда-то успела расплести косу, — зарылся в них лицом и ошеломленно спросил:

— Что это?

— Я не знаю.— Люся блуждала губами по лицу Бориса, нашла его губы и уже невнятно, как бы проваливаясь куда-то, повторила: — Я не знаю...

Горячее срывающееся дыхание ее отдавалось неровными толчками в нем, неожиданно для себя он припал к ее уху и сказал слово, которое пришло само собою из его ослабленного, отдалившегося рассудка:

— Милая...

Он почти простонал это слово и почувствовал, как оно, это слово, током ударило женщину и тут же размягчило ее, сделало совсем близкой, готовой быть им самим, и, уже сам готовый быть ею, он отрешенно и счастливо выдохнул:

— Моя...

Снова было тихо и неловко. Но они уже не остранялись друг от друга, тела их, только что перегруженные тяжестью раскаленного металла, остывали, успокаивались.

Наступило короткое забытие, но они помнили один о другом в этом забытии и скоро проснулись.

— Я всю жизнь с семи лет, может, даже и раньше, любила вот такого худенького мальчика и всю жизнь ждала его, — ласкаясь к нему, говорила Люся складно, будто по книжке.— И вот он пришел!

Люся уверяла, что она не знала мужчины до него, что ей бывало только противно. И сама уже верила в это. И он верил ей. Она клялась, что будет помнить его всю жизнь. И он отвечал ей тем же. Он уверял ее и себя, что из всех когда-либо слышанных женских имен ему было памятно лишь одно, какое-то цветочное, какое-то китайское или японское имя — Люся. Он тоже мальчишкой, да что там мальчишкой — совсем клопом, с семи лет, точно, с семи, слышал это имя и видел, точно, видел, много-много раз Люсю во сне, называл ей своей милой.

— Повтори, еще повтори!

Он целовал ее соленое от слез лицо:

— Милая! Милая! Моя! Моя!

— Господи! — отпрянув, воскликнула Люся. — Умереть бы сейчас!

И в нем сразу что-то оборвалось. В памяти отчетливо возникли старик и старуха, седой генерал на серых снопах кукурузы, обгорелый водитель «катюши», убитые лошади, одичавшая собака, раздавленные танками люди — мертвецы, мертвецы.

— Что с тобой? Ты устал? Или?.. — Люся приподнялась на локте и поражено уставилась на него: — Или ты... смерти боишься?!

— На смерть, как на солнце, во все глаза не поглядишь... — слышал я. Беда не в этом, — тихо отозвался Борис и, отвернувшись, как бы сам с собой заговорил: — Страшнее привыкнуть к смерти, примириться с нею... Страшно, когда само слово «смерть» делается обиходным, как слова: есть, пить, спать, любить... — он еще хотел что-то добавить, но сдержал себя.

— Ты устал. Отдохни. Отдохни. — Люся не могла поймать его взгляд. Он отводил глаза. Тогда она легла щекой на его грудь. — Ох, как сердчишко-то! — и придавила ладонью то место, где сердце. — Тихонько, тихонько, тихонько... Вот та-ак, вот та-ак...

— Не надо говорить больше о смерти.

Люся отдернула руку, потерла висок и повинилась:

— Прости... Я забыла про войну.

Опять самолетик затрещал над хатой, чиркнул огоньком по стеклу и замолк вдали. Сделалось слышно улицу.

Не спала улица.

За стеной хаты жили, шевелились войска. Донесло песню:

Сур-ровый голос раз-да-ет-ся:

«Кля-а-ане-емся-а зе-е-земляка-а-ам:

Па-ку-уда сер-ердце бье-о-о-отся,

Па-ща-ды нет вра-гам!»

Завыла машина. Свет фар закачался в окне, и зашевелилось деревце. Оно то приближалось к окну, почти касаясь ветками стекла, то опадало в снеговую темень... На стеклах вспыхивали и гасли морозные искры, обостренно чувствовалось, как хорошо и тепло в избе. Загрохотал танк или трактор. Рывкнул, остановился, мотор забухал обузданно, на холостых оборотах.

— Взяли! Взяли! Взяли! — разнбойно покричали за окном, и голоса начали удаляться.

«К фронту. Фронт догоняют», — отметил Борис.

На кухне кто-то громко стал отплевываться, сморкаться. «Карышев, — догадался лейтенант, — закаленный табакур. Он и ночами встает жечь махорку». Заскрипела, хлопнула дверь, — вернулся Карышев с улицы, брякнул ковшем, выпил холодной воды, покашлял еще и стих.

Где-то за рекой, в оврагах, ударил взрыв, брякнуло гулко, будто по банному тазу, раскатился гул по морозной ночи, задрезало окно, с деревца порхнул снежок, на кухне вскрикнул Шкалик и замычал, успокаиваясь.

— Еще чьей-то жизни не стало... — послушав, не повторится ли взрыв, проговорил Борис.

Люся прикрыла ладонью его рот, и так они лежали, вслушиваясь в ночь. Борис признательно тронул губами ее ладонь, пахнущую щелоком и мылом, простым мылом. И такой доступный, домашний запах, вошедший в него с детства, что-то стронул в нем. Досадуя на самого себя за возникшее отчуждение, он опять по-ребячьи зарылся в ее волосы и с удивлением вспомнил, что брезговал когда-то волосами, оставленными на гребешке. И, смешно вспомнить, еще брезговал споротыми пуговицами.

— Я думала, ты на меня сердисься, — чутко откликнулась Люся на ласку и обняла его за шею уже уверенно. — Не надо сердиться. Нет у нас на это времени...

В какой-то миг они потеряли стыдливость. Жарко дышали раскрытые губы Люси, грешно темнели гнездышки груди, опали, спутались вокруг шеи ее длинные волосы. Опустошенная, она устало ткнулась лицом в его плечо и, задремывая, говорила:

— Ты все-таки уснул бы, уснул бы...

«Не спи. Побудь еще со мной! Не спи!..» — слышалось ему, и, чтобы угодить ей, а угождать ей было приятно, он просунул руку под ее голову, заговорил:

— Ты знаешь, когда я был маленький, мы ездили с мамой в Москву. Помню я только старый дом на Арбате и старую тетушку. Она уверяла, что каменный пол в этом доме, из рыжих и белых плиток выложенный, сохранился еще от пожара, при Наполеоне который был... — он прервался, думая, что Люся уснула, но она тряхнула головой, давая понять, что слушает. — Еще я помню театр с колоннами и музыку. Знаешь, музыка была сиреневая... Простенькая такая, понятная и сиреневая... Я почему-то услышал сейчас ту музыку, и как танцевали двое — он и она, пастух и пастушка. Лужайка зеленая. Овечки белые. Пастух и пастушка в шурах. Они любили друг друга, не сты-

дильсь любви и не боялись за нее. В доверчивости они были беззащитны. Беззащитные недоступны злу — казалось мне прежде...

Люся слушала, боясь дохнуть, знала она, что никому и никогда он этого не расскажет, не сможет рассказать, потому что ночь такая уже не повторится.

— И ты знаешь,— усмехнулся Борис, и Люся обрадовалась, что он все-таки помнит о ней,— знаешь, с тех пор я начал чего-то ждать. Раньше бы это порчей назвали, бесовским наваждением,— он прервался, вздохнул, как бы осуждая себя.— Видишь вот...

— Мы рождены друг для друга, как писалось в старинных романах,— не сразу отозвалась Люся.— Если тебе хочется, я расскажу о себе. Потом. А сейчас мне хорошо. Я слышу твою музыку. Между прочим, я училась в музыкальном училище. Да-да,— она тронула пальцем удивленно открывшийся рот Бориса.— Я уж и сама этому мало верю. Да и какое это имеет значение,— дремотно приваливаясь к нему, тихо вздохнула она.— Я слышу тебя...

Уходила куда-то старая дорога, заросшая травой, и на ней два путника — он и она. Бесконечной была дорога, далекими были путники, чуть слышна, почти невнятна, сиреневая музыка...

Борис вскинулся, сел, стиснул руками лоб.

— Я, кажется, опять заснул?

— Ты так забылся, так забылся... Тебе опять снилась война?

Обрадованный тем, что он смог пересилить себя, отогнать сон, что рядом живой, бесконечно уже дорогой ему человек, Борис притиснул ее настывшее тело к себе.

— У меня голова кружится...

— Я принесу тебе поесть и выпить. Ты ведь вечером не ел.

— Откуда ты знаешь? Тебя и дома не было.

— Я все знаю. Вот поешь и отдыхай.

— Наотдыхаюсь еще. Без тебя. А поесть не помешало бы. Никого не разбудим?

— Не-е. Я сторожка! — Люся лукаво улыбнулась, погрозила ему пальцем: — Не смотри на меня! — Но он смотрел на нее, и она взяла обеими руками его голову, отвернула лицом к стене.— Не смотри, говорю!

Они дурачились, забыв о том, что шуметь-то особенно и не надо бы.

— У-у, какой! Нельзя так! Я тоже проголодалась,—

шлепнула она его и, схватив халат, выскользнула и зашуршала за дверью одеждой.

— Эй, человек!

— Борька, не балуй! — просунула она лицо меж занавесок, и было в ее быстрых, совсем уж приблизившихся черных глазах столько всего, что Борис не выдержал, ринулся к ней, но она сомкнула перед ним занавески и, когда он ткнулся лицом в ее лицо сквозь жесткую занавеску, выпалила:

— Я тебя люблю!

Мальчишество напало на него. Он ударил в подушку кулаком, подбросил ее, упал на подушку грудью, будто на теплую еще птицу, и увидел на простыне, точно в гипсе, слепок ее тела.

Он осторожно дотронулся до простыни.

Под ладонью была пустота.

Люся объявилась в дверях с посудой, с хлебом, с картошкой, хотела сказать, что, слава богу, кум-пожарник не всю самогонку выдул, и замерла, увидев растерянность на лице Бориса. Он будто не узнавал ее, нет, узнавал, но видел как бы уже со стороны.

— Ты что?

К глазам его подкатывали слезы, лицо страдальчески заострилось.

— Я здесь! — тронула она его.

Он передернулся, до хруста сжал ее руку...

Люся рывком притиснула его к себе и тут же оттолкнула, принялась налаживать еду. Они молча пили самогонку из одной кружки, выпив, всякий раз целовались. Молча же закусывали картошкой и салом. Он чистил картошку для нее, она для него.

Поели, стало нечего делать, не о чем уж вроде говорить. Молча смотрели они перед собой в пустоту идущей на убыль ночи. Борис виновато погладил ее руку. Люся признательно сжала его пальцы, тогда он диковато схватил ее, прижал к кровати:

— Смерти или живота?!

— Ах, какой ты! — прикрыла она завлажневшие глаза.

— Дурной?

— Псих! И я псих... Кругом психи...

— Просто я пьяный, но не псих.

— Нельзя так много, — увернулась Люся от его рук.

— Можно! — заявил он, дрожа от вымученной настойчивости.

— Ты слушай меня. Мне уж двадцать первый год!

— Поду-умаешь! Мне самому двадцатый!

— Вот видишь, я старше тебя на сто лет! — Люся осторожно, как ребенка, уложила его на подушку. — А времени-то третий час!..

Кто-то из солдат опять зашевелился на кухне, пошел, запнулся за корыто, выругался хрипло. И они опять, притихнув, переждали тревогу. От окна падал рассеянный полумрак, высветляя плечи Люси, пробегая искристыми светляками по стеклу, взблескивая снежно в ее волосах. Накаленно светились ядрышки ее зрачков. Под ресницами, под маленьким, круто вздернутым подбородком притемнилось. Уже предчувствуя утро и разлуку, прижавшись друг к другу, сидели они. И ничего им больше не хотелось: ни говорить, ни думать, только сидеть так вот вдвоем в полудремном забытии и чувствовать друг друга откровенными, живыми телами, испытывая неведомое блаженство, от которого душа делалась податливой, мягкой, плюшевой делалась душа.

Часть третья

ПРОЩАНИЕ

Горькие слезы застлали мой взор.

Хмурое утро крадется, как вор, ночи вослед.

Проклято будь наступление дня!

Время уводит тебя и меня в серый рассвет.

Из лирики вагантов

Окно засветилось, и комната стала наливаться красным светом. Одногласо зарыдала соседская дворняга в переулке, морозно дребезжа, звякнул колокол. Яблонька за окном начала дергаться, шевелиться, приближаясь к окну. Все в комнате сделалось живое, задвигалось тенями, замельтешили кресты от рам на полу и на стене.

Люся больно вцепилась ногтями в Бориса. Он прижал ее к себе. «Ну что ты, что ты, маленькая! Не бойся...» — Бояться нечего — опасность лейтенант сразу бы почувствовал — нюх у него вышколен войною.

По ту сторону узких топольков, стеной стоявших за огородом в проулке, ярко, весело отгорела хата, заваливаясь шапкой крыши набок, соря ошметками пламени по огороду.

«Высушили славяне портянки!» — подумал Борис почему-то весело — уж очень резво пластала хата. Борис знал,

что в хатах этих матица — она и дымоход. Пока топят соломой — ничего, но как запалют дрова или скамейки, да еще и бензинчику плеснут солдаты — ни жилья тогда, ни портянок.

— Полицаи жарят! — глухо произнесла Люся и стала кутаться в одеяло, кинутое на плечи. — Шкура продажная! Так ему и... На пересылке служил, в подхвате у фашистов. наших людей, как утильсырье, там сортировал: кого в Германию, кого в Криворожье — на рудники, кого куда...

Голос Люси дрожал. Блики металиси по лицу ее и по груди. Лицо делалось то бледным, заваливаясь в тень, и лишь глаза, зачерненные ресницами, светились накаленно и злобно.

— Как заняли местечко фашисты, на постой к нам определился фриц один. Барственный такой. С собакой в Россию пожаловал. На собаке ошейник позолоченный. Лягуха и лягуха собака — скользкая, пучеглазая... Фашист этот культурный приводил с пересылки девушек — упитанных выбирал... съедобных! Что он с ними делал! Что делал! Все показывал им какую-то парижскую любовь. Одна девушка выпорола глаз вальяжному фрицу, за парижскую-то любовь... Один только успела. Собака загрызла девушку... — Люся закрыла лицо руками и так его сдала, что из-под пальцев покатила бледность, — на человека, видать, притравленная. Перекусила ей горло разом, как птичке, облизнулась и легла к окну... там!.. Там!.. — показывала Люся одной рукой, другой все зажимала глаза. Чувствуя, как холодеют у него спина и темя, понимая, что Люся видит что-то страшное, Борис придуршено спросил:

— На твоих глазах?!

Она тряхнула головой раз-другой, видно, не могла уже остановиться, все трясла, трясла головой, закатившись в сухих рыданиях.

Он притиснул ее к себе и не отпускал ее до тех пор, пока она не успокоилась. «Бить! Бить так, чтобы зубы крошились! Правильно, Филькин, правильно!» — вспомнив командира роты, утренний бой, овраги, Борис вспомнил и собаку с дорогим ошейником, рвущую убитого коня: «Она! Надо было пристрелить...»

— Поймали его партизаны. — По зловещей и какой-то мстительной улыбке Люси Борис заключил — не без ее участия. — Повесили на сосне. Собака его выла в лесу... Грызла ноги хозяина... До колен съела... — дальше допрыгнуть не могла. Подалась к фронту. Там есть чем пропи-

таться... А вражина безногий висит в темном бору, стучит скелетом, как кощей злобный, и пока не вымрет наше поколение — все будет слышно его...

Собака в переулке уже не рыдала, хрипела, задохшись на привязи, и больше никаких голосов не слышно, и колокол не звонил.

— Всех бы их, гадов! — стиснув зубы, процедила Люся. — Всех бы подчистую...

Борис не узнавал в ней ту женщину, восторженную и преданную в страсти своей, что пришла к нему в далекий-далекий вечерний час. Он отвел ее обратно на кровать, укрыл одеялом и, успокаивая, приложил ладонь к гладкому покатоному лбу. Она притихла под его рукою, и спустя время ознобная дрожь перестала сотрясать ее.

— Боря, расскажи мне об отце и матери. Кто они у тебя? — попросила Люся. — Я хочу к ним привыкать. Хочу все знать о тебе.

Борис понял: больше всего сейчас она хочет отвлечься, забыться, уйти от тяжких видений.

— Учителя, — не сразу, но охотно отозвался Борис. — Отец — завуч теперь, мать преподает русский и литературу. Школа наша в бывшей гимназии. Мама училась в ней еще как в гимназии. — Он прервался, и Люся женским чутьем, особенно обострившимся в эту ночь, уловила, как он снова отдаляется от нее. — Когда-то в наш городок был сослан декабрист Фонвизин. С его жены, генеральши Фонвизиной, Пушкин будто бы свою Татьяну писал. Мама там десятая или двенадцатая вода на киселе, но все равно гордится своим происхождением. Я, идиот, не запомнил родословную мамы, — он улыбнулся чему-то своему, закинув руки за голову, глядя в какую-то свою даль. — Улицы и переулки в нашем деревянном городке зарастают всякой разной топтун-травой. Набережная есть. Бурьян меж бревен растет, птички в щелях гнезда выют. Весной на угреве медуница цветет, летом — сорочья лапка и богородская травка, и березы растут, старые-старые. А церквей!.. Золотишники-чалдоны ушлые были: пограбят, пограбят, потом каждый на свои средства — храм! И все грехи искуплены! Простодушны все-таки люди! Ну а теперь в церквях гаражи, пекарни, мастерские. По церквям кусты пошли, галки да стрижи в колокольнях живут. Как вылетят стрижи перед грозой — все небо в крестиках! И крику!.. Крику!.. Ты не спишь?

— Что ты, что ты?! — ворохнулась Люся. — Скажи... Мама твоя косы носит?

— Косы? При чем тут косы? — не понял Борис. — У нее челка. Косы у молодой были. Я у них поздныш, вроде как бы сын и внук сразу... — Он поправил подушку, навалился на нее грудью.

Воспоминания далекие, безмятежные. Они прикипели к сердцу, растворились в крови, жили в нем, волнуя и утешая его, были им самим. А разве себя перескажешь?

Вот он слышит, как пахнет утро в родном городишке.

Росами и туманами — холодными, травянистыми, пахли летние утра. Под завалившимся срубом набережной скапливался туман, конопатил щели меж бревен, заячьими шапками надевался на купола церквей, на прибрежные будки и бани, на рекламные тумбы, на кусты. От реки шел запах прелой коры, днем туманы пахли убитым лесом. Коренная вода подбиралась к дамбе, вымывала из-под срубов землю, отрывала гнилые сутунки.

Когда река укатывалась в берега, под дамбой оказывалось столько таинственного добра: бутылочных стекол, черепушек, озеленелых от плесени монет, костей, медных крестиков. В лужах под дамбой бедовала прозевавшая отход реки рыба мелочь. Вороны прыгали вдоль распертой землею дамбы, хищно совали головы под бревна и заглатывали рыбешек с жадным клекотом.

Ребятишки били ворон камнями, вытаскивали рыбешек из луж, засоренных гнильем. Рыбешки измученно бились в теплых руках, лезли меж пальцев. Отпущенные, лежали они поверх воды, пошептывая судорожными ртами, и, пьяно качаясь, уходили ненадолго в глубину. Но их, как сухие ивовые листья, выталкивало наверх. Набравшись сил, с уже осознанным страхом, малявки шильцами втыкались вглубь, припадая ко дну, высматривая корм и клубящуюся в воде родную стайку.

Осенью к дамбе скатывали бочки, торцами прислоняли их к стене, туманы в эту пору, да и весь городишко пахли рыбой, плесенью мхов, вянущей огородиной. Штабеля бочек поленницами росли выше и выше, пароходов, баржей приставало все больше и больше, обветренного, истосковавшегося по обществу, подоличавшего народа — северных рыбаков, людно и густо делалось. Играли гармошки на берегу, повизгивали за омулевыми и муксунными бочками женщины, ребятишки подсматривали стыдное. Ночи делались шаткие, беспокойные, все в городе пело и гуляло, как при древних золотишниках, вернувшихся с фартом.

— Пареваны и девки любят у нас встречать пароходы.

Каждый пассажирский. Парят себя ветками — комары и мошки заедают, — улыбаясь, заговорил Борис, и Люся догадалась, что перед ним прошли какие-то, лишь ему известные картины, и он продолжал их видеть отдельно от нее.

Она отодвинулась, но Борис даже не заметил этого, он все так же глядел куда-то, блаженно улыбаясь.

— Гонобобелью — это у нас голубику-пьянику так называют, — или черницей, или орехами кедровыми потчуют девок пареваны. Рты у всех черные. Городишко засыпан ореховой скорлупой... Да что про комаров да про ягоды?! — спохватился Борис. — Давай лучше мамины письма почитаем.

Люся не без грусти отметила, что он решился на это не сразу. Еще не привык свое делить пополам, и время нужно, чтобы все у них стало одним: и жизнь, и душа, и мысли.

— Только тебе опять придется идти. Письма в сумке.

Она поднялась, ввернула лампочку и, зажмурившись от света, подумала, что он всю жизнь будет вот так посылать ее и она не устанет быть у него на побегушках.

— Этому пузырьку-то вашему плохо. Со вчерашней гулянки никак не отойдет. Мучается. Зачем такого мальчика поить? — выговаривала лейтенанту Люся, вернувшись с сумкой. — Ох, Борька! — она погрозила ему пальцем. — Балованный ты!

— В самом деле? Это мама... Знаешь, — улыбнулся он, — папа меня в секцию бокса отдал в лесокомбинатовский клуб. И мне там сразу нос расквасили. В секцию меня мама больше не пустила, но папа везде с собой брал: на рыбалку, на охоту, орехи бить. Однако пить никогда не позволял. А этот, чердынский, дорвался...

Люся развела складки на его переносице, пальцем прошла по бровям, которые начинались тонко и, взлетев к вискам, круто опадали вниз.

— Ты на маму похож?

Не понимая, какая приятность для женщины открывать мужчину — иногда на такое занятие уходит вся жизнь, — и считая, что это и было истинной любовью, — он отбился сконфуженно:

— Не стоит заниматься моей персоной...

— Какой ты воспитанный мальчик! — толкнула его Люся. — Читай. Только я растянусь. Читай, читай! — Он заметил темные полукружья под ее глазами и пожалел женщину непривычной, мужицкой жалостью:

— Утомилась?

— Читай, читай!

Писем накопилась целая пачка, мятых, пухлых, запачканных в сумке, захватанных руками. Борис выбрал одно, не самое толстое письмо, расправил уголки, погладил бумагу, как во вспышке зарницы увидел мать с белым полушалком на покатых плечах, с желтой деревянной ручкой в припачканных чернилами пальцах, почудилось даже — услышал, как скрипит перо, вывязывая ровные строчки прилежно учившейся гимназисткой.

«Родной мой!

Ты знаешь своего отца. Он притесняет меня, говорит, чтобы я часто тебе не писала, — ты вынужден отвечать и станешь отрывать время от сна. А я не могу не писать тебе каждый день.

Вот проверила тетради и пишу. Отец чинит мережу на кухне и думает о тебе. Я-то читаю его, как ученическую тетрадку, и вижу каждую пропущенную запятую и эти вечные ошибки на «а» и «о». Отец твой переживает — был сдержан и сух с тобою, недолюбил, как ему кажется, недосказал чего-то. Он чинит мережу, думая, что ты вернешься к весне. Он до того изменился, что иногда называет меня «девочка моя». Так он называл меня еще в молодости, когда мы встречались. Смешно. Нам ведь и тогда уже за тридцать было...

Я писала тебе, как трудно нынче в школе. Удивляться только приходится, что в самые тяжелые дни войны школы не закрыты и мы учим детей, готовим к будущему, значит, не теряем веры в него, в это будущее...

Боренька! Вот снова вечер. Письма от тебя и сегодня нет. Как ты там? У нас печка топится, чайник крышкой бренчит. Отца сегодня нет. Он еще математику ведет в вечерней школе. Почему ты, Боренька, вскользь написал о том, что тебя наградили орденом? Даже не сообщил — каким? Ты же знаешь своего отца, его понятия о долге и чести. Он был бы рад узнать, за что тебя наградили. Да и я тоже. Мы оба гордимся тобою.

Между прочим, отец твой рассказал мне, как он тебя учил ходить в лодке с шестом. И увидела я тебя: в трусишках, худенького, с выступившими ребрами. Лодка большая, а ты бьешься в подпорожье, а отец ловит этих несчастных пескаррей и видит, как тебя развернуло и понесло. Потом ты почти добрался до каменного бычка, прибился в улово, но тебя снова развернуло и понесло. Ты поднимался пять раз, и пять раз тебя сносило. У тебя вспотел нос (всегда у тебя потел нос). На шестой раз ты все же одолел

преграду, и с ликованием: «Папа! Я лодку привел!» А он: «Ну что ж, хорошо! Привяжи ее к камню и начинай удить пескарей — надо к вечеру успеть наживить перемет».

Что за комиссия, создатель, — быть ребенком педагогов! Вечно они дают ему уроки. И вырастают у них, как правило, оболтусы (ты — исключение, не куксись, пожалуйста!).

Беда с твоим отцом. Как он переживал, когда в армии ввели погоны! Мы, говорит, срывали погоны, — детям нашим их навесили! А я потихоньку радовалась, когда погоны ввели. Я радуюсь всему, что разумно и не отрицает русского достоинства. Может быть, во мне говорит кровь моих предков?

Закругляюсь. Раз вспомнила о предках — значит, пора. Это как у твоего отца: если он выпивши пошел танцевать, значит, самое время отправляться ему в постель. Танцевать-то он не умеет. Это между нами, хотя ты знаешь.

Родной мой! У нас уже ночь! Морозно. Может, там, где ты воюешь, теплее? Всю географию перезабыла. Это потому, что я рядом тебя чувствую.

Вот как кончать письмо, так и расклеюсь. Прости меня. Слабая я женщина и больше жизни тебя люблю. Ты вот тут — я дотронулась до сердца рукою... Прости меня, прости. Надо бы какие-то другие слова, бодрые, что ли, написать тебе, а я не умею. Помолюсь лучше за тебя. Не брани меня за это. Все матери сумасшедшие... Жизнь готовы отдать за своих детей. Ах, если бы это было возможно!..

Отец твой изболел меня. Я на сон шепчу молитву, думала, отец твой спит. Не таись, говорит, если тебе и ему поможет... Я заплакала. «Девочка моя!» — сказал он. Да ты знаешь своего отца. Он считает, что у него не один, а двое детей: ты и я.

Благословляю тебя, мой дорогой. Спокойной тебе ночи, если она возможна на войне. Вечная твоя мать — Ираида Фонвизина-Костяева».

Письмо кончилось, но Борис все еще держал его перед собой, не отрываясь смотрел на бегущую подпись матери и явственно видел ее: носатенькую, с оттопыренными ушами, в белом полушалке, сползшем с покатых плеч; и постаромодному заколотые на затылке волосы видел, и реденькую челку надо лбом, которая всегда вызывала ухмылку учеников. Мать убрала письмо, закуталась в полушалок, раздвинула занавески на окне, пытается мысленным взором покрыть пространство, отделяющее ее от сына.

За окном дробятся негустые огни старенького городка, за ними угадывается темный провал реки, заторошенной льдами, и дальше — мерклые очертания гор с мрачной, немой тайгой на склонах и колдовской жутью в обвальнo-глубоких распадах. Тесно сомкнулось пространство вокруг городка, вокруг дома и самой матери. Где-то по другую сторону непроглядной, обрывающейся за рекой земли — он, и где-то, отделенная окопами, тысячами верст расстояния, между двумя враждующими мирами — она, мать.

Борис спохватился, свернул письмо в треугольник, изношенный по краям.

— Старомодная у меня мать,— сказал он нарочито громким голосом.— И слог у нее старомодный...

Люся не отозвалась.

Борис повернулся и увидел — все лицо ее залито слезами, и почему-то не решился ее утешать. Люся схватила жбан с этажерки, расплескивая на грудь самогон, глотнула из горлышка и прерывисто заговорила:

— Я должна о себе... Чтоб не было между нами...

Борис пытался остановить ее.

— Было все так хорошо. Психопатка я, в самом деле психопатка! — вытирая лицо ладонями, будто омывая плечи и грудь, полуприкрытую одеялом, продолжала она: — Какой ты ласковый! Ты в мать. Я теперь знаю ее! Зачем войны? Зачем? За одно только горе матери... Ах, господи, как бы это сказать?

— Я понимаю. До фронта, даже до вчерашней ночи, можно сказать, не понимал.

...Матери, матери! Зачем вы покорились дикой человеческой памяти и примирились с насилием и смертью? Ведь больше всех, мужественнее всех страдаете вы в своем первобытном одиночестве, в своей священной и звериной тоске по детям. Нельзя же тысячи лет очищаться страданием и надеяться на чудо. Бога нет! Веры нет! Над миром властвует смерть. На что нам надеяться, матери?

А за окном кончалась ночь. И земля неторопливо поворачивалась тем боком к солнцу и дню, где чужое и наше войско спали в снегах.

Хата догорела, обвалилась. Куча уже хиреющего огня умиротворенно дожевывала остатки балок, пробегая по ним юрким горностаишком и занырявая в оттаявшую яму.

Люся распластанно лежала на кровати, остановившись глазами глядела в потолок. В окне красным жучком

шевелился отсвет пожара, но комната уже наполнилась темнотою, и темнота эта не сближала их, не рождала таинство. Она наваливалась холодной тоскою, недобрим предчувствием.

— Я бы закурила, — Люся показала на этажерку. Не удивляясь и, опять же, не спрашивая ни о чем, Борис нашарил в деревянной шкатулке пакетик с табаком и, как умел, скрутил сигарку. Люся сунула руку под матрац, вынула зажигалку. Чему-то усмехнувшись, переделала сигарку, склеенную вроде пельменя, свернула ее ту же и, прикурив, осветила лицо Бориса огоньком. Усмешка все не сходила с ее губ.

— Зажигалка того самого фрица. — Люся щелкнула по ней ногтем и загасила огонек, дунув на него. — Хозяина повесили в бору на сосне, а зажигалочка осталась... заправленная зажигалочка, костяная... — У Люси клокотало в горле. Она затягивалась табаком по-мужицки умело и жадно. — Девочка он, между прочим, потрошил на этой самой кровати...

— Зачем ты мне это?

— О-ох, Борька! — бросив на пол сигарку, срубленно упала Люся на него. — Где же ты раньше был? Неужели войне надо было случиться, чтоб мы встретились? Милый ты мой! Чистый, хороший! Страшно-то как жить!.. — она тут же укротила себя, промокнула лицо простыней. — Все! Все! Прости. Не буду больше...

Он невольно отстранился от нее, и опять его потянуло на кухню, к солдатам — проще там все, понятней, а тут черт-те какие страсти-ужасы, и вообще...

— Чого сыдышь та й думаешь? Чого не йдэш, не гуляешь? — усмехнулась Люся и запустила руки в волосы лейтенанта. — Так и не причесался? Волосы у тебя мягкие-мягкие... Не умеешь ты еще притворяться... Мужчина должен уметь притворяться...

— А ты... Ты все умеешь? — Борис пугливо замер от своей дерзости.

— Я-то? — она опять глядела на свои руки, и это раздражало его. — Я ж тебе говорила, что старше тебя на сто лет. Женщинам иногда надо верить... — и треснуто, натуженно рассмеялась. — Ах, господи, до чего я умная!.. Ты чувствуешь, у нас дело к ссоре идет? Все как у добрых людей.

— Не будет ссоры. Вон уже светает.

Окно и в самом деле обрисовалось квадратом, в комнату просочился рассеянный свет.

— На заре ты ее не буди...— прошептала Люся и замерла, поникнув. Затем подняла голову, откинула с лица волосы и опустила руки на плечи Бориса: — Спасибо тебе, солнышко ты мое! Взошло, обогрело... Ради одной этой ночи стоило жить на свете. Дай выпить и ничего не говори, ничего...

Борис поднялся, налил в кружку самогона. Люся пере-дернулась, отпив глоток, подождала, когда выпьет он, и легонько, накоротке приникла к нему.

— Ты меня еще чуть-чуть потеряй. Чуть-чуть...

Борис дотронулся губами до ее губ, она дрогнула вскаки. И снова размягчилась его душа. Хотелось сделать что-нибудь неожиданное, хорошее для нее, и он вспомнил, что надо делать. Неловко, как сноп, подхватил ее в беремья и стал носить по комнате.

Люся чувствовала, как ему тяжело, неловко носить ее, но так полагается в благородных романах — носить женщин на руках, вот пусть и носит, раз такой он начитанный!

Млея, слушала она, какую он мелет несбыточную, но приятную чушь: война кончилась, он приехал за нею, взял ее на руки, несет на станцию на глазах честного народа, три километра, все три тысячи шагов.

«Ах ты, лейтенантик, лейтенантик!» — пожалела его и себя Люся и, тронув губами проволочно-твердый рубец его раны, возразила:

— Нет, не так! Я сама примчусь на вокзал. Нарву большой букет роз. Белых. Снежных. Надену новое платье. Белое. Снежное. Будет музыка. Будет много цветов. Будет много народу. Будут все счастливые...— Люся прервалась и чуть слышно выдохнула: — Ничего этого не будет.

Он не хотел ее слушать и бормотал, как косач-токовик, всякую ерунду про верную любовь, про счастье, про вечность.

Очнувшись, они услышали, как ходят по кухне солдаты, топают, переговариваются, кто-то вытряхивает шинель.

Люся сползла к ногам лейтенанта.

— Возьми ты меня, товарищ командир,— прижавшись к его коленям щекою, просила она, глядя снизу вверх.— Я буду солдатам стирать и варить. Перевязывать и лечить научусь. Я понятливая. Возьми. Воюют ведь женщины.

— Да, да, воюют. Не смогли мы обойтись на фронте без женщин,— отвернувшись к окну, отрывисто прогово-

рил взводный.— Славим их за это. И не конфузимся. А надо бы.

— Жутко умный ты у меня, лейтенант! — Люся чмокнула взводного в щеку и ушла, завязывая поясок халата.

Борис прилег на кровать и мгновенно провалился в такой глубокий и бездонный сон, каким еще не спал никогда.

Часа через два Люся на цыпочках вошла в комнату. Пристроила на спинку стула гимнастерку, отглаженную, с уже привинченным орденом, с прицепленной медалью, брюки и портянки, тоже постиранные, но еще волглые, положила и присела на кровать, тронула Бориса за нос. Он проснулся, но, не открывая глаза, нежился.

— Вот,— откидывая рукой выбившиеся из-под платка волосы, заговорила Люся, кивая на гимнастерку.— Ухаживать за любимым мужчиной, оказывается, так приятно! — и сокрушенно покачала головой: — Баба все-таки есть баба! Никакое равноправие ей не поможет...

Румяная, разгоревшаяся от утюга, очень домашняя и уютная была она сейчас. Борис ладонью утер с лица ее пот, обнял, с уже отмягшей, восковой страстью потянул к себе.

— Нельзя! Все встали! — уперлась она в его грудь руками.

Но Борис не выпускал ее.

— А если узнают?

— Солдаты хоть о немецком, хоть о нашем наступлении раньше главного командования узнают, а уж про такое...

Борис одевался, Люся заплетала косу, когда за занавесками послышалось деликатное, предупреждающее покашливание.

— Товарищ лейтенант, я насчет винишка! — раздался бойкий голос Пафнутьева.— Если осталось, конечно.

— Есть, есть.

— Чо, без горячего зажигание не срабатывало?..

— Болтаешь много! — с напускной строгостью отозвался Борис.

«Ох, не оберешься теперь разговоров! Одобрять его будут солдаты, мол, взводный-то у них — парень не промах, хотя с виду и мямля! Все происшедшее будет восприниматься солдатами как краткое боевое похождение лейтенанта, и он не сможет ничего поправить, и должен будет соглашаться, потакать такому настроению. Расспросы

пойдут, как да чего оно было? И ох трудно, невозможно будет отвертеться от пронизательных вояк!»

Борис просунул меж занавесок жбан, кружку.

— Шкалику не давать! Тебе и остальным тоже не ковшом.

— Ясенько! — Пафнутьев подморгнул взводному.

— Чего все мигаешь? Окривеешь ведь! — буркнул Борис.

Люся нарядилась в желтое платье. Черные цыганские ленты скатывались по ее груди, коса перекинута через плечо. Рукава платья тоже отделаны черным. На ногах мало надеванные туфли на твердом каблуке. Похожа была Люся на девочку-воструху, которая тайком добралась до маминого сундука и натянула на себя взрослые наряды. За спиной ее, на стеклах, переливалась изморозь, росли белые волшебные кущи, папоротники, цветы, пальмы.

— Какая вы красивая, мадам!

Она потеряла ленточку, намотала ее на палец.

— Я сама еще в девчонках это платье шила.

— Да ну-у-у! Шикарное платье! Шикарное!

— Просмешник! Ладно, все равно другого нет.— Люся уткнулась носом в мятый, будто изжеванный погон лейтенанта и дрогнула: стойкий запах гари, земли, пота не истребило стиркой.— Мне хочется сделать что-нибудь такое...— подавляя в себе тревогу, повертела она в воздухе рукой,— сыграть что-нибудь старинное и... поплакать. Да нет инструмента, и играть я давно разучилась.— Она шевельнула раз-другой кисточками ресниц и отвернулась.— Ну поплыла, баба!.. Как все-таки легко свести нашего брата с ума!..

Борис тронул косу, шею, платье — ровно бы уносило ее от него, эту грустную и покорную женщину, с такими близкими и в то же время такими далекими глазами, уносило в народившийся день, в обыденную жизнь, а он хотел удержать ее, удержать то, что было с ним и только у них.

Она ловила его руки, пыталась прижать к себе: вот, мол, я, вот, с тобой, тут, рядом...

Завтракали на кухне. Люся хотя и прятала глаза, но распорядилась за столом бойчее, чем прежде. Солдаты многозначительно и незлобно подшучивали, утверждая, что лейтенант шибко сдал после тяжких боев, один на один выдерживая натиск противника, а они вот, растяпы, дрыхли и не исполнили того, чему их учили в школе,— на выручку командиру не пришли. А тоже ведь пели когда-то:

«Вот идет наш командир со своим отрядом! Эх, эх, эх-ха-ха, со своим отрядом!» Отряд-то спать только и горазд! Нехорошо! Запущена политико-воспитательная работа во взводе, запущена, и надо ее подтянуть, чтобы командир за всех один не отдувался.

Только Шкалик ничего понять не мог. Выжатый, мятый, дрожа фиолетовыми губами, он сидел за столом смиренным стриженным послушником, подавленный мирскими грехами. Поднесли ему опохмелиться. Он закрылся грехами, как от нечистой силы. Дали человеку капустного рассола с увещеванием: «Не умешь, так не пей!»

Люся убрала посуду, поворошила в столе. Среди пуговиц, ниток и ржавых наперстков отыскала тюбик губной помады. Прикрыв за собой дверь в переднюю, она послушничавила засохшую помаду и, подкрасив стертые, побаливающие губы, выскользнула из дому с жестяным бидоном.

Солдаты изготавливались стирать, бриться, чистили одежонку, обувь, нещадно дымили махоркой, переговаривались лениво, донимали Шкалика юмором. Лейтенант слушал их неторопливую болтовню и радовался, что к ротному пока не вызывают, никаких команд не дают и, глядишь, задержатся они здесь.

Разговор вращался вокруг одной извечной темы, к которой русский солдат, как только отделается от испуга и отдохнет немного, неизменно приступает. Пафнутьев правил бритву, посасывая сигарку, шурил глаз от дыма, повествуя:

— Отобедали это мы. Ребятишек дома нету. Тятя и мама уже померли в те поры. Зойка со стола убирает, я курю и поглядываю, как она бегаёт по избе, ногами круглыми вертит. Окна открыты, занавески шевелятся, назьмом со двора пахнет. Тихо. И главное, ни души. Убрала Зойка посуду. Я и говорю: «А чо, старушонка, не побаловаться ли нам?» Зойка пуще прежнего забегала, зашумела: «У вас, у кобелей, одно только на уме! Огород вон не полотый, в избе не приборато, ребятишки где-то носятся...» — «Ну-к чо,— говорю,— огород, конечно, штука важная. Поли. А я, пожалуй, к девкам подамся!» В силах я еще тогда был, на гармошке пилил. Вот убегла моя Зойка. Минуту нету, другу, пята... Я табак курю, мечтаю... Пых — пара кривых! Влетает моя Зойка уж на изготовке, плюхнулась поперек кровати и кричит: «Подавися, злодей!..»

Хата качнулась от гогота, и сам Пафнутьев закатился, прикрыв замаслившиеся от сладостных воспоминаний глаза, едва ремень бритвою не перехватил. Шкалик

капусту ел и чуть не подавился. Малышев завез ему по спине кулаком — слетел солдатик со скамейки и капусту незаметно проглотил. Карышев моторно фукнул ноздрями — со стола спорхнула и закружилась луковая шелуха. Даже застенчиво помалкивающий и больной с похмелья Корней Аркадьевич смял в улыбке блеклые губы.

Возвратилась Люся, потаенно улыбаясь, стала манить Бориса в переднюю. Там она сунула ему бидон и заставила пить парное молоко. Не переставая многозначительно улыбаться, вытерла его наметившиеся усы, смоченные молоком, с придыхом сообщила ему на ухо:

— Я узнала военную тайну!

У лейтенанта от удивления открылся рот и лицо сделалось недоверчиво-глуповатое.

— Ваша часть еще день или два простоит здесь!

Взводный издал гортанный звук, схватил Люсю, закрыл по комнате, да и смахнул с окна зеркальце.

— Ой! — воскликнула Люся. — Это к несчастью!

— Какое несчастье? — рассмеялся Борис. — Ты веришь в приметы? Суеверная ты! Отсталая! Двое суток! Это, что ли, мало?!

Люся молча собирала осколки зеркала. Борис помогал ей и пересказывал байку Пафнутьева. Громко стукнула дверь. Люся сунула стекла в кадку с цветком и поспешила на кухню.

— В ружье, военные! — наигранно бодрясь, хриплым голосом гаркнул старшина и, стукнув валенком о валенок, доложил Борису: — Товарищ лейтенант, приказано явиться на площадь. Подают машины.

— Машины? Какие машины? Двое ж суток!..

— Кто натрепал? — Мохнаков побуровил народ покрасневшими глазами. Солдаты пожимали плечами. Пафнутьев сверлил пальцем у виска и подмигивал старшине. Мохнаков собрался отколоть что-нибудь по этому поводу, но очень уж слиняло лицо взводного. — Колонна! — пояснил старшина. — Та самая колонна, что перевозила пленных, отряжена полку. Пехом и за зиму фронт не догнать.

Люся прижалась спиной к двери. Белый платок разошелся, сделались видны на груди черные ленты и вырез платья. Борис пеньком торчал посреди кухни. «Что это вы?» — вопрошал взгляд Мохнакова.

Солдаты ворчали друг на друга, ругали войну, собирая пожитки, толкали лейтенанта. Шкалик рылся в соломе — ремень искал. Старшина поворочил валенком

солому, зацепил ремень, похожий на избитую камнями змею, и валенком же закинул его на голову Шкалика.

— Няньку тебе!

Невелик скарб при солдате. Как ни волюнили, но все же собрались. Прощаться начали, все разом заговорили, пожимая руку хозяйке. Привычное дело: тысячу, если не две, сменили они ночевок, двигаясь по фронту.

— Запыживай, запыживай, славяне! — чем-то недовольный, подбрасывал монету старшина. — Машина не конь, ждать не любит!

Солдаты закурили и потянулись, растащив валенками солому по кухне. В хате сделалось пусто, выстужено. Люся двинула спиной дверь и провалилась в комнату.

— Мне извиниться или как?

Заталкивая в полевую сумку пачку писем и полотенце, Борис пустоглазо уставился на Мохнакова.

Старшина что-то глухо бормотнул, прихлопнул шапку на ухе, подкинул монету до потолка, но не сумел ее поймать и, саданув дверью, удалился.

Борис проводил взглядом воинство, выжитое из теплого жилья, и, прежде чем войти в переднюю, постоял, будто у обрыва, затем рывком надел сумку, поправил ворот шинели и толкнул дверь.

Люся сидела на скамье, отвернувшись к окну. Подбородок она устроила на руках, кинутых на подоконник. Она смотрела в окно. Петелька на рукаве платья соскользнула с пуговицы, черные крылья разлетелись на стороны. Борис застегнул пуговицу, соединил крылышки и тронул руку Люси. Надо было что-то говорить, лучше бы всего шутку какую выдать. Но на ум не приходило никаких шуток.

— Тебя ведь ждут, — повернулась Люся. У нее снова отделились глаза, но голос был буднично спокоен.

— Да.

— Так иди! Я провожать не буду. Не могу. — И отвернулась, опять устроив на руки подбородок со вдавленной в него ямочкой. В позе ее, в плотно сомкнутых губах, в мелко подрагивающих ресницах было что-то трогательное и смешное. Школьницу, раскапризничавшуюся на выпускном вечере, напоминала она.

Время шло.

— Что же делать-то? — Борис переступил с ноги на ногу, поправил сумку на боку. — Мне пора. — Он еще переступил, еще раз поправил сумку. Люся не отзывалась. Подбородок ее смялся, ресницы все чаще и чаще подрагивали, снова расстегнулся рукав, хвостик косы упал в

мокрый желобок рамы. Борис отжал смокшиеся волосы и с сожалением опустил косу на ее спину.

— Я же не виноват...— задержав руку выше выреза платья, чуть слышно сказал он. Нежное, пушистое тепло настоялось под косой, будто в птичьем гнездышке. «Милая ты моя!» — Борис большим усилием заставил себя сдержаться, чтобы не припасть губами к этому теплу, к этой нежной детской коже.

— Конечно,— почувствовав, что он пересилил себя, сказала Люся, глядя на свои руки. Она тут же начала ими суетиться, поправлять ленты, зачем-то сдавила пальцами горло.— Виноватых нет.

— Прощай тогда...— Борис неуклюже, будто новобранец на первых учениях, повернулся кругом, осторожно, точно в больничной палате, притворил дверь и постоял еще, чего-то ожидая, обшаривая кухню глазами — не забыл ли кто чего?

Никто ничего не забыл.

«Солому не убрали. Насвинячили и ушли. Вечно так... Ладно, чего уж... Долгие проводы — лишние слезы...» — Борис подпинал солому в угол и отправился догонять взвод.

Отовсюду тянулись к площади бойцы. Снег хрупал под ботинками, что свежая капуста. Беловатые дымы — топят соломой — облаком стояли над местечком. Располагалось оно меж двух лесистых холмов, в широкой пойме раздвоившегося ручья, который впадал в речку пошире. За речкой вдоль берега тянулись хаты и сады с церковкой посередине.

Борис подивился этой церковке, он почему-то ее прежде не заметил. Заречье побито. Сшиблен купол церкви. Деревянный гужевой мост сожжен, перила обвалились, лед темнел лоскутьями, парило из пробоин. В хуторе тоже топились печи, дымы оттуда тянулись вдоль реки, в местечке еще чадил за огородами сгоревший ночью дом.

Почему, отчего не оборонялись немцы по эту сторону реки, а подались в голоземье, забрались в овраги и решили прорываться оттуда? У войны свой особый нрав, своя какая-то арифметика. Иной раз выбьют взвод, роту, но один или два человека останутся даже не поцарапанными. Или расщепают снарядами и бомбами селение, но в середине хата стоит. Вокруг нее голые руины, в ней же и окна целы!

Ротный командир Филькин, получивший в свое распоряжение технику, чувствовал себя полководцем и сразу зафорсил. Он глядел на Бориса как бы уже издалека, будто

выявляя в нем и в себе значительность перемен. Рукою, туго-натуго обтянутой хромовой перчаткой, по всем видам дамской, Филькин повелительно указывал, кому на каких машинах ехать, какую дистанцию держать.

Весело, с прибаутками, военные рассаживались по машинам. Нет народа благодуснее солдат, выпавшихся, поевших горячей пищи, да еще к тому же узнавших, что не топтать ножками до передовой.

Откуда-то взялись две хохлушки в одинаковых желтых кожушках с меховым подбоем, в цветастых платках. Белозубые, спелые, будто сошли дивчины эти с картин Малявина или Кустодиева, точнее с довоенных выставочных плакатов. Ни один солдат не проходил мимо дивчин просто так. Каждый оделял их вниманием: кто слово подходящее бросал, кто похлопывал, кто норовил и под кожушок рукою влезть.

Хохлушки повизгивали, отражая атаки пехоты: «Гэть, москаль! Гэть!», «Та що ж ты, скаженный кацап, робышь?!», «Ну ж, ну ж! Ой, лыхо мэни!», «Та ихайте скорийше!»

Но по всему было видно — не хотелось им так скоро отпускать москалей и нравилась вся эта колготня вокруг них.

Никакого душевного потрясения Борис еще не испытывал, лишь чувствовал, как непросохший, затвердевший на морозе воротник обручем сдавливал шею, да шинелью снова жгло, пилило натертое место, да от холода ли, от заостеневшего ли воротничка было трудно дышать, мысли ровно бы затвердели в голове, остановились, но сердце и жизнь, пущенные в эту ночь на большую скорость, двигались своим чередом. До остановки было далеко, до горя и тоски чуть ближе, но лейтенант пока этого не знал. Он суетливо бегал вокруг машины, возбуждался с каждой минутой все больше, даже потрепал хохлушек по красивым платкам. Очень он изменился за короткий срок. Прежде не только дотрагиваться, но и взглянуть вожделенно на дивчин не решился бы.

— Мужаешь, Боря! — изумился Филькин.

Лейтенант собрался ответить шуткой же, но увидел Люсю. В наспех наброшенном на голову шерстяном платке, в тех самых черных туфлях налетела она и принародно стала целовать Бориса, затем забралась в машину и солдат, ночевавших в ее доме, всех перецеловала, — какие они сделались родные, — говорила, чтобы лейтенанта берегли, — наказывала, — чтобы Шкалику больше пить не давали.

Солдаты, ночевавшие в других хатах, завистливо ахали и громко требовали, чтобы им тоже было уделено внимание. Корней Аркадьевич снял с Люси туфлю, вытряхнул снег. Опираясь на плечо Малышева, Люся стояла на одной ноге, смеялась сквозь слезы и что-то говорила, говорила.

— Храни тебя Бог, дочка! — надев на нее туфлю, сказал Корней Аркадьевич. Карышев поправил на ней платок и вскользя погладил по голове.

Машины двинулись резво, будто застоявшиеся кони. Борис притиснул Люсю к груди, надавил пряжкой полевой сумки ей на нос, и какое-то время она чувствовала только эту боль.

— Лейтенант! Лейтенант! — торопил взводного шофер, сдерживая машину.— Колонна уходит, а я маршрута не знаю.

Что-то с хохотом кричали солдаты с проходивших машин. Кто-то бросил в них снежком. По другую сторону машины курил и топтался на месте Мохнаков, не решаясь лезть в кузов.

— Раньше бы хоть помолились, — сказала Люся, теребя отвороты его шинели, — но мы же неверующие. Атеисты мы говенные. Осталось только завывать во весь голос...

— Вот еще! Только этого и недоставало! — боязливо оглядываясь на машины, забормотал Борис и начал отстранять ее от себя: — Озябла. Ступай!

Взводный оторвался-таки от женщины, точнее, оторвал ее от себя, запрыгнул в кабину, саданул железной дверцей и тут же открыл ее, готовый повиниться за обиду, нанесенную ей. Но «студебеккер», сыто заурчав, рванулся с места в карьер — взводного вдавило в спинку сиденья. Люсю отбросило назад, заволокло дымом выхлопов — она осталась в его памяти потерянная, недоумевающая, с судорожно перекошенным ртом.

Бойцы на машинах пели, ухали, подсвистывали сами себе. В истоптанном снегу еще дымилась окурки, кружился над дорогой синеватый бус, а колонна уже взнималась за местечком на косогор, голова ее подползла к лесу.

— Адрес! — сорвалась и побежала Люся.— Батюшки! Адрес-то!..

Оглушенная, растерянная, она мчалась следом за колонной. Да разве машины догонишь.

На опушке соснового бора, равнодушно тихого, мрачного, того самого, где висел на сосне рассыпающийся скелет чужеземца, тупорылая заморская машина задела

кабиной ветку сосны, другую, третью — снег, будто занавес в театре, упал, закрыв от нее все на свете.

Люся остановилась, обессиленная, задохнувшаяся.

Что мог значить какой-то адрес? Зачем он? Время помедлило, остановилось на одну ночь и снова побежало, неудержимо ведя свой отсчет минутам и часам человеческой жизни. Ночь прошла, осталась за кромкой народившегося дня. Ничего невозможно было поправить и вернуть.

Все было, и все минуло.

Мимо двигалась другая колонна. Бойцы показывали на снег, на хаты, на ноги женщины. Не в силах поднять руку, помахать им, Люся качалась всем телом в поклоне, твердя одно и то же:

— Воюйте скорее, миленькие. Живые будьте все... Воюйте... Живые будьте...

Вернулась она домой полузамерзшая. Туфли на ней каменно стучали. На волосах лежал снег. Конец намерзлой косы свинцовым грузилом бился в спину. Не раздеваясь, по-звериному подвывая, Люся залезла в постель, неосознанно надеясь, что там еще хранится тепло.

Хату заняли солдаты тыловой части. Пожилой, но молодеватый сержант постучал в дверь, вошел и начал оправдываться.

— Было открыто. Мы думали — хата брошена...

— Живите.

Страхивая туфли с ног, Люся пыталась натянуть на себя одеяло, прижаться к чему-нибудь, стучала зубами и все протяжней завывала не отверделым ртом, а всем нутром своим — там, в опустошенном нутре, возникал звук тоски, горя и вырывался наружу воем долгим, непрерывным. На этот вой снова явился пожилой сержант.

— Вам, может... — хотел предложить он помощь женщине. Она подняла голову и, не переставая завывать, глядела и не видела его. В глазах ее, отдаленно темных, возник переменчивый блеск, будто искрила изморозь по сухим зрачкам, из которых выело зерно, они сделались пустотелыми.

Сержант вежливо упятился из комнаты, на цыпочках ушел на кухню и шепотом сообщил команде, что хозяйка у них сошла или сходит с ума.

Часть четвертая

УСПЕНИЕ

И жизни нет конца
И мукам — краю.

Петрарка

Подбирая изодранный белый подол, зима поспешно отступала с фронта в северные края. Обнажалась земля, избитая войною, лечила самое себя солнцем, талой водой, затягивала рубцы и пробоины ворсом зеленой травы. Распускались вербы, брызнули по косогорам фиалки, заискрилась мать-и-мачеха, подснежники острой пулей раздирали кожу земли. Потянули через окопы отряды птиц, замолкая над фронтом, сбивая строй. Скот выгнали на пастбища. Коровы, козы, овечки выстригали зубами еще мелкую, низкую травку. И не было возле скотины пастухов, все пастушки школьного и престарелого возраста.

Дули ветры теплые и мокрые. Тоска настигала солдат в окопах, катилась к ним в траншеи вместе с талой водой.

В ту пору и отвели побитый в зимних боях стрелковый полк на формирование. И как только отвели и поставили его в резерв, к замполиту полка явился выветренный, точно вобла, лейтенантишко — проситься в отпуск.

Замполит сначала подумал — лейтенант его разыгрывает, шутку какую-то придумал, хотел прогнать взводного, однако бездонная горечь в облике парня удержала его.

Стал разговаривать со взводным замполит, а поговоривши, и сам впал в печаль.

— Та-ак, — после долгого молчания протянул он, дымя деревянной хохлацкой люлькой. И еще протяжней повторил, хмурясь: — Та-а-а-ак. — Взводный как взводный. И награды соответственные: две Красные Звезды, одна уж с отбитой глазурью на луче, медаль «За боевые заслуги». И все-таки было в этом лейтенантишке что-то такое...

Мечтательность в нем угадывалась, романтичность. Такой народ, он порывистый! Этот вот юный рыцарь печального образа, совершенно уверенный, что любят только раз в жизни и что лучше той женщины, с которой он был, нет на свете, — возьмет да и задаст тягу из части без спросу, чтобы омыть слезами грудь своей единственной...

«Н-да-а-а-а! Уматает ведь, нечистый дух!» — горевал замполит, жалея лейтенанта и радуясь, что не выбило из

человека человеческое. Успел вот когда-то вторгнуться, мучается, тоскует, счастья своего хочет. «А если потом в штрафную...»

Смутно на душе замполита сделалось, нехорошо. Он поерзал на скрипучей табуретке и еще раз крепкой листовухой набил люльку. Набил, прижег, раскошегарил трубку и совсем не по-командирски сказал:

— Ты вот что, парень, не дури-ка!

Тоска прожгла глаза лейтенанта. Никакие слова ничего не могли повернуть в нем. Он что-то уже твердо решил, а что он решил — замполит не знал и повел разговор дальше: про дом, про войну, про второй фронт, надеясь, что по ходу дела что-нибудь обмозгует.

— Стоп! — замполит даже подпрыгнул, по-футбольному пнул табуретку. — Ты в рубашке родился, Костяев. И тебе везет. Значит, в карты не играй, раз в любви везет... — Он вспомнил, что политуправление фронта собирает семинар молодых политруков. Поскольку многих политруков в полку выбило за время наступления, решил он своей властью отрядить в политуправление взводного Костяева и впоследствии назначить его политруком в батальоне — парень молодой, начитанный, пороху нюхал.

— Дашь крюк, но к началу занятий чтобы как штык! Суток тебе там хватит?

— Мне часа хватит. — Лейтенант как будто и не обрадовался. Терпел он долго, минуты своей ждал. И чего, сколько в нем за это время перегорело...

— Давай адрес. Надо ж документы выписать.

— А я не знаю адреса!

— Не зна-а-е-ешь?!

— Фамилию тоже не знаю. — Лейтенант опустил глаза, призадумался. — Мне иной раз кажется — приснилось все... А иной раз нет.

— Ну ты силе-о-о-он! — с еще большим интересом всмотрелся в лейтенанта замполит. — Как дальше жить будешь?

— Проживу как-нибудь.

— Иди давай, антропос! — безнадежно махнул рукой замполит. — Чтобы вечером за пайком явился. Помрешь еще с голодухи.

О чем он думал? На что надеялся? Какие мечты у него были? Встречу придумал — как все получится, какой она будет, эта встреча?

Приедет он в местечко, сядет на скамейку, что неподалеку от ее дома стоит, меж двух тополей, похожих на вер-

тешки. Скамейку и тополя он запомнил, потому что возле них видел Люсю в последний раз. Он будет сидеть на скамейке до тех пор, пока не выйдет она из хаты.

И если пройдет мимо...

Он тут же встанет, отправится на станцию и уедет. Но он все-таки уверил себя — она не пройдет, она остановится. Она спросит: «Борька! Ты удрал с фронта?» И, чтобы погугать ее, он скажет: «Да, удрал! Ради тебя дезертировал!..»

И так вот сидел он на скамейке под тополями, выбросившими концы клейких беловатых листочков, запыленный от сапог до пилотки. Ждал. Люся вышла из дому с хозяйственной сумкой, надетой на руку, закрыла дверь. Он не отрываясь смотрел. Диво-дивное! Она в том же платье желтеньком, в тех же туфлях. Только стоптались каблуки, сбились на носках туфли, на платье уже нет черных лент, нарукавнички отлиняли, крылья их мертво обвисли.

Люся похудела. Тень легла на глаза ее, коса уложена кружком на затылке, строже сделалось лицо ее, старше она стала, совсем почти взрослая женщина.

Она прошла мимо.

Ничего уже не оставалось более, как подаваться на станцию, скорее вернуться в часть, тут же отправиться на передовую и погибнуть в бою.

Но Люся замедлила шаги и осторожно, будто у нее болела шея, повернула голову:

— Борька?!

Она подошла к нему, дотронулась, пощупала медаль, ордена, нашивку за ранение, провела ладонью по его щеке, услышала бедную, но все же колючую растительность.

— В самом деле Борька!

Так и не снявши сумку с локтя, она сползла к ногам лейтенанта и самым языческим манером припала к его обуви, иступленно целуя пыльные, разбитые в дороге сапоги...

Ничего этого не было и быть не могло. Стрелковый не отводили на переформировку, его пополняли на ходу. Теряя людей, не успевая к иным солдатам даже привыкнуть. Борис топал и топал вперед со своим взводом все дальше и дальше от дома, все ближе и ближе к победе.

По весне снова заболел куриной слепотой Шкалик, отослан был на излечение и оставлен работать при госпитале, чему взводный радовался. Да вот днями прибыл на передовую Шкалик, сияет, радуется — к своим, видите ли, попал.

Неходко, мешковато топает пехота по земле, зато податливо.

Привал. Залегли бойцы на обочине дороги. Дремлет воинство, слушает, устало смотрит на мир божий. Старая дорога булыжником выстелена, по бокам ее трава прочикнулась, в поле аист ходит, трещит клювом что пулемет, над ставком, обросшим склоненными ивами, кулик кружит или другая какая длинноклювая птица. Свист, клекот, чирканье, пеньё. Теплынь. Красота. Весна идет, движется.

Карышев сходил к ближайшей весенней луже. Котелком чиркнул по отражению облака, разбил его мягкую кучу, попил бодрой водички. Куму принес, тот попил, крикнул, другим бойцам котелок передал. До лейтенанта Костяева дошел котелок, он отвернулся, сидит, опустив руки меж колен, потерянный какой-то, далекий ото всех, уже солнцем осмоленный, исхудалый.

Старшине Мохнакову котелок с водой не дали, в отдалении он лежал, тоже отрешенный ото всех, мрачный — не досталось ему воды.

— Ох-хо-хо-оо-о,— вздохнул Карышев, соскребая густо налипшую черную землю с изношенных ботинок.— Этой бы земле хлеб рожать.

— А ее сапогами, гусеницами, колесом,— подхватил кум его и друг Малышев.

— Да-а, ни одна война, ни одна беда этой прекрасной, но кем-то проклятой земли не миновала,— не открывая глаз, молвил Корней Аркадьевич Ланцов.

— А правда, ребята, или нет, что утресь старую границу перешли? — вмешался в разговор Пафнутьев.

— Правда.

— Мотри-ка! А я и не заметил.

— Замечай! — мотнул головой Ланцов на танк, вросший в землю, пушечкой уткнувшийся в кювет. Машину оплело со всех сторон сухим бурьяном, под гусеницами жили мыши, вырыл нору суслик. Ржавчина насыпалась холмиком вокруг танка, но и сквозь ржавчину просунулись острия травинок, густо, хотя и угнетенно, светились цветы мать-и-мачехи.— Если завтра война! Вот она, граница-то, непобедимыми гробами помечена...

Старшина Мохнаков молча подошел к Пафнутьеву, взял его карабин, передернул затвор, не целясь ударил в бок танка. На железе занялся дымок и обнажилась черной звездочкой пробоина. Старшина постоял, послушал, как шуршит ржавчина, засочившаяся из всех щелей машины, и бросил карабин Пафнутьеву:

— А мы и на таких гробах воевали.
— И довоевались до белокаменной,— ворчал Ланцов.
— Было и это. Все было. А все-таки вертаемся и бьем фрица там, где он бил нас. И как бил! Сырыми бил, и не бил — прямо сказать, по земле размазывал... Но вот мы вчера, благословясь, Шепетовку прошли. Я оттудова отступать начал.— Старшина недоуменно огляделся вокруг, что, мол, это меня понесло? Набычился, снова отошел в сторону, лег на спину и картуз, старый, офицерский, на нос насунул.

— Постой, постой! — окликнул его Пафнутьев:— Это не там ли родился какой-то писатель-герой?

— Там! — буркнул из-под картуза Мохнаков.

— А как же его фамиль? И чо он сочинил?

— Горе без ума! — усмехнулся Корней Аркадьевич.

— «Горе от ума» написал Грибоедов,— не шевелясь и не глядя ни на кого, тусклым голосом произнес лейтенант Костяев:— В Шепетовке родился Николай Островский и написал он замечательную книгу «Как закалялась сталь».

— Благодарствую! — приложил руку к сердцу Ланцов.

— Что за люди? — с досадою хлопнул себя по коленям Пафнутьев:— Где шутят, где всурьез? Будто на иностранном языке говорят, блядство.

— А такие, как ты, чем меньше понимают, тем спокойней людям,— лениво протянул Ланцов.

— Зачем тоды бают: учење — свет, неучење — тьма?

— Смотри кого и чему учат.

— Убивать, например,— снова едва слышно откликнулся Борис.

— Самая древняя передовая наука. Но я другое имел в виду.

— Уж не марксистско-ленинскую ли науку? — насто-рожился малограмотный, но крепко в колхозе политически подкованный Пафнутьев.

— Я учење Христа имел в виду, учение, по которому все люди — братья.

— Христа-то хоть оставьте в покое! Всуе да на войне...— поморщился Костяев.

— И то верно! — решительно поднялся с земли старшина Мохнаков.— Разобрать имущество! Ш-гом арш! Запыживай, славяне. Бёрлин недалеко.

Появился на передовой капитан из какого-то штабного отдела, молодой еще, но уже важный. Он принес ведомость на жалованье. Солдаты шумно изумлялись — им, оказы-

вается, идет жалованье.. Расписались сразу за все прошедшие зимние месяцы, жертвуя деньги в фонд обороны. После этого капитан прочитал краткую лекцию о пользе щавеля, о содержании витаминов в клевере, в крапиве, так как последнее время с кухни доставляли зеленую похлебку, поименованную бойцами дристухой. Солдаты грозились заложить гранату в топку кухни. Лекцию насчет пользы витаминов капитан провел как бы в шутку и как бы всерьез, на вопросы отвечал шуткою, но построжел, когда его спросили: не с клевера ли у него брюшко? От большого сердца, сообщил капитан. Бойцы и это сообщение почли шуткой, очень удачной, и главное, к месту. Разговор сам собою перешел на второй фронт. Крепкими словами были обложены союзники за нерасторопность и прижимистость — все сошлись на том, что из-за них, подлых, приходится жрать зеленец и переносить все более затягивающиеся временные трудности.

Капитан пострелял из снайперской винтовки по противнику, даже в легкую атаку на село сходил, занявши которое, солдаты подшибли гуся, якобы отбившегося от перелетной стаи. Важный капитан понимающе посмеивался, глядя вместе с бойцами кости дикого гуся.

Мясцом капитана попотчевал Пафнутьев. Он притирался к гостю, таскал его багажишко, выкопал ему щель, принес туда соломки, вовремя, к месту интересовался: «Может, еще покушаете, товарищ капитан? Может, вам умыться наладить?»

Увел Пафнутьева капитан с собой. «Кум с возу — кобыле легче!» — решили во взводе.

Во время затиший Пафнутьев навещал родную пехоту, всех без разбору угощал папиросами из военторга. Поболтав о том о сем, поотиравшись на переднем краю, он уволакивал узел трофейного барахла: одеял немецких, плащпалаток, сапог. Барахлишко — догадывались солдаты — Пафнутьев менял на жратву и выпивку, словом, ублажал начальство. И ублажил бы, да заелся.

Мохнаков мрачно бухнул Пофнутьеву:

— Ты вот что, куманек! Или выписывайся из взвода, или бери лопату и вкальвай до победного конца. Уж двадцать лет как у нас холуев нет.

— Холуев, конечно, уж двадцать лет как нет, — не вступая в пререкания со старшиной, поучительно ответил Пафнутьев, — да командиры есть, и кто-то должен им приноравливать. Товарищ капитан не умеют ни стирать, ни варить. Антилигент они. — Докурив папироску, Пафнутьев

поглядел на нейтральную полосу, за которой темнели немецкие окопы,— туда ночью ходили в разведку боем штрафники.— Штрафников-то полегло э сколько! — заохал Пафнутьев.— Грех да беда не по лесу ходят, все по народу. Хуже нет разведки боем. Все по тебе палят, как по зайцу.

Мохнаков взял Пафнутьева за ворот гимнастерки, придал к стене траншеи, поднес ему гранату-лимонку под нос и держал гостя так до тех пор, пока тот не захрипел.

— Понюхал?! — старшина подкинул вверх и поймал гранату.— Все понял?

— Как не понять? Ты так выразительно все объяснил.

— Тогда запыхивай отсюда!

— Я-то запыху,— отдышавшись, начал мять папироску пляшущими пальцами Пафнутьев. Закурив, он устался на трофейную зажигалку, излаженную в виде голой бабы со всеми ее предметами и подробностями. Огонь у нее высекался промеж ног.— Я-то запыху,— убирая зажигалку в нагрудный карман, нудил Пафнутьев.— Вот как бы ты вместе с Боречкой не запыхили туда...— кивнул он головой на нейтралку, где с ночи лежали и мокли под дождем убитые штрафники.

Старшина снова хотел дать ему гранату понюхать, но в это время его кликнули к командиру, и он, погрозив пальцем Пафнутьеву: «Мотри у меня!» — удалился. «Да, а если не потрафишь товарищу капитану, да ежели он сюда меня вернет, да ежели бой ночью...»

— Не стращай девку мудями, она весь видала! — задергался, завизжал Пафнутьев. Однако Мохнаков его уже не слышал.

Между тем наступление продолжалось, хотя и шло уже на убыль. Части переднего края вели бои местного значения, улучшали позиции перед тем, как стать в долгую оборону.

Из штаба полка было приказано взводу Костяева разведать хутор, если возможно, захватить высотку справа от него и закрепиться. Мохнаков день проторчал в ячейке боевого охранения, с биноклем — высматривал, вынюхивал. Ночью, тихонько ликвидировав ракетчиков и боевое охранение немцев, пробрался с отделением автоматчиков в хутор, поднял невообразимый гам и пальбу, такую, что хутор фашисты в панике оставили, и высотку тоже.

Стрелки забрались в избы, от которых тянулись ходы сообщений на высотку, и блаженно радовались тому, что

не надо копать. На высотке брошен был живехонький еще наблюдательный пункт, даже печка топилась в блиндаже, на ней жарились оладьи, телефон был подсоединенным. «Гитлер капут!» — орала в телефон бойцы, макая горячие оладьи в трофейное масло, вкус которого они начали забывать. С другой стороны им отвечали: «Русиш швайне!»

Вырывая друг у дружки трубку, удачливые автоматчики лаяли немцев, дразнили их, чавкая ртом, потом пели похабные песни с политическим уклоном.

Поверженный противник не выдержал полемики и телефон свой отцепил, пообещав сделать русским иванам «гросс-капут».

Тут как тут явились на отвоеванный НП артиллеристы и выперли веселую пехоту из уютного блиндажа. Коря артиллеристов: всегда, мол, мордатые заразы лезут на готовенькое, стрелки подались в хутор и начали варить картошку, возбужденно рассказывая друг другу о том, как остроумно беседовали с фрицем по телефону.

Для взаимодействия и связи с артиллеристами на высотке остались Мохнаков и Карышев. Утром установлено было, что весь скат высоты и низина за огородами хутора, да и сами огороды с зимы минированы: еще один оборонительный вал соорудили немцы.

Около полудня появился в поле боец и попер напрапалую по низине.

— Кого это черти волокут? — Карышев приложил ко лбу руку козырьком.

Старшина повернул стереотрубу, припал к окулярам.

— Сапер запыхивает, — почему-то недобро усмехнулся он и еще что-то хотел добавить, но в низине хлопнуло, вроде бы как дверью в пустой избе, подпрыгнула и рассыпалась травянистая кочка, выплеснулся желтый дымок.

— А-а-ай! Мамочка-а-а! — донеслось до окопов. Карышев, тужась слухом, всполошенно хлопнул себя по бокам:

— Это ведь Пафнютьев! — и заругался: — Какие тебя лешаки сюда ташшили, окаянного? Трофеи унюхал, трофеи!

— А-а-ай! А-а-а-ай! Помоги-и-ы-ыте-е-е-е! Помоги-и-ы-ыте!

Карышев перестал ругаться, засопел, мешковато полез из окопа. Старшина сдернул его за хлястик шинели обратно:

— Куда прешь, дура! Жить надоело?

Старшина обшарил в артиллерийскую стереотрубу всю низинку. Была она в плесневелых листьях, на кочках серели расчесы вейника, колоски щучки и белоуса, под кочками уже обозначались беловатые всходы калужника, прокололись иголки свежего резуна. В кочках бился Пафнутьев, разбрызгивая воду и грязь, и все кричал, кричал, а над ним заполошно крутился и свистел болотный кулик.

— Будь здесь! — наказал старшина Карышеву.

Мохнаков отполз за высотку, поднялся и, расчетливо осматриваясь, выверяя каждый шаг, будто на глухарином току, двинулся в заболоченную низину. Его атаковали чибисы, стонали, вихлялись возле лица.

— Кшить, дураки! Кшить! — старшина утирал рукавом пот со лба и носа. — Рванет, так узнаете!

Он добрался до Пафнутьева, вытянул его из грязи. Ноги Пафнутьева до пахов были изорваны противопехотной миной. Трава от взрыва побелела и пахла порченым чесноком. Мохнаков неожиданно вспомнил, как дочка его, теперь уже невеста, отведавши первый раз в жизни колбасы, всех потом уверяла, что чеснок пахнет колбасой. Дети, семья так редко и всегда почему-то внезапно вспоминались Мохнакову, что он непроизвольно улыбнулся этому драгоценному озарению. Пафнутьев перестал кричать, испугавшись его улыбки.

— Не бойся! — буркнул Мохнаков. — На вот, кури. — Засунув сигарету в рот солдата, старшина похлопал себя по карманам — спички где-то обронил. Пафнутьев суетливо полез в нагрудный карман — там у него хранилась знатная зажигалка.

— Возьми зажигалку на память.

— Упаси нас Бог от тебя и от твоей памяти.

— Прощенья прошу, Миколай Василич, — запричитал Пафнутьев. — Наклепал я на товарища лейтенанта. На тебя наклепал. Мародерство... Связь... Связь командира с подозрительной жэнщиной...

— Его-то зачем? Ну я, скажем, злодей. А его-то?..

Перевязывать было много и неловко. Старшина вынул из кармана свой пакет, разорвал его зубами. Пафнутьев все причитал, каялся:

— Гадина я, гадина! Скоко людей погубил, а вот погибель приспела — к людям адресуюся...

— Ладно, не ори! В ушах аж сверлит! — прикрикнул старшина. — Люди на войне братством живы, так-то...

— Выташшы, Миколай Василич! Ребятишки у меня, Зойка. Сам семейный... Всю жизнь... молить всю жизнь...

И эту... гадство это... спозаброшу... замолю... грех... молитвой жить...— Мохнаков хотел сказать: «Хватился когда молиться»,— но Пафнутьев пискнул, захлебнулся и умолк — старшина туго-натуго притянул бинтами к паху его мошонку. «Чтобы не укатилось чего куда»,— мрачно пошутил он про себя, взваливая на загорбок податливую, будто разваренную тушу солдата.

В траншее наладили носилки из жердей и плащ-палатки. Перед тем как унести Пафнутьева из окопа, влили ему в рот глоток водки. Он поперхнулся, открыл захлестнутые плывущим жаром глаза, узнал Бориса, Карышева и Малышева.

— Простите, братцы! — Пафнутьев попробовал перекреститься, но его отвалило на носилки, и он заплакал, прикрыв лицо рукой. Кадык его, покрытый седой реденькой щетиной, ходил челноком.

Карышев и Малышев подняли носилки. Борис проводил их взглядом до низинки. Старшина что-то недовольно бубнил, оттирал соломой гимнастерку и штаны.

Досадный был кум-пожарник Пафнутьев, притчеватый, как называли его алтайцы, и пострадали за него, притчеватого.

Доставив Пафнутьева живым до санбата, они, утомленные ношей, уже вечером, благостно-теплым, неторопливо возвращались на передовую, подходили к хутору, утратив осторожность.

Хлестко, но без эха ударил выстрел.

Карышев сделал шаг, второй, все с тем же ощущением в душе благодати деревенского вечера. Не выстрел это, нет, с оттяжкой щелкнул бичом деревенский пастух, гнавший из-за поскотины, с первой травки залежавшихся в зимних парных стайках коров. Ноги солдата уже подламывались в коленях, но все еще видел он избы, тополя, резко очерченные в предсумерье, жиденькую, еще не наспелую вечерницу-зорьку, слышал запах преющей стерни на пашне и накатило, волною плывущий из лога шорох молодой травы — ремень траншеи стеганул его по глазам, все вокруг встало на ребро, опрокинулось на солдата: дома, деревья, пашня, небо...

— Ку-у-у-ум! — дико закричал Малышев, подхватывая рухнувшего земляка.

— Западите! Западите! — ссаженным голосом кричал, спеша по траншее, Мохнаков.

Карышев и Малышев — опытные вояки, поняли его, запали в кочки, чтобы снайпер не добил их.

Пуля угодила Карышеву под правый сосок, искорежив угол гвардейского значка. Он был еще жив, когда его доставили в хуторскую избу, но нести себя в санбат не разрешил.

— Уби-тый я,— проговорил он, прерывисто схлебывая воздух.

Малышев старался подложить под голову и спину Карышева чего-нибудь помягче, чтобы тому легче дышать, вытирал ладонью вспыхивающую на губах друга красную пену и все насылался:

— Попьешь, может, кум? Может, чего надо? Ты не терпи, ты спрашивай...— Губы Малышева разводило, лицо его было серое, лысина почему-то грязная, весь он сузился, исхудал разом, сделалось особенно заметно, какой он пожилой человек.

Борис махнул рукой, чтобы бойцы уходили из избы. Все понурясь ушли. Встав на колени перед Карышевым, взводный поправил солому под ним и затих, не зная, что сказать, что сделать. По хате поплыл тонкий, протяжный звук, будто из телефонного зуммера. Это Малышев зашелся в плаче, из деликатности стараясь придавить его в себе.

Карышев отходил. Он прижмурил глаза с уже округлившимися глазницами и открыл их, сказав этим лейтенанту «прощай», перевел взгляд на кума. Борис понял — ему надо уходить. Взводный распрямылся и не услышал под собою ног.

— Моих-то,— прошептал Карышев.

— Да об чем ты, об чем!.. Не сомневайся ты в смертный час! — по-деревенски пронзительно запричитал Малышев.— Твоя семья — моя семья... Да как же мне жить-то теперича-а-а! Зачем мне жи-ить-то?..

Борис шагнул в темноту, нащупал перед собой стойку или столб, уперся лбом в его холодную твердь и, ровно бы грозя кому, повторял: «Так умеют умирать русские люди! Вот так!..»

В хуторе тихо. За хутором реденько и меланхолично всплывали ракеты, выхватывая мертвым светом из темноты кипы садов, белые затаившиеся хатки, уткнувшиеся в небо утесами придорожные тополя.

— Преставился.

Борис прижал Малышева к себе и почему-то начал гладить его по голой, прохладной голове. Шумно работая носом, Малышев рассказывал, как жили они душа в душу с

кумом до фронта; женились в один день; в колхоз записались разом. Бывало, гуляют, так кум домой утайкой волокется, а он, Малышев, дурак такой, орет на всю улицу: «Отворяйте ворота, да поширше!..»

Ночью, без шума, без лишней возни, под звездами схоронили Карышева, сделали крест из жердей, и последний приют алтайского крестьянина как-то очень в пору пришелся на одичалом хуторском погосте, реденько заселенном разномастными крестами и каменьями с непонятной вязью слов, придавившими чьи-то древние могилы. Кусты бузины клубились на закрайках погоста, низкий колючий терновник, уже набравший цвет, окаймлял его вместо ограды. С единственного старого дерева, стоявшего средь могил, шарахнулась в темноту зловещая птица.

На этом же кладбище было три свежих креста с надевными на них рогатыми касками. Малышев, возвращаясь в хутор, с глухим рычанием бросился на тополевые кресты, пустившие побеги, выворотил их, побросал за ограду, туда же пустил и ржавые каски. Они громко звякнули в темноте.

Замкнулся, умолк, совсем отделился от людей старшина. От висков, из-за ушей прострелили его лицо пучки морщин. Рот стянуло, губы потрескались. Ходил он неловко, будто прихватывало морозом мокрые втоки. Спал мало, ел из своей посуды, чтобы не заразить солдат, бросил пить совсем, в земляной работе сделался немощен, курил беспрестанно, да военное дело выполнял с лютостью — искал смерти.

Но и смерть его сторонилась.

Раздобыл старшина чистое белье, новый вещмешок. Белье надел, вещмешок упрятал в ячейке. В мешке было что-то круглое. Бойцы думали — домашний каравай хлеба. Но разнюхали — противотанковая там мина. Зачем она старшине, гадали.

Не отбив сгоряча, дуриком у них взятую высоту, немцы пытались малыми силами взять ее обратно, и были отброшены. Тогда они подготовились к атаке тщательней, заскребли все, что осталось под рукой, и даже четыре танка бросили в атаку. Артиллеристы ударили по танкам, один повредили, остальные россыпью рванули к окопам, достигли высоты. Пэтээрщики, побухав из ружей по лобовой броне танков, пали на дно ячеек, носом в грязную землю. Танки навалились, уютжат траншеею, и никакой на них управы нету. Старшина Мохнаков не отрывался от

стереотрубы артиллеристов, хотя те и ругались, прогоняя его. Окутанный пылью, резво брэнча левой ослабшей гусеницей, покачивая надульником пушки, лез к наблюдательному пункту бывалый танк. На лобовой броне его всплывали цапины, пестрая краска отваливалась лоскутьями, свежий, сизый шов электросварки тянулся от переднего люка к поддону.

Давно воюет этот танк, умелый в нем водитель, маневрирует смело, в пыль прячется, боков не подставляет. Такой танк за десяток машин наработает!..

Мохнаков надел вещмешок за спину, затынулся в последний раз от толстой сигарки, притоптал окурок. «Запыживай, паря!» — сказал себе и выпрыгнул из окопа. Он подпустил машину так близко, что водитель отшатнулся, увидев в открытый люк вынырнувшего из дыма и пыли человека. И старшина Мохнаков увидел опаленное лицо водителя в детской розовой коже — бровей и ресниц у него не было. Горел водитель, и не раз горел.

Они глядели друг на друга всего лишь мгновение, но по предсмертному ужасу, мелькнувшему в водянистых глазах водителя, не трудно догадаться было — немец все понял: русский солдат с тяжелым, ссохшимся лицом идет на смерть.

Танк дернулся, затормозил. Но Мохнаков уже нырнул под гусеницу, она вмяла его в прошлогоднюю запыленную стерню. От взрыва противотанковой мины старая боевая машина треснула по недавно сделанному шву. Траки гусеницы забросило аж в траншею.

А там, где ложился старшина Мохнаков под танк, осталась воронка с испепеленной по краям землею и черными стерженьками стерни. Тело старшины, пораженное заразной, неизлечимой в окопах болезнью, вместе с выгоревшим на войне сердцем разнесло, разбросало по высотке, туманящейся с солнечного бока зеленью.

В полевой сумке Мохнакова, оставленной на НП, обнаружались награды, приколотые к бязевой тряпочке, и записка командиру взвода. Просил его старшина позаботиться о жене и детях. Адрес: «Райцентр Мотыгино, Красноярского края, улица, номер дома...»

Но через несколько дней командира взвода и самого ранило в правое плечо осколком мины. Он почти сутки еще просидел в земляной норке на изопревшей соломе, баюкая прибинтованную к туловищу руку, налитую синенькой краской и клейковато заблестевшую. Замениться нечем: старшины не стало, младших командиров выбило за весен-

нее наступление, Ланцова, Корнея Аркадьевича будто бы в армейскую газету забрали, но солдаты поговаривали, что совсем его в другое место забрали за чернокнижье, за приверженность к Богу и вредным разговорам. Грешили на Пафнутьева — он, змеина, заложил человека. Из старых солдат остались во взводе Малышев да Шкалик.

Усталые, издерганные боями, вымазанные окопной глиной, солдаты, большей частью вернувшиеся из госпиталей или собранные по украинским селам, из-за распутицы питающиеся чем попало, привычно и безропотно вели свои будничные фронтовые дела, изредка заглядывая ко взводному в норку, не за распоряжениями, нет, а просто узнать — не надо ли чего ему?

Вечером дежурный по взводу сунул в щель котелок, оставил на тряпочке ржаную лепешку собственной выпечки. Борис прилепился к теплему ободку и частыми глотками отхлебывал кипяток, заправленный лежалыми буряками. Лепешка хрустела на зубах. Солдаты толкли прикладами прошлогоднее зерно и пекли лепехи на саперных лопатках. Через силу домальывал Борис зубами затхловатое, крупнодробленое, еле склеенное в лепешку зерно, заставляя себя изжевать ее всю до крошечки — солдаты оторвали от себя последнее, — уважать фронтовое братство он научился.

Промочив спекшееся горло остатками свекольного чая, он свернулся в сырой щели. Трудился какой-то жук-землей, обыгавший после холодов. Комочки сыпались Борису на лицо, закатывались в ухо.

Наутро неистребимый, заросший малопородистой бородой командир роты Филькин привел во взвод пополнение — человек пятнадцать солдатиков двадцать пятого года рождения и с ними младшего лейтенанта, только что прибывшего из уральского военного училища.

Борис распрощался со взводом, пожелал новому командиру с комсомольским значком на гимнастике долгой жизни и дружбы с солдатами.

Филькин обнял взводного, бережно по спине похлопал:
— Я буду ждать тебя, Боря!

В дороге лейтенанта догнала повозка. На ней стоял, бойко мотая вожжами, Шкалик, отъевшийся в госпитале, очень всем довольный, особенно тем, что сумели солдаты раздобыть повозку — выбросили пустые ящики, столкнули наземь ездового и велели догонять раненого товарища командира.

С радостью забрался лейтенант в повозку, ткнулся

лицом в мышами пахнущую солому. Его подбрасывало на выбоинах, катало по повозке, когда она заваливалась в глубокие, танками прорытые колдобины, но Борис все равно дремал, отупев от боли и усталости.

Шкалик, чмокая губами, шлепал кривоногую лошадь вожжами по бокам и все рассказывал, как они ловко заполучили повозку, как повозочный хватался за оружие, но потом, когда ему дали лепешек и чаю из буряков, а товарищ командир роты угостил легким табаком, повозочный утешился.

В грязном, размешанном логу повозка застряла. Борис попробовал помочь Шкалику, да силенок и того и другого оказалось маловато. Шкалик крикнул: «Я чичас, товарищ лейтенант!» — и прытко побежал вперед лошади, дергая ее за узду.

Лошадь, скрипя колесами, пошла в объезд, миновала бочажину, затрещала кустами. Борис, уронив голову, сидел по другую сторону лога, навалившись на ствол ветлы, изорванной колесами. Внезапно ударило пламя, развалило все вокруг грохотом, за клубился кислый дым. Кашляя, давясь удушьем, взводный слепо ринулся в лог. Перед ним, ломая чащу, упало и покатилося колесо от телеги; из редеющего дыма выпадало и шлепалось в грязь что-то мягкое, ударяя в голову запахом парной крови и взрывчатки.

Шкалик был всегда беспечен. Но он-то, он, окопный командир, ванька-взводный, с собачьим уже чутьем, почему позволил себе расслабиться и не почувствовал опасности? Вон же они рядом стоят — дощечки с намалеванным черепом — ограждение минеров. Что это с ним? Почему отерпло и притупилось в нем все, чем держится человек в этой жизни?

— Бедный, бедный мальчик! — сказал, а может, подумал Борис и потер распухшие и зудящие веки. Не зная, что делать, постоял еще, оглядываясь по сторонам, словно бы запоминая это безлюдное, неприметное место, истерзанное колесами, воронками, и побрел лесом в санбат, надсаженный, полуглухой.

Больно ему было от раны, ело глаза окисью взрывчатки, но страдания в сердце не было. Привык. Ко всему привык. Притерпелся. Только там, в выветренном, почти уже пустом нутре поднялось что-то, толкнулось в грудь и оборвалось в устоявшуюся боль, дополнило ее свинцовой каплей.

Нести свою душу Борису сделалось еще тяжелее.

...В санбате оказалось народу густо. Офицеров на перевязку вызывали вперед. Но Борис по окопной привычке везде быть с солдатами забрался в очередь и все пропускал солдат, тех, которые казались ему тяжелее его ранеными.

На стол он попал спустя сутки.

Неповоротливая и молчаливая медсестра не стала отмачивать ссохшиеся рыжие бинты, отодрала их, будто фанеру, с плеча Бориса, промокнула тампоном ударившую кровь из раны, дала ему таблетку, оглянувшись воровато и сама съела такую же. Бориса начало укутывать кудельно-волокнустым сном, у сестры тоже затуманились глаза, губы ее сделались мокрые, сонно распыленные.

Врач в старомодных очках с позолоченной оправой, за которой остро и сердито мерцали влажные глаза, расшевелил Бориса, постукав его по плечу кулаком, спросил, где отдается боль. Борис вяло сказал: «Не знаю», — потому что боль отозвалась везде.

Врач озадаченно глянул на больного:

— Наклюкаться где-то успел, сердечный, — и потыкал в рану зондом.

Кровь потекла бойчее, зашекотала струйкой спину, живот. Борис понесло со стола. Ему сделали укол, потеряли виски нашатырным спиртом и разрезали плечо крест-накрест.

Через неделю, от силы через две — завершила лейтенанта старшая сестра медсанбата, — он снова будет в строю. Что-то тут не так: ранение в плечо простым не бывает, при нем ни тряхнуться, ни ворохнуть — болит все. Да пусть — не все ли равно, где валяться, лишь бы покойно было. Борис не горлопанил, не ругался, эвакуации не требовал, привыкнув к боли, лежал в палатке или ехал в санбатовской машине, смотрел в небо, и жалостный, устойчивый покой пеленал его младенческой полудремою.

В солнечный незнойный день, когда из лесу тянуло снегом, из логов, где еще серели обмылки сугробов, — талой водой и горьковато-медовым запахом цветущей ивы, Борис выполз из палатки в бельишке, зашитом на животе, бросил чиненое одеяло на землю, опустил на него. Он сидел, прислонившись к чешуйчатому стволу дерева, названия которого не знал.

Мирно ему было. Деловито жужжа, вспыхивая крыльями на солнце, полосами тянули пчелы, оседали на распустившийся ивняк. Ивы гудели, шевелились от пчел, казалось, курились они, разбрасывая искры по сторонам.

Под хмельное гудение пчел, переклик пичужек, возившихся над головой, под трещание аиста, который ходил по полю, пьяно качаясь, замирая на одной ноге, пуская клювом очереди в небо, под умиротворенный весенний шум, совсем не похожий на буйство вешней Сибири, Борис задремал.

Он слышал все звуки, чувствовал, как холодит сквозь одеяло только еще сверху отмякшая земля, токи ее слышал, рост нарождающейся травы и в то же время ровно бы ничего не слышал, ровно бы все, что происходило вокруг, откликалось не в нем, а в другом каком-то человеке.

Что-то легко коснулось руки, защекотало его. Борис разлепил глаза. По запястью ползла узорчатая бабочка и с серьезностью молодого фельдшера ощупывала усиками зашелушившуюся от мыла кожу.

Борис глядел, глядел на сторожкую бабочку и увидел черные крылышки на рукавах желтого платья, окно в морозных узорах...

— Лю-у-у-у-уся-а-а!

Бабочка сорвалась с руки, села на синеватую былку нераспустившегося цветка.

— Лю-у-у-у-уся-а-а-а-а?!

Бабочка прилипла к голотелому стеблю, похожему на бескровную человеческую жилку, дышала крыльями, готовая вот-вот взлететь.

— Больной, ты не видел Люсю?

Борис, глупенько улыбаясь, уставился на коротконогую женщину с новым цинковым ведром на сгибе руки.

— Повариху не видел, спрашиваю?

Он силился что-то понять.

— Ты чего, совсем уже ослабоумел? Повариху не помнишь, которая тебя каждый день по три раза столует?

Бабочка успела улететь.

— Ничего я не помню,— с досадою сказал лейтенант.

— Оно и видно.— Женщина покатила на коротких ногах к ручью, заорала еще громче: — Лю-у-у-у-уся-а-а-а! Куда тебя черти унесли?

«Люся, куда тебя черти унесли? — Борис ткнулся лицом в пахнувшее больницей одеяло.— Лю-у-у-у-уся-а-а! Да была ли ты, Люся? Была ли?!»

Он грудью ощущал, как из земли равнодушно текло в него едва ощутимое ее дыхание, и тоска его, и слабый бунт — не помеха, не помога земле. Она занята своим вековечным делом. Она на сносях, готовится рожать и, как всякая роженица, вслушивается только в себя, в жизнь,

шевелиющуюся в недре. До него, выдохшегося человечешка, нет ей никакого дела — земля вечна, он мимолетный гость на ней.

На очередном обходе главный врач санбата осмотрел Бориса, поворачивая его то передом, то задом, постучал кулаком под правой лопаткой и, заметив, что лейтенант сморщился, сурово спросил:

— Болит?

Борис опустил голову:

— Болит.

Врач через очки будуче смотрел на него, неторопливо свертывая кровянисто-багровые жилы фонендоскопа на руку:

— Подзадержались вы у нас, подзадержались...

Борис уловил в голосе врача неприязнь и плохо спрятанное подозрение. Послышалось угодливое хихиканье той самой санитарки коротконогой, что искала повариху Люсю.

— У нас тут не курорт, у нас санбат! У нас каждое место на счету... — напористо заговорила старшая сестра, святоликая женщина с милосердными глазами, так опрометчиво определившая лейтенанту две недели на излечение, а он вот не оправдал ее надежд, лежит и лежит себе.

Распятый на казенной койке ранбольной Костяев Борис беспомощно и жалко улыбался. На его глазах однажды сибирский веселый пареван добивал гаечным ключом подраненную утку. Борису даже почудилось, что он слышит тупой, смягченный пером удар железа по хрусткому птичьему черепу. Вот ведь беда — утка еще эта несчастная в памяти воскресла!..

Да-а, выходит, он занимает чье-то место, понапрасну жрет чей-то хлеб, дышит чьим-то воздухом, запросто живет и живет, тогда как настоящие, нужные люди срываются, умирают за него и за Родину...

Сдерживая занявшуюся ярость, Борис негромко сказал:

— Так выбросьте меня... на помойку.

Сестру, избалованную лестью, властью и мужицким вниманием, передернуло.

У врача смятенно забегали глаза. Немолодой, заезженный войной, врач этот побаивался старшей сестры по известным всему санбату причинам. Не одного еще такого мямлю-мужика обрабатывает такая вот святоликая боевая подруга. Удобно устраиваясь на жительство, разведет его с семьей, увезет с собою в южный городок, где сытно и

тепло будет жить, сладостно замирая сердцем, вспоминать будет войну, нацепив медали на вольно болтающуюся грудь, плясать и плакать на праздничных площадях станет, да помыкать простофилей-мужем будет еще лет десять-двадцать, пока тот не помрет от надсады и домашнего угнетения.

— Я не хочу вашего двоедушного милосердия! — глядя прямо в надменный лик сестры, отчетливо произнес Борис и, вовсе уж задущенный яростью, добавил: — Уходите! Иначе я сорву с себя ваши бинты...

— Попробуй! — начала старшая сестра.

— Уходите!..

Врач, умоляюще глядя на старшую сестру, теснил следовавшую за ним челядь к дверям.

— Успокойтесь, успокойтесь!..

— Привязать этого героя к койке! Сделать укол! — громко, чтобы слышно было раненым в других палатках, объявила старшая сестра.

«Господи! Это — женщина?!» — чувствуя, как опадает гнев, опустошенно спрашивал себя Борис.

— Вот, достукался!.. — проворчал кто-то из раненых. — Через тебя и нам жизни не даст эта пэпэжэ в белом халате.

С Бориса сдернули одеяло. Дежурная сестра наполненным шприцем целилась в него, сжимая в пальцах левой руки смоченную ватку. Лейтенант покорно подставил себя под укол.

— Не надо привязывать. Пожалуйста...

Украдкой прикрыв его одеялом, дежурная сестра громко сказала в приемной палатке, что все она исполнила, как велено было. Так-то, мол, оно надежней. Распустились, понимаешь, эти раненые, спасу нет.

Уже отмякший от укола, слипающимся сознанием Борис отметил: «Да-а, и это тоже женщина!..»

Проснулся он вялый, совсем обессиленный. На улице крапал дождь, дыпушкой поклевывая палатку. Дальний шум леса слышался, шуршание ползущего по оврагам снега, голос кукушки.

Поздней ночью в палатку завернул врач. Был он в шинели, в пилотке, осевшей до ушей. Голенища сапог на нем глянцевито блестели, к мокрым передкам пристали прошлогодние истлевшие листья. Отчего-то все обостренно видел и слышал после нервной вспышки Борис.

— Не спите? — убрав полу сырой шинели, врач присел

на кровать лейтенанта, протер очки и объявил сухо: — Я назначил вас на эвакуацию. У вас началось обострение. — После долгой паузы он покривил губы в беловатых шрамах: — Души и остеомиелиты в полевых условиях не лечат, — и грустно добавил: — А милосердие, надо вам заметить, всегда двоедушно! На войне особенно...

Врачу хотелось поговорить, но Борис отчужденно молчал, дожидаясь, когда он уйдет. Дождь сгущался, стучал по палатке монотонно, однозвучно, усыпляюще.

— Развезет дорогу совсем, — вслух подумал врач и встал, горбясь в низкой палатке. — Вот что я вам посоветую: не отдаляйтесь от людей, принимайте мир таким, каков он есть, иначе вас раздавит одиночество. Оно страшнее войны.

На улице врач постоял. Донесло щелчок фонарика, вздох, и мягкие, расплзающиеся шаги поглотила ночь.

Совсем хорошо сделалось в палатке, покойно. Дождь и дыхание спящих раненых уплотняли этот покой. Борис смежил глаза, притих в себе.

Жажда жизни рождает неслыханную стойкость — человек может перебороть неволю, голод, увечье, смерть, поднять тяжесть выше сил своих. Но если ее нет, тогда все, тогда, значит, остался от человека мешок с костями. Пото-му-то и на передовой бывало: даже очень сильные люди вроде бы ни с того ни с сего начинали зарываться в молчание, точно ящерицы в песок, делаться одинокими среди людей. И однажды с обезоруживающей уверенностью объявляли: «А меня скоро убьют». Иные даже и срок определяли — «сегодня или завтра».

И никогда, почти никогда не ошибались.

В вагоне санпоезда Борису досталась средняя боковая полка, против купе сестры и няни, занавешенного латаной простыней. Сестра и няня, две заезженные поездом девушки, ставили градусники утром и вечером, разливали в своем купе похлебку, накладывали кашу, разносили посуду с горлышками, утешали раненых как могли. Общительная, необидчивая, терпеливая ко всему няня по имени Арина пыталась разговорить и Бориса, но он отвечал односложно, выжимая при этом извинительную улыбку. Арина отступилась от него, переметнувшись на более разговорчивых ранобольных.

Когда дрема покидала Бориса, он поворачивал голову к окну и видел, как пахут землю на быках, на коровах женщины, как они сеют по-старинному, из лукошка, певучим

взмахом руки разбрасывая зерно. Трубы печей и скелеты домов виднелись среди полей, перелесков.

Потом пошли среднерусские деревни с серыми крышами, серой низкой городьбой из тонкого частокола или из неровного и невеселого серого камня. Лоскутья озими подступали к стенам скособоченных изб. Здесь уже, реденько правда, бегали тракторы с сеялками, лошади, опустив головы до борозды, тянули плуги и бороны.

Вечный труд шел на вечной и терпеливой земле.

Борису вспомнилось где-то и когда-то услышанное: «Только одна истина свята на земле — истина матери, рождающей жизни, и хлебопашца, вскармливающего ее...»

Внизу под Борисом лежал худющий пожилой дядька, перепоясанный бинтами, словно революционный моряк пулеметными лентами. Он закоптил лейтенанта табаком, кашляя беспрестанно, с треском сморкался в подол казенной рубахи. Измаявшись лежать на брюхе, попросил дядька перевернуть его на бок. Арина перекатила мослы раненого по полке. Он отстонался, отругался, глянул в окно и ахнул:

— Весна-а!.. Батюшки, тра-авка! А земля-то, земля! В чаду вся! Преет. Гриб в назме завелся. Хорошо!.. Ой, пигалица, пигалица! Летат, вертухается! Батюшки! И грач, и грач! По борозде шкандыбают, черва ищет, да сурьезный такой... Нашел! Наше-ел! Рубай его, рубай! Х-хосподи...

Дядька затрясся, заплакал и сделался с этого дня малохольненьким. Суп ел торопливо, проливая на подушку и простыню, остатки выпивал через край. Кашу, хлеб заглатывал заживо и снова прилипал к окну, хохотал, высказывался:

— И тут на коровах пашут. Захудала Расея, захудала. Вшивец Гитлер до чего нас довел, мать его и размать!...

— Оте-ец! Оте-е-е-ец! — остепеняли дядьку соседи. — Сестра и няня здесь, женщины все-таки.

— А я чо? Рази изругался? Вот мать твою ети...

Потешались над мужиком раненые. Он не обижался, балаболит, вертелся на полке, кадил махоркой и заметно шел на поправку.

— Скоро я, скоро, бабоньки! — кричал дядька в окно вагона, будто бабы, согнувшиеся над плугом, могли его слышать. — Вот оклемаюсь в лазарете и на пашню, на па-а-ашню! — Слово «пашня» он прямо-таки выстанывал. Дядька и Борису давал бодрый совет: — Ты, парень, не скисай! Имайся за травку-то, имайся за вешнюю. Она

выташшыт. В ей, знаешь, какая сила. Камень колет! А это кто же, а? Кто же это?! Клюв-от кочергою?

— Кроншнеп это.

— Зачем птицу немецким словом обозвали, туды вашу мать? Кулик это! Кулик, и все!

— Ну кулик, кулик. Не лайся, ради бога!

— А я рази? Всё! Всё! Теленок-от, теленок-от. Взбрыкивает. Женить бы тебя, окаянного!..

Так вот и ехали под стук колес, под говор дядьки. Затеменные станции остались под Москвою. Реденько прокалывали ночь огоньки российских деревень, набегали россыпью станционные фонари, вспышки их за окном были похожи на разрывы зенитных снарядов. Стук колес напоминал перестрелку, буханье вагонов по стыкам — разрывы бомб.

К звуку колес, к стуку, к гулу, к бряку лейтенант скоро привык, поезд для него тоже онемел. Он смотрел на мир как бы уже со стороны. «Зачем все это? Для чего? Ну что он, вот этот мужичонка, радующийся воскресению своему? Какое уж такое счастье ждет его? Будет вечно копать в земле, а жить впроголодь, и однажды сунется носом в эту же землю. Но, может, в самом воскресении есть уже счастье? Может, дорога к нему, надежда на лучшее — и есть то, что дает силу таким вот мужикам, миллионам таких мужиков».

Слезливость напала на лейтенанта. Он жалел раненых соседей, бабочку, расклеенную ветром по стеклу, срубленное дерево, худых коров на полях, испитых детишек на станциях.

Плакал сухими слезами о старике и старухе, которых закопали в огороде. Лиц пастуха и пастушки он уже не помнил, и выходило: похожи они на мать, на отца, на всех людей, которых он знал когда-то.

Раз Борис оживился, услышав, как под окном вагона осмотрщик кроет всех на свете, не выбирая выражений. Стучит молотком по крышке буксы и кроет, по-чалдонски растягивая букву «е». Нахлынуло: пристань, пропахшая соленым омулем, старая дамба, березы над нею, церкви с кустами на куполах, крестики стрижей в небе.

— Земля-ак! Землячо-о-ок! — сипло позвал Борис.

Арина, спавшая в купе, подняла голову от стола, вытерла губы косынкой, подошла к Борису, приложила ладонь на его лоб.

Губы лейтенанта светились, будто наляпанные алой краской на желтом картоне; глаза начищенно блестели,

горя последним накалом; губы поплясывали — никак не мог согреться, хотя температура держалась у него высокая.

— Чем же тебе помочь, не знаю, — прошептала Арина и, что-то надумав, засуетилась, сбегала в топку вагона, налила в грелку воды, услужливо присунула ее к ногам.

— Спи, миленький. Злосчастным ты, видать, уродился. Все люди как люди, а тебя что-то гнетет. — Арина похлопывала по одеялу, байкала его, как малое дитя, но убаюкалась сама. Губы ее приоткрылись, веки беспокойно подрагивали и во сне. Доверчивостью веяло от этой девушки с приплюснутым носом, с соломенно-прямыми волосами, выбившимися из-под косынки на лоб.

Ничем не походила на Люсю эта простенькая из простеньких станичная девушка, но все-таки она приблизила к нему образ той женщины, которую память не удержала, сохранив лишь глубокие, невзаправдашно красивые глаза и ночной пожар за окном, да еще ее дыхание теплое-теплое и слова, смысл которых постиг он позднее: «Вот и помогла я фронту».

До конца не понятая, до конца не увиденная женщина больной тоской остановилась в нем, и тоска та красной корью испекла его душу. «Я тоже маленько помог фронту».

Выпростав руку из-под одеяла, Борис с любопытством притронулся к Арине.

— Вот уходилась — стоя сплю! — испуганно отпрянула Арина.

— Ты минуточку-две и спала всего.

— А-а. Как птичка божья — ткнулась, и готово. Ты, оказывается, разговаривать умеешь? Какая печаль-то у тебя?

— Не знаю. Ничего не знаю. Просто тут, — показал на грудь Борис, — заболело... — Мелкий кашель встряхнул его, зашекотало нутро.

Арина попоила лейтенанта из кружки. Кашель унялся, но дыхание его рвалось.

— Ладно, молчи уж, молчи, — сказала няня, укрывая лейтенанта. — Кашель-то какой нехороший.

На большой дымной станции, где сдавали работники санпоезда белье, запасались продуктами, топливом и разным другим снаряжением, Борис вышел из забытья еще раз, услышав музыку, доносившуюся с крыши насупленного, темного от копоти вокзала. Он напрягся. Чумазый

вокзал с облупленными стенами, черные, грязные пути, грачи на черных тополях, и вагоны, и дома незнакомого города, раскиданные по пригоркам, и люди с голодной тупостью в глазах — все начало окрашиваться в сиреневый цвет. Погружаясь в него, молодец, обновлялся, делался приглядней мир, а из станционного дыма вдруг явилась женщина с фанерным чемоданом, та единственная женщина, которую он уже с трудом, по глазам только и узнавал, хотя прежде думал, что в любой толпе, среди всех женщин мира смог бы узнать ее сразу.

Женщина смотрела в окно санпоезда, встретила взглядом с его глазами. Дрогнуло лицо ее — она шагнула к поезду, но тут же отступила назад и уже без интереса пробежала взглядом по другим окнам, другим поездкам.

Сила, ему уже не принадлежавшая, подбросила Бориса. Арина о чем-то спрашивала лейтенанта, тряся его, а он тянулся к окну вагона, мычал и от усилия закашлялся. Музыка он уже не слышал — перед ним лишь клубился сиреневый дым, и в загустевшей глубине его плыла, качалась, погружаясь в небытие, женщина со скорбными бездонными глазами богоматери.

Очнулся он от прохлады.

Шла весенняя гроза. Толчками, свободно дышала грудь, будто из нее выдувало золу, сделалось сквозно и совсем свободно внутри.

Весенняя гроза гналась за поездом, жала молний втыкались в крыши вагонов, пузыристый дождь омывал стекла. Впереди по-ребячьи бесшабашно кричал паровоз, в пристанционных скверах, мелькавших мимо, беззвучно кричали грачи, скворцы шевелили клювами.

Сердце лейтенанта, вострепнувшееся от грозы, успокаивалось вместе с нею и вместе с уходящими вдаль громами билось тише и реже, тише и реже. Поезд оторвался от рельсов и плыл к горизонту, в нарождающийся за краем земли тихий, мягкий мрак.

Не желая останавливаться, сердце еще ударило сильно раз-другой в исчахлую, жестяную грудь и выкатилось из нее, булькнуло в бездонном омуте за окном вагона.

Тело Бориса Костяева выпрямилось, замерло.

Под опустившимися веками еще какое-то время теплилась багровая, широкая заря, возникшая из-под грозовых

туч. Свет зари постепенно сузился в щелочку, потом потух, и заря остыла в остеклевенных зеницах.

Утром Арина подошла умывать Бориса, он лежал, сморщив рот в потаенной улыбке. Арина попятилась, закричала, уронила кувшин с водой, бросилась бежать по вагону и торкнулась в тамбурное стекло, забыв повернуть ручку двери.

Покойного перенесли в хозвагон, поместили в холодильное помещение. Прикрытый палаткой, среди поленниц дров, среди ящиков, старых носилок и прочего скарба ехал он целую ночь по степи. Потом еще ночь, еще ночь — мертвого не могли сдать, с мертвым возни даже больше, чем с живым раненым. В безлесом южном Приуралье, на глухом полустанке мертвого выгрузили, оставив при нем Арину, чтобы она похоронила покойного лейтенанта по всем человеческим правилам и дожидалась санпоезда обратным рейсом.

Покойник оказался и в самом деле несуразным: выгрузили в таком месте, где нет кладбища. Если кто умирал на полустанке, его отвозили в большое степное село. Начальник полустанка сказал, что земля в России повсюду своя, сделал домовину из досок, снятых с крыши старого пагауза, заострил пирамидку из сигнального столбика, отслужившего свой век. Двое мужчин — начальник полустанка и сторож-стрелочник, да Арина отвезли лейтенанта на багажной тележке в степь и предали земле.

Закончив погребение, мужчины стянули фуражки, скорбно помолчали над могилой фронтовика, Арина, пронзенная печальной минутой, винась за бедный похоронный обряд, горестно покачала головой:

— Такое легкое ранение, а он умер...

Люди собрали лопаты и ушли, толкая впереди себя тележку. Арина все оглядывалась, ровно бы на что еще надеясь, утирала глаза рукой, измазанной землею.

Но ничего этого также не было и быть не могло.

Санпоезд, вырвавшись в степные просторы, мчался на Восток почти без остановок, сгружая на больших станциях больных с обострившимися ранениями. Ростов-на-Дону, Краснодар, станица Тимашовская, Балашов — всюду госпитали переполнены, — война шла уже долго. В стационарных госпиталях скопились «отстойники» — больные с трудноизлечимыми ранениями, и хотя их комиссовали недолеченными домой, для дальнейшего лечения по месту жительства, пачками отсылали в нестроевые части с «оста-

точными явлениями», случалось — и на фронт, в действующую армию сплавляли с сочащимися ранами, со свищами, припадками — все равно госпитали оставались перегруженными.

В Саратове взяли самых тяжелых больных, подзарядили санпоезд топливом, продуктами, медикаментами — и погнали по новому адресу, в город Джамбул, намекнув, что и в Джамбуле могут раненых не принять.

Главсанупр не один этот поезд гонял по городам и весям огромной страны, надеясь на сознательность и патриотизм советских людей. Все равно где-нибудь да сжалятся, разбросают больных там-сям, разместят сверх всякой нормы, растычут по коридорам, подсобным и служебным помещениям, разделят лекарства, которых и без того катастрофически недостает, сварят суп и кашу пожиже, будут сутками стоять хирурги возле операционных столов, спасая загнивших в долгом пути раненых людей, будут медсестры и няни падать от свехусталости.

Потом деятели санупра отчитаются перед главным командованием, хорошо и умело отчитаются, их похвалят и наградят...

...Была в очередной раз проявлена находчивость.

Где-то кто-то в безлесной степи вытащил из буксы мазутные тряпки, букса вспыхнула, ось колеса начало заклинивать, санпоезд ткнулся на каком-то безвестном полустанке, где и заправлена была букса, и поезд помчался дальше, пугая гудком немую степь, мелькая белыми занавесками и крестами, соря искрами из патрубков вагонов, клубя и расстилая по равнине тревожный черный дым паровоза.

А в мрачном товарном вагоне, отцепленном и брошенном на полустанке еще в начале войны эвакуированным с запада на восток предприятием, остался лейтенант Борис Костяев. Его подкинули, нечаянно забыли. Поскольку все деревянное с вагона давно было выдрано и унесено, хозяйственники санпоезда расщедрились и оставили покойного на писанных носилках, поставив их на железную раму вагона.

Мертвый уже пахнул, в степи протяжно завывли волки и ночью пришли на полустанок, окружили старый вагон в тупике.

Начальник полустанка догадался, в чем дело, — не первый раз такое случалось, подкидывали в брошенный вагон, да и на ходу выбрасывали из поездов заключенных, эвакуированных, воров, картежников, детей, женщин, боль-

ных стариков — все в той же надежде, что советские люди проявят сознательность, подберут трупы. Умные звери — вечно голодные волки тоже знали об этом, всегда чуяли поживу и, случалось, опережали людей.

Матерясь, кляня войну, покойника и злодеев, его подкинувших, начальник полустанка со сторожем завалили начавший разлагаться труп на багажную тележку, увезли за полустанок и сбросили в неглубоко вырытую ямку.

Поскольку с покойного взять было нечего и помянуть его нечем, пьяница-сторож тоже проявил находчивость и снял с покойника белье. Променив белье на литр самогонки, сторож тут же и опорожнил посудину. Захмелев, он, как и полагается русскому человеку, разжалобился, вытесал из ручки санитарных носилок кол в виде пирамидки, сходил к безвестной могиле безвестного человека и спьяну, спутав ноги с головой, вбил топором свое изделие острием кверху в головах покойного.

Постоял сторож над могилкой, попробовал перекреститься, да забыл, с какого плеча надо начинать, высморкался, вздохнул и поковылял в стрелочную будку, маячившую на исходе полустанка, где он жил и изредка исполнял обязанности стрелочника, да неизвестно, кого и чего сторожил.

Могильный холмик скоро окропило травой. В одно дождливое утро размокшие комки просек тюльпан, подрожал каплею на клюве, открыл розовый рот. Корни жилистых степных трав и цветов ползли в глубь земли, нащупывали мертвое тело в неглубокой могиле, уверенно оплетали его, росли из него и цвели над ним.

...И, послушав землю, всю засыпанную пухом ковыля, семенами степных трав и никотинной полыни, она виновато сказала:

— А я вот живу. Ем хлеб, веселюсь по праздникам.— Низко склонившуюся над землею, седую женщину с уже отцветающими древними глазами засыпало порошей семян. Солнце катилось за горбину степи, все так же калило небо заря, и, слушая степь, она почему-то решила, что он умер вечером.

Вечером так хорошо умирать.

Закат неторопливо погас. Сок его по жилам трав скапал в землю. Сухо и чисто зашелестела степь. Скакало что-то на мохнатых лапах, то западая, то выпрыгивая на чуть уже заметный свет. Это вырывало и гнало ветром куст до тех пор, пока он не упал в дотлевающий костерок зари.

— Господи! — вздохнула женщина и дотронулась губами до того, что было могилой, но уже срослось с большим телом земли.

Костлявый татарник робкой мышью скребся о кол-пирамидку. Покой окутывал степь.

— Спи! Я пойду. Но я вернусь к тебе. Скоро. Совсем скоро мы будем вместе... Там уж никто не в силах разлучить нас.

Она шла и видела не ночную, благостно шелестящую степь, а море, в бескрайности которого качалась одиноким бакеном острая пирамидка, и зыбко было все в этом мире.

А он, или то, что было им когда-то, остался в безмолвной земле, опутанный корнями трав и цветов, утихших до весны.

Остался один — посреди России.

1967—1971—1989

ЯСНЫМ ЛИ ДНЕМ

*Памяти великого русского певца
Александра Пирогова*

И в городе падал лист. С лип — желтый, с тополей — зеленый. Липовый легкий лист разметало по улицам и тротуарам, а тополиный лежал кругами возле деревьев, серея шершавой изнанкой.

И в городе, несмотря на шум, суету, многолюдство, тоже сквозила печаль, хотя было ясно по-осеннему и пригревало.

Сергей Митрофанович шел по тротуару и слышал, как громко стучала его деревяшка в шумном, но в то же время будто и притихшем городе. Шел он медленно, старался деревяшку ставить на листья, но она все равно стучала.

Каждую осень его вызывали из лесного поселка в город, на врачебную комиссию, и с каждым годом разрасталась в его душе обида. Чем прибранней становился город, чем больше замечал он в нем хороших перемен, наряднее одетых горожан, тем больше чувствовал униженность и обиду. Дело дошло до того, что, молча терпевший с сорок четвертого года все эти никому не нужные выслушивания, выстукивания и осмотры, Сергей Митрофанович сегодня спросил у врача, холодными пальцами тискавшего тупую, внахлест зашитую култышку:

— Не отросла еще?

Врач поднял голову и с пробуждающимся недовольством глянул на него:

— Что вы сказали?

И, непривычно распахивая от давно копившегося негодования, Сергей Митрофанович повторил громче, с вызовом:

— Нога, говорю, не отросла еще?

Врачи и медсестра, заполнявшая карточки, подняли головы, но тут же вспомнили о деле, усерднее принялись выстукивать и выслушивать груди и спины инвалидов, а медсестра подозрительно уставилась на Сергея Митрофановича, всем своим видом давая понять, что место здесь

тихое, и если он, ранбольшой, выпивший или просто так побуянить вздумал, она поднимет трубку телефона, наберет 02 — и будь здоров! Нынче милиция не церемонится, она тебя, голубчика, моментом острижет и дело оформит. Нынче смирно себя вести полагается.

Но медсестра не подняла трубку, не набрала 02, хотя сделала бы это с охотою, чтоб все эти хмурые, ворчливые инвалиды почувствовали, к какой должности она приставлена и какие у нее права, да и монотонность писчебумажной работы, глядишь, встряхнуло бы.

Она шевельнула коком, сбитым наподобие петушиного гребня, заметив, что инвалид тут же сник, не знает, куда глаза и дрожащие руки деть. И взглядом победителя обвела приемную залу, напоминавшую скудный базаришко, потому как вешалка была на пять крючков и пациенты складывали одежду на стулья и на пол.

— Можете одеваться, — сказал Сергею Митрофановичу врач. Он снял очки с переутомленных глаз и начал протирать стекла полдой халата.

Деревяшка и одежда Сергея Митрофановича лежали в углу, он попрыгал туда. Пустая кальсонина болталась, стегая тесемками по стульям и выношенной ковровой дорожке, разостланной меж столами.

Так он и попрыгал меж столами, будто сквозь строй, а кальсонина все болталась, болталась. Телу непривычно было без деревяшки, и Сергей Митрофанович, лишившись противовеса, боялся — не шатнуло бы его и не повалил бы он чего-нибудь, и не облил бы чернилами белый халат врача или полированный стол.

До угла он добрался благополучно, опустился на стул и глянул в залу. Врачи занимались своим делом. Он понял, что все это им привычно и никто ему в спину не смотрел, кальсонины не заметил. Врач, последним осматривавший его, что-то быстро писал, уткнувшись в бумагу.

И когда Сергей Митрофанович облачился, приладил деревяшку и подошел к столу за справкой, врач все еще писал. Он оторвался только на секунду, кивнул на стул и даже ногою пододвинул его поближе к Сергею Митрофановичу. Но садиться Сергею Митрофановичу не захотелось. Тянуло скорее выйти отсюда и закурить.

Он стоял и думал о том, что год от года меньше и меньше встречается на комиссии старых знакомых инвалидов — вымирают инвалиды, исчезает боль и укор прошлых дней, а распорядки все те же. И сколько отнято дней и без того укороченной жизни инвалидов такими вот комис-

сиями, осмотрами, проверками, хождениями за разными бумагами и ожиданиями в разных очередях.

Врач поставил точку, промокнул голубой промокашкой написанное и поднял глаза.

— Что ж вы стоите? — И тут же извиняющимся тоном доверительно пробормотал: — Писанины этой, писанины...

Сергей Митрофанович принял справку, свернул ее вчетверо и поместил в бумажник, неловко держа при этом под мышкой новую, по случаю поездки в город надетую, кепку. Он засунул бумажник со справкой в пиджак, надел кепку, потом торопливо стянул ее и молча поклонился.

Врач редкозубо улыбнулся ему, развел руками — что, мол, я могу поделаться? Такой закон. Догадавшись, что он привел в замешательство близорукого молодого врача, Сергей Митрофанович тоже вымученно улыбнулся, как бы сочувствуя врачу, вздохнул протяжно и пошел из залы, стараясь ставить деревяшку на невыношенный ворс дорожки, чтобы поменьше брякало, и радуясь тому, что все кончилось до следующей осени.

А до следующего года всегда казалось далеко, и думалось о переменах в жизни.

На улице он закурил. Жадно истянув папироску «Прибой», зажег другую и, уже неторопливо куря, попенял самому себе за срыв свой и за дальнейшее свое поведение. «Уж если поднял голос, так не пасуй! Закон такой! Ты, да другой, да третий, да все бы вместе сказали где надо — и переменили бы закон. Он что, из камня, что ли, закон-то? Гора он, что ли? Так и горы сносят. Рвут!..»

Доезда оставалось еще много времени. Сергей Митрофанович зашел в кафе «Спутник», купил две порции сосисок, киселя стакан и устроился за столом без клеенки, но чистым и гладким, в паутине светлых клеточек и полосок.

В кафе кормилась молодежь. За одним столом с Сергеем Митрофановичем сидела патлатая девчонка, тоже ела сосиски и читала толстую книгу с линейками, треугольниками, разными значками и нерусскими буквами. Она читала не отрываясь и в то же время намазывала горчицей сосиску, орудовала ножом и вилкой, припивала чай из стакана и ничего не опрокидывала на столе. «Ишь, как у нее все ловко выходит!» — подивился Сергей Митрофанович. Сам он ножом не владел.

Девушка не замечала его неумелости в еде. Он радовался этому.

С потолка свисали полосатые фонарики. Стены были

голубыми, и по голубому так и смяк проведены полосы, а на окнах легкие шторы — тоже в полосках. Голубой, мягкий полумрак кругом. Шторки шевелило ветром и разбивало кухонный чад.

«Красиво как! Прямо загляденье!» — отметил Сергей Митрофанович и поднялся.

— Приятно вам кушать, девушка! — сказал он. Девушка оторвалась от книжки, мутно посмотрела на него.

— Ах, да-да, спасибо! Спасибо! — и прибавила еще: — Всего вам наилучшего! — Она тут же снова уткнулась в книжку, шаря вилкой по пустой уже тарелке.

«Так, под книжку, ты и вола съешь, не заметишь!» — с улыбкой заключил Сергей Митрофанович.

Дверь в кафе стеклянная и узкая. Два парня в одинаковых светлых, не по-осеннему легких пиджаках открыли перед Сергеем Митрофановичем дверь. Он засуетился, зашпешил, не успел поблагодарить ребят, подосадовал на себя.

А по улице все кружило и кружило легкий желтый лист липы, и отвесно, с угрюмым шорохом опадал тополиный. Бегали молчаливые машины, мягко колыхались троллейбусы с еще по-летнему открытыми окнами, и ребятишки шли с сумками из школы, распиная листья и гомоня.

За полдень устало приковылял Сергей Митрофанович на вокзал, купил себе билет и устроился на старой тяжелой скамье с закрашенными, но все еще видными буквами МПС.

С пригородной электрички вывалила толпа парней и девчонок с корзинами, с модными сумками и кошелками. Все в штанах, в одинаковых куртках заграничного покроя, стрижены коротко, и где парни, где девки — не разобрать сразу.

В корзинах у кого с десятков грибов, у кого и меньше. Зато все наломали охапки рябины, и у всех были от черемухи темные рты. Навалился на мороженое молодняк.

«И мне мороженого купить, что ли? А может, выпить маленько?» — подумал Сергей Митрофанович, но мороженое он есть боялся — все ангина мучает, а потом сердце, или почки, или печень — уж бог знает что — болеть начинает.

«Война это, война, Митрофанович, по тебе ходит», — говорит ему жена и облегчить в делах пытается.

При воспоминании о жене Сергей Митрофанович, как всегда, помягчал душою и незаметно от людей пощупал карман. В кармане пиджака, в целлофановом пакете, персики с рыжими подпалинами. Жене его, Пане, любая

покупка в удовольствие. Любому подарку рада. А тут персики! Она и не пробовала их сроду. «Экая диковина! — скажет. — Из-за моря небось привезли?» Спрячет их, а потом ему же и скормит.

В вокзале прибавилось народу. Разом, и опять же толпою, во главе с пожилым капитаном пришли на вокзал стриженные парни в сопровождении девчат и заняли свободные скамейки. Сергей Митрофанович пододвинулся к краю, освобождая место подле себя.

Парни швырнули на скамейку тощий рюкзачишко, сумочку с ляжками. Вроде немецкого военного ранца сумка, только неукладистой и нарядней. Сверху всего багажа спортивный мешок на коричневом шнурке бросили.

Трое парней устроились возле Сергея Митрофановича. Один высокий, будто из кедра тесанный. Он в шерстяном спортивном костюме. Второй — как вылупленный из яйца желток: круглый, яркий. Он все время потряхивал головой и хватался за нее: видно, чуба ему не доставало. Третий небольшого роста, головастый, смирный. Он в серой туристской куртке, за которую держалась зареванная, кудреватенькая девчонка в короткой юбке с прорехою на боку.

Первого, как потом выяснилось, звали Володей, он с гитарой был и, видать, верховодил среди парней. С ним тоже пришла девушка, хорошо кормленная, в голубых брюках, в толстом свитере, до середины бедер спускавшемся. У свитера воротник, что хомут, и на воротник этот ниспадали отбеленные, гладко зачесанные волосы. У рыжего, которого все звали Еськой, а он заставлял звать его Евсеём, было сразу четыре девчонки: одна из них, догадался по масти Сергей Митрофанович, сестра Еськина, а остальные — ее подруги. Еськину сестру ребята называли «транзистором» — должно быть, за болтливость и непоседливость. Имя третьего паренька узнать труда не составляло. Девушка в тонкой розовой кофточке, под которой острились титчонки, не отпускала от него и, как в забытьи, по делу и без дела твердила: «Славик! Славик!»...

Среди этих парней, видимо, из одного дома, а может, из одной группы техникума, вертелся потасканный паренек в клетчатой кепке и в рубашке с одной медной запонкой. Остался у него еще малинового цвета шарф, одним концом заброшенный за спину. Лицо у парня переменчивое, юркое, кепочка надвинута на смышленные цепкие глаза, и Сергей Митрофанович сразу определил — это блатняшка, без

которого ну ни одна компания российских людей обойтись не может почему-то.

Капитан как привел свою команду — так и примолк на дальней скамейке, выбрав такую позицию, чтоб можно было все видеть, а самому оставаться незаметным.

Родителей пришло на вокзал мало, и они потерянно жались в углах, втихомолку смахивая слезы, а ребята были не очень подпитые, но вели себя шумно, хамовато.

— Новобранцы? — на всякий случай поинтересовался Сергей Митрофанович.

— Они самые! Некруты! — ответил за всех Еська-Евсей и махнул товарищу с гитарой: — Володя, давай!

Володя ударил по всем струнам пятерней, и парни с девчонками грянули:

Черный кот, обормот!
В жизни все наоборот!
Только черному коту и не везе-о-о-от!

И по всему залу вразной подхватили:

Только черному коту и не везе-о-о-от!

«Вот окаянные! — покачал головой Сергей Митрофанович. — И без того песня — погань, а они еще больше ее поганят!»

Не пели только Славик и его девушка. Он виновато улыбался, а девушка залезла к нему под куртку и притаилась.

К «коту», с усмешками, правда, присоединились и родители, а «Последний нонешний денечек» не ревел никто. Гармошек не было, не голосили бабы, как в проводины прежних лет. Мужики не лезли в драку, не пластали на себе рубахи и не грозились расщепать любого врага и диверсанта.

Ребята и девчонки перешли на какую-то вовсе несуразную дрыгалку. Володя самозабвенно дубасил по гитаре, девки заперебирали ногами, парни запритопывали.

Чик-чик, ча-ча-ча!

Чик-чик, ча-ча-ча!

Слов уж не понять было, и музыки никакой не улавливалось. Но ребятам и девчонкам хорошо от этой песни, изверченной наподобие проволочного заграждения. Все смеялись, разговаривали, выкрикивали. Даже Володина ядреная деваха стучала туфелькой о туфельку, и когда волосы ее, гладкие, стеклянно отблескивающие, сползли

городьбою на глаза, откидывала их нетерпеливым движением головы за плечо.

Капитан ел помидоры с хлебом, расстелив газету на коленях, и ни во что не встречал. Не подал он голоса протеста и тогда, когда парни вынули поллитровку из рюкзака и принялись пить из горлышка. Первым, конечно, приложился тот, в кепке. Пить из горлышка умел только он один, остальные больше дурачились, болтали поллитровку, делали ужасные глаза. Еська-Евсей, приложившись к горлышку, сразу же бросился к вокзальной емкой мусорнице, у Славика от питья покатались слезы. Он разозлился и начал совать своей девушке бутылку.

— На!

Девушка глядела на него со щенячьей преданностью и не понимала, чего от нее требуется.

— На! — настойчиво совал ей Славик поллитровку.

— Ой, Славик!.. Ой, ты же знаешь... — залепетала девушка, — я не умею без стакана.

— Дама требует стакан! — подскочил Еська-Евсей, вытирая слезы с разом посеревшего лица. — Будет стакан! А ну! — подал он команду блатняшке.

Тот послушно метнулся к ранцу Еськи-Евсея и вынул из него белый стаканчик с румяной женщиной на крышке. Эта нарисованная на сыре «Виола» женщина походила на кого-то или на нее кто-то походил? Сергей Митрофанович засек глазами Володину деваху. Она!

— Сыр съесть! — отдал приказание Еська-Евсей. — Тару даме отдать! Поскольку она...

Она, она не может без стакана!..

Этим ребятам все равно, что петь и как петь.

Володя дубасил по гитаре, но сам веселился как-то натужно и, делая вид, что не замечает своей барышни, все-таки отыскивал ее глазами и тут же изображал безразличие на лице.

— Ску-у-усна-а! — завопил блатняшка. Громко чавкая, обсасывал он сыр с пальца, выпачкал шарф и понес все на свете.

— Ну, ты! — обернулся к нему разом взъерошившийся Славик.

— Славик! Славик! — застучала в грудь Славика его девушка — и он отвернулся, заметив, что капитан, хмурясь, поглядывает в их сторону.

Блатняшка будто ничего не видел и не замечал.

— Хохма, братва! Хохма! — Когда поутихло, блат-

няшка, вперед всех смеясь, начал рассказывать: — Этот сыр, ха-ха, банку такую же в родилку принесли, ха-ха!.. Передачку, значит... Жинки, новорожденные которые, глядят — на крышке бабка баская и решили — крем это! И нама-а-азались-а-а!..

Парни и девчонки повалились на скамейки, даже Володина барышня колыхнула ядрами груди, и молнии пошли по ее свитеру, хомут воротника заколотился под накипевшим подбородком.

— А ты-то, ты-то чё в родилке делал? — продираясь сквозь смех, выговорил Еська-Евсей.

— Знамо, чё, — потупился блатняшка. — Аборт!

Девчата покраснели, Славик опять начал подниматься со скамейки, но девушка уцепилась за полу его куртки.

— Славик! Ну, Славик!.. Он же шутит...

Славик снова оплыл и уставился в зал поверх головы своей девушки, проворно и ловко порхнувшей под его куртку, будто под птичье крыло.

Стаканчик меж тем освободился и пошел по кругу.

Володя выпил половину стаканчика и откусил от шоколадной конфеты, которую успела сунуть ему Еськаина пламенно-яркая сестра. Затем Володя молча держал стаканчик у носа своей барышни. Она жеманно морщилась:

— Ты же знаешь, я не могу водку...

Володя держал протянутый стаканчик, и скулы у него все больше твердели, а брови, черные и прямые, поползли к переносью.

— Серьезно, Володенька... Ну, честное пионерское!..

Он не убирал стаканчик, и деваха приняла его двумя длинными музыкальными пальцами.

— Мне же плохо будет...

Володя никак не отозвался на эти слова. Девушка сердито вылила водку в крашенный рот. Девчонки захлопали в ладони. Сеструха Еськаина взвизгнула от восторга, Володя сунул в растворенный рот своей барышни остаток конфеты, сунул, как кляп, и озверело задубасил по гитаре.

«Э-э, парень, не баские твои дела... Она небось на коньяках выросла, а ты водкой неволишь...»

Сергея Митрофановича потянули за рукав и отвлекли. Славина девушка поднесла ему стаканчик и робко попросила:

— Выпейте, пожалуйста, за наших ребят... И... За все, за все! — Она закрыла лицо руками и, как подрубленная, пала на грудь своего Славика. Он упрятал ее под куртку и, забывшись, стал баюкать и раскачивать, будто ребенка.

«Ах ты, птичка-трясогузка!» — загоревал Сергей Митрофанович и поднялся со скамьи. Стянув кепку с головы, он сунул ее под мышку.

Володя прижал струны гитары. Еська-Евсей, совсем осоловелый, обхватил руками сестру и всех ее подруг. Такие всегда со всеми дружат, но неосновательно, балуясь, а придет время, схватит Еську-Евсея какая-нибудь жох-баба и всю жизнь потом будет шпынять, считая, что спасла его от беспутствия и гибели.

— Что ж, ребята, — начал Сергей Митрофанович и прокашлялся. — Что же, ребята... Чтоб дети грому не боялись! Так, что ли?.. — И, пересиливая себя, выпил водку из стаканчика, в котором белели и плавали остатки сыра. Он даже крикнул якобы от удовольствия, чем привел блатняшку в восхищение:

— Во дает! Это боец! — и доверительно, по-свойски кивнул на деревяшку: — Ногу-то где оттяпало?

— На войне, ребята, на войне, — ответил Сергей Митрофанович и опустил обратно на скамью.

Он не любил вспоминать и рассказывать о том, как и где оторвало ему ногу, а потому обрадовался, что объявили посадку.

Капитан поднялся с дальней скамьи и знаками приказал следовать за ним.

— Айда и вы с нами, батя! — крикнул Еська-Евсей. — Веселя будет! — дурачился он, употребляя простонародный уральский выговор. — Отцы и дети! Как утверждает современная литература, конфликта промеж нами нету!..

«Грамотные, холеры! Языкастые! С такими нашему хохлу-старшине не управиться было бы. Они его одним юмором до припадков довели бы...»

Помни свято,
Жди солдата,
Жди солда-а-ата-а-а, жди солда-а-а-та-а-а.

Уже как следует, без кривляния пели ребята и девушки, за которыми тащился Сергей Митрофанович. Все шли обнявшись. Лишь модная барышня отчужденно шествовала в сторонке, помахивая Володиным спортивным мешком на шнурке, и чувствовал Сергей Митрофанович — если бы приличия позволяли, она бы с радостью не пошла в вагон и поскорее распрощалась бы со всеми.

Володя грохал по гитаре и на барышню совсем не смотрел.

Сергей Митрофанович узрел на перроне киоск, заступал деревяшкой, метнувшись к нему.

— Куда же вы, батя? — крикнул Еська-Евсей, и знакомцы его приостановились. Сергей Митрофанович помаячил: мол, идите, идите, я сейчас.

В киоске он купил две бутылки заграничного вермута — другого вина никакого не оказалось, кроме шампанского, а трату денег на шампанское он считал бесполезной.

Он поднялся в вагон. От дыма, гвалта, песен и смеха оторопел было, но заметил капитана, и вид его подействовал на бывшего солдата успокоительно. Капитан сидел у вагонного самовара, шевелил пальцами газету и опять просматривал весь вагон, и ни во что не встревал.

— Крепка солдатская дружба! — гаркнули в проходе стриженные парни, выпив водки, и захохотали.

— Крепка, да немножко продолговата!

— А-а-а, цалу-уετε-есь! Но-очь коротка! Не хватило-о-о!

И тут же запели щемяще-родное:

Но-очь ко-ро-отка,

Спя-ат облака-а...

«Никакой вы службы не знаете, соколики! — грустно подумал Сергей Митрофанович. — Ничего еще не знаете. Погодите до места! Это он тут, капитан-то, вольничать дает. А там гайку вам закрутит! До последней резьбы». Но старая фронтовая песня стронула с места его думы и никак не давала сосредоточиться на одной мысли.

— Володя! Еська! Славик! Где-ка вы? — Сергей Митрофанович приостановился, будто в лесу, прислушался.

— Тута! Тута! — раздалось из-за полок, с середины вагона.

— А моей Марфуты нету тут? — спросил Сергей Митрофанович, протискиваясь в тесно запруженное купе.

— Вашей, к сожалению, нет, — отозвался Володя. Он поугрюмел еще больше и не скрывал уже своего худого настроения.

— Вот, солдатики! Это от меня, на проводины... — с пристуком поставил бутылку вермута на столик Сергей Митрофанович и прислушался, но в вагоне уже не пели, а выкрикивали кто чего и хохотали, бренчали на гитарах.

— Зачем же вы расходовались? — разом запротестовали ребята и девчонки, все, кроме блатняшки, который,

конечно же, устроился в переднем углу у окна, успел когда-то еще добавить, и кепчонка совсем сползла на его глаза, шарф висел на крючке, утверждая собою, что это место занято.

— Во дает! — одобрил он поступок Сергея Митрофановича и цапнул бутылку.— Сейчас мы ее раскур-р-рочим!..

— Штопор у кого? — перешибая шум, крикнула Еськина сестра.

— Да на кой штопор?! Пережитки,— подмигнул ей блатняшка. Он, как белка скорлупу с орешка, содрал зубами позолоченную нахлобучку, пальцем просунул пробку в бутылку.— Вот и все! А ты, дура, боялась! — Довольный собою, оглядел он компанию и еще раз подмигнул Еськиной сестре. Он лип к этой девке, но она с плохо скрытой брезгливостью отстранялась от него. И когда он все же щипнул ее, обрезала:

— А ну, убери немытые лапы!

И он убрал, однако значения ее словам не придал и как бы ненароком то на колено ей руку клал, то повыше, и она пересела подальше.

На перроне объявили: «До отправления поезда номер пятьдесят четыре остается пять минут. Просьба пассажиров...»

Сергея Митрофановича и приبلудного парня оттиснули за столик разом повскакивавшие ребята и девчонки. Еська-Евсей обхватил сеструху и ее подруг, стукнул их друг о дружку. Они плакали, смеялись. Еська-Евсей тоже плакал и смеялся. Девушка в розовой кофточке намертво вцепилась в Славика, повисла на нем и вроде бы отпустить не собиралась. Слезы быстро катились по ее и без того размытому лицу, падали на кофточку, оставляя на ней серые полоски, потому как у этой девчонки глаза были излажены под японочку и краску слезами отъело.

— Не реви ты, не реви! — бубнил сдавленным голосом Славик и даже тряс девушку за плечо, желая привести в чувство.— Ведь слово же давала! Не буду реветь...

— Ла-адно-о, не бу... лады-но-о-о,— соглашалась девушка и захлебывалась слезами.

— Во дают! — хохотнул блатняшка, чувствуя себя отторгнутым от компании.— Небось вплотную дружили... Мокнет теперьча. Засвербило...

Но Сергей Митрофанович не слушал его. Он наблюдал за Володей и барышней, и все больше жаль ему делалось Володю. Барышня притронулась крашеными губами к Володиной щеке:

— Служи, Володя. Храни Родину...— и стояла, не зная, что делать, часто и нервно откидывала белые волосы за плечо.

Володя, бросив на вторую полку руки, глядел в окно вагона.

— Ты пиши мне, Вова, когда желание появится,— играя подведенными глазами, сказала барышня и обернулась на публику, толпящуюся в проходе вагона: — Шуму-то, шуму!.. И сивухой отовсюду прет!..

— Всё! — разжал губы Володя. Он повернул свою барышню и повел из вагона, крикнув через плечо:

— Все, парни!

Ребята с девушками двинулись из вагона, а Славикова подружка вдруг села на скамейку:

— Я не пойду-у-у...

— Ты чё?! Ты чё?! — коршуном налетел на нее Славик.— Позоришь, да?! Позоришь?..

— И пу-у-у-у-усть...

— Обрюхатела! Точно! — ерзнул за столиком блатняшка.— Жди, Славик, солдата! А может, солдатку!..

— Доченька! Доченька! — потряс за плечо совсем ослабевшую девушку Сергей Митрофанович.— Пойди, милая, пойдя, попрощайся ладом. А то потом жалеть будешь, проревешь дорогие-то минутки.

Славик благодарно глянул на Сергея Митрофановича и, как больную, повел девушку из вагона.

«Во все времена повторяется одно и то же, одно и то же,— подпершись руками, горестно думал Сергей Митрофанович.— Разлуки да слезы, разлуки да слезы... Цветущие свои годы в казарму...»

— Может, трахнем, пока нету стилиг? — предложил блатняшка и потер руки, изготавливаясь.

— Выпьем, так все вместе,— отрезал Сергей Митрофанович.

Поезд тронулся. Девчата шли следом за ним. Прибежал Славик, взгромоздился на столик, просунул большую свою голову в узкий притвор окна.

Поезд убыстрял ход, и, как в прошлые времена, бежали за ним девушки, женщины, матери, махали отцы и деды с платформы, а поезд все набирал ход. Спешила за поездом Еськина сеструха — с разметавшимися рыжими волосами и что-то кричала, кричала на ходу. Летела нарядной птичкой девушка в розовой кофточке, а Володина барышня немножко прошла рядом с вагонами и остановилась, плавно, будто лебяжьим крылом, помахивая рукою. Она не забы-

вала при этом откидывать за плечо волосы натренированным движением головы.

Дальше всех гналась за поездом девушка Славика. Платформа кончилась. Она прыгнула на междупутье. Узкая юбка мешала ей бежать, она спотыкалась. Задохнувшись, с остановившимися, зачерненными краской глазами, она все бежала, бежала и все пыталась поймать руку Славика.

— Не бежи, упадешь! Не бежи, упадешь! — кричал он ей в окно.

Поезд дрогнул на выходных стрелках, изогнулся дугой, и девушка розовогрудой птичкой улетела за поворот.

Славик мешком повис на окне. Spина его мальчишеская обвисла, руки вывалились за окно и болтались, голову колотило о толстую раму.

Ребята сидели потерянные, смиренные, совсем не те, что были на вокзале. Даже блатняшка притих и не ерзал за столом, хотя перед ним стояла непочатая бутылка.

Жужжала электродуга над потолком. По вагону пошла проводница с веником, начала подметать и ругаться. Густо плыл в открытые окна табачный дым. Вот и ребра моста пересчитали вагонные колеса. Переехали реку. Начался дачный пригород и незаметно растворился в лесах и перелесках. Поезд пошел без рывков и гудков, на одной скорости, и не шел он, а ровно бы летел уже низко над землей с деловитым перестуком, настраивающим людей на долгую дорогу.

Еська-Евсей не выдержал:

— Славка! Слав!.. — потянул он товарища за штаны. — Так и будешь торчать до места назначения?

Изворачиваясь шеей, Славик вынул из окна голову, втиснулся в угол за Сергея Митрофановича и натянул на ухо куртку.

Сергей Митрофанович встряхнулся, взял бутылку вермута и сказал, отыскивая глазами стаканчик из-под сыра:

— Что ж вы, черти, приуныли?! На смерть разве едете? На войну? Давайте-ка лучше выпьем, поговорим, споем, может. «Кота» я вашего не знаю, а вот свою любимую выведу.

— В самом деле! — зашевелился Еська-Евсей и потянул со Славика куртку. — Слав, ну ты чё? Ребята! Человек же предлагает... Пожилой, без ноги...

«Парень ты, парень! — глядя на Славика, вздохнул Сергей Митрофанович. — Ничего, все перегорит, все

пеплом обратится. Не то горе, что позади, а то, что впереди...»

— Его не троньте пока,— сказал он Еське-Евсею и громче добавил, отыскавши измятый, уже треснутый с одного края, парафиновый стаканчик.— Пусть вам хороший старшина попадется!

— Пойдите! — остановил его, очнувшись, Володя.— У нас ведь кружки, ложки, закуска — все есть. Это мы на вокзале пофасонили,— усмехнулся он совсем трезво.— Давайте как люди.

Выпивали и разговаривали теперь как люди. Горе, пережитое при расставании, сделало ребят проще, доступней.

— Дайте и мне! — высунулся из угла Славик. Расплескивая вино, захлебываясь им, выпил, с сердцем отбросил стаканчик и снова спрятался в уголке, натянув на ухо куртку.

Опять пристали ребята насчет ноги. Дорожа их дружелюбием и расположением, стал рассказывать Сергей Митрофанович о том, как, застигнутые внезапной танковой атакой противника в лесу, не успели изготовиться артиллеристы к бою. Сосняк стеною вздымался на гору, высокий, прикарпатский, сектор для стрельбы выпиливали во время боя. Два расчета из батареи пилили, два разворачивали гаубицы. С наблюдательного пункта, выкинутого на опушку леса, торопили. Но сосны были так толсты, а пилы всего две, и топора всего четыре. Работали без рубах, мылом покрылись, несмотря на холод. С наблюдательного пункта по телефону матерились, грозились и наконец завопили:

«Танки рядом! Сомнут! Огонь на пределе!»

Нельзя было вести огонь и на пределе. Надо было свалить еще пяток-другой сосен впереди орудий. Но на войне часто приходится переступать через нельзя.

Повели беглый огонь.

Снаряд из того орудия, которым командовал Сергей Митрофанович, ударился о сосну, расчет накрыло опрокинувшейся от близкого разрыва кургузой гаубицей, а командира орудия, стоявшего поодаль, подняло и бросило на землю.

Очнулся он уже в госпитале, без ноги, оглохший, с отнявшимся языком.

— Вот так и отвоевался я, ребята,— глухо закончил Сергей Митрофанович.

— Скажи, как бывает! А мы-то думали...— начал Еська-Евсей.

Славик высунул нос из воротника куртки и изумленно тарасился на Сергея Митрофановича. Глаза у него ввалились, опухли от слез, голова почему-то казалась еще больше.

— А вы думали, я ногой-то амбразуру затыкал?! — подхватил с усмешкой Сергей Митрофанович.

— А жена? Жена вас встретила нормально? — подал голос Володя. — После ранения, я имею в виду.

— А как же? Приехала за мной в госпиталь, забрала. Все честь честью. Как же иначе-то? — Сергей Митрофанович пристально поглядел на Володю. Большого ума не требовалось, чтоб догадаться, почему парень задал такой вопрос.

Ему-то и в голову не приходило, чтобы Паня не приняла его. Да и в госпитале он не слышал чего-то о таких случаях. Самовары — без рук, без ног инвалиды — и те ничего такого не говорили. Может, таились? Правда, от баб поселковых он потом слышал всякие там повествования о том, что такая-то курва отказалась от такого-то мужа-калеки. Да не очень он вникал в бабьи рассказы. В книжках читывал о том же, но книжка, что она? Бумага стерпит, как говорится.

— Баба, наша русская баба, не может бросить мужа в увечье. Здорового — может, сгульнуть, если невтерпеж, — может, а калеку и сироту спокинуть — нет! Потому как баба наша во веки веков — человек! И вы, молодцы, худо про них не думайте. А твоя вот, твоя, — обратился он к Славiku, — да она в огонь и в воду за тобой...

— Дайте я вас поцелую!.. — пьяненько взревел Славик и притиснулся к Сергею Митрофановичу. А ему захотелось погладить Славика по голове, да не решился он это сделать и лишь растроганно пробормотал:

— Ребятишки вы, ребятишки! Так споем, что ли, орел? — обратился он к Володе. — Детишек в вагоне нету?

— Нету, нету, — загалдели новобранцы. — Почти весь вагон нашими занят. Давай, батя!

По голосам и улыбкам ребят Сергей Митрофанович догадался, что они его считают совсем уж захмелевшим и ждут, как он сейчас затынет: «Ой, рябина, ряби-нушка» или «Я пулеметчиком родился и пулеметчиком помру!».

Он едва заметно улыбнулся, поглядев сбоку на парней, и мягко начал грудным, глубоким голосом, так и не испетым в запасном полку на морозе и ветру, где он был ротным запевалой.

Ясным ли днем,
Или ночью угрюмою...

Снисходительные улыбки, насмешливые взгляды — все это разом стерлось с лица парней. Замешательство, пробуждающееся внимание и даже удивленность появились на них. Все так же доверительно, ровно бы расходясь в беседе, Сергей Митрофанович повел дальше:

Все о тебе я мечтаю и думаю...

На этом месте он полуприкрыл глаза и, не откидываясь, а со сложенными в коленях руками, сидел, чуть ссутулившись, раскачиваясь вместе с бегущим вагоном, и совсем уж тихо, на натянутой какой-то струне, притушив готовый вырваться из груди крик, закончил вступление:

Кто-то тебя приласкает?
Кто-то тебя приголубит?
М-милой своей назовет?..

Стучали разбежавшиеся колеса, припадая на одну ногу, жужжало над крышей вагона, и в голосе его, без пьяной мужицкой дикости, но и без лощености, угадывался весь характер, вся его душа — приветная и уступчивая. Он давал рассмотреть всего себя оттого, что не было в нем хлама, темени, потайных закоулков. Полуприщуренный взгляд его, смягченный временем, усталостью и тем пониманием жизни, которое дается людям, познавшим жестокость и смерть, пробуждал в людях светлую печаль, снимал с сердца горькую накипь житейских будней. Слушая Сергея Митрофановича, человек переставал быть одиноким, ощущал потребность в братстве, хотел, чтоб его любили и он бы любил кого-то.

Не было уже перед ребятами инвалида с осиновою деревяшкой, в суконном старомодном пиджаке, в синей косоворотке, застегнутой на все пуговицы. Залысины, седые виски, морщины, так не идущие к его моложавому лицу, и руки в царапинах и темных проколах — уже не замечались.

Молодой, бравый командир орудия, с орденами и медалями на груди виделся ребятам.

Да и сам он, стоило ему запеть эту песню, невесть когда услышанную на пластинке и переименованную им в словах и в мотиве, видел себя там, в семье своего расчета, молодого, здорового, чубатого, уважаемого не только за песни и за покладистый характер.

Еще ребята, слушавшие Сергея Митрофановича, изум-

лялись, думали о том, что надо бы с таким голосом и умением петь ему не здесь. Они бывали в оперном театре своего города, слышали там перестарок-женщин и пузатеньких мужчин с жидкими, перегорелыми голосами. Иные артисты не имели вовсе никаких способностей к пению, но как-то попали в оперу, и зарабатывали себе хлеб, хотя зарабатывать его им надо было совсем в другом месте.

Но в искусстве, как в солдатской бане,— пустых скамеек не бывает! Вот и поет где-то вместо Сергея Митрофановича безголовый, тугой на ухо человек. Он же все, что не трудом добыто, ценить не научен, стыдливо относится к дару своему и поет, когда сердце просит или когда людям край подходит и они нуждаются в песне больше, чем в хлебе, поет, не закабалая своего дара и не забавляясь им.

Никто не разбрасывается своими талантами так, как русские люди. Сколько их, наших соловьев, испелось на ямщицком облучке, в солдатском строю, в пьяном застолье, в таежном одиночестве позатерялось в российской глухомани? Кто сочтет?!

Только случай, только слепая удача зачерпнет иной раз из моря русских талантов одну-другую каплю...

...Незадолго до того, как погибнуть расчету Сергея Митрофановича, по гаубичной батарее шарился лейтенантик с бакенбардами — искал таланты. В сорок четвертом году войско наше уже набрало силу — подпятило немцев к границе, и все большие соединения начали обзаводиться ансамблями. Повсюду смотры проходили. Попал на смотр и Сергей Митрофанович, тогда еще просто Сергей, просто товарищ сержант, прошедший служебную лестницу от хоботного до хозяина орудия.

Смотр проводился в западноукраинском большом селе, в церкви, утонувшей в черных тополях, старых грушах и ореховых деревьях.

На передней скамье сидели генералы и полковники. Среди них был и командир бригады, в которой воевал Сергей Митрофанович.

Когда сержант в начищенных сапогах напряженно вышел на алтарь, командир бригады что-то шепнул на ухо командующему корпусом. Тот важно кивнул в ответ и с интересом поглядел на молодецкого вида сержанта с двумя орденами Славы и медалями на груди.

Сергей Митрофанович пел хуже, чем при своих солдатах, очень уж волновался — народу много набилось в церковь, и голос гулко, ровно бы в доте, разносился под сводами церкви. Однако после популярных фронтовых песе-

нок: «Встретились ребята в лазарете, койки рядом, но встать нельзя, оба молодые, оба Пети...» или «Потеряю я свою кубанку со своей удалой головой», после всех этих песенок его «Ясным ли днем» прозвучала так неожиданно, так всех растрогала, что сам командир корпуса, а следом за ним генералы и полковники хлопали, не жалея ладоней.

«Поздравляю! Поздравляю!» — тоже хлопая и пятясь в алтарь, восторженно частил лейтенантик с бакенбардами, главный заводила всего этого смотра фронтовых талантов.

Быть бы в корпусном ансамбле Сергею Митрофановичу, быть бы с ногой, быть бы живу-здорову, детишек иметь и не таскаться на врачебные комиссии, работать бы ему по специальности, а не пилотом.

Да к массовому культурному мероприятию высшее начальство решило приурочить еще мероприятие воспитательное: в обеденный перерыв на площади возле церкви вешали человека — тайного агента гестапо, как было оповещено с алтаря тем же лейтенантом с бакенбардами.

Народ запрудил площадь. Гражданские и военные перемешались меж собою. Большинству фронтовиков-окопников не доводилось видеть, как вешают людей — суды и расправы свершались позади них, на отвоеванной земле.

Зафыркал ЗИС, новый, маскировочно покрашенный в зеленые полосы. Народ пугливо расступился перед радиатором машины, целившейся под старую обрубленную грушу, на которой осталась макушка с плодами и толстый сук. К суку привязана веревочная петля.

Поднимались люди на цыпочки, чтобы увидеть преступника, а главное — палача.

Живых палачей Сергей Митрофанович тоже еще никогда не встречал. Предполагал, что выйдет сейчас из церкви, из густых деревьев волосатый, рукастый человек и совершит свое жестокое дело. И когда в машину, подпрыгнув кузовом под грушу, запрыгнул молодой парень в перешитых на узкий носок кирзовых сапогах, в не созревшей от пота гимнастерке с белым подворотничком и со значком на клапане кармашка, он все еще ждал, что вот сейчас появится палач, какого он не единожды видел в кино, узколобый, с медвежьими глазами, в красной рубашке до пят.

Парень тем временем открыл задний борт машины. Площадь колыхнулась. Возле кабины, затиснувшись в уголок кузова, сидел клочковато бритый мужичонка в ватных

штанах, в телогрейке, надетой на нижнюю рубашу, в незашнурованных солдатских ботинках на босу ногу.

«Вот он! Вот он, гад! Шоб тоби... Ах ты, душегуб!..»

«Где он! Где он!» — бегал глазами Сергей Митрофанович, отыскивая агента гестапо в немецкой форме, надменного, с вызовом глядящего на толпу. Как-то из подбитого танка взяли артиллеристы раненого командира машины, с тремя крестами на черном обгорелом мундире. Голова его тоже вроде как обгорела, лохматая, рыжая. Он пнул нашу медсестру, пытавшуюся его перевязать. Тайный агент гестапо в понятии Сергея Митрофановича должен был выглядеть куда большим злодеем и громилой, чем эсэсовец-танкист.

Военный парнишка в кузове вел себя хозяйственно. Он, перевалившись через борт, командовал шоферу, показывая рукою: «Еще! Еще! Еще! Стоп!» — и навис над мужичонкой, что-то коротко приказал ему. Тот попытался подняться и не смог. Тогда парень подхватил его под мышки, притиснул спиной к кабине, и придерживая коленом под живот, попытался надеть на него петлю. Веревка оказалась короткой и налазила только на макушку. Мужичонка все утягивал шею в плечи, и тогда парень задрал рукою его подбородок, как задирают морду коню перед тем, как всунуть в его хруп железные удила. Веревка все равно не доставала.

Унялась, замерла площадь. Перестали кричать гражданские, у военных на лицах замешательство, неловкость.

Парень быстро сообразил, что надо делать. Он пододвинул к себе ногой канистру и велел преступнику влезть на нее. Тот долго взбирался на плашмя лежавшую канистру, будто была она крутым, обвальным утесом, а забравшись, качнулся на ней и чуть не упал. Парень подхватил его, и кто-то из гражданских злорадно выдохнул:

— Ишь, б... не стоит!.. Как сам вешал!..

Надев на осужденного петлю, парень пригрозил ему пальцем, чтоб стоял как положено, и выпрыгнул из машины.

Тайный агент гестапо остался в кузове один. Он стоял теперь как положено, может быть, надеясь в последние минуты своим покорством и послушанием умиловить судьбу. Первый раз он обвел площадь взглядом, затуманенным, стылым, и во взгляде этом Сергей Митрофанович явственно прочел: «Неужели все это правда, люди?!»

— Нэ нравыться? А чоловіка мого... Цэ як? Гэ-эть, подлюга, який смиренэнький! Бачь, який жалкэнький! —

закричала женщина рядом с Сергеем Митрофановичем, и ему показалось, что она обороняется от подступающей к сердцу жестокости.

Началось оглашение приговора. Сморчок этот мужичок выдал много наших окруженцев и партизан, указал семьи коммунистов, предал комсомольцев, сам допрашивал и карал людей из этого и окрестных сел...

Чем дальше читали приговор, тем больший поднимался на площади ропот и плач. На крыльце церкви билась старуха-украинка, рвалась к машине:

— Дытыну, дытыну-у-у мою виддай!

И не понять было: он ли отнял у нее дитя, или же сам был ее дитем? И вообще трудно все понималось и воспринималось.

Мужичок с провалившимися глазами, в одежонке, собранной наспех, для казни, ничтожный, жалкий, и те факты, которые раздавались на площади в радиоусилителе, — все это не укладывалось в голове. Чувство тяжелой неотвратимости надвигалось на людей, которые и хотели, но не могли уйти с площади.

Сергей Митрофанович начал сворачивать сигарку, а затем протянул кисет заряжающему из его расчета Прокопьеву, который приехал на смотр с чечеткой-бабочкой.

Пока они закуривали — все и свершилось.

Сергей Митрофанович слышал, как зарычала машина, завизжал кто-то зарезанно, заголосили и отвернулись от виселицы бабы. Машина как будто ошупью, неуверенно двинулась вперед. Осужденный схватился за петлю, глаза его расширились на вскрике, кузов начал уползать из-под его ног, а он цеплялся за кузов ногами, носками ботинок — искал опору.

Машина рванулась, и осужденный заперебирал ногами в последней судорожной попытке удержаться на земле. Маятником качнулся он, сорвавшись с досок. Груша дрогнула, сук изогнулся, и все поймали взглядом этот сук.

Он выдержал.

Только сыпанулись сверху плоды. Ударяясь о ствол дерева и о голову дергающегося человека, упали груши на старый булыжник и разбились кляксами...

Ни командир орудия, ни заряжающий обедать не смогли. И вообще у корпусной кухни народу оказалось не густо, хотя от нее разносило по округе вкусные запахи. Военные молча курили, гражданские все куда-то попрятались.

— Что ж, товарищ сержант, потопали, пожалуй, до

дому,— предложил Прокопьев, когда они накурились до одури.

— А чечетка? Тебе ж еще чечетку бить,— не сразу отозвался Сергей Митрофанович.

— Бог с ней, с чечеткой,— махнул рукой Прокопьев.— Наше дело не танцы танцевать...

— Пойдем, скажемся.

Они поднялись в гору, к церкви. Повешенный обмочился. Говорят, так бывает со всеми повешенными. На булыжник натекла лужица, из штанин капало. Оба незашнурованных ботинка почти спали с худых грязных ног, и казалось, что человек балуется, раскручиваясь на веревке то передом, то задом, и ботинки эти он сейчас как запустит с ног по-мальчишески...

Все казалось понарошку. Только на душе было муторно, и скорее хотелось на передовую, к себе в батарею.

Лейтенант с бакенбардами взвыл, театрально воздевая руки к ангелам, нарисованным под куполом церкви, когда артиллеристы явились в алтарь и стали проситься «домой».

— Испортили! Все испортили! Никто не хочет петь и плясать! Из кого, скажите на милость, из кого создавать ансамбль?!

— Это уж дело ваше,— угрюмо заметил Сергей Митрофанович. И уже настойчивее добавил: — Наше дело — доложиться. Извиняйте, товарищ лейтенант...

Лейтенант понимающе глянул на артиллериста и покачал головой.

— Как жаль! Как жаль... С таким голосом... Может, подумаете, а? Если надумаете, позвоните,— уже вдогонку крикнул лейтенант.

Артиллеристы поскорее подались из церкви: тут, чего доброго, и застопорят. Скажет генерал: «Приказываю!» — и запоешь, не пикнешь.

На последнем вздохе в церкви кто-то из военных тоскливо кричал про черные ресницы и черные глаза.

К вечеру на попутных машинах они добрались до передовой и ночью явились на батарею.

— Не забрали! — обрадовался командир батареи.

— А мы бы и не пошли,— заверил его хитрый Прокопьев.

— Правильно! Самим нужны! Где-то тут ужин оставался в котелке? Эй, Горячих! — дернул командир батареи за ногу храпевшего денщика.— Дрыхнешь, в душу тебя и в печенки, а тут ребята прибыли, голодные, с искусства.

Отлегло. Дома, опять дома, и ничего не было, никаких смотров, песен — ничего-ничего.

...Постукивали колеса, и все припадал вагон на одну ногу. Солдат-инвалид сидел в той же позе, вытянув деревяшку под столик, и руки в заусеницах и царапинах, совсем не похожие на его голос, покоились все так же, меж колен. Лишь бледнее сделалось его лицо и видно стало непробритое под нижней губой, да глаза его были где-то далеко-далеко.

— Да-а! — протянул Еська-Евсей и потрянул головою, ровно бы отбрасывая чуб. Рыжие, они все больше кучерявые бывают.

Заметив, что в разговор собирается вступить блатняшка, и заранее зная, чего он скажет: «У нас, между прочим, в тюрьге один кореш тоже законно пел, про разлуку и про любовь», — Сергей Митрофанович хлопнул себя ладонями по коленям:

— Что ж, молодцы. — Он глянул в окно, зашевелился, вынимая деревяшку из-под стола. — Я ведь подъезжаю, — и застенчиво улыбнулся: — С песнями да разговорами скоро доехалось. Давайте прощаться. — Сергей Митрофанович поднялся со скамьи, почувствовал, как тянет полу пиджака, спохватился: — У меня ведь еще одна бутылка! Может, раздадите? Я-то больше не хочу. — Он полез за бутылкой, но Славик проворно высунулся из угла и придержал его руку:

— Не надо! У нас есть. И деньги есть, и вино. Лучше попотчуйте жену.

— Дело ваше. Только ведь я...

— Нет-нет, спасибо, — поддержал Славика Володя. — Привет от нас жене передайте. Правильная она у вас, видать, женщина.

— Худых не держим, — простодушно ответил Сергей Митрофанович и, чтобы наладить ребятам настроение, добавил: — В нашей артели мужик один на распарке дерева работает, так он все хвалится: «Ить я какой человек? Я вот пятау жену додёрживаю и единой не обиживал...»

Ребята засмеялись, пошли за Сергеем Митрофановичем следом. В тамбуре все закурили. Поезд пшикнул тормозами и остановился на небольшой станции, вокруг которой клубился дымчатый пихтовник, а платформы не было.

Сергей Митрофанович осторожно спустился с подножки, утвердился на притоптанной мазутной земле, из которой выступал камешник, и, когда поезд, словно бы

того и дожидавшийся, почти незаметно для глаза двинулся, он приподнял кепку:

— Мирной вам службы, ребята!

Они стояли тесно и смотрели на него, а поезд все убыстрял ход, электровоз уже глухо стучал колесами в пихтате, за станцией; вагоны один за другим уныривали в лес, и скоро электродуга плыла уже над лесочком, высекая синие огоньки из отсыревших проводов. Когда последний вагон прострочил пулеметом на стрелке, Сергей Митрофанович совсем уж тихо повторил:

— Мирной вам службы!

В глазах ребят он так и остался одинокий, на деревяшке, с обнаженной, побитой сединою головой, в длинном пиджаке, оттянутом с одного боку, а за спиной его маленькая станция с тихим названием Пихтовка. Станция и в самом деле была пихтовая. Пихты росли за станцией, в скверике, возле колодца, и даже в огороде одна подсеченная пихта стояла, к ней привязан конь, сонный, губатый.

Наносило от этой станции старым, пахотным миром и святым ладанным праздником.

Попутных не попалось, и все, хотя и привычные, но долгие для него четыре километра Сергею Митрофановичу пришлось ковылять одному.

Пихтовка оказалась сзади, и пихты тоже. Они стеной отгораживали вырубки и пустоши. Даже снегозащитные полосы были из пихт со спиленными макушками. Пихты там расползлись вширь, сцепились ветвями. Прель и темень устоялась под ними.

На вырубках взялся лес и давил собою ивняк, ягодники, бузину и другой пустырный чад.

Осенью сорок пятого по этим вырубкам лесок только-только поднимался, елани были еще всюду, болотистые согры, испятнанные красной клюквой да брусникой. Часто стояли разнокалиберные черные стога с прогнутыми, как у старых лошадей, спинами. На стогах раскаленными жестянками краснели листья, кинутые ветром.

Осень тогда ярче нынешней выдалась. Небо голубее, просторней было, даль солнечно светилась, понизу будто весенним дымком все подернулось.

А может быть, все нарядней, ярче и приветнее казалось оттого, что он возвращался из госпиталя, с войны, домой.

Ему в радость была каждая травинка, каждый куст, каждая птичка, каждый жучок и муравьишка. Год про-

валявшись на койке с отшибленными памятью, языком и слухом, он наглядеться не мог на тот мир, который ему сызнова открывался. Он еще не все узнавал и слышал, говорил заикаясь. Вел он себя так, что не будь Паня преудежена врачами, посчитала бы его рехнувшимся.

Увидел в зарослях опушки бодяк, долго стоял, вспоминая его, колючий, нахально цветущий, и не вспомнил, огорчился. Ястребинку, козлобородник, осот, бородавник, пуговичник, крестовник, яковку, череду — не вспомнил. Все они, видать, в его нынешнем понимании походили друг на дружку, потому как цвели желтенько. И вдруг заблажил без заикания:

— Кульбаба! Кульбаба! — и ринулся на костылях в чащу, запутался, упал. Лежа на брюхе, сорвал худой, сорный цветок, нюхать его взялся.

И, зашедшаяся от внутреннего плача, жена его подтвердила:

— Кульбаба. Узнал?! — и сняла с его лица паутинку. Он еще не слышал паутинки на лице, запахов не слышал и был весь еще как дитя.

Остановился подле рябины и долго смотрел на нее, соображая. Розетки на месте, краснеют ошметья объеда, а ягод нету?

— Птички. Птички склевали, — пояснила Паня.

— П-п-птички! — просиял он. — Ры-рябчики?

— Рябчики, дрозды, до рябины всякая птица охоча, ты ведь знаешь?

— З-знаю.

«Ничего-то ты не знаешь!» — горевала Паня, вспоминая последний разговор с главврачом госпиталя. Врач долго, терпеливо объяснял: какой уход требуется больному, что ему можно пить, есть, — и все время ровно бы оценивал Паню взглядом — запомнила ли она, а запомнивши, сможет ли обиходить ранбольного, как того требует медицина. Будто между прочим врач поинтересовался насчет детей. И она смущенно сказала, что не успели насчет детей до войны. «Да что горевать?! Дело молодое...» — зарделась она. «Очень жаль», — сказал врач, спрятав глаза, и после этого разговор у них разладился.

В пути от Пихтовки она все поняла, и слова врача, жесткое их значение — тут только и дошли до нее во всей полноте.

Но не давал ей Сережа горевать и задумываться. Склонился он над землей и показывал на крупную, седовато-

черную ягоду, с наглым вызовом расположившуюся в мясистой сердцевине листьев.

— В-вороний глаз?

— Вороний глаз, — послушно подтвердила она. — А это вот заячья ягодка, майником зовется. Красивая ягодка и до притору сладкая. Вспомнил ли?

Он наморщил лоб, напрягся, на лице его появилась болезненная сосредоточенность, и она догадалась, что его контуженная память устала, перегружена уже впечатлениями, и заторопила его.

В речке он напал на черемуху, хватал ее горстями, измазал рот.

— С-сладко!

— Выстоялась. Как же ей несладкой быть?

Он пристально поглядел на нее. Совсем недавно, всего месяца три назад, Сергей стал чувствовать сладкое, а до этого ни кислого, ни горького не различал. Пане неизвестно, что это такое. И мало кому ведомо.

Еще раз, но уже молча он показал ей на перевитый вокруг черемухи хмель, и она утомленно объяснила:

— Жаркое лето было. Вот и нету шишек. Нитки да листья одни. Хмело сырость надо.

Он устал, обвис на костылях, и она пожалела, что послушалась его и не вызвала подводу. Часто садились отдыхать возле стогов. Он мял в руках сено, нюхал. И взгляд его оживлялся. Сено, видать, он уже чуял по запаху.

На покосах свежо зеленела отава, блекло цвели погремки и кое-где розовели бледные шишечки позднего клевера. Небо, отбеленное по краям, неназойливо голубело. Было очень тихо, ясно, но предчувствие заморозков угадывалось в этой, размазанной по небу, белесости и в особенной, какой-то призрачно-светлой тишине.

Ближе к поселку Сергей ничего уже не выспрашивал. Он суетливо перебирал костылями, часто останавливался. Лицо его словно бы подтаяло, и на губе выступил немощный, мелкий пот.

Поселок с пустыми огородами на окраинах выглядел голо и сиротливо среди нарядного леса. Дома в нем постарели, зачернелись, да и мало осталось домов. Мелкий лес вплотную подступил к поселку. Подзарос, запустел поселок. Не было в нем шума и людской суетни. Даже и ребятишек не слышно. Только постукивал в глуби поселка движок и дымил наполовину изгоревшая артельная труба, утверждая собою, что поселок все-таки жив и идет в нем работа.

— М-мама? — повернулся Сергей к Пανε.

И она заторопилась:

— Мама ждет нас. Все гляденья, поди, проглядела! Давай я тебе помогу в гору-то. Давай-давай!...

Она отобрала у Сергея костыли, почти взвалила его на себя и выволокла в гору, но там костыли ему вернула, и по улице они шли рядом, как полагается.

— Красавец ты наш ненаглядный! — заголосила Панина мать.— Да чего же они с тобой сделали, ироды ерманские-е?! — и копной вальнула с крыльцо. Зятя она любила не меньше, а показывала, что любит больше дочери. Он стоял перед ней худенький, вылежавшийся в душном помещении и походил на блеклый картофельный росток из подпола.

— Так и будете теперича? Одна — сидеть, другой — стоять? — прикрикнула Паня. Панина мать расцеловала Сережу увядшими губами и, помогая ему подняться на крыльцо, жаловалась:

— Заела она меня, змея, заела... Теперь хоть ты дома будешь... — и у нее заплясали губы.

— Да не клеви ты мне солдата! — уже с привычной домашней снисходительностью усмехнулась Паня, глядя на мать и на мужа, снова объединившихся в негласный союз, который у них существовал до войны.

Всякий раз, когда приходилось идти от Пихтовки в поселок одному, Сергей Митрофанович заново переживал свое возвращение с войны.

Меж листовника темнели таившиеся до времени ели, пихты, засеянные сосны и лиственницы. Они уже начинали давить собой густой и хилый осинник и березник. Только липы не давали угнетать себя. Вперегонки с хвойником настойчиво тянулись они ввысь, скручивали ветви, извертывались черными стволами, но места своего не уступали.

И стогов на вырубках поубавилось — позаросли покосы. Но согры затягивало трудно. Лешишко на них чах и замирал, не успевши укрепиться.

По косограм испекло инеем поздние грибы. Шапки грибов пьяно съехали набок. Лишь поганки не поддались инею, пестрели шляпками во мху и в траве. В озеринки падала прихваченная черемуха и рябина, булькала в воде негромко, но густо. Шорохом и вздохами наполнены старые вырубы.

Через какое-то время снова начнется заготовка леса вокруг Пихтовки, а пока сводят старые березники. До войны березы не рубили. Когда прикончили хвойный лес,

свернули участок лесозаготовителей и открыли артель по производству мочала и фанеры.

Сергей Митрофанович работал пилоправом, а Паня — в мокром цехе, где березовые сутунки запаривали в горячей воде и потом разматывали, как рулоны бумаги, выкидывая сердцевины на дрова.

Он свернул с разъезженной дороги на тропу и пошел вдоль речки Каравайки. Когда-то водился в ней хариус, но лесозаготовители так захламили ее, а на стеклозаводе, что приток к Каравайке, столько дерьма спускают в нее, что мертвой она сделалась. По сию пору гнили в ней бревна, пенья, отбросы. Мостики на речке просели, дерном покрылись. Густо пошла трава по мостам, в гнилье которых ужи плодятся, — только им тут и способно.

Неподалеку от поселка прудок. В нем мочат липовые лубья. Вонь все лето. К осени лубья повытаскивали, мочало отодрали — оно выветривается на подставах. Прудок илист, ядовито-зелен, даже водомеры не бегают по нему.

Тропинка запетляла от речки по пригорку, к огородам с уже убранной картошкой. В поселке, установленное на клубе, звучало радио. Сергей Митрофанович прислушался. Над осенней тихой землей разносилась нерусская песня. Поначалу Сергею Митрофановичу показалось — поет женщина, но когда он поднялся к огородам, различил — поет мальчишка, и поет так, как ни один мальчишка еще петь не умел.

Чудилось, сидел этот мальчишка один на берегу реки, бросал камешки в воду, думал и рассказывал самому себе о том, что он видел, что думал, но сквозь его бесхитростные, такие простые детские думы просачивалась очень уж древняя печаль.

Он подражал взрослым людям, этот мальчишка. Но и в подражании его была неподдельная искренность, детская доверчивость и любовь к его чистому, еще не захвачанному миру.

— Ах ты, парнишечка! — шевелил губами Сергей Митрофанович. — Из каких же ты земель? — Он напрягся, разбирая слова, но не мог их разобрать, однако все равно боязно было за мальчишку, думалось, сейчас вот произойдет что-то непоправимое, накличет он на себя беду. И Сергей Митрофанович старался дышать по возможности тихо, чтоб не пропустить тот момент, когда еще можно будет помочь маленькому человеку.

Сергей Митрофанович не знал, что мальчишке уже

ничем не поможешь. Он вырос и затерялся, как вышедшая из моды вещь, в хламе эстрадной барахолки. Слава яркой молнией на коротке ослепила его жизнь и погасла в быстротекущей памяти людей.

Радио на клубе заговорило словами, а Сергей Митрофанович все стоял, опершись рукою на огородное прясло, и почему-то горестно винился перед певуном-парнишкой, перед теми ребятами, которые ехали служить в незнакомые места, разлучившись с домом, с любимыми и близкими людьми.

Оттого, что у Сергея Митрофановича не было детей, он всех ребят чувствовал своими, и постоянная тревога за них не покидала его. Скорей всего получалось так потому, что на фронте он уверил себя, будто война эта последняя и его увечья и муки тоже последние. Не может быть, думалось ему, чтобы после такого побоища и самоистребления люди не поумнели.

Он верил, и вера эта прибавляла ему и всем окопникам сил — тем, кого они нарожают, неведомо будет чувство страха, злобы и ненависти. Жизнь свою употреблять они будут только на добрые, разумные дела. Ведь она такая короткая, человеческая жизнь.

Не смогли сделать, как мечталось. Он не смог, отец того голосистого парнишки не смог. Все не смогли. Война таится, как жар в загнете, и землю то в одном, то в другом месте огнем прошибает.

Оттого и беспокойно на душе. Оттого и вина перед ребятами. Иные брехней и руганью обороняются от этой виноватости. По радио однажды выступал какой-то заслуженный старичок. Чего он нес! И не ценит-то молодежь ничего, и старших-то не уважает, и забыла-то она, неблагодарная, чем ее обеспечили, чего ей понастроили...

«Но что ж ты, старый хрен, хотел, чтоб и они тоже голышом ходили? Чтоб недоедали, недосыпали, кормили бы по баракам вшей и клопов? Почему делаешь вид, будто все хорошее дал детям ты, а худое к ним с неба свалилось? И чистишь молодняк таким манером, ровно не твои они дети, а какие-то подкидыши?..»

До того разволновался Сергей Митрофанович, слушая лукавого и глупого старика, что плюнул в репродуктор и выключил его.

Но память и совесть не выключишь.

Вот если б все люди — от поселка, где делают фанеру, до тех мест, где сотворяют атомные бомбы, — всех детей на земле считали родными, да говорили бы с ними честно и

прямо, не куражась, тогда и молодые не выламывались бы, глядишь, чтили бы как надо старших за правду и честность, а не за одни только раны, страдания и про-корм.

«Корить — это проще простого. Они вскормлены нами и за это лишены права возражать. Кори их. Потом они начнут своих детей корить, возмутся, как мы, маскиро-вать свою ущербину, свои недоделки и неполадки. Так и пойдет сказка про мочало, без конца и без начала. Давить своей грузной жизнью мальчика — ума большого не надо. Дорасти до того, чтобы дети уважали не только за хлеб, который мы им даем, — это потруднее. И волчица своим щенятам корм добывает, иной раз жизнью жертвует. Щенята ей морду лижут за это. Чтоб и нас облизывали? Так зачем тогда молодым о гордости и достоинстве толко-вать?! Сами же гордости хотим и сами же притужальник устраиваем!..»

Паня вернулась с работы и поджидала Сергея Митро-фановича. Она смолоду в красавицах не числилась. Сму-глолицая, скуластая, со сбитым телом и руками, рано поз-навшими работу, она еще в невестах выглядела бабой — ух! Но прошли годы, отцвели и завяли в семейных буднях ее подруги, за которыми наперебой когда-то бегали парни, а ее время будто и не коснулось. Лишь поутихли, смягчились глаза, пристальней сделались, и женская муд-рость, нажитая разлукой и горестями, сняла с них блеск горячего беспокойства. Лицо ее уже не круглилось, щеки запали и обнажили крутой, не бабий лоб с двумя морщи-нами, которые вперекос всем женским понятиям о красоте шли ей. По-прежнему крепко сбитая, без надсадливости делающая любую работу, как будто беззаботно и легко умеющая жить, она злила собою плаксивых баб.

«Нарожала б ребятишек кучу, да мужик не мякиш попался бы...»

Она никогда не спорила с бабами, в рассужденья насчет своей жизни не пускалась. Муж ее не любил этого, а что не по душе было ему, не могло быть по душе и ей. Она-то знала: все, что в ней и в нем хорошего, они переняли друг от друга, а худое постарались изжить.

Мать Панина копалась в огороде, вырезала редьки, свеклу, морковь, недовольно гремела ведром. Дом восьми-квартирный, и огорода каждому жильцу досталось возле дома по полторы сотки. Мать Панина постоянно роется в нем, чтобы доказать, что хлеб она ест не даром.

— Да ты никак выпивши? — спросила жена, встречая Сергея Митрофановича на крыльце.

— Есть маленько, — виновато отозвался Сергей Митрофанович и впереди жены вошел в кухню. — С новобранцами повстречался, вот и...

— Ну дак чё? Выпил и выпил. Я ведь ничё...

— Привет они тебе передавали. Все передавали, — сказал Сергей Митрофанович. — Это тебе, — сунул он пакетик Пане, — а это всем нам, — поставил он красивую бутылку на стол.

— Гляди ты, они шароховатые, как мыша! Их едят ли?

— Сама-то ты мыша! Пермяк — солены уши! — с улыбкой сказал Сергей Митрофанович. — Позови мать. Хотя постой, сам позову. — И, сникши головой, добавил: — Что-то мне сегодня...

— Ты чего это? — быстро подскочила к нему Паня и подняла за подбородок лицо мужа, заглянула в глаза. — Разбередили тебя опять? Разбередили... — И заторопилась: — Я вот чего скажу: послушай ты меня, не ходи больше на эту комиссию. Всякий раз как обваренный ворочаешься. Не ходи, прошу тебя. Много ли нам надо?

— Не в этом дело, — вздохнул Сергей Митрофанович и, приоткрыв дверь, крикнул: — Мама! — и громче повторил: — Мама!

— Чё тебе? — недовольно откликнулась Панина мать и звякнула ведром, давая понять, что человек она занятой и отвлекаться ей некогда.

— Иди-ка в избу.

Панина мать была когда-то женщиной компанейской, попивала, и не только по праздникам. А теперь изображала из себя святую постницу. Явившись в избу, она увидела бутылку на столе и заворчала:

— С каких это радостей? Втору группу дали?

— На третьей оставили.

— На третьей. Они те втору уж на том свете вырешат...

— Садись давай, не ворчи.

— Есть когда мне рассиживаться! Овощи-те кто рыть будет?

Панина мать и сама Паня много лет назад уехали из северной усольской деревни, на производстве осели, здесь и старика схоронили, но говор пермяцкий так и не истребился в них.

— Сколько там и овощи? Четыре редьки, десяток морковин! — сказала Паня. — Садись, приглашают дак.

Панина мать побренчала рукомойником, подседа бочком к столу, взяла бутылку с ярко размалеванной наклейкой:

— Эко наклепили на бутылку-те! Дорого небось?

— Не дороже денег,— возразила Паня, давая укорот матери и поддерживая мужа в вольных его расходах.

— Ску-усна-а-а! — сказала Панина мать, церемонно выпив рюмочку, и уже пристальной оглядела бутылку и стол. Губы Сергея Митрофановича тронула улыбка, он вспомнил, как новобранец на вокзале обсалывал сыр с пальца.— Ты чё жмешша, Панька? — рассердилась Панина мать.— И где-то кружовник маринованный есть, огурчики. У нас все есть! — гордо воскликнула она и метнулась в подполье.

После второй рюмки Панина мать сказала:

— На меня не напасешша.— и ушла из застолья, оставив мужа с женой наедине.

Сергей Митрофанович охмелел или устал шибко. Он сидел в переднем углу, отвалившись затылком на стену, прикрыв глаза. Деревяшка его, вытертая тряпкой, сушилась на шестке русской печи, и без нее было легко ноге, легко телу, а вот сердце все подмывало и подмывало.

— Чего закручинился, артиллерист гвардейский? — убрав со стола лишнее, подседа к мужу Паня и обняла его.— Спел бы хоть. Редко петь стал. А уж такой мне праздник, такой праздник...

— Слушай! — открыл глаза Сергей Митрофанович, и где-то в глубине их угадалась боль.— Я ведь так вроде бы и не сказал ни разу, что люблю тебя?

Паня вздрогнула, отстранилась от мужа, и по лицу ее прошел испуг:

— Что ты?! Что ты?! Бог с тобой...

— Вот так вот проживешь жизнь, а главного-то и не сделаешь.

— Да не пугай ты меня-а-а! — Паня привалилась к его груди. Он притиснул ее голову к себе. Затылок жены казался под ладонью детским, беспомощным. Паня утихла под его рукою, ничего не говорила и лица не поднимала, стеснялась, видно.

Потом она осторожно и виновато провела ладонью по его лицу. Ладонь была в мозолях, цеплялась за непробритые щеки. «Шароховатые»,— вспомнил он. Паня припала к его плечу:

— Родной ты мой, единственный! Тебе, чтоб все были счастливые. Да как же устроишь такое?

Он молчал, вспоминал ее молодую, придавленную виной. В родном селе подпутал ее старшина катера с часами на руке, лишил девичества. Она так переживала! Он ни словом, ни намеком не ушиб ее, но в душе все же появилась мужицкая ссадина. Так с нею и на фронт ушел, и только там, в долгой разлуке, рассосалось все, и обида его оказалась столь махонькой и незначительной, что он после и сам себе удивлялся. Видно, в отдалении от жены и полюбил ее, да все открыться стыдился.

«Ах, люди, люди! Зачем же с таким-то прятаться! Или уж затаскали слово до того, что и произносить его срамно? Но жизнь-то всякий раз нова, и слово это всякому внове должно быть, если его произносить раз в жизни и не на ветер».

— Старенькие мы с тобой становимся,— чувствуя под руками заострившиеся позвонки, сказал он.

— Ну уж...

— Старенькие, старенькие,— настаивал он, и, отстранив легонько жену, попросил: — Налей-ка по последней. Выпьем с тобой за всех нас, стареньких,— и сам себя перебил: — Да нет, пусть за нас другие, коли вспомнят. А мы с тобой за ребяташек. Едут где-то сейчас...

Паня проворно порхнула со скамьи, налила рюмки с краями, а когда выпили, со звуком поцеловала его в губы и прикрылась после этого платком.

— Эко вас, окаянных! — заворчала Панина мать в сенях.— Все не намилиуются. Ораву бы детишков, так некогда челомкаться-то стало бы!

У Сергея Митрофановича дрогнули веки, сразу беспомощным сделалось его лицо, не пробритое на впалых щеках и под нижней губой,— ударила старуха в самое больное место.

«Вечно языком своим долгим ботает! Да ведь что? — хотела сказать Паня.— Детишки, они пока малы — хорошо, а потом, видишь вот,— отколупывать от сердца надо...» — Но за многие годы она научилась понимать, что и когда говорить надо.

Сергей Митрофанович зажал в горсть лицо и тихо, ровно бы для себя, запел:

Соловьем залетным
Юность пролетела...

И с первых же слов, с первых звуков Паня дрогнула сердцем, заткнула рот платком. Она плакала и сама не понимала, почему плачет, и любила его в эти минуты так,

что скажи он ей сейчас — пойди и прими смерть — и она пошла бы, и приняла бы смерть без страха, с горьким счастьем в сердце.

Он пел, а Паня, не отнимая рук ото рта и плохо видя его сквозь слезы, причитала про себя: «Ой, Митрофанович! Ой, солдат ты мой одноногий!.. Так, видно, и не избыть тебе войну до гробовой доски? Где твоя память бродит сейчас? По каким краям и окопам? Запахали их, окопы те, хлебом заростили, а ты все тама, все тама...»

И когда Сергей Митрофанович закончил песню, она притиснула его к себе, торопливо пробежала губами по его побитым сединою волосам, по лбу, по глазам, по лицу, трепеща вся от благодарности за то, что он есть. Живые волоски на его лице покалывали губы, рождая чувство уверенности, что он и навечно будет с нею.

— Захмелел я что-то, мать, совсем,— тихо сказал Сергей Митрофанович.— Пора костям на место. Сладкого помаленьку, горького не до слез.

— Еще тую. Про нас с тобой.

— А-а, про нас? Ну, давай про нас.

Ясным ли днем,
Иль ночью угрюмою...

И снова увидел Сергей Митрофанович перед собой стриженных ребят, нарядную, зареванную девчушку, бегущую за вагоном. Эта песня была и про них, только еще вступающих в жизнь, не умеющих защититься от разлук, горя и бед.

Старухи на завалине слушали и сморкались. Панина мать распевно и жалостно рассказывала в который уж раз:

— В ансамблю его звали, в хор, а он, простофиля, не дал согласия.

— Да и то посуди, кума: если бы все по асамблям да по хорам, кому бы тогда воевать да робить?

— Неправильные твои слова, Анкудиновна. Воевать и робить каждый человек может. А талан богом даден. Зачем он даден? Для дела даден. На утешенье страждущих...

— И-и, голуба-Лизавета, талан у каждого человека есть, да распоряженье на него не выдано.

— Мели!

— Чего мели?! Чего мели?! Если уж никаких способностей нету, один талан — делать другим людям добро — все одно есть. Да вот пользуются этим таланом не все. Ой, не все!

— И то правда. Вот у меня талан был — детей рожать...

— Этих таланов у нас у всех излишек.

— Не скажи. Вон Панька-то...

— А чего Панька? Яловая, что ли? В ей изъян? В ей?! — взъелась Панина мать.

— Тише, бабы, слушайте.

Но песня уже кончилась. Просудачили ее старухи. Они подождали еще, позевали и, которые крестясь, а которые просто так, разошлись по домам.

На поселок опустилась ночь. Из низины, от речки и прудка, по ложкам тянуло изморозью, и скоро на траве выступил иней. Он начал пятнать огороды, отаву на покосах, крыши домов. Покорно стояли недвижимые леса, и цепенел на них последний лист.

Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока над поселком плыло темное небо с яркими, игластыми звездами. Такие звезды бывают лишь осенью, вызревшие, еще не остывшие от лета. Покой был на земле. Спал поселок. Спали люди. И где-то в чужой стороне вечным сном спал орудийный расчет, много орудийных расчетов. Из тлеющих солдатских тел выпадали осколки и, звякая по костям, скатывались они в темное нутро земли.

Отяжеленная металлом и кровью многих войн, земля безропотно принимала осколки, глушила отзвуки битв собою.

1966—1967

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ

Михаилу Александровичу Ульянову

Ванька с Танькой, точнее сказать, Иван Тихонович и Татьяна Финогеновна Заплатины, вечерами любили посидеть на скамейке возле своего дома. И хорошо у них это получалось, сидеть-то на скамейке-то, уютно получалось. И не то чтоб там прижавшись друг к дружке иль взявшись за руки и целуясь — всем напоказ. Нет, сидят они, бывало, обыкновенно, в обыкновенные одетые, в чем вечер застал на дворе, в том и сидят: Иван Тихонович в телогрейке, в старом речном картузе, уже без золотоцветного знака. Картуз спекся на солнце, съежился от дождей, ветров и старости, и не надет он — как бы впопыхах наброшен на все еще кудрявую голову, от кудрей непомерно большую, вроде капусты, не завязавшейся в вилок. Картуз с сереющим на месте отколупнувшейся кокарды пятнышком кажется смешным, вроде как у циркача, и своей мутностью оттеняет или обнажает смоль крупных кудрей, просвеченных ниточками седины, той августовской сквози, что на исходе месяца желто выдохнется из глубин леса, из падей ли на вислую ветку березы, завьет ее косичкой и грустно утихнет. «Люди! Люди! — напоминает вроде бы желтым просверком береза. — Осень скоро. Что же вы мчитесь куда-то? Пора бы и оглянуться, задуматься...»

Татьяна Финогеновна не желала отставать от Ивана Тихоновича в кудрях, до последнего срока завивалась в районной парикмахерской, когда прихварывала — своей вручную на дому калеными коваными щипцами еще дореволюционного производства взбодряла кой-чего на голове, хотя, по правде сказать, взбодрять там уж нечего было, волос почти полностью был выношен под корень, и наново ему не было сил и времени взойти на полянине. Но и с редкими кудерьками, в ситцевом платье, давным-давно вышедшем из моды, в тесном мундирчике с карманами, именуемом в деревнях жакетом, наброшенном на плечи синеньком платочке, в беленьких, вроде бы детских носоч-

ках, Татьяна Финогеновна все равно гляделась хорошо, главное — приветливо. Жакет Татьяны Финогеновна завсе не надевала, уж ближе к осени, в холодную пору, так-то все в платьице, в носочках, и если нет платочка на плечах, уж непременно на шее что-нибудь да топорщится, чаще — газовый лоскуток, серо-дымчатый, схваченный узелком сбоку шеи.

Ивану Тихоновичу ближе к сердцу, конечно, синий платочек — краса и память незабвенных лет войны, совсем почти отцветший платочек, с бордовой каемочкой по блеклому полю. Как увидит его Иван Тихонович — стронется его сердце с места или в сердце сдвинется что-то в то место, где теплые слезы, — вскипят они ни с того ни с сего, порой из-за совершенного пустяка, из-за картинки в газете, или покажут по телевизору что военное, либо про разлуку запоют по радио — и вот уж подмоет ретивое, затрясет его что осенний выветренный лист...

Н-да, время! Не один он такой слезливый сделался. Не одного его мяла жизнь, валяла, утюжила, мочила и сушила. На что уж сосед его Семка-оторва — семь раз в тюрьме побывал за разбой и драки — так чуть чего, как баба, в истерику впадает, с рыданьем за голову хватается. «За что жисть погубил?» — кричит.

Ивана Тихоновича лихая сторона жизни миновала. И все у него в смысле биографии в полном порядке. Однако тоже есть чего вспомнить, есть о чем попеть и поплакать. И старость он заслужил себе спокойную. Есть домишко, есть огород, палисадник с калиной и черемухой, аккуратные поленицы под крышей — дрова из столярного цеха, струганые. «Я их еще покрасить хочу», — смеется Иван Тихонович. Во дворе хоркают два поросенка, кухонька с варевом для них дымится, ну, стайки там, назем, парник, земля, трава, полы в доме, ведра с помоями, стирка, побелка, покраска, хлопоты, заботы и все прочее, как у всех жителей деревень. А вот накачивают на Ивана Тихоновича порой такая тоска, такое невыносимое томленье и предчувствия нехорошие, хоть напейся. И напился бы, да нельзя. Все из-за Тани. Татьяны Финогеновны. Она толкается по хозяйству, помогает, хлопочет, и никогда он ее не видел с невымытыми руками, в том недоношенном мужском пиджаке, к которому привыкли русские бабы по селам, да так и уродуют им свой вид по сию пору, когда тряпок доплетна, норовят не только бабы, но и молодые девахи ходить по улице, в магазин, на базар в тапочках тряпочных и в пиджаках. Однажды, смех сказать, в доме отдыха видел Иван

Тихонович: на танцы явились две подвыпившие девы с накрашенными губами и давай бацать под крик Рымбаевой — пыль столбом из-под стоптанных тапочек.

Ближе к осени и осенью Иван Тихонович и Татьяна Финогеновна надевают вязанные из собачьей шерсти носки, галоши, давние-давние, но все еще глянцевито поблескивающие. Хозяин сидит на скамейке ножка на ножку, сложив их вроде ножниц и вытянув насколько позволяет не такая уж выразительная длина. Руки он отчего-то держал переплетенными на груди, вроде бы как грея пальцы под мышками, — поза скорей женская, чем мужская. У Татьяны же Финогеновны руки обычно в коленях, ладошка в ладошке, ноги широко расставлены, упористо, но не часто доводилось ей посидеть так вот, вольно, в свое удовольствие. Как бы нечаянно вцепившись в скамейку, опершись на руки, спеленатая болью и внутренним напряжением, будто беспомощный младенец пеленальником — вот как она последнее время сидела: чаще стало ее схватывать, и она боялась упасть наземь.

Иван Тихонович незаметно уговаривал супругу пойти в избу, прилечь, капель ленуть. Она ему так же незаметно — отпор: успею, мол, успею. «Ведь там лежать, в земле глубокой, и одиноко, и темно...» Не знала этих стихов Татьяна Финогеновна, но думала примерно так же — належится еще и капелек еще напьется и таблеток, они уж ей надоели, толку от них все равно никакого, и, пока еще возможно, лучше ей посидеть на свету, поглядеть на солнышко, на горы, на мимо проходящих людей, потому как она всегда была и есть к людям приветлива.

Редкий вечер бывали Заплатины на скамейке одни. Все к ним кто-нибудь да лепился, грелся возле них. И насмешливо щурила узкие глаза, совсем их в щелки топила от удовольствия общения с людьми Татьяна Финогеновна, рот ее широкой скобочкой, каковой имел бес, что «под кобылу подлез», — рот этот, со складочками в углах, в смехе такой ли всегда подвижный, то и дело обнажал ряды казенных зубов, и, радуясь радости разлюбезной жены своей, Иван Тихонович и сам закатится, бывало, от своей ли, чужой ли шутки, закококает курочкой, наращивающей яичко, и начнет валять голову по заплоту — картуз наземь скатится, и, подняв его, бил он картуз о колено:

— Н-но, ты че это катаешься-то, парень? Куда это ты все катаешься?..

Татьяна Финогеновна стонет от смеха, вытирая слезы рукой:

— Да ну тебя! Уморил, нечистый дух! Совсем уморил!..

Со смехом, с шуткой-прибауткой легче обмануть время. Ведь не просто так Иван Тихонович с Татьяной Финогеновной сидят на скамейке, с умыслом сидят — ждут из недалекого города вечернюю электричку, вдруг с нею, с электричкой-то, придет Клавочка, внучка их единственная. Они ее все время ждут, каждый день, каждый вечер. И хотя внучка очень занята, родители ее и того занятее, да случится нечаянная оказия: карантин в садике либо мамуля гриппом заболсет, ребенка при ней быть нельзя — заразно; при них же, при дедушке с бабушкой, в самый раз, тут никогда и никакой заразы не бывает. Да здоровый человек у Клавочки мамуля. Очень. Редко привозят Клавочку в деревню. Мамуля у Клавочки зав производством треста ресторанов, считай что самоглавнейшего в городе предприятия. Мамуля вся в золоте, в седом герцогском парике времен короля Людовика Прекрасного, в платье сафари, не то треснувшем на заду от ресторанного харча, не то для фасону вспоротом.

Татьяна Финогеновна, завидев невестку на деревенской улице, всегда пугливо замирала в себе, боясь, что у невестки что-нибудь принародно лопнет и обнажится. Ребенчишко-то, Клавочка, тоже разодета по всей моде по заграничной, по последнему крику ее, эхо которого, достигнув сибирских пределов, делается скорее похоже на хрип и обретаает такие уж тона и формы, что те, кто породил моду в Европах, увидев, как тут, на наших необъятных просторах, все усовершенствовалось, махнули бы на свое ремесло рукой, убрали бы раскройные ножницы в сундук: ходите снова нагишом, люди,— нагишом приличнее...

Современно одетая семья, современно одетая, утомленная городом, неторопливо шествует по деревенской улице с электрички таким порядком: впереди она — глава семьи, устряпанная работой, надсаженная властью, земными благами и наслаждениями; за нею вприпрыжку, во французском берете с бомбошкой, в заграничных гольфиках, в кофточке с шелковым жабо, в желтеньких штанах с белыми лампасами, Клавочка, с забавной аппликацией-цыпушечкой, прилепленной на такое место, что бабушка с дедушкой при виде страшной непристойности на какое-то время словно в параличе пребывают — хорошо, хоть ребенчишко, Клавочка, ничего еще не понимает, сраму не приемлет, прыгает себе на одной ножке и не зрит, что охальная цыпушка все время в движении, клюет зернышки.

Мамуля враждебно цедит сквозь зубы, покрытые итальянским лаком, чтоб не портились от жирной пищи:

— Ты у меня, гада, упали! Ты у меня, сикуха, ноги повреди! Я те повредю!..

Клавочка осенью пойдет в школу и вместе с самыми одаренными воспитанниками своего садика уже занимается в подготовительном классе местного хореографического училища. Ноги ее мамуле дороги, пожалуй что, дороже и нужней, чем сама дочь. Мамуля, когда выпьет, надсаженным от курева голосом аркает:

— Моя Клавка, когда вырастет, усах танцами прэвзойдет! А ту, как ее — да биксу-то, что с балету, что народная артистка, видали мы таких народных! — ту у гроб загонит!..

На почтительном отдалении от семьи тащится папуля и вторит:

— Клава, не упали! Доченька, осторожно! Зачем ты расстраиваешь мамулю? Ты нарочно, да? Нарочно?!

Сын Заплатиных Петруша — кудрявый в отца, в мать искроглазый, большеротый красавчик, без характера и без доходной должности. Он работает на конвейере или на контейнере — мамуля никак не может запомнить. Зарабатывает он четыреста рэ в месяц, но все равно считается, его содержит баба, и он согласен с этим, как и с тем, что давно был пропал и спился без нее. По мужицкой части и говорить не о чем, презрительно заверяет невестка, и, должно быть, что-то и в самом деле неладно у Петруши — с чего бы парню лебезить перед женою, терпеть хахалей, с которыми она, считай что, в открытую путается.

Петруша прет две сумки в руках, прихватив еще бидон с городским питьем, настоящим на заморских травках. Деревня в горах стоит, вода здесь известковая, лишняя известь вредна для костей, говорил мамуле на курорте какой-то знаменитый профессор. Травки эти дорогие и полезные нынче пьют все высокоумные и развитые люди. Правда, травки те заморские Петруша видывал на приенисейском покосе, да кто ему поверит? Нужен настой, значит, тащи — для похудения жене, для эластичности кожи и для укрепления костей дочке. Еще Петруша локтем прижимает к груди собачку с блатной мордой. У собаки из-под челки мерцает глаз вылитого каинского урки. Живущая в современных апартаментах, спящая на отдельной тахте и вкушающая только сахар и птичий фарш со сливками, собака негодует, от страха и наглости тявкает, облаивает

всех встречных и поперечных в электричке, на улице, в городе и в деревне. Мамуля успокаивает собачку:

— Жозефиночка, не порти нервов.— И сразу с собачки на мужа, да так, чтоб родителям было слышно: — Нарочно с машиной резину тянет!.. Чтоб жену не увели с машиной! Го-го-го! Та я жа сама утягну хоть артиста, хоть енерала!

Петруша втягивает голову в плечи и всего себя готов утянуть, куда-нибудь спрятаться от этого всесокрушающего хамства, уверенного в своем праве сминать на своем пути все, что к нему недружелюбно, что не соответствует его нраву и культурному уровню.

Петруша еще издали отыскивает глазами мать с отцом на скамейке, ловит их взглядом и начинает им улыбаться приветливо и виновато: что, мол, сделать, вляпался, терплю, нюхаю, но сам я все тот же ваш Петруша, не испохабился, не предал дом и не очернил кровь вашу...

— Дедуля! Бабуля! — обгоняя мать, звенит Клавочка.— Здра-а-а-ст-уйте-э!

Иван Тихонович при виде невестки начинает всплывать черной пеной, под картузом у него вроде бы дымится. «Явля-а-ается, выдра кабацкая! Осчастливила родителей, пас-с-куда!..» — но, увидев Клавочку, теряет и зло, и всякий рассудок, бросается навстречу внучке, на ходу прихватывая куда-то укатывающийся картуз, и, сбросив галошу, а то и обе, шлепает в носках по пыли иль по грязи навстречу мчащемуся, двоящемуся и троящемуся в глазах от враз накотивших слез существу, ради которого Иван Тихонович терпит стерву невестку, размазню Петрушу, ради которого он умрет, если потребует, снесет любую низость, поношение, казнь, совершит подвиг или ограбление местного магазина, смертоубийство, поджог и всякое другое бесчестье... Но бог миловал его от крайних дел и поступков, ничего пока не надо подламывать, никого пока не требуется истреблять. И невестка и Петруша пусть существуют ради того, чтоб внучка была на свете, который исключительно для нее, пожалуй что, и создан.

Дед несет в беремени от радости и щекотки визжащую девчушку, роется как бы шутливо, на самом же деле прячет вислый нос с катящимися по нему слезами в пышной тряпке под названием жабо, слышит руки, волосенки внучки, чует ее, пока еще маленькую, птичью теплоту, от которой совсем дуреет, задыхается, словно от печного жара, придумывает и не может придумать самое лучшее слово:

— А тютюшеньки-тютю! А люлюшеньки-люлю! А малюшеньки-малю...

— Деда, ты что болтаешь? Я уж большая! — слышит Иван Тихонович и, отрезвляясь, опускает внучку наземь, ведет ее за руку и, не соглашаясь, твердит:

— Да какая же ты большая? Эко выдумала!.. Эко... — Но надо во всем потрафлять баловнице, для этого ж он ее ждал, встречал, не спорить же с нею, не для того же он столько терпел, все глаза проглядел, и, приостановившись, он озадачено шарит в кудрях под картузом и, как бы только что ладом разглядев внучку, поражается вслух: — И правда! И правда! Экая вымахала! Совсем девонькой стала! — А хочется-то ему запротестовать, окликнуть: «Не торопись быть большой, не спеши, не надо! Побудь в детстве, в золотой поре!» Да разве жизнь окликом остановишь? И он согласно и растерянно твердит, подводя внучку к бабушке: — Ах ты девонька ты моя!

«Девонька моя! Девонька моя!» — не знает внучка, что так дед однажды назвал ее бабушку. И не было для нее никогда более ласкового, более потаенного, самого-самого, для нее только говоримого слова, со дна души взятого, из твердой раковины, как жемчужинка, выковырнутого. И посейчас, когда плохо бабушке, когда дед с нею отваживается, успокаивает ее, просит, молит ли — не сразу и поймешь — тем единственным словом: «Не покидай меня, девонька! Как я без тебя буду?..»

Клавочка растет хорошо, развивается нормально. Чалдонского корню девчонка, дедовой и бабкиной закваски. Она делает вид, что боится матери, но слушается отца и жалеет его недетской уже, глубокой, бабьей жалостью. Клавочка любит деда и бабу, собаку Жозефиночку лупит чем попало, мажет ей нос горчицей. Один раз Клавочка уже приласкала мать туфлей, покамест мягкой, но строго предупредила: когда вырастет, будет бить ее поленом, и если она, пьянь, ничего не осознает — уйдет жить с папой к бабушке и деду.

— Ой, бабуля! — печально говорит Клавочка, увидев, как Татьяна Финогеновна вцепилась в скамейку, и глаза ее, налитые слезами любви и страдания, становятся скорбно-дикими, что у колдуна. Беззвучный крик, немая в них жалоба. — Ты опять болеешь, бабушка?

Осторожно забравшись на колени, девчушка жмет щекой к бабушкиной щеке, шарит ручонкой по выношенному жакету и гладит, успокаивает, исцеляет. Бабушка, смертно сцепив руками тугое телишко внучки, тянет ее к себе, плотнее прижимает к груди и ничего-ничего не может ни выкрикнуть, ни сказать, даже пошевелиться, застонать,

пожаловаться не может. И только глаза ее все тяжелеют и тяжелеют от горького бессилия. Зрачки застит влагою, и они, как солнышко в дождь, дробятся в текучем, переменчивом свете, укатываются за горы, за оком земли, за живую синеву, в бесцветие, в беззрачие, в безвестность...

И пока не подошли те двое, пока не омрачили сиянье вечера, не погубили счастье встречи, дедушка, глядя поверх суриком крашенного заплота на темные перевалы и что-то там, за ними, отмечая, может быть ему лишь, старому солдату, видимую небесную или какую другую твердь, жалуется внучке:

— Вот, девонька, вот, родная наша, поругай бабушку, пожури хорошеньче. Выдумывает вот... собралась нас покинуть...

Татьяна Финогеновна умерла от застарелой болезни сердца глухой зимою, и я думал, что Иван Тихонович никогда больше не выйдет вечером за ворота на скамейку, да и самое скамейку скопает, уберет, изрубит на дрова.

Но как пригрело, он появился за воротами все в том же картузе, в носках, вязанных еще самой, но уже не держал руки на груди с праздным вызовом, они болтались вроде как ненужные. Святи, сваялись в серое сырое перо знатные кудри Ивана Тихоновича, голова и ноги, бывшие как бы приставленными к коротышистой фигуре, издали напоминающей грушу дюшес, удлинились, брюшко и зад опали, обнажилась короткая шея в вялой коже, в бескровных жилах — в укрытии потому что, без свету все это росло.

— Что сделаешь? — вздохнул Иван Тихонович, когда я приехал из города, подсел к нему и, нащупав руку, прижал ее к плахе скамейки. — Кто-то должен покинуть этот свет первым... Лучше бы мне... Да жизни не прикажешь...

Однажды под настроение Иван Тихонович рассказал мне самое сокровенное: как женился на своей незабвенной Татьяне Финогеновне. И я поначалу хотел назвать рассказанную им нехитрую историю — «Как Ванька на Таньке женился». Да «заступил» Иван Тихонович за «тему», порушил мой план и бодрый, почти веселый заголовок. Рассказчик Иван Тихонович, как и многие мои земляки, путешевый, и не буду я улучшать его повествование своим вмешательством. Пусть забудется человек, вспомнит о радостном, неповторимом, что было только в его жизни и не будет уже ни в какой другой, хотя порой нам кажется, что жизнь человека, в особенности простого, везде и всюду одинаковая. А если это и так, все равно давайте приостановимся — мы уже так редко слушаем друг друга. Не вни-

кая в жизнь ближнего своего, не разучимся ли мы чувствовать чужую радость, чужое горе, боль, и, глядишь, когда нам больно сделается, никто не поможет нам, не пожалеет, не услышит нас. И не утратим ли мы насовсем то, что зовется древним добрым словом — сострадание?

«Родом я нездешний. Из села Изагаш. Нонче водохранилищем затоплено наше село. Стояло оно на приволье анисейском: заливы, мысы, бечовки, острова по реке — Казачий, Кислый, на острова выпасы, покосы, ягод море, весной да началом лета зацветут, бывало, берега, особо острова, дак чисто пироги рождественские, сдобные, зарумяненные, все в зажженных свечках — по воде плывут, крошками да искрами в бырь сорят. От Анисея в небо горы уходят одна другой выше, одна другой краше. Речки вострием перевалы кроют, горы на ломти режут: Киржач, Малый Малтат, Большой Малтат, Снежный Ключ, Неженский залив, Дербино, Тюбиль, Погромная, дале Сисим, Убей — обе речки бурные, всякой небылью-колдовством овейные, рыбой хорошей знатные, пушным и рогатым зверем богатые. Села большие стояли по берегам: Ошарово, Дербино, Даурское, Усть-Погромное, Новоселово.

Я рано осиротел и, как многие деревенские сироты, начинал свой трудовой путь с пастушества. Ну и насмотрелся на красоты наши местные, не знал, куда от них деваться, глаза бы мои на них не глядели! Осиротел я очень даже просто и почти разом. Вскоре после голодного тридцать третьего года. Отец только-только за тридцать перевалил, мать и тридцати не достигла. Зимой отца на лесозаготовках давнуло. Насмерть. Весною мать тот лес, что отец заготовлял, сплавила с сельской бригадой, всадила багор в матерое бревно — ее в запань и сдернуло. Пока из воды вытащили, помяло работницу бревнами да простудилась к тому же. Недолго маялась.

И остался я на десятом году один-одинешенек, и удумали меня сельсоветские благодетели в новоселовский детдом свезти, а тетка моя, крестная, Лелькой я ее звал, как зальется ручьем: «Не дам в приют парнишку! Вы чего затеяли, супостаты!»

Кричать-то кричала, проявляя патриотизм, но у самой четверо, и муж ее, Костинтин, — недужный, подкосили его литовкой, и нога у него сделалась навыверт, вроде кочерги. Кость в ноге болела и гнила. Он, как и положено русскому мужику, боль и горе вином глушил и до того

допился, что из колхозной шорнижкой, где постегонками занимался, шилом-дратвой вел вперед наш колхоз под названием «Первенец», не вылезал, дневал там и ночевал, детей своих родимых, кого как зовут и какое у кого обличье, не помнил, потому как видел их только исключительно по праздникам, и говорили про нас и про Лельку бойкие языки обидное: «Солдатским ребятишкам вся деревня — отец!» Папуля Костинтин похохатывал да глазом подмаргивал людям, вроде как он и ни при чем тут, воистину солдат тот находчивый во всем виноват — с походу возвращался, в Изагаш его занесло, у Сысолятиных лампа горела, вот и завернул служивый на огонек...

Стали мы жить-поживать: пятеро ребят, бабка с дедкой, Костинтины родители, Лелькина сестра-перестарка по имени Дарья, умом и красотой ушибленная, бельмом на глазу отмеченная. Худо, бедно, натужно и недружно жили, вразнопляс, как говорят по селам. Ничего нам не хватало: ни хлеба, ни картошек, ни углов, ни печи, ни полатей, ни одежды, ни обуви, только клопов, тараканов да вшей вволю. Лелька старалась изо всех сил, тянула воз так, что кости в ей брякали, жилы скрипели, — да где же бабе одной? Орава! Но нрав ее веселый, характер уживчивый, старанье и терпенье через все трудности, через недоеды и недосыпы помогали нам переваливать, пущай и с одышкой.

Да эти-то старые-то хрычи сысолятинские, Костинтина родители, шибко отяжеляли воз, поедом ели ребятишек, меня да сестру Лелькину — Дарью убогую, прямо сказать, со свету сживали, куском и углом походя корили. И вот стал я замечать за собой, что трусливый и подлый делаюсь: чуть чего — улыбаюсь всем, на всякий случай, на сберкнижку, как теперь повелось, выслуживаться норовлю, где просят и не просят, что тайком и съем — пастушонку это просто, в поле он, и по дворам отламывается жратва. Стыд вспомнить, доносы на братьев и сестер учинял, те меня, конечно, лупить, дак я на убогую Дарью бочку катить при-муся, поклепы и напраслину на нее возводил — исподличался, однако, бы совсем, да Лелька спохватилась и из деревенского подпаса в колхозные пастухи меня на заимку в бригаду шуганула. Держит наотдаль от дома и от стариков Сысолятиных, чтобы не получился из меня тюремный поднарник иль полномощная шестерка. Котел на заимке артельный, не шибко чего урвешь, народ делом занятой, сердитый, чуть чего — ухо в горсть и на солнце сушиться подымет.

Во школе я учился недолго и неважно. Костинтин из шорницкой наведалься на праздники, охватила их с Лелькой энтузиазма, они стали на трудовую вахту да и пятого человека сработали, Борьку-дебила. Ну что он дебил, Борька-то, мы узнали после, а ковды маленький, хоть дебил, хоть кто — орет, исти просит, пеленки марат — и вся грамота его тут исчерпана. Водились мы с Борькой попеременке, кто когда свободен от работы. И правду говорят, что у семи нянек дитя без глазу, у нас, считай что, более семи по штатному-то расписанию: пятеро ребят, шеста — Дарья, седьмой — старик Сысолятин, восьма — Сысолятиха, девята — Лелька, ну, эта для всех и нянька и генерал. Старуха Сысолятина с детьми не водилась, не любила их, и дети ее не любили. Боялись. Шоптоницей звали, хотя она характером была сварлива, голосу громкого, везде и всюду лезла с похабными показульками да жуткими заговорами. Била она нас походя и чем попало. Да к битью деревенской братве не привыкать — битьем ее не запугаешь, но вот шоптаньем, колдовством... И знали и понимали, что спектакль показывает наша бабушка, понарошке ужасть на нас насылает, но вот боялись в баню с ней ходить, спать на пече вместе и оставаться наедине с нею в избе, особо когда свету нет.

И не зря боялись. Шоптоница-то и устроила нам смех и грех. Звала она Борьку с подковыром — семибатешный сынок, и порешила умом своим крючковатым помочь семье — свести семибатежного со свету, да так, чтоб бога не прогневить и нас умиловать. Лелька уж больно к детям приветная, последнего, Борьку-то, ровно чуя беду, всех шибчей жалела.

Напоила Шоптоница Борьку наговорным зельем, сушеного икотника-травы натрусила, каменю зеленого, на плесневелый хлеб похожего, наскоблила — с Тибету камень алатырь странник принес, пудовку крупы на него у Сысолятихи выменял, для отравы крыс, для отворота при-сух от дому тот камень предназначался.

Борьке ни Тибет, ни Расея нипочем. Пофуркал неделю в пеленки, снова лыбится, руки к нам тянет, бу-бу-бу-бу... Шоптоница в панику. «Нечистый, говорит, в ем поселился, бес многогородной, лягушачий, не иначе...» Потом в сомнение впала, Лельку на допрос: «Признавайся, хто поработал? Может, активист заезжай? Тоды и наговор и отрава обезврежены — партеец-краснокнижник никаким чарам не подвластный и божья кара на его не распространяцца...»

Пошумела, погремела наша Шоптоница и притихла.

Когда шумела, гремела и лаялась бабушка — мы ничего, но как замолкла, затаилась — жди черной немочи.

И дождалась! Наметила Шоптоница Борьке кару еще гибельней: носила его в баню, парила венником и макала распаренного дитя в ледяную воду. За этим делом застала ее Дарья убогая, вырвала ребенка из рук и с ревом домой.

Всей семьей мы за Борькину жизнь бились: лучший кусок ему, самое теплое место на пече — ему, самую большую ложку за столом, первую ягоду в лесу, первое яичко от курочки, первое молочко от коровки, первую одежду, первую обувку — все ему, ему. Да не понадобилась обувка Борьке. Обезножил он от ваннов. На всю жизнь. Навсегда. Но спасенье его, борьба за Борькино здоровье, заботы об нем как-то незаметно сплотили наши ряды, всю из нас скверну выжали, всю нашу мелочность и злость обесценили, силы наши удвоили. И порешили мы отсоединиться от Сысолятиных. Разгородили избу пополам и зажили по присловью: в тесноте, да не в обиде. Я прилачился осенями и зимой птицу и зайцев петлями ловить. Во время пастьбы скота грибов наищу, ягод. Как артельно-то навалимся на какое дело — возом возем, что продадим на пароходы, что сами едим да малого Борьку балуем — любо-дорого, с песней, без злости валим по жизни. Бывало, зимним вечером засядут девки прясть — а у нас всех и поровну все: трое девок, трое парней — убогая Дарья хоть и с бельмом на оке, но песельница-а-а! Однако самая голосистая все ж была Лелька. И вот: теребят малые перо, постарше — прядут куделю или шерсть, половики ткут или чего вяжут. Парни обутки чинят, стружат топорница там, навильники, лопату — снег огребать, ложку-поварешку. Лелька ка-ак даст: «Темная ночь, вьюга злится, на сердце тоска и печаль, лег бы я спать, да не спится, и мысли уносятся вдаль...» И посейчас, веришь — нет, посейчас вспомню — мураши по коже!..

Те, за стеной-то, не выдержат нашей песни, согласия нашего, им любое сообщество — нож в горло, вот какие люди были! — примутся дрова рубить. В избе! Где это слыхано? Где видано?! А то в стену забарабанят. Кулаком. Аж клопы валются, тараканы врассыпную. Игнашка — старший Лелькин сын, у него уж усы-борода очернились под носом и на подбородке, хотенчик-прыщ выступил рясной брусницей, он у нас уж за мужика, раз тятя в шорницкой вверх ногами лежит, — солидно так, по-мущински: «А подь вы к тете-матере!..» Лелька ему: «Нельзя так, Игнаша. Нельзя. Какие-никакие — они тебе дедушка-бабушка...» —

«Имя малтатский волк внук!» — отрежет, бывало, Игнаша. Убили его. В первый же день войны убили. Он на действительной служил и в бой вступил на самой границе...

Вот и приблизился я к тому рубежу, который ни в какой российской судьбе, ни в какой беседе русскому человеку не миновать, — к войне. Хребет это нашей жизни, и что за тем хребтом высоким, далеким, гробовым — глазом не объять, разве что мыслей одной горькой, да и то в одиночку, ночной порой, когда раны болят и не спится, когда темень и тишь ночная кругом, душа ноет, ноет, память где-то выше дома, выше лесов, выше гор витает, тычется, тычется и, куда ни ткнется, — везде больно...

Нет моря без воды, войны без крови. Враз ополовинила война народ и нашу семью. Братья мои сродные — мешки заплечь и в поход, сестры — в поле, я — на воду, лес стране плавить. Даже убогая наша Дарья на колхозную ферму в доярки пошла. Лелька, та в бригадиры в полеводские назначена была вместо Колмогорова Капитона, партейца, изагашинского и бойца запаса. Один Борька дома. Елозит по полу, по двору да по огороду, волочит за собой так и не отросшие детские ноги, в штанину от ватных спецодежных брюк обе-две засунутые, и тоже чего-то мерекает, норовит помогать по дому, печку затопит, скотину напоит, когда и сварит чего, иной раз два раза посылит похлебку, иной раз ни разу, иной раз помоеет и очистит картоху, иной раз грязную свалит, в одное посудину, скотскую. Мы уж не ругаем его, хвалим. Сияет, дурачок, радуется и понимает ли, скорее чувствует, какую-то неладность, беду в жизни.

В сорок втором осенью был призван на позиции двадцать четвертый год. Перед тем как мне уплыть на сборный пункт в Даурск, Лелька маленькое застолье собрала, чтоб все как у путных людей... О-ох и человек была наша Лелька! Ей бы в тот приют, которым меня вечно Сысолятины стращали, воспитателем бы. Ну да она и тут столько успела добра людям сделать, что ее до се помнят наши, изагашинские, хоть и разбрелись они по белу свету.

Собрали компанью, даже старики из-за стенки пришли, и папа наш Костинтин пожаловал, все в чистых рубахах. Шоптоница в праздничном платье с каемкой, как всегда, с прибаутками: «Утка в юбке, курочка в сапожках, селезень в сережках, корова в рогоже, а я, стальть, всех дороже!» У Лельки была дочь Лилька. Я и не заметил, когда она выросла. И вот Лилька эта пристаёт и пристаёт ко мне:

кого из девок позвать да кого из девок позвать? Зови, говорю, кого хочешь — какие мне девки и какое мне до них дело? «Нет, персонально кого?» — не отстает сеструха-воструха. Я и бухни ей: «Таньку Уфимцеву. Она во школе меня все шиньгала за партой: «Не подвигайся ко мне. Не списывай. Не сопи. Не спи. Не дерьгайся. Не молчи. Не говори. Поперед батьки в пекло не сувайся!..»».

И что ты думаешь? Явилась Танька! В нарядном платьице, в белых носочках, в синей косыночке. Тогда, в сорок втором-то, народ в Сибири еще не успел совсем оголодать и обноситься. Это уж потом. Страшно и вспомнить, что было потом. Да-а, явилась Танька, Татьяна Уфимцева, и все что-то шопчется с моей сеструхой-вострухой, шопчется да прыскает, шопчется да прыскает, а глазами в меня нет-нет да и стрельнет. Глаза у ей зоркие-зоркие, от озорства или еще от чего посверкивают, и узкие, глаза-то, имя все видно, а че в их — поди угадай!

Попели, как водится, поплясали, поплакали. Я с сеструхой-вострухой и с Татьяной на берег Анисея провожаться пошел, вроде бы как кавалер. У самого сзади на штанах заплатки. Правда, еще при кудрях и одна кудря стоит рубля, а друга — тысячу! Главный это мой козырь — кудрява голова, да и та до завтрева, в Даурске забреют. Но покуль — кавалер! А раз кавалер — соответствуй! Никаких я девок никуда еще не провожал, ни с одной не знался и хоть догадываюсь, что делать надо, глаза-то имею, видел че к чему, — Игнаха на моих глазах женихался, — догадываюсь, да не смею. Даже под ручку взять ухажерку боюсь. Тут сеструха-воструха хлопнула себя по ляжке и говорит: «Чисто комары заели!» — и покуль я соображал — какие комары в октябре? — она от нас хват в гору и была такова!

Мамочки мои! Последний стражник сбег! Один на один я с девкой остался, и она одна на одну со мною. Ей, может, и привычно — женщины уфимцевского рода все какие-то занозисты, просмешливы, егозисты, на язык и на все другое боевиты: хоть на работу, хоть на учебу, хоть на любовь — ни одна, сказывала Сысолятиха Шоптоница, цельной замуж не выходила, в седьмом или осьмом колене брюхатеють до замужества...

Этот факт мне вспомнился, растревожил меня и ободрил, и, когда Танька, поигрывая глазами в щелочках, поинтересовалась: «Ну, что мы будем делать?» — я зажмурился да как ахну: «А целоваться!» Она мне: «Ишь ты какой ловкий! Сразу и целоваться! Ты сперва обращенью

научись...» — «Некогда, говорю, обращенью учиться. Утресь отправка».

Опустила Танька глаза в берег, потом присела, коленки подолом задернула, зачем-то ладшкой воду погладила, вздохнула:

— Холодный какой Анисей сделался. Еще недавно купались...

Сидим. Молчим. Нехорошо так на сердце, грустно и печально. И говорит мне Татьяна, как большая, взрослая женщина:

— Ладно, Вань, не сердчай. Когда вернешься с войны, тогда и поцелуемся...

И пошла в гору по травянистому косолобку, перед утром инеем, как лудой, вылудевшему. Напрямки пошла, без дороги. След темный, прямой, белы носочки намокли, скомкались, на сандали скатились, косыночка голуба на плечи спала, волосья и косичка от росы блестят. «Холодно же! Мокро!..— хотел я закричать.— Дорогой иди, по взвозу!..» — да не закричал, духу не хватило, горло сжало, глаза застить начало, будто кино в клубе от худого напряжения зарябило и в кино том замелькала, заметусилась девушка в нарядном платье, да и ушла от меня в дальнюю даль...

Вот какое оно, мое первое, молодое свиданье, было — рандеву грамотея-внучка это дело называет.

На войне был я на главнейшем фронте, на Первом Украинском, в Двадцать седьмой армии, в отдельной минометной роте, приданной гвардейскому пехотному полку, влитому в Двадцать седьмую армию после сражения под Курском и форсирования Днепра.

Поначалу, как водится, я был нерасторопен, мало что соображал и умел, войны по молодой глупости боялся меньше, чем потом, когда набрался опыту и понял, что к чему. А пока набрался ума-опыту, в госпитале поваялся с ранением, покуль без повреждения кости. До ранения до первого, можно сказать, боец я был никакой, мышка в земляной норке: щелкнул по носу — я нырьк в себя и притаился. Люди всякие тоже попадались, как бойцы, так и командиры. Это в кино да в постановках все храбры да умники. А были и такие, что отца-мать заложат, и не просто дураки, а дуболомы и приспособленцы. Так вот, бывало, кто какую дурь порет, а я во всю рожу рот пялю, будто брехня его мне в удовольствие.

Кровь меня образумила. Кровь и работа. У минометчиков знаешь сколько работы? Столько же, сколько у дере-

венской клячи, только ей сено дают, а минометчикам одно только: то не так и не там окопался, то не туда вдарил, то не свою кашу съел, то не туда по нужде сел.

Но раз я взялся рассказывать тебе про женитьбу, про женитьбу и поведаю, про войну нам говорить не переговарить. Тут не на одну ночь хватит, да и дня прихватим. Скажу лишь, что только там, на войне, в минометном расчете, почувствовал я себя человеком. Равноправным. Да и то не в мах костью и характером окреп, боевою кровью повязанную родню обрел и сообщу где угодно: последним в бою не был, робел, конечно, но как все, в меру. И получил ордена боевой Звезды, Отечественной войны второй степени, медали «За отвагу» и «За победу над Германией». Смертей видел — что хвои в лесу, слез — озеро, горя — реки, крови — море, но и поверженного, в кювете, без порток валяющегося, червями до оскала объеденного фашиста зрел. И не стерплю, похвастаюсь: один раз командующего фронтом, маршала Конева, видел. Издаля, правда. А вот командующего армией — как тебя сейчас. Ей-богу, не вру! Ты говоришь, командующего вблизи не видел, а я двоих видал, стало быть, я везучей тебя!..

Было это уж, считай что, в Прикарпатье, близ Западной Украины. Весной было. Ранней. Карусель содеялась такая, что ничего не поймешь: то немцы у нас в окружении, то мы у их, то и немцы и мы в окружении, в чьем — одному богу известно. Взяли один древний городок. Сдали. Опять что-то взяли, его же вроде, только уж ночью. Не узнать городишко. Побит, искрошен, весь в дыму. Опять нас в поле боя вытеснили, в село иль местечко какое. Мины на исходе. Патронов по счету. Голова кругом. А тут метель! Ми-и-ила-а-ай! Скажу кому — не поверят. В апреле на Украине трава зелена, цветки по солнцепеку пошли — и метель! Да что метель! Светопреставленья! Видно, и впрямь люди бога прогневали. Хаты до застрех занесло. С ног валит. А мы бьемся. Немец технику всю в сугробах кинул и на нас толпою. Дело дошло до того, что рубили его на огневых позициях лопатами, топорами. Я как сейчас помню: небо пояснело, на минуты прояснело, клочок появился, солнце как очумелое откуль-то в дыру вырвалось, или уж опять же всевышний его выслобонил — полюбуйте, дескать, чады мои или исчадья, что творите! А весь косогор по спуску к Орину — вот и местечка названье вспомнилось! — весь он будто в черной осетровой икре. По черному-то, по снегу белу плывущему, в упор, прямой наводкой лупят и малые и большие калибры. Гау-

бицы-полуторасотки как жажнут осколочным — сразу в черном дыра. Брызги вверх, клочья, лохмотья. И тут же дыра, будто воронка на бурной весенней реке, в пороге, закружится, завьется и сором заполнится. Людским сором! О господи! Я по сию пору как во сне это увижу, так и проснусь. А попервости вскакивал и орал. Один раз на пече спал, как подброшусь да как башкой об потолок треснул — огонь из глаз! Вот ты не смеешься, потому что на своей шкуре все такое испытал. А внучка моя да и какой иной молодец — станешь рассказывать — ржут. Имя это все вроде как комедия. Не приведи господи никому такой комедии! Я, покуль внучки не было, как-то не так все об мире и войне переживал. А теперь вот газету сквозь шерсть, радио послушаю, от телевизору не отрываюсь, когда про международную обстановку говорят, — и одна у меня дума: неужто опять? Неужто детей побьют да обездолят, и мою Клавочку тоже?..

Да-а, а немец-то тогда, что ты думаешь? Прошел! Частично, конечно, потрепанный, битый, но прошел. У нас, считай что, нечем его стало бить и нечем. Устали мы, обессилели. Упорный вояка немец, ох какой упорный! Шел фашист по руслу речки, что рассекала Оринин пополам. Летом, должно быть, тут сухой лог, но вот по весне речка вскипела. Шел слепой толпой, не выбирая пути, где бродом встречь воде, где обочиной, где по отвесным камням. Молчком шел, без выстрела, и кто падал, того уж не подымали, даже не обертывались. Мы по-над речкой лежим, считай что с пустыми автоматами и винтовками. До врага рукой подать. А он идет и идет. Иного вояку в речку уронит, водой катит. Он за каменья хватается, за кусты, но на помощь не зовет.

И вот всякой страсти я натерпелся, страху-ужасти, с ума сойти сколько испытал — не дай бог никому, но той речки, того местечка Оринина вовек не забуду. Сказывали, что середь немцев сумасшедших потом много оказалось, да и я, скажу промеж нами, уж опытный боец, а чуть умом не сдвинулся. Это тебе, парень, не кино, не постановка, это война, битва смертельная...

Назавтра после боя, когда враз все затаяло и поплыло, обозначилось такое количество убитых, что и не счесть. Как дрова, лежат люди, только в поленницы не сложенные, друг на дружке. Вот назавтра-то после боя командующий Четвертой танковой армией товарищ Лелюшенко ездил по частям. Двадцать седьмая армия в те поры вроде бы на Втором Украинском фронте двигалась, а нашу миномет-

ную часть, стало быть, товарищу Лелюшенке передали. Хорошо он вел себя, сказывали бойцы — солдат, он все про все знает, — будто бы самолет «кукурузник» стоял наготове, но командующий им не воспользовался, а вот роту охраны и танки из своего личного обережения в крутой момент кинул в бой, потому как в школе в орининской был госпиталь и лежало там множество тысяч раненых, да и вообще штабов, тыловых частей что-то многовато в Оринине оказалось. Как и кто их оборонит? Что тут правда, что тут брехня, на которую солдаты горазды не меньше бабки Сысолятихи, я тебе сказать не могу, но видел потом убитого в поле капитана — вся грудь в орденках, будто бы командир роты охраны командующего, и танки наши новые, тяжелы — тоже видел, четыре штуки — стояли без горючего и без снарядов.

Из хаты мы, помню, выскочили, выстроились. Командующий в «виллисе», за ним бронетранспортер, машины. Смотрит на нас генерал товарищ Лелюшенко и молчит. Да и что говорить-то? Смена обмундирования зимнего на летнее первого мая. Бой произошел в середине апреля, к этой поре от земляной работы, от окопов, минометов и ящиков с минами до того обносишься, изорвешься... А тут вон какая весна! Грязь, бездорожница и еще эта погибель — метель-то... Смотрит на нас товарищ генерал, головой качает, и никаких речей ни он, ни люди в кожаных, его сопровождающие, не тратят. Спросил командующий, как с харчишками, с куревом. Мы плечами пожимаем — известно как: на бабушкином аттестате.

— Скоро все будет. Скоро еду, курево, новое обмундирование подвезут. К празднику, — заверил генерал. — Даже водочки маленько выдадут. Выпьете в честь нашей победы. Соседи наши на Втором Украинском государственную границу перешли, и мы с ей рядом. И за это вам спасибо! Кухня будет, обещаю. Отстала кухня.

Тут кто-то из генеральского окружения пошутил: кухня, да санчасть, да военная лавка — оне, мол, от веку наступают сзади, отступают спереду. Наш один минометчик-грамотей в поддержку на свой лад «Теркина» вспомнил: «Пушки задом едут к бою, самовары вверх трубой!»

Генерал устало так, накоротке улыбнулся:

— Раз шутите, значит, дальше будем воевать. Только у меня просьба к вам большая, товарищи. Понимаю, устали, но помогите населению убрать и похоронить трупы. Много убитых. Весна. Тепло. Грязь. Крысы. Эпидемии не было бы.

...На исходе лета звякнуло меня еще, на этот раз в кость, и прокантовался я в госпитале осень и почти всю зиму, наших с самоварами догнал уж под Кенигсбергом. От Кенигсберга мы пошли на Берлин, но не достигли его. В пути нас застала победа. И только мы постреляли в воздух, погуляли, мне документы в зубы — и домой. Одного из части демобилизовали. Что, думаю, такое? И какой у меня дом? Где он у меня?

Письма мне приходили редко. Из Изагаша писала Лилька, ну та самая сеструха-воструха. А что в деревенском письме? Поклоны от родных да знакомых, в конце: «Живем, не помирам, чего и вам желам!» Ну, еще насчет победы — ждем, мол, со скорой победой, живым и здоровым. Среди поклонов я особо выделял глазом привет от Татьяны Уфимцевой. Понимаю, что сеструха его сама присобачивала, может, и не спросясь, а все приятно. Один раз я взял и поздравил Татьяну с Седьмым ноября. Добыл открытку-письмо с красноармейцем на наружной корке, красивым таким, чернобровым, в казацкой папахе и со знаменем в руке, на нас, окопных вояк, и отдаленно непохожим, но для письма девушке самым подходящим. Так и так, накорябал я, поздравляю землячку и труженицу тыла с праздником Великой революции и желаю доброго здоровья! Всем Уфимцевым также кланяюсь и шлю боевой привет с фронта! В ответ мне: *«Спасибо за поздравление, дорогой воин Иван Тихонович! Мы также желаем вам крепкого здоровья и победы над врагом социализма»*.

Меня это письмо в прах расшибло. Зачем же так-то? Я к ней всей душой, с намеком, а она, как в газетке про социализм — «мы», «вам», «дорогой воин»! Озлился я и не пишу боле. Все! Вырвато из сердца. Вырвато оно, конечно, вырвато, да как отоспался в госпитале, да и после госпиталя, ближе к победной весне, глаза закрою — и вот оно: по взвозу, белому от инея, девушка по траве идет, за нею след зеленый вьется, волосья в росе, косыночка на косе — вспомню и не могу. Разорвал бы я то кино! На клочки! Но лучше б по следу кинулся по зеленому, да остановил бы кино-то, да вынул бы с экрана девушку... Словом, парень, влюбился, что рожей в сажу вцепился! Одно слово — молодость! Берет она свое даже на войне, в преисподней той земной, на краю гибели, и требует соответствовать назначению твоему мушшынскому.

Получил я, стало быть, документы и к командиру батареи: что, говорю, делать, товарищ капитан? У меня ведь фактически и дома-то нет. Мне ведь фактически и ехать

некуда и не к кому. Может, мне на производстве каком осесть, профессии обучиться и вместе с остальным народом начать подъем разрушенного хозяйства? Я тогда горючку клятую мало еще пил, считай что, и не пил совсем. Капитан это знал и не поощрял в пагубном деле молодняк. Но тут налил мне товарищ капитан почти полную кружку малированную, брякнулись мы кружками безо всякого чиноразделения, по-братски брякнулись, он и говорит:

— Есть у тебя дом! Есть! И есть тебе к кому ехать. Есть что поднимать, есть кого любить и оплакивать...

Тут он лицо стиснул так вот, обоими кулаками, зубами навроде как скрипнул. Ну, думаю, разволновался товарищ капитан, развезло его, а ему вредно волноваться, он ранен не единожды и крепко контужен на реке Серет.

Обнялись мы с моим родным командиром, я всплакнул, да и он навроде как на мокрое место сдвинулся, и только потом, в долгом пути, на обратной дороге раздумался я и растревожился, поминая прощание с комбатом,— чем, думаю, такое его поведение вызвано и почему меня не со всем народом демобилизовали? Тревога меня охватила. И нетерпенье. Всякие мои мысли: задержаться на Украине или в Москве — поступить на работу и обучиться профессии, по секрету скажу — очень мне хотелось работать на метро машинистом, дак вот всякие такие мысли иссякли, и я скорей, скорей в Изагаш. А какое тогда скорей — сам знаешь. Экспрессов не было, самолеты пассажирские только маршалов да ихних адъютантов возили. Пароходы через всю Расаю и через Урал не ходят...

Но долго ли, коротко ли, все ж таки добрался я до Красноярска и на пристань бегом. Цап-царап — пароходики вверх не ходят. Грузовые суда с вешним завозом разбредлись по притокам Анисея. Рейсовый «Энгельс» ушлепал в Абакан и будет через неделю, не раньше. «Улуг-Хем» шел спецрейсом на Туву, и слух был, что на мель сел и в порогах пробил себе брюхо. Может, снарядят в рейс «Марию Ульянову», но это в том случае, если ледоходом ее в низовьях не затрет и она благополучно возвратится из Дудинки. Что делать? Где мне транспорт раздобыть? Я на мелькомбинат, на катер какой-нибудь, думаю, попаду, хоть до Знаменского скита иль до Бирюсы доберуся, а там, считай что, половину-то пути и пехом одолею. И ведь, как нарочно, как на грех, у мелькомбината тоже ни катера, ни лодки, ни корыта даже. Ах ты, елки-палки! Вот она,

родина моя, близенько, за горами, вот он, Изагаш, всего лишь в ста двадцати верстах, после тех расстояний, что я покрыл,— рукой подать!..

А-а, была не была! Войну прошел. Расею почти всю минул, до Берлина, считай что, дотопал, да еще с плитой с минометной на горбу, а тут какие-то версты!

И хватанул я, паря, через горы и перевалы. Ох, хватанул! Налегке. Спал не спал, ел не ел — худо помню. Сперва бежал, считай что, потом шел, потом уж почти полз. И один только факт за весь мой путь тот в памяти задержался — это я Бирусю достиг. Устья. В село мне переплыть не с кем. На скалу забрался. Ору — не слышат. Глядь вниз — там избенка курится. Земляная. Подле нее поле не поле, огород не огород, и лес по-чудному растет, вроде как посажен фигурами какими. Пригляделся — слово обозначает. Да еще какое! Блазнится, думаю. Довоевался. Устал. В путе спал как попало. Последние сутки перед Красноярском и вовсе из-за нервности, считай что, не спал. Моргаю, смотрю, читаю — все выходит имя великого нашего вождя, вот что выходит, брат ты мой.

...Дезертир, паря, там, в избушке-то, оказался. Самый настоящий дезертир. Я об них слышал, но воочию зреть не доводилось. Это он, рожа, всю войну прокантовался в здешних горах и лесах. Вдовушек бирюсинских навещал, они его, и ушлым манером шкуру спасал, посадкой своей патриотизму выказывал. Тогда это имя испугом действовало на иных граждан, в почтенье и трепет их вбивало.

Но я какой усталый ни был, веришь — нет, ушел из избушки. «Па-а-а-адлюка ты! — сказал я ему. — Мы за родину кровь проливали... Убил бы я тебя, да нечем». И вот ведь за буханку хлеба, за горсть колосьев бабу иль фэззушника, бывало... а дезертир дожил до амнистии, помер своей смертью. Лес тот так и остался, его затоплением не задело.

Однако ближе к делу. К Изагашу, стало быть. Попал я в его середь бела дня. Теплой летней порой. Ворота настезь. Двери сысолятинского дома открыты. У меня и сердце занялось. Ни шевельнуться, ни двинуться мне. Но осилился, иду. Тихонько в дом вошел. Спиной ко мне Лелька стоит, зеленый лук в окрошку крошит на столе. Исхудала Лелька, будто девчонка сделалась. Хотел я на косяк обпереться — ноги не держат. Сполз на порожек, еще нами, ребятишками, истюканный. Здравствуй, говорю, Лелька! Она ножик уронила, обернулась... но уже не Лель-

кою, а Лилькою обернулась, постояла, постояла да как бросится ко мне. «Братка! — кричит. — Братка ты мой родимой!..» Сцепились мы с ней, плачем, целуемся, снова плачем, снова целуемся. Тут по двору скрип раздался, и кто-то на тележке в дом катит. Да это ж Борька! Борька наш, уже мужик! И тоже плачет. Руки ко мне тянет: «Бага! Бага!» — братка, значит, братка. Упал я перед им на колени, ловлю, промазываю. Тогда он меня сам поймал, прижал к себе — ручищи крепкие!

Тут уж я ничего не помню, тут уж я, усталый с дороги, ревом зашелся. Верь не верь — пуще бабы ревел.

Вся родня сбежалась. Убогая Дарья тоже прибежала, плачет-заливается, к сердцу жмет, губами морду муслит. Она приняла к себе раненого инвалида без ног еще в сорок втором. Родила от него уж двух гренадеров. Живет своим домом и семьей. Ломит. Свой дом тянет да еще и нашим помогает. Все это успела мне сообщить Лилька.

— Боренька наш,— прибавила она,— печки выучился класть, на всю округу спец. Возят его по колхозам, глину, кирпич подают, он и кладет пусть немудрящие печки, но сноровисто так. Сысолятин-старик зимусь помер. Сама Сысолятиха на пече лежит, парализованная. Папуля наш Костинтин живой, когда к нам наведается, когда к маме,— где выпивка.

Тут бряканье от бревна кружкою началось — так бабушка наша за стеной веху давала молодежи, когда ей помощь нужна либо совет. «Ванька! — кричит бабушка Сысолятиха.— Ты пошто обнять меня не идешь? Я те родня аль не родня?!»

Бросился я к бабушке, сдернул ее с печи, закутал в одеялишко и, чисто ребенка, на руках в нашу половину перенес.

Все хорошо. Все в сборе. Про всех извещено, про всех рассказано.

— Лельки-то пошто нету? На ферме она? Иль уехала куда?

И тут все в избе смолкли, все глаза опустили, не смотрят на меня.

— Че вы? — спрашиваю.— Где Лелька-то? Не пужайте меня...

— Нету Лельки твоей... Нету мамки нашей,— тихо так молвила сеструха.

И все бедствия, все горе горькое нашей семьи тогда я и узнал, и отчего капитан наш, командир батареи, горю-

нился и зубами скрипел, известно мне сделалось только теперь.

Лелька погибла еще в сорок третьем году. Весной. Взял ее опять же, как почти и всю нашу родовую, дорогой Анисеюшко. Красив он, могуч и славен, да вода в ем для нас немилостива. Уже в ростепель ездила Лелька по вызову в районский военкомат, и попутно ей был наказ: выбить в райполхозуправлении дополнительную ссуду семян. Изагашинский колхоз «Первенец» осенью припахал клин залежной земли и брал на себя обязательство дать фронту дополнительный хлеб.

В военкомате Лельке ничего радостного сказать не могли, да в ту пору и не вызывали в военкомат за радостями. Вроде как второй сын Лельки, Серега, тяжело ранен и контужен, лежит в приволжском госпитале, установить его личность не представляется возможным — нет при нем никаких документов. Из слов он помнит только: мама, Анисей, Изагаш. Из госпиталя запрос и карточка — на опознание. И кому, как не матери, опознавать сына? Видать, не сразу и не вдруг опознала Лелька сына Серегу на карточке или долго ссуду выхлопатывала в руководящих кабинетах — и подзадержалась на несколько дней в районе. Тем временем произошла ранняя подвижка льда на Анисее. Произошла и произошла — с ним, с батюшкой, всякое бывает. Началась распара, юг края обтаял, воду погнал и пошевелил лед на реке. Пошевелил, успокоился, в ночь заморозок ударил, поземка попоршила, мокрый снежок пробрасывает, все щели, трещины забереги зеркальцем схватило, белой новиной прировняло, торосики при подвижке на стражи выдавило, лед наострило, где и на острова да на бычки вытеснило, они гребешками беленькими да синенькими там-сям прострочились. Но лед все еще матёр, и дорогу не всю еще сломало. На выносах желтеет дорога от раскисших конских шевяков. Вешки еловые обочь ее кой-где еще стоят, берег другой — вот он, рукой подать, чуть более версты. Там, на другом берегу, дом, полный немощного, в догляде нуждающегося люду, корова, куры, свинья, печь, хозяйство — и всем правит Лилька, смышленная девка, да уж шатает ее от надсады. Зинку, вторую дочь, мобилизовали на военный завод. Как в паспортный возраст вошла, так и мобилизовали. И в колхозе вестей хороших ждут не дождутся насчет семенной ссуды. Первый май надвигается, праздник как-никак и посевная, хлопот и забот полон рот.

А она, посыльная, на другом берегу, у Петруши-баканщика, у тихого бобыля в тепле и сытости прохлаждается. Правда, не без дела: перестирала ему все, печь выбелила, полы вымыла, избу обиходила и самого Петрушу подстригла, праздничный ему вид придала, рыбных пирогов и калачей настряпала. Он, Петруша, кум ее разлюбезный, возьми да полный мешок рыбы ей отвали — она и вовсе заметалась: вот бы на тот берег, вот бы ребят рыбным пирогом и ушкой покормить, в доме своем праздник встретить, да и в поле, сеять...

Анисей пустил их до середины. Петруша шел впереди с пешней, дорогу бил острием. Лелька, держась за оглоблю груженных саней, сторожо двигалась следом. За стрежью, ближе под крутой берег, лед вроде бы и вовсе нешевеленый был, дорога нигде не поломата. Лелька сказала: «Ну, слава богу, кажись, перевалили!» — и велела Петруше возвращаться назад, сама села в сани и поскорее погнала коня к родному берегу.

Ох, как плакал и каялся потом Петруша, уж лучше бы, говорит, вместе им загинуть...

Разом волной верховской воды, где-то в хакасских горах, в саянских отрогах спертой заторм, задрало и сломало лед на реке. Разом, на глазах у всей деревни поддело, подняло вверх коня в оглоблях и обрушило меж белых пластушин льда. Еще мелькнуло раз-другой на белом льду черненькое — и тут же его стерло, смахнуло, как мошку, в ледяную бездну — и нет у Лельки ни могилы, ни креста...»

Ивану Тихоновичу ничего этого не сообщали, чтоб не добивать с тылу, хватит и того, что попадало спереду. И, лишь дождавшись победы, Лилька вместе с сельсоветскими сочинили письмо на имя командира части с просьбой отпустить с позиций отвоевавшегося, выполнившего свой долг бойца, который так нужен дома. Вот отчего дблил свою головушку комбат, скрывал глаза от Ивана Заплатина, терзал лицо кулаками и не к душе пил из кружки горькую фронтovou разливуху...

Почти сутки присидел Иван на берегу присмирелого, островами зеленеющего, цветами яры и бечевки затопившего Енисея, все пытался понять: что же это такое? Ведь вон дезертир, сука, на берегу остался и поживает. Последышей всяких и фашистов столько поуцелело на войне со злом и злыми намерениями в душе, а Лелька, так много сделавшая добра и жившая только добром и опять же для добра, приняла этакую адскую смерть. Как постичь умом

этот мир и деящееся в нем осуществление? Почему козырной картой ходит и ходит смерть? Ходит и бьет, ходит и бьет... И кого бьет? В первую голову детей, женщин, молодых парней, и непременно выбирает тех, кто посветлее, посовестливее. Нет, он, Иван, не ищет справедливости. Какая уж там справедливость после того, что повидал на войне! Но понять, добраться до смысла ему так нужно, так необходимо, потому как всю бессмысленность смерти он не то чтобы осознал, но увидел ее воочию и не принял умом, не пустил в сердце. В нем все-все, что вложено в душу, заключено в теле, от волосинки и до последней кровинки, восстает, протестует и не устанет уж протестовать до конца дней против неестественной, против преждевременной смерти. Надо, чтобы человек проживал полностью свою жизнь. И человек, и птица, и зверь, и дерево, и цветок — все-все чтоб отцвело, роняло семя, и только в продолжении жизни, в свершении назначенного природой дела и срока всему существу и есть какой-то смысл. Иначе за что и зачем мучиться и жить?

Так или примерно так думал о смысле жизни Иван Заплатин, недавний боец-минометчик, дважды раненный, проливший свою кровь на войне за нее, за жизнь. Подводил итог. И наперед всего ломал голову над тем, что ему самому лично теперь делать. Как жить? Бабушка Сысолятиха на пече лежит и, как прежде, кроет всех с высоты крепким складным словом. С выраженьями. Значит, еще долго протянет. Папа Костинтин так и не осознал своего долга ни перед домом, ни перед отечеством, жил и живет свободной веселой жизнью. Зинка, сестра, как попала на завод, приобрела там денежную профессию, отхватила мужа-выселенца, сотворила с ним детей, так и вестей не подает. Никаких! Даже к праздникам открыток не шлет. Брат Сергей пишет из инвалидки письма скачущими, что блохи, буквами, намекает насчет дома: мол, скоро сапожничать сможет и нахлебником никому не сделается. От Бори и от Дарьи убогой помощи ждать не приходится. Игнахи-кормильца нету, и надежи ни на кого нету и не будет. Над всем и над всеми верховодит Лилька, и в глазах ее испуг, надсада или надежда — не поймешь. На сколько ее, той Лильки, хватит, пусть она и моторная, пусть и двухильная — в мать. А как сломается?

Пришла на берег Лилька, села рядом с братом со старшим, коленчишки свои девчоночьи, уголком подол поднявшие, обняла, подбородок на них положила, молчит, на Енисей смотрит, ресницами моргает.

И так нахлынуло на Ивана, так к сердцу подкатило, что взял да и поцеловал он Лильку в голову, в разумную девчоночью головушку, в волосы мягкие поцеловал. От волосьев чистой водой, листом березовым пахнет. И сказал брат сестре:

— Пока я, Лилька, жив буду, долги тебе платить не устану. За всех за нас, за родных твоих. И вообще...

Лилька в ответ:

— Не выдумывай, Иван. Пойдем-ка домой. Праздник ведь наступил. Троица. Мамка больше всех любила этот праздник. И нас любила. И тебя любила и ждала. И еще кто-то ждет...

— Так уж и ждет?

— Так и ждет.

«Приходим домой, там компания разлюли-малина. Бабушка Сысолятиха, к стене прислоненная, в подушках лепится. Рядом сынок ее ненаглядный, наш папуля Костинтин, в чистой рубаше, дале Борька на скамейку водворен вместе с тележкой. И Танька Уфимцева тут. Персонально. Улыбается, глазами строчит, но с лица опалая и у рта морщины. Однако косыночка при ней, на шее, и все остальное при ней. На месте.

Сели. Выпили. Гляжу, и Борька наш кэ-э-эк жажнет граненый стакан, налитый до ободка, и руку с тыльной стороны нюхает. Н-ну печник! Настоящий!

Вечером гуляли мы с моей зазновой — как ее теперь уж иначе-то назовешь? По берегу, по заветной тропочке, к Анисею да от Анисея, с суши к воде, от воды к суше. Гуляли, гуляли, гоняли ветками комаров, гоняли, я с намеком, с тонким: «А за тобой, Татьяна, должок!» Она без претензий: «Помню и не отказываюсь». Тут я ее и поцеловал. Она меня. Пробовал я ей платье мять — гвардеец же! — да не шибко мнется. Зазноба от такой приятной процедуры уклоняется, шустрый, говорит, ты стал, практику, видать, большую прошел. Я в обиду: «Кака практика? С минометной трубой, что ли?»

Миловались мы недолго да и расстались скоро. Погуляли, позоревали, пора и за дело. Хозяйством надо править, работу подыскивать. Тут явись Петруша из-за реки. Остарел, говорит, я, Иван, остарел. Помощник мне нужен. На шесте да на веслах до верхнего бакана скребусь — дух вон и кишки на телефон. В колхозишке, говорит, вам с Лилькой инвалидную свою команду не прокормить. На баканах паек хороший: рыба, орех, ягоды, охота, огород

раскорчуешь, женишься — все на старости лет и мне догляд какой-никакой будет.

Подумали мы с Лилькой, подумали, и решено было подаваться мне в баканщики. Я к Таньке — свататься. Она — в смех:

— Ишь какой скорый! Погоди маленько, погуляй, похоровьдись, к невесте хорошеньче присмотришь.

— Че это она? — спрашиваю у Лильки.

Та же хитрая, спасу нет, глаза отводит: сам, мол, думай, решай, не мне, а тебе с человеком жить и судьбу вершить. Бабушка Сысолятиха за перегородкой на пече выступает: «У парня — догадка, у девки — смысл. Бабьему посту нет хвосту. Оне, уфимцевские, отродясь мужиков по калиберу подбирали, пристреляются сперьва, после уж под венец. В седьмом или осьмом колене брюхатые в мужнин дом являются. А на прохожей дороге трава не растет. Не-эт, не расте-о-от! Че те, девок нету? Бабов нету? Лишних жэншын, по радиве сказывали, в державе нонче не то шешнадцать, не то двадцать мильенов! Любу выбирай! Коли наши не глянутя, за реку отваливай — сами в баканску будку по ягоды приплывут! Мы, бывалоча, на ягодах-то, на островах-то й-ех как ползунику собирали! В смородиннике-то чад! Сплошной чад! Целовать в уста — нету поста! Й-ех-ех-ха-ха!.. Мой-то Сысолятин лопухай был, женихаться спохватился, а тамот-ка уж слабко. Робята не дремали! Рот полорот не дёржи, Ванька, рви ягоду, покуль спела!..»

Наша бабушка коли заведется да на любовну стезю попадет — не переслушать. Поезия!

Однем словом, оказался я за рекой, у Петруши, на баканах. А там, должен я тебе сообщить, совсем не курорт, как думают мимо проплывающие товарищи-граждане. Там шесть баканов, две перевалки плюс Петрушино хозяйство, совсем запущенное, и сам Петруша в придачу — на разнарядку ходит и за поясицу держится. Впрягся я в лямку в речную и попер советский речной транспорт вверх по фарватеру. Лилька, когда вырвется из Изагаша, по бабской линии что сладит, обиходит нас, да ведь и у самой дом на плечах. Помогать я им, правда, крепко помогал: продуктами, рыбешкой, мясишком, всем, что во дворе, в лесу и на пашне добыть способно. Тем временем друг за дружкой убрались в другой мир, в леса другие бабушка Сысолятиха и Петруша-баканщик. Зато прибыл из инвалидки Серега, в командировку во временну, говорит, сам щенком смотрит, только что в ноги не тычется. Забрал я его к себе в

баканску будку — все живая душа в живом доме, да и Лильке полегче.

С ним, с Серегой, незаметно втянулись мы в хозяйство наше — он по дому, я во дворе да на реке, и это самое, от холостяцкой-то от вольности попивать начали. Ну, а где выпивка, там и женский пол. И как он к нам попадал, объяснить я тебе не сумею. И по льду попадал, и по снежным убродам, и по чистой воде, и по бурной, коренной, и со дна реки выныривал, ненароком в лесу заблудится какая, при стихийном ли бедствии, от грозы-молоньи укроется, какая — рыбки купить, какая — ягод побрать, какая просто так, на огонек на вечерний. Иная день поживет, другой — и уже пылит на развороте, кроет нас, что законная хозяйка. Серега, он все ж таки слабый был и ожениться опасался: не справлюсь, мол, со своими обязанностями и баба загуляет. Эвон оне какие, за войну-то боевые сделались, любого ротного старшину за подол заткнут. Ну а я в самом распале, в самый гон вошел, так бы вот кого и забодал! Ни день, ни ночь мне нипочем...

Лилька приплывет к нам, пошумит, поругает нас, поплачет ковды — боится, спортимся мы, избалуемся вконец, потом рукой махнет: «А-а, повеселитесь хоть вы, раз мне доли нету... Завоевали...»

В деревне, в Изагаше-то, про все наши художества, конечно, все было известно да еще и с прибавленьями. Мое положение хуже губернаторского: не вижу Таньку — сердце рвет, увижу — с души прет! Но я держу объект на прицеле и позицию не сдаю. Как по делу или в магазин поплыву в Изагаш, так мне обязательно на пути Танька встретится и обязательно я ее спрошу:

— Замуж за меня еще не надумала?

— Зачем тебе замуж, — отвечает она, — ковды нашего брата не то шестнадцать, не то двадцать мильенов лишних. Хватит вам с братцем работы еще на много годов.

— Стало быть, мое сердце в тебе, а твое — в камени.

— В камени, в камени.

— Ну смотри. Я ведь возьму да и оженюсь.

— Не женишься! Я приворот знаю, — смеется Танька и глаза свои в щелки жмурит. — Кому на ком жениться, тот для того и родится...

Ишь ты как ловко да складно! — злюсь я. Чисто Сысолятиха-бабушка валит. И про слова насчет калибера думаю. Чего-то, думаю, есть! В войну секрет, стало быть, и у ей завязался. Но куда сердце лежит, туда оно и бежит.

Лильке — кому же больше-то? — изложил я свои душевные терзания. Она пригорюнилась:

— Дурак ты набитый! Дурак и не лечишься, — качает головой. — Ну ума нету — пропили с Серегой ум-то, — дак глаза-то есть? Она же, Танька-то, больная. В войну с лесозаготовок не вылезала, надорвалась. В сорок третьем гриппом переболела — у нас год тот худой какой-то пал, косил и уродовал людей, будто потрава шла по лугу. Осложнение у нее на сердце после болезни получилось. Она обездолить тебя, оболтуса, не хочет, а ты кобелишься на виду у ей, чубом трясешь, зубы скалишь... Легко ли ей этот твой джаз слышать и видеть? Вот и сестра я тебе, а взяла бы хороший дрын да дрыном бы тебя по башке-то дурной и кучерявой, что у барана...

Вот так вот, паря, мне дали по рогам, и открылся секрет. Неладно. Нехорошо. Неправильно получилось у меня. И раньше не шибко грамотный да развитый был, а на войне совсем, видно, отупел, ожесточился. Я Лильку за бок — не базлай и не психуй, говорю, а потолкуй с Татьяной ладом, что ежели она ко мне всерьез, то и я к ней с сурьезными намерениями, с недостойным моим прошлым конечно, раз и навсегда! Р-рублю чалку! Навигация закончится, бакана сыму, с огородом управлюсь, свинью заколю, марала, а то и двух завалю, рыбы наловлю — мы и поженимся, справим свадьбу на весь Изагаш.

Мне через Лильку ответ: «Пушай он потаскушек пекорчит с братцем своим, а мы, уфимцевские бабы, ревновиты, не привыкли ни с кем ложа делить, нам мужика, как мерина в хозяйство, незаезженного подавай! И нос у него огурцом висит. Семенным. Промеж круглых щек. И шеи нету. Только и красоты что кудрява голова. Да под кудрями-то опилки. Ума и с наперсток не наберется...»

А-ах та-ак! Сталыть, нос огурцом, ума наперсток не наскрести! Ну я те покажу, сколько у меня ума! Я те покажу! Будешь ты у меня, как положено старой деве, на том свете козлов пасти. Будешь!.. Я вот поеду в Даурок осенес и учительшу с музыкальной школы высватаю либо телефонистку, да и продавщица от меня не отвернется из самого магазина «Хозтовары» — была летось проплывом, и мы по смородину на остров...

Так бы я и сделал — дураково дело не богато. Поворотил бы свою судьбу на другой ход, на другу ногу поставил, через перевалы бы ее утащил, в райцентр — в министры бы не вышел по грамотешке своей, но в завхозишки либо в замначальники снабжения какого-нибудь торгового объе-

динения или другого блатного предприятия подрулил бы, и, глядишь, препроводили бы меня бесплатно лет эдак на десять героическую дорогу Абакан — Тайшет строить.

Да не лежало мне туда пути. Бог, как говорится, не сулил. Занемог совсем Серега. Слег братан мой и уж больше не справился, не осилил фронтовых увечий. Напоследок наказал похоронить его рядом с Петрушей, поскольку оба — бобыли, постараться выдать замуж Лильку, чтоб она не загубила свою молодую жизнь из-за обормотов. Ежели самому приспееет — братъ изагашинскую, лучше всего Уфимцеву Таньку — баба надежная, хоть и с диким характером, да на нас, Сысолятиных-Заплатиных, иную и не надо. Сломам.

Закопали братана Серегу, инвалида войны, на родном на анисейском берегу, дерном травяным, под одно с Петрушиной, могилку покрыли. Отвели и девять и сорок поминальных дней — как и положено у добрых людей. Сеструха сделала мне заявленье:

— Все, Ваня! Больше не могу. Погину я тут. Погину, засохну, сдохну. Забирай к себе Борьку вместо Сереги. Я целину поеду поднимать.

И что ты, паря, думаешь? Подняла! Не сразу, конечно, не вдруг, девка с разбором, и голова у ней на плечах крепко сидит. На нефти подняла! И помог ей в этом хлопотном деле Алекса Богданович, белорус, больше центнеру весом. Я как увидел их первый раз, чуть мимо табуретки не сел! Как же, говорю, бедная Лилька, ты эдакого дредноута на плаву держишь? А она: «Копна мышь не давит». Алекса в лад ей вторит: «Зато мышь усю копну источиць!..» Во пара дак пара — гусь да гагара! Мигом троих детей изладили, голубчики, и с нефти убегли в осушенные болота Белоруссии. Я у них в гостях бывал, в отпуску. Потеха! Лилька Алексу нефтью дразнит: «Бяологи, маць их упира-маць! Поставили серець болота вышку и ждучь, когда нехць попрець! А яка нехць у болоци? Там же ж вода кругом! Я ж на болоци вырос, мяня ж не обмануць. Жруць государственную рублеуку да вино — и уся тут нехць! Но уцей, уце-эй! Вышел на одзеро, стряльнул да ружжом як повел — полюбласка уцей. Я их на вяровку уздев, пока до дзяреуни пер — плечо изувечу, месяц мядвежим салом плечо уцюпрят да вином вылячивався...»

«Гэта ж жонка враць! Гэта ж жонка враць! Да усяго надзелю и лечывсь от уцей!» — поправлял Алекса из Белоруссии Лильку из деревни Изагаш, любовно глядячи на свою сибирячку.

Но это уж когда было-то! Когда уж все кругом налаживалось, восстанавливалось после войны, жизнь входила в спокойную межень, вода в берега.

А у меня все как-то не так, все ни к селу ни к городу, и баканская служба стала мне надоедать. Папуля Костинтин вместе с Борькой, мне на мою короткую шею хомутом надетые, — тоже. Я те забыл сказать, что ко мне вместе с Борькой и папуля Костинтин пожаловал. Больны оба и вроде как в возрасте подравнялись — дети и дети малые, не понимают и понимать не хотят, что моя молодость на излете, что нянькой при них и кормильцем быть мне, считай что, ни к чему. Но ущербные люди — оне в душе все ж таки злые, хоть и прикидываются бесхарактерными. И эти, как их, эгоисты. Добра не помнят и зла навроде как знать не хотят. И что получается? Погибаю в прислугах, в работниках, середь дремучей тайги.

«Сплавлю обоих вас, забуддыг, сплавлю в город, в инвалидку». — «А бог! А совесть! А Лилька что скажет? Лилька к себе нас возьмет, в Белоруссию, вот тогда узнаешь...»

«Й-ех, мать-перемать, зеленая роща! Эх, кто виноват — жена или теща?» — хватану и я стакашек-другой вместе с тятьей да с братцем, выйду на берег, зареву на весь Анисей, чтоб в Изагаше слышно было: «Средь высоких хлебов затерялося небогатое наше село-о-о-о. Гор-ре го-о-орькое по свету шлялося и на нас невзнача-ай набрело-о-о-о...»

Шляться-то оно, конечно, шлялося, горе-то наше, да еще не набрело иль, считай что, не полностью выбрело из водяных темных пучин, но уж подобралось, уж руку протянуло, за горло взять изготовилось — Анисеюшко, родимый батюшко, караулил и не дремал, чтоб выхватить остатки из жидких уже рядов сысолятинской родовы.

Во время сенокоса поплыли папуля Костинтин с Борькой ко мне на остров, обед, что ли, сварили да вздумали порадовать косаря, выслужиться. На шивере не справились с течением, унесло их к утесу, торнуло о камень и обернуло. Лодку наши, изагашинские, поймали, привели. Давай неводить, искать тятю с братцем всем населением. Не нашли. Через неделю их самих из ямины, из камней вытащило и на косу выбросило. Воронье над косою забаламутилось и указало упокойников — нате, возьмите, боле оне родимому Анисею не нужные...

Вот так вот, парень, потихоньку да помаленьку остался я на свете один-одинешенек и узнал, что есть настоящее

горе. Уж пущай бы жили Костинтин с Борькой. Пущай бы пили, фулюганничали, только чтоб не одному в голой избушке, кругом упокойниками обступленной...

И начал я подумывать бросить баканскую службу, а то уж домохозяйкой сделался, уж моя корова бабам доить себя не дается, уж я знаю, сколько гребков до каждого бакана и толчков шестом до перевалок, уж мне рыбалка не в азарт и охота не в добычу, уж ко мне девки молоды по ягоды не плывут, все разведенки да вдовы горемышные, с которыми не столь удовольствия поимеешь, сколько горя наслушаешься, да и напьешься с него, с горя-то.

Словом, мысль моя правилась к близкому ходу — побродяжничать поманило. И стал бы я бичом отпетым — ничто меня на пути этом удержать не могло.

Однако ж легко сказка сказывается, да душа-то в берег родной вросла: поля мои, леса мои, река петлей вокруг горла обернулась, что кашне голубое. Куда я от Анисея-погубителя? Куда от последнего Лелькиного прибежища, от отца-материной недожитой жизни, от могил, от Борьки и Костинтиновой, от Сереги и Петрушиной, от тех же стариков Сысолятиных могил? Куда без этих гор высоких, без островов и бугорков, под которыми друзья-товарищи фронтовые, земляки зарыты? Кто их могилы доглядит? Кто в родительский день помянет и поплачет об их? Это уж нынешним молодым кочевникам наши привычки смешными кажутся и без надобности, но наша жизнь без родных могил — что лодка без ветрил. Да и без земли, без бархатных лесов, без синих перевалов, за которыми все что-то хорошее мерещится...

Сниться ж, заразы, станут, как по юной глупости снились на войне. Все это в карман не положишь, с собой не унесешь.

Нет, никуда мне от всего этого не деться и от Таньки нет мне хода. Она навроде и знать меня не знает, но сама из-за реки-то словно в бинокль видит не только чуб мой, но и мысли мои, за поведением моим ненормальным следит, намеренья мои изучает и наперед их разгадывает. «У кого молитва да пост, а у нашего Ваньки — бабий хвост!» — талдычила покойница бабушка Сысолятиха, и правда что в самую точку. А там Лилька в письмах ноет: *«Братка мой! Братка! Мне бы хоть одним глазком взглянуть на Анисеюшко да на горы и леса наши. Вижу их, во сне вижу. Мы в отпуск засобирались, да, пожалуй что, насовсем приедем. Алекса механиком может и болота осушать мастер»*. Совсем сеструха с памяти сдернулась!.. Какие у нас

болота? Чего осушать? Но не приехали оне, прособирались. Сперва решили детей подрастить и выучить, потом внуков поднять, да так незаметно и выросли, видать, в бело-русскую землю. А на нас надвинулись грандиозные, как в газетках пишут, события.

Наступила еще одна осень.

Флот уходил на отстой. С реки снимали обстановку. Ко мне заплыло околевшее на реке руководство из баском-реча. Заплыло и запыло. Начальство надо согреть. Закуска по ограде бегаёт, в воде плавает, в лесу растёт, дрова казенны, тепло мое. Загуляли, запели гости с хозяином: «Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступа-а-ает». А раз последний и лед скоро — надо на зиму рыбы наловить. Надо дак надо. Кто бы возражал, я не стану. Конец октября на дворе. У нас в осеннюю пору, перед ледоставом, в ближних протоках елец тучился. Стоит один к одному — камешника не видать: думу ли думает, где и как зимовать удобнее, галечку ли мелкую берет, балластом себя загружает — ко дну жаться, меньше сил чтобы израсходовать на плаву. Елец в нашей местности был, что тебе туруханская селедка,— мягок, жирен, прогонист.

В ночь бросили плавушки-сети. Проплыли одну протоку — бочонок ельца взяли, ведер на пять. «Мало,— говорят гости,— зима долгая, с харчем туговато». Мало дак мало. Бросили еще. Увлеклись. И раз тебе на одной тоне черпануло ленка, вкусной рыбки, мористым концом сети! Глаза на лоб! Лихорадка в пятки!

А погодка! А погодка! Хуже не придумать. Снежище мокрый — стеной. Кашу по воде несет. Руки отерпли, пальцами уж не владем. Лодка леденеть начала. Запасу — ладонь. «Ребята,— говорю,— надо бы домой». — «Еще одну тоню. Только одну!..» На этой тоне, на последней-то, мы и опрокинулись. Ухватились за лодку, в рыбе плюхаемся. Орем. Чую, огрузать начал, сапоги резиновые до пахов, одежда по осени, не то чтобы и очень уж тяжелая, но все ж телогрейка, дождевик, исподнее. Ну, думаю, дождался и я своего часу-череду, укараулил и меня Анисеюшко. Давно он что-то об себе не напоминал, да вот, стало быть, не забыл, терпеливый он, не торопится, ему еще таких вот дураков, как я, учить не переучить, топить не перетопить.

Ну, это я сейчас так планово мыслю, в ряд пляшу, тогда, поди-ка, и мысля скакала, и тело зыбалось, и я орал что есть мочи. И пока слышал себя, думал: «Кто блажит на

реке так противно? Так одичало?» Скоро сил на крик не стало, сипеть начал молитву о спасении — тонуть-то мне совсем неохота и сдаваться, пусть и родному Анисею, нет желания, сдаваться я никем не приучен, на фронте думы о плене или о чем таком, чтоб шкуру спасти, ни разу в башку не влезало.

Не помню, как дождевичишко с телогрейкой я стянул, сапог один спинал, другим в воде за борт опрокинутой лодки цепляюсь, чтоб сорвать и его. В тот момент мы на бакан на белый наплыли. Один из наших шасьт на крестовину. Я ему: «Нельзя! Не можно! Крестовина за лето намокла, едва фонарь держит...»

Пронесло нас. Лодка, было огрузшая под брюхами людей, тут килем вверх приподнялась. Я на лодку. Чую, булькается кто-то, хрипит: «Спасите!» Я этого связчика выдернул на киль. Боле никого не слышать. Стало быть, из четверых рыбаков осталось двое. Говорить либо кричать я уж не мог, но, лежа на брюхе, гребуся руками. Связчик, глядя на меня, тоже помогает. Коли нижний бакан был — вот-вот избушка. Около нее пароходишко остался, ближе подгребешь — скорее услышат.

С парохода и подняли нас, потом и тех двоих, наших товарищей, по реке собрали. Одного несло по стрежи, плащ у него был прорезиненный, распахнулся и не давал огрузнуть. Его прожектором осветили, думали — коряга плывет. Но речники опытные на обстановочных судах робыли, подплыть решили, посмотреть — это, значит, выпало еще пожить человеку. А вот тому, что за бакан поймался, висел на нем, воды и тины наелся, судьба не сулила боле жизни. Он был впопыхах снят с бакана, брошен на корму пароходишка. Корма железна. И пока до будки пароходчики хлопались да чалились — примерз к железу, бедолага, переохладился.

В те поры, пока пароходишко по реке кружил, горерыбаков вылавливал, нас двоих уж оттирали в избушке, грели и, как водится, от всей-то душеньки крыли на все корки. Свет я увидел уж к петухам. Раздирает, разваливает меня изнутри холодом. Тащите, показываю, за печку. Утащили. Там ведро помойное и рукомойник. Стал я на колени перед ведром... С отдыхом — сил-то нету — я то ведро до ободка нацедил. Сразу мне сделалось легче и теплее. На печку заволокли хозяина-ухаря, всем, что есть в избе, укрыли, но меня все одно качает, взбулындывает — я все еще в воде. Вот опять куда-то понесло, завертело, закачало, опрокинуло...

Очнулся оттого, что кто-то меня бьет. По морде. Да так больно! Что, думаю, такое? Зачем добавлять-то? Я и так эвон какую кару принял... Открываю глаза — Танька Уфимцева хвощет меня со щеки на щеку:

— Паразит! Паразит проклятый! Чтоб ты сдох! Ослобонил меня... — И всякое там разное бабье ругательство вперемешку с причитаньем валит.

Танька прослышала про нашу погибель и решила, что я утонул. А как переплыла и увидела, что я живой, — давай меня сперва отхаживать, потом понужать. Я ни гу-гу, не сопротивляюсь и виду не подаю, что мне больно. Танька била, била, била меня, выдохлась, глаза закатила.

— Что вот мне с ним, с вражиной, делать? Куда деваться? И на грудь мне головой упала. — Надо замуж выходить. Пропадет без меня...

Я тут снова глаза закрыл, слушаю и думаю, что ума у меня и на самом деле с наперсток — никакой я тактики не знаю, хотя и на фронте побывал. Гитлера уделал. Гвардеец... Надо было мне давно попробовать утопиться или еще какой маневр утворить.

Со мной с хворым Татьяна и осталась в баканской будке. Я нарочно недели две придурился, с печи не слезал, не пил, не ел, все на милую глядел, короче, тактику все ж таки применил — тактику одиночного бойца, находящегося в окружении: чтоб она за это время в хозяйство вошла, баканское имущество по описи на зиму приняла, к домашней ляжке прикипела, чтоб ей некуда деваться делалось. Надо соответствовать своему назначению — спасти человека, и вся тут задача. Ведь она, наша русская баба, что есть? Ей внуши, но лучше пускай она сама себе в голову вобьет, что, допустим, в казенну баню она идет не просто так, а смывать с общества грязь, обчищать его от скверны, — дак она тебе баню своротит, а уж замуж оне у нас, голубушки, сплошь не просто так идут, все с высоким смыслом — человека спасти, и в горячке патриотизма запросто могут его задушить. В объятьях!

«Коня на скаку остановит, медведя живьем обдерет!» — говаривали братья-минометчики про наших замечательных женщин. А они, минометчики, как стреляют, так и говорят — всегда в точку.

И вот достигнуто желанье! Наступил предел моей холостой жизни — разлучить нас с Татьяной теперь только заступу да сырой земле. Не так бы скоро, конечно, как вышло, да у всякого свой срок во всем назначен, не нами назначен.

Вон люди, которые ни сахар, ни соль не едят, бегом бегают по девять верст, а придет срок, кувырк — и нету...

Да-а... Скоро и понесла моя Татьяна. Все наветы покойной Сысолятихи Шоптоницы насчет нестойкости уфимцевской родовой, не в пример мне, она отмела, хоть и на лесозаготовках мыкалась середь мужичья, пусть и нестроевого, в селе Изагаш полжизни колотилась, где строгость нравов не особо соблюдалась. Шибко, ох шибко страдала и ревновала она меня к прошлому, да и к настоящему тоже, раз я такой порченный, считала, удержу на меня нету — всякий закон, стыд и бог такому моральному уроду до порогу.

На следующий год после того как свела нас судьба, средь теплого лета, в самое цветенье, как раз о ту ж пору, когда я с войны вернулся, родила Татьяна сыночка. Назвали его в честь хозяина нашего прибежища Петрушей. Просил покойник, чтоб, ежели я оженюсь, его именем первенца назвать, поскольку сам он прожил жизнь бобылем, пусть хоть в чужих детях именем своим продолжится...

Петруша родился слабеньким. При родах Татьяна едва не померла. Боле ей рожать не велели, опасно, сказали, для жизни. Но Татьяне хотелось еще девочку. И мне хотелось. Попробовала она родить девочку. Умер ребенок при родах. Татьяна серой тенью из Даурска явилась домой, за стенки держалась. «Что ты не женился на другой, — плакала она, — зачем я тебе? В деревне баба здоровая нужна...» Будто в городе баба нездоровая нужна! Городит тоже. А мне какую судьба определила или бог послал, с той и вековать, ту любить и жалеть. Полюби-ка нас вчерне, говорится в народе, а вкрасне всяк полюбит.

Природа у нас суровая, да здоровая. Оклемаюсь Татьяна. Орезвел Петруша, весельем в отца удался, ласковым в маму. Уж мы его любили. Уж мы его нежили. Да и баловали, что там скрывать. Как во школу приспела пора Петруше, мы ради него в Изагаш переехали, бакана оставили. Я в мехмастерские поступил. Татьяна на почту устроилась. Жи-ы-ыве-ем!

Тем временем покотился слух по верхнему Анисею — затоплять будут. Я газетки почитывал маленько да и радио слушал, оттуль и узнал, что повыше Красноярска строится гидростанция и что конечно же затопляться что-то будет, но до нас, поди-ка, дело не дойдет — восемьдесят, считай, верст от плотины будем, на сухе останемся.

— Да что ты, папа! — мне Петруша с гордостью. — Это

же не простая гидростанция! Самая мощная в мире! И она не восемьдесят, а все шестьсот километров захватит, может, и тысячу!

Ликует Петруша, а я думаю: эко хватил малец — шестьсот верст! Это сколько же надо земель, лесов свести и затопить, лучших земель, лучших угодий, сел, городов и леспромхозов, народу сколько с места согнать...

Ан нет, не зря малый в барабан колотил, на дуде играл-горнил, светлому от электричества будущему радовался. Замелькало в газетках, по местному радио задолдало: «Благо народа! Благо народа!» Мы, деревенские, отдаленных районов жители, давно знаем: раз так ретиво о зимовке скота заговорили, о битве за молоко, за сено, за электричество либо об образцовой торговле на селе — запасайся солью, мылом и спичками и суши сухари. До того наши местные радители договорятся, начнут сами верить в то, што говорят, в полное, значит, благо, и порешат, што все уж у нас есть, осталось только снабдить деревню морожеными ананасами, болгарским перцем, бобом, до-о-олгим, который с чем едят, мы не знаем. Догадливые снабженцы для полного комфорта ишшо хрустальные вазы по три тыщи за штуку стоимостью на нас катнут, вино из Лиссабону подвинут, либо джинс, и шорт, модный в городе, в обмен на сдачу шерсти, молока и мяса, из-за моря-окияна доставят с наклейками вот тут. Джинс же тот, што сплавшыцкая спецовка, жесткай, в Изагаше его носила покуль зав Домом культуры, как лицо интеллигентное, заезжие отпускницы и Дунька-дурочка, бухгалтерова дочь, в психиатричке выучившаяся курить, шикарны эти штаны носить и петь на всю деревню, что заграничная звезда: «Надира дам, дуб-дуб-ду, надира дам, хэлло, хэлло, все будет о'кэй».

Словом, всю продукцию доставят нам по модной менклатуре, вот про иголки-нитки, про грабли, лопаты, косы, гвозди, оконную замазку и прочий шанец — даже не подумают. Да и зачем он нам, если мы уж во благе эдаком пребиваем. На невиданной высоте людям живущим не токо мыло, спички да топоры и лопаты, имя и телогрейки ни к чему, и штаны ватные, и катанки, и карасин, железо всякое. Гони имя снаряженье для подводной охоты, говорящие куклы, стереоаппаратуру для услаждения слуху, штоб не отставали от всякой современности, штоб в ногу с городом шли. Поотставали. Хватит!

Слух слухом, а нюх нюхом. Волнуется народишко по берегам великой реки, тревожится. Переселять будет.

Точно. Уже и страховку за строения начали выплачивать, уже и ссуды на новожительство выдают, но вот поговорить с народом, объяснить ему, что к чему, — никому в голову не приходит.

Татьяна моя смолкла, соображает. Я матерюся, когда Петруши дома нету. Народ помаленьку начинает сыматься с мест, расплытаться. Татьяна в отпуск засобиралась в Красноярск, к родной своей сестре Зинке. Приезжает и говорит:

— Ваня, давай подниматься с Изагашу. Ему скоро под воду. Ты уж под водой бывал. Ничего там хорошего нету. Сам видал. Я дом сторговала в деревне, около города. Петруша десятилетку закончит, в институт ездить близенько. Он у нас, сам знаешь, какой богатырь, ему догляд нужен и питанье хорошее. При доме огород большущий.

Я как узнал, что деревня та близ гидростанции, заорал:

— Значит, на съеденье гидре! Она, значит, нас заглатывает, а мы сами, считай что, сами в пасть ей лезем!

Татьяна мне:

— И чего такого? Там народу тучи, изагашинских встречала. Не глупее оне нас с тобою.

Кто с бабой спорит, тот назьма не стоит, учила наша бывшая наставница бабушка Сысолятиха. И я спорить не стал. Переехали мы сюда. Гнилушки перетрясли, отстроились, обжились. Я сперва на гидре бетономешалкой командовал, потом, когда гидра загремела и реку перемальвать начала, на деревообделочный наш заводишко, в столярный цех механиком пошел, да там до пенсии и доработал. Фото мое с Доски почета не сходило, и сейчас, когда попросят пособить, — не отказываюсь, иду в кочегарку либо бруску пилить на дверные блоки и рамы. Таня работала опять на почте. Да недолго. По болезни на пенсию ее отправили. В огороде копалась, дом обихаживала, Петрушу в институт снаряжала. Как и многие тихие, бессловесные люди, он у нас головастый оказался, в науке хорошо преуспел, и при Политехническом институте его оставили в какой-то аспирантуре. И вот тут-то, в аспирантуре, он и попал в лапы той выдры, воровки проще. Она в их институте зав-столовой работала, ну, прикормила его, видать, или опоила чем — иначе где бы ему чего смикитить? Самому, бывало, и титьку мамкину не найти. А тут эвон какую золотую самородку откопал.

А в изагашинских местах я, паря, не бываю. После затопления раз один на рыбалку съездил — ничего не узнал, нет местности родной. Топил, топил Анисей нашего

брата, теперь самого утопили, широкой лужей сделали, хламьем, как дохлую падаль, забросали. Толстой водой покрылось речное приволье. Где было наше с Татьяной прибежище и Петруша где по яру бегал, травку пяточками мял, на бережку песок месил и домики строил из глины да лепешки стряпал — ни глазом, ни памятью я найти не мог. И бакана теперь — автоматы-мигалки старое русло реденько означают, народ другой живет, на других малородных берегах, все боле переселенец. Наши на месте не удержались, кому уж помирать пора подохла, кому сниматься сил нету, те в косогоры поднялись. На старых пашнях березники взошли, берега моет, землю рушит, камень оголяет, в ранах вся тайга и земля по Анисею; скотом и бурями берега размешаны. И пускай там другие люди живут, оне не тут родились, светлого Анисея, тем боле голубого, не видели, у меня же там — ни жить, ни стоялу воду пить нету желанья. Моя родина, мой берег и могилы родительские, Лелькина, Петрушина, Серегина, Борькина, Костинтина, стариков Сысолятиных, того горемычного товарища, что со мной рыбу имал и которого не откачали, — на дне глубоком. Тышшы могил, тышшы крестов и обелисков, за три столетия Изагаша накопившихся, — под водой. Што прах переносили со дна будущего затопленья, так то видимость одна. Нас, деревенских жителей, столь охмуряли, дак мы всякую лжу за версты многие чуем — трепачи и обманшыки пока ишшо токо подумают чихнуть, а мы уж — «будьте здоровы!». Знаем по опыту вековому: кто в мор намрется, в войну налжется, тому уж все нипочем — ни могилы, ни кресты, ни вера наша, ни земля отцова. Люди, горлом и лжой живущие, бездельники всех мастей завсегда были сорняком на крестьянском огороде, пухом осота летали над нашими головами, и хоть имя порой удавалось укорениться, загадить нашу землю, всешки хоть и уставали мы, но выдирали всякую нечисть с корнем, сдували с себя семя сорное, липучее.

Мы на земле своей, на изагашинской земле, из поколенья в поколенья жили и работали, нам ее жалко, да боязно делается, как подумаешь, что за люди без земли, без своего бережка, без покоса, без лесной деляны, без зеленой полянки, на сером бетоне вырастут. Что у их в душе поселится? Казенная стена? Какое дело они справлять станут? Кого любить? Кого жалеть? Чего помнить?»

Мы с Иваном Тихоновичем одногодки, оба фронтовики, и рассказ его не зря был доверен мне. Я чего не понял, то

почувствовал, проникшись его благодарной печалью, от чувств, нас обоих пронзивших, да, наверно, сроднивших, прочел ему любимые стихи:

Мир детства моего на дне морском исчез...
Где петухи скликались на рассвете,
Где зрела рожь, синел далекий лес,
Теперь в воде сквозят рыбацьи сети.

Ты грустным взглядом в глубину глядишь
Без горьких сожалений и обиды:
Там чудится тебе солома крыш
Уснувшей деревенской Атлантиды.

Крепчает ветер. Между черных свай
Вскипает пены белоснежной вата...
Спи, Атлантида. Спи и не всплывай.
Тому, что затонуло, нет возврата.

Иван Тихонович сидел, опершись о скамейку, не отрываясь глядел в заенисейское горное заречье, в земные пространства остановившимся взглядом. Не отпускаясь от скамейки, о плечо, об выношенную телогрейку вытер лицо — так вот на фронте во время земляной работы мы вытирали пот, чтоб не обляпать лицо грязными руками.

— Это кто же так проникся? — тихо спросил он.

— Тот самый поэт, что написал в войну для нас «Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза».

— Фамилия его какая? Запомнить хочу.

— Алексей Сурков.

— Живой еще или помер?

— Помер. Недавно.

Иван Тихонович, что-то в себе заломав, упрятав подальше, вздохнул протяжно:

— Уходят бойцы фронта боевого и трудового. Покидают земные пределы последние их колонны. И хоть не в согласии, но все ж в мире оставляем землю детям нашим. Как-то оне сберегут, сохранят такой кровью, такой мукой добытое...

Долго мы молчали, не шевелились.

— Вот скажи ты, что дадено человеку, а? — не меняя печального тона, все еще находясь в воспоминаниях, продолжал Иван Тихонович. — С одной стороны, поджигателям войны нейдет опять все порушить, передавить, изуродовать, с другой — взять, что во мне, скажем, на самом

дне лежало, песком, землей, прахом замытое, все это из тьмы кромешной, из хаоса золотишкой добыть, жизнь выветлить... Вот сколь давно живу, а постичь этого не умею. Клавочка наша... Ну ни единого у нас плясуна в родове, петь певали — голосистые были, но по танцам — что медведи. А она вон по какой линии приударила! Уж какая из нее танцовка будет — бог весть, но деда и всех людей любит — это в ней есть, это точно! Это от изагашинских корней сок в нее просочился...

В пятницу с самого утра дневалит Иван Тихонович возле ворот — ждет внучку Клавочку из города. Чует он ее, еще не увидев, узнает среди всего народу, с электрички идущего, хотя и «сяло», как он говорит, у него зрение. Внушка еще задаль машет ему рукой, будто комаров над головой разгоняет. Беленькая, стройненькая, ноги у нее — носки врозь, пятки вместе, будто у парадного, вымуштрованного солдатика, нарастопырку ходит, руки длиннопалые кренделем держит, не сутулится и ничего тяжелого не поднимает, лишку не ест, не пьет, картошки не садит, дров не носит, назьму не убирает. Да дедушка и не заставляет ее тяжелую работу делать, слава Богу, сам еще в силах.

Петруша умер, когда Клавочка училась во втором классе, мамулю загребли в тюрьму через два года после смерти мужа. Не одну, целую банду из общепита заневодили, будто табун зубатки в мутном половодье. Все золото с воря содрали, машины и дачи отняли, барахлишко в скупку свезли. Попировали! Хватит!

А время бежит, бежит. Клавочка «лебедей» для выпускного спектакля репетирует, пока еще маленьких, пока еще артельно. Как-то ударила по деревенскому радио музыка — и пошла Клавочка колена выделявать, — у деда и рот настезь — эко диво! Откуда че и берется? Стоя на месте, до уха, считай что, ногой человек достает, хоть левой, хоть правой, затылком пяток касается — во как ее по балетной науке выгибаться принудили! Сигает по избе от стены до стены, двор единым прыжком берет, огород, ежели в туалет приспичит, летом пролетает. Но недавно пожаловалась деду: на сольную партию не тянет, нет, сказали, данных у нее и опыту. Да как это нету, как это нету, когда вон чего вытворят человек! Козлом горным скачет и кости не переламывает. Блату нету, вот что. Сяла та выдра кабацкая в тюрьму не ко времени. Дала бы девке образование закончить хоре... хоре... — и с первого раза, с раскачки

берет мудреное слово дед — хо-ре-огра-фи-чес-кое, в соло бы ее вывела, в театр определила, в самую Москву — тогда бы и садись на здоровье...

А-а, да хрен с ним, с солом, продолжает размышления Иван Тихонович. На хлеб, на сахарешко и без сола добудем; для свадебной сряды иль на завитушки какие, так он ей половину пенсии отвалит, надо, дак и всю высадит, дом продаст, на картошках сидеть будет, но чтобы все у внучки, как у современных молодых людей, чтоб досыта пито-едено, чтоб хоть платье, как у той, у выдры кабацкой, вилок называется, хоть джинсы, хоть картуз с длинным козырьком, хоть туфельки на морковках, хоть магнитофон, пусть недорогой, — надо дак...

— Дедуля, здра-астуй! — доносится до Ивана Тихоновича, и на него, распластав крылья, с кожаной, словно у давнего изагашинского почтаря, сумкой через плечо, набитой всякой женской мелочью, харчишками из училищного буфета на выходной, с безделушкой, подарком дедушке, летит легкая юная внучка.

И то, что Клавочка, как в малолетстве, от торопливости ли, а дед считал — от волнения встречи, сглатывала в слове «здравствуй» буквы, ввергало деда в какое-то глупое беспамятство, когда все вроде видишь, слышишь и помнишь, но земли под ногами нету, да и сами ноги вроде как не твои.

Прижав Клавочку руками ко все еще не запавшей груди, Иван Тихонович долго не выпускает ее, будто не верит, что вот она, девонька его родимая, взяла и прилетела к нему и никуда-никуда не улетит от него.

И всякий раз при встрече с внучкой с уже отдаленным, привычным горем коротко, неслышно вздохнет Иван Тихонович: «Вот бы бабушка-то жива была! Радости-то, радости-то бы...» — это чтоб и на том свете Татьяна Финогеновна не подумала, что он всю любовь внучки присвоил себе и забыл о ней. И тут же сжимается нутром от неожиданно вернувшейся, неотвязной догадки: «И я вот тоже скоро... небось скоро... Зачем? Как же мы друг без дружки-то?..»

...Жизнь прожить — что море переплыть.

ТЕЛЬНЯШКА С ТИХОГО ОКЕАНА

Александрю Михайлову

Молодой мой друг!

Ты, наверное, выбираешь сейчас трал с рыбой, стиснутой, зажатой в его неумолимо-тугом кошеле, которая так и не поняла и никогда уж не поймет: зачем и за что ее так-то? Гуляла по вольному океану вольно, резвилась, плодилась, спасалась от хищников, питалась водяной пылью под названием планктон, и вот на тебе, загребли, смяли, рассыпали по ящикам, и еще живую, трепещущую посыпали солью...

Я все чаще и чаще на старости лет думаю о назначении нашем, иначе и проще говоря — о житухе нашей на земле, которую мы со всеми на то основаниями, для себя, назвали грешной. Грешники иначе и не могут! Сажай и дерьмом вымазанный человек непременно захочет испачкать все вокруг — таков не закон, нет, таков его, человека, норов или неизлечимый недуг, название которому — зло.

И вот думал я думал, и о тебе тоже, губящем самое неразумное, самое доверчивое из всего, что есть живого на земле и в воде, и пришел к такому простому и, поди-ка, только по моим мозгам шарахнувшему выводу: а ведь неразумные-то, с нашей точки зрения, существа, как жили тысячи лет назад, так и живут, едят траву, листья, собирают нектар с цветов и планктон в воде, дерутся и совокупляются для продления рода, в большинстве своем только раз в году. Та же рыбка прошла миллионнолетний путь, чтоб выжить, выявить вид свой, и те, кому, как говорится, не сулил Бог жизни, умирали от неизвестных нам болезней или, употребляя любимые тобой «ученые» выражения, — от катаклизмов. Они пришли к нам по суше и по воде уже вполне здоровыми, приспособленными к той среде, какую выбрали себе для своего существования.

И не нам, самодовольным гражданам земли, жующим мясо, пьющим кровь, пожирающим красивые растения, подкапывающим корни, из ружей сбивающим на лету и во время свадебного токования вольных птиц, невинных

животных, да еще и младенцев ихних, да хотя бы и ту же рыбу, не нам, губящим самих себя и свое существование поставивших под сомнение, высокомерно судить «окружение» наше за примитивную, как нам кажется, жизнь и отсутствие мысли. Одно я знаю теперь твердо: они, животные, рыбы и растения, кого мы жрем и губим с презрением за их «неразумность», — без нас просуществовали бы на земле без страха за свое будущее, а вот мы без них не сможем.

Но, быть может, ты уже со своей бригадой вытряхнул из трала добычу, равнодушно присолил ее, стаскал в трюмы и лежишь на своей коечке-качалочке, убитый сном иль перемогая нытье в пояснице и натруженных руках, думаешь о своей повести и проклинаешь меня: была ведь повесть-то одобрена в журнале «Дальний Восток», ее давно бы напечатали в Хабаровске и, знаю я, и похвалили бы за «достоверность материала», за «суровое, неприукрашенное изображение труда рыбаков», даже и прототипа одного или двух, глядишь, угадали, и в Москве переиздали бы книжку...

Звон как хорошо все началось-то! Дуй смело вторую повесть, протаривай путь к третьей, вступай в члены союза, высаживайся на берег и живи себе спокойно, пописывай, плоды и плодись. Отчего-то ваш брат с беспокойного-то места, под названием МОРЕ, мечтает о покое, а наш брат, сидящий на безмятежном берегу, все «ищет бури, как будто в бурях есть покой»?!

Значит, ты уж совсем было достиг желанного, покойного берега, и тут меня черти подсунули. Они, они, клятые. Они и горами качают, и судьбами нашими играют, мухляя нагло, как Ноздрев при сражении в шашки. Бог себе такого позволить не может, Бог — он добрый, степенный, ходит босиком по облакам, он высоко и далеко, его не видно и не слышно. А враг-искуситель всегда рядом. Я вот пошевелил босой ногой под столом, он за пятку меня хватать! «Пиши, — похихикивает, — пиши! Посеял парню смуту в сердце, расшевелил в нем творческий зуд, теперь вот еще и посоли, живого, как он только что селедку или хилую рыбешку, под названием килька, присолил...» Впрочем, килька — это не у вас, это вроде уж на Каспийском море, да и той, говорят, скоро не станет, гоняются за нею всем касрыбкилькахолодфлотом, дочерпывают — много за той махонькой рыбкой народу спасается и кормится, есть которые с отдельными катерами — для прогулок, с дачами в

гирле Волги, где лотосы цветут, с дежурной машиной у подъезда.

Да-а, а рыбка-то плавает по дну...

Ты клянeshь меня или нет? По последнему письму видно — сдерживаешься изо всех сил, чтоб печатно не облаять. А мне хоб что! Я вот за письменным столом, в теплах сижу, за окном морозное солнце светит, крошатся в стеклах лучи его, на тополе ворона от мороза нахохлилась, смотрит на меня, как древний монах, с мрачной мудростью: «Все пишешь?! Людей смущаешь? Читал бы лучше. Книг вон сколько хороших написано, да «не сделали пользы пером, дураков не убавим в России, а на умных тоску наведем». Накрошил бы лучше хлеба в кормушку синичкам, я бы его у них отняла и съела. Вот тебе и матерьял для размышлений о противоречиях мироздания...»

А пишу-то я тебе не с бухты-баракты, не для того, чтобы развеять твою скучную жизнь в пустынном океане. Ты хоть помнишь, как мы познакомились? Непременно надо вспомнить, иначе все мое письмо к тебе будет непонятным, да и ненужным.

Вот уж воистину не было бы счастья, да несчастье помогло! Погода, точнее, отсутствие таковой, заклинила движение в отдаленном восточном порту. Народу, как всегда, скопище, еда и вода кончились, нужники работают с перегрузкой и один уже вышел из строя; всякое начальство и даже милиция с глаз исчезли — такое уж свойство у нашей обслуги: как все ладно и хорошо — делать хорошее еще лучше, как плохо — улизнуть от греха подальше, все одно не поправить...

Я стоял среди унылого, истомившегося народа, опершись на «предмет симуляции» — так я называю палку с набалдашником, выданную мне еще в сорок четвертом году в арзамасском госпитале и суеверно мною берегомую, — износил уже, истерзал, разбил девять протезов, но палка все та же. От времени, от моей руки, моего тепла и пота она почернела. Вспомнился мне вот, в связи с палкой, чиновничек-международник. В Дом творчества писателей он затесался «для разнообразия», решил выдать миру книгу на международную тему. Этаким типичный пижон современности, изнывающий в нашем бедном Доме с порванным на миллиарде сукном, со скользким от растоптанной селедки полом в комнате, с убогой библиотекой и иностранному хрипящей кинопередвижкой. Пожаловал он в писательское сообщество со своим кием в чехольчике из

змеиной кожи, со «своей» девочкой из института иностранных языков, со своим коньяком и рюмкой, надетой вроде колпака на черную бутылку. Ясновельможная личность отчего-то обратила внимание на мою инвалидную палку и заключила, что она из экзотического заморского дерева. «Да-да, из дерева, арзамасского», — подтвердил я, и поскольку дитя, выросшее на ниве рабоче-крестьянского государства, не знало и не знает, где находится Арзамас, оно, красиво вскинув модно стриженную голову и многоумно закотив глаза, начало мыслить: «Постойте, постойте! Это не из Бисау ли?» — «Да-да, Арзамас как раз на правом берегу Теши, супротив этого самого Бисау располагается».

Давно собирался написать я рассказ о своей палке, да вот не о ней, о тельняшке, которую ты мне подарил, припела пора поведать миру. «О чем писать, на то не наша воля», — сказал один хороший поэт. Для нас, много литературной каши исклебавших, сказал, но не для графоманов. Те пишут запросто, хоть про Демона-искусителя, хоть про Делона-артиста, хоть про жизнь Распутина (не Валентина, слава Богу, а Григория), хоть про дореволюционную политическую ссылку, хоть про современных мещан, морально разлагающихся на дачах.

Итак, значит, я стоял, налегши на здоровую, но уже онемелую, горящую от натуги ногу, в то время когда ты мирно спал, доверчиво навалившись на плечо, как позднее выяснилось, совершенно незнакомой девушке, сронившей шапку-финку к ногам, во сне растрепанной, некрасиво открывшей рот от духоты. От моего ли взгляда, но скорее по другой причине ты проснулся, обвел мутным взглядом публику и вокзал с отпотевшими от дыхания и спертого воздуха стеклами, с волдырями капель на потолке, под которым деловито чирикали и роняли вниз серый помет ко всем и везде одинаково дружелюбные воробьи.

Ты уже хотел передернуть плечами, потянуться, молодецки расправиться, как обнаружил, что к тебе родственно приникла девушка, довольно-таки стильно одетая, осторожно отстранился, прислонил ее к стене, поднял шапку-финку, хлопнул о колено, насунул соседке почти на нос, поискал что-то глазами и сразу увидел искомое, меня, стало быть. «Посиди, дьяхан, — буркнул, — на моем месте, я в уборную схожу». Назвав тебя в благодарность племянничком, я со стоном облегчения опустился на низкую отопительную батарею, сверху прикрытую отполированной доской. Для красоты, надо понимать.

Ты вернулся, остановился против меня и долго ничего не говорил.

— Ну и как же нам быть? — буркнул наконец, глядя в сторону.

— Ведь ты моряк, братишка, я — бывший пехотинец, все мы простые советские люди, и жить, стало быть, нам надобно по-братски: ты посидел и поспал, теперь я посижу и посплю.

— Тебе ж ногу оттопчут.

— О ноге не беспокойся, новую выдадут, в казенном месте и за счет казны. У этой нонче как раз срок выходит... Ширинку бы застегнул, братишка! Не ровен час, скворец улетит, або девки у него с чириканьем крылья оторвут.

— Ой! — прихлопнул ты «скворечню» и, отвернувшись, задергал застезжку, цедея сквозь зубы: — Напридумывали эти «молнии».

В этом вот смущенном «ой!» и в том, что ты клял цивилизацию, заменившую пуговицы на механизм, было много родственного. Не раз и не два шествовал я в новомодных брюках в общественных местах с раздернутой «молнией», не один позор нравственного порядка пережил, поминая добрым тихим словом старушку-пуговицу. Бывало, пройдешься, как по баяну, — музыка, лад, и все на месте. Цивилизация, стремительно овладевая нами, не отпускает времени на привыкание к ней.

Проснулась и девица, пощупала шапку, вбила под нее волосы, еще чего-то поправила и уставилась на тебя: «Эй, моряк, ты слишком долго плавал?» — «Слишком». — «Значит, знаешь, где тут туалет?» — «Знаю. Но работает лишь мужской. Дамы бегают по клумбам и в кусты...» — «Хорошо, хоть кустарники не погибли при таком обильном увлажнении», — зевнула девушка и приказала тебе караулить место. Под задом соседки, на доске обнаружился во всю ширь раскрытый последний выпуск «Роман-газеты» с моим произведением. Ты сел на место девушки и начал неохотно листать «Роман-газету». У меня не было сил даже на ужас, что охватывает меня всякий раз, когда я вижу при мне читаемые мои шедевры. Случалось это всего раза четыре за жизнь.

Еще «в начале моего творческого пути» увидел я однажды, как читали мою книжку в электричке, и сразу со страху меня прошиб пот, объяло меня чувство казнимого старым способом еретика, под задом вроде бы затлели угли, и, чтоб их не раздуло в пламень, перешел я, от греха подальше, в другой вагон. И потом при встречах со своими

творениями бывали у меня возможности вовремя смыться. Но однажды попал так попал! В самолете сидит сбоку тетка и, как ни в чем не бывало, почитывает мою книжку. Я их, свои книжки, узнаю сразу оттого, что на обложке каждой рисуют мне художники лесину, чаще всего ель, поскольку родился я в таежном краю. По ели, значит, и ориентируюсь в книжной тайге. Из самолета не выпрыгнешь! Свободных мест нигде нету, тетка, как на грех, застая да интеллектуальная оказалась: шашь ко мне с французским изящным карандашиком: «Ой, простите, пожалуйста, автографик...» Я чего-то пытался сказать и написать шутливое, народ ближний начал озираться, перешептываться. Какие уж тут шутки! А, Боже милостивый! Недаром же до слез, до рыданий люблю я романс Гурилева «Вам не понять моей печали...», как и этого моего душевного смятения не понять никому. Моя книга в чужих руках, «на свету» кажется мне до жути глупой, неумелой, постыдной. Читали бы Толстого, Пушкина, Достоевского, Бунина... За что же меня-то?!

Но тогда, на аэровокзале, повторяю, у меня уже не было сил ни на какие эмоции. Поспал я недолго и тяжело. В вокзале еще больше скопилось народу, еще гуще сделался в нем воздух, он превратился в клей, в вазелин, в солидол или во что-то еще такое, чем смазывают железные части и механизмы, защищая их от ржавчины, от лишнего трения. И я был весь в клейком мазуте, сердце мое дергалось в горле, руки дрожали, один лишь протез, защищенный с двух сторон — портфелем и чемоданом, лежал на полу недвижно и отчужденно. Задравшиеся штаны оголили на нем две пластинки из нержавеющей стали. Я достал штанину палкой и натренированно накрыл гачей протез.

Вы оба с настороженным любопытством смотрели на меня. Я догадался, в чем дело, и, когда девушка сунула мне «Роман-газету» под нос, показывая на мою давнюю, огалстученную фотографию, спросила: «Это — вы?!» — я отстранил руку с книжкой.

— Я! Я! Не похож? Старею!

— Ну вот, а ты спорила!.. — подавленно, почти разбито выдохнул ты и вдруг резко, с одного поворота: — Сейчас я пойду! Сейчас я им скажу! Над писателем... Над инвалидом войны глумиться!..

— Да кто глумится-то? — поднимаясь, сказал я буднично. — Господь Бог? Это он нелетную погоду сотворил. И при чем тут писатель, инвалид? Все люди, все человеки,

и инвалидов на вокзале небось десятки собралось... Раз моряк, покажи-ка лучше где-нибудь воду какую-нибудь.

— Как вы так можете? Вам же тяжело...

— А кому, братишка, легко? Бывало и тяжелее... Не бери в голову, как говорят нынче.

Когда мы попили из горного ручья сладкой, голубой в пузырьках воды, умылись, отдышались и я, посмотрев на полыхающие осенним, ярким пожарищем клены, на красной лавой облитые хребты, на засиневшее за ним дальше и выше безгрешно чистое небо в кружевной прошве по краям, выдохнул: «Хорошо-то как! — и, обернувшись к тебе, сказал: — Вот как мало надо человеку для счастья!..» — ты все это тоже обвел взглядом: склоны, горы, небо и угрюмо предложил: «Я позову ту мадаму и перенесу манатки, ладно?»

Ах, какой это был день! Упоительный, правда? И хорошо, что не сразу, не вдруг ты мне признался, что пытаешься заниматься этим проклятым и самым, в моем рассуждении, захватывающим делом — литературой. Хорошо, что была девушка по имени Люда, такая потом умытая, свеженькая, рыженькая, глаза в солдатскую ложку, и как закатит их вбок — яркая, аж слепит, фарфорная бель с блеском. Лицо вытянутое, недозавершенное вроде бы, но в этой-то недозавершенности вся и прелесть, полюбишь — и завершай, воображай, дописывай, лепи — есть место для работы и уму, и сердцу. Признаюсь тебе: мне всегда такие вот, вроде бы неладные и нескладные, не вовсе, не до конца сложенные лица нравились нестандартностью своей. Круглолицые красотки со вздернутыми носиками и аленьким, пухлым ртом — мечта и вождение советского офицера да директора трикотажной фабрики — не по мне. Быть может, воображение сделало мой вкус изощренней, точнее — испорченней. Но может статья, и оттого, что до офицера я так и не дорос, остался на веки вечные чинув неблагоприятного и во все времена презренного — рядовым.

Потому и «красотки» не по чину мне, потому и выдумываю, доделываю лица, отгадываю души смятенные, тайные, порой, и чаще всего, тайные только для меня. Любовь — это творчество. Всегда творчество. Мы любим в других то, чего нет в нас, если нет этого и в других — выдумываем, внедряем, делаем людей лучше, чем они есть на самом деле. Увы, женщинам, сотворенным нами и с помощью нашей, начинает казаться, и не так уж

редко, что они и были всегда такими, совершенными, и не понимают, что любящая душа отдала ей все, что имела, опустошившись при этом и не обогатившись ответно. Обогащение души одной другою, переливание крови из сердца в сердце — редкое явление, и потому так часто и быстро истощается, иссякает энергия великого и пресветлого чувства. Говорят, хотя и старомодно, но точно: сердце ее (или его) сгорело от любви.

И вот, значит, я тогда маленько, чуть-чуть подзаянл тепла у молодого девичьего сердца, но оно так горячо и сильно, что девушка не заметила «утечки», она просто чувствовала, что нравится, и ей нравилось нравиться. Ты почему-то не влюбился в Людочку? Видно, женщины идут у тебя по морской классификации...

И я, знающий уж вроде бы пишушую братию, не вдруг догадался, отчего интерес твой возрастал не к девушке, а ко мне, и, по мере того как распогоживалось небо и все чаще и чаще гудели аэропланы над головой, делался ко мне внимательней.

Повторяю: это был чудесный день в моей жизни, день яркой дальневосточной осени, который, поверь мне, много свету повидавшему, сравнивать не с чем. Люда была весела, категорично-хозяйственна и говорлива. Ей прескучило общество учителей поселковой средней школы, все люди казались девушке значительными, содержательными, и мы тоже. Она много читала, даже что-то спела. И знаешь отчего? Да просто Людочке не с кем было поделиться тем богатством, которое она приобрела не очень-то легким трудом. Просто так ей давался лишь некий налет иронии и переутомленности интеллектом. Но на «этом уровне» сейчас работают многие молодые люди, однако она-то, самая, видать, интеллектуальная учительша в своей школе, этого не знала.

Ах ты, Боже ты мой, как, омывшись в ручье и с моего позволения оставшись в самом последнем прикрытиеи тела — закаленная, свободная, смелая! — в купальнике цвета неба с косыми белыми полосками на груди, коим надлежало изображать волну, и волна еще получалась на гибком ее теле, хорошо развитом, — как она, взобравшись на камень, из расщелины которого рос клен детсадовского возраста, обвешанный праздничными флажками, лопушистый, доверчивый, и, поглаживая его, будто родное, долгожданное дитя, вскинув руку, кричала, вот именно кричала, звонко и страстно: «Лесом мы шли по тропинке единственной в поздний и сумрачный час. Я посмотрел: запад с

дрождью таинственной. Гас. Что-то хотелось сказать на прощание — сердца не понял никто; что же сказать про его обмирание? Что? Думы ли реют, тревожно несвязные, плачет ли сердце в груди, — скоро повысыплют звезды алмазные. Жди!»

Девочка, девочка! Как она хотела в ту минуту, чтобы ее любили, чтоб нашелся кто-то, кто увидел бы, как она прекрасна, умна, целомудренна и какой восторг жизни раздирает ее грудь...

Не знаю чем, но с молодости, с бедной моей инвалидной молодости я каким-то образом вселял бесовство в девушек, всегда они при мне хотели выглядеть способными на высокое чувство и всепрощение. А ведь я ничего не делал для этого, просто внимательно слушал, смотрел на них без мужского высокомерия, иногда у меня наворачивались слезы на глаза от жалости к себе, они думали — к ним, словом, какое-то во мне «демонское стреляние» угадывали. Наверное, это и есть мой единственный талант, «тайна его», высокопарно говоря.

Но бывало и так, что бабы и девки, потерянные, грязные, запущенные, говорили, даже кричали, о том, что ненавидят меня. Я и тут их понимаю. Я многое начал понимать, мой молодой друг, а это всегда опасно. Писателю надо больше чувствовать, но понимать необязательно, его понимание равносильно убийственному: «Музыку я разъял, как труп», но людям-то не труп нужен, музыка, тайна нужна, и хорошо бы хоть немножко жутковатая.

Полагаю, что как раз вот этого — тайны или предчувствия ее — и недостает не только твоей повести, но и всем произведениям твоих сверстников, в особенности современной лирике. Вы часто пишете по поводу любовных дел, раздеваете ее, любовь-то, уподобляясь современным киношникам, которые простодушно объясняют, что убивают в кино не насовсем, страдают и любят понарошке, дома и подсолнухи нарисованы на картоне. Результат такой работы уже есть — они потеряли зрителя. Любовь, в особенности таинство ее, надо пытаться отгадывать с читателем вместе, и страдать, и болеть вместе с ним, и мучиться, но вот мучиться-то по отдельности вечной мукой, до конца не отгадавши, опять не отгадавши вечную тайну. Отравно-сладкая мука любви — самая высокая награда человеку, всегда нуждающемуся в наряде, в празднике, в украшении его жизни, деяний, мыслей, чувств, бытия его. «Нет мгновений кратких и напрасных — доверяйся сердцу и глазам. В этот час там тихо светит праз-

дник, слава Богу, неподвластный нам» — это стонет и восторгается наш современник. А вот послушай-ка древнего поэта: «И мира нет — и нет нигде врагов; страшусь — надеюсь, стыну — и пылаю, в пыли влачусь — и в небесах витаю, всем в мире чужд — и мир обнять готов. У ней в плену, неволи я не знаю; мной не хотят владеть, а гнет суров; амур не губит и не рвет оков; а жизни нет конца, и мукам — краю. Я зряч — без глаз; нем — вопли испускаю; я жажду гибели — спасти молю; себе постыл — и всех других люблю; страдаю жив, со смехом я — рыдаю; и смерть, и жизнь — с тоскою прокляты; и этому виной — о Донна, ты!» — а это исторгнуто из могучего сердца, помогучему и страдающему великим чувством более шестисот лет назад. Крестьянский сын, окопный солдат, вернувшись с фронта, я рыдал над этими строчками, ничего в них не понимая, но за что-то боясь, чем вбивал в панику любимую сестру, которая думала, что я натер протезом ногу и ноге больно.

Мне сдается, не от любви, не от жажды прекрасного: «О, Господи! Дай жгучего страданья!» — а от натертостей, от трудовых мозолей на теле в ваших сочинениях вам больнее, чем от сердечных мук, и вы их, мозоли, телесную боль чувствуете, не чувствуете, а вот именно чувствуете и цените выше каких-то там глупостей, вроде: «Бей меня, режь меня...» или: «Мне б надо вас возненавидеть, а я, безумец, вас люблю...»

А ведь все это живому сердцу нужно, как электроэнергия в квартире, как солярка дизелю, как крылья самолету. Самому тонкому, самому ранимому, самому капризному органу из всех, какие поместил в нас Господь Бог, всегда нужна движущая сила. Оно, сердце, помучит, но и научит нас понимать, что пока еще не все продается, что покупается, что счастье нищего поэта и по сей день дороже всего «злата» завмага «универсама». Не я так думаю, время так думает — самый непреклонный диктатор, и, если вы не посчитаетесь с ним, время сотрет, смеет вас и вы поодиночке остынете в коробках панельных домов, на куче злободневных книг про БАМ, тюменскую нефть и тихоокеанскую селедку. Вас никто не только не оплатит, но даже бесплатно на кладбище не свезет, родичи воспользуются вашим имуществом, юркие книголюбы разворуют вашу личную библиотеку...

Ах, как мне тогда хотелось, чтоб ты полюбовался Людочкой, порадовался ее порыву к головокружительному полету, когда женщина на все готова и никогда не сожа-

леет потом о свершенных глупостях. Но ты отчего-то сердито пластал ножом консервные банки, резал хлеб, поло-скал в ручье помидоры, огурцы, остужал поставленную в воду «злодейку», и я помню, как отмочило с бутылки наклейку, завертело, понесло куда-то слово «водка», и успел еще подумать: «Унесло бы ее, заразу, от нас куда-нибудь навсегда» — это было задолго до постановления о борьбе с алкоголизмом, поэтому не подумай, что я подлаживаюсь под злободневность.

Гуще залетали самолеты. Мы задирали головы и согласно утверждали: «Не на-а-аш!..» Как хорошо было там, возле голубого, пенистого, холодного ручья, вырывающегося из раскаленных высоких гор. Как хорошо! И водочки маленько — не помешало, и горный воздух пьянящ был от горечи увядания, и некая сомленость рас-судка. Даже я напряг свою память, и мне, старому греш-нику, тоже захотелось кого-нибудь порадовать и даже оча-ровать, я забыл про свой протез, про седины, и посейчас мне отчего-то не стыдно того глупого забвенья. «Зачем ты чаек приручаешь над белой отмелью тужить. Уйдешь, хоть в них души не чаешь, а птицам дальше надо жить. Кому оставишь на поруки, под чью заботу или власть?.. Еще так просто в злые руки им где-то за морем попасть».

Ну ладно, довольно.

Сейчас я тебе напомним, как мы прощались. Людочка вдруг присмирела, ужалась, несчастненькая сделалась и сразу подурнела, а я все повторял и повторял, как остроумный дундук на деревенской вечерке: «Людочка! Держи хвост пистолетом!» О Боже! До чего же близко лежат глупости! И много их! Берешь, берешь, потребляешь, потребляешь, они все не убывают. «Ладно, буду», — трясла головой Людочка, тайно засунув в карман моего плаща маленькую руку, «тайно», с каким-то ей лишь понятным смыслом потискающую мои пальцы. У выхода она обняла меня совсем некрепкими, совсем немускули-стыми, слабыми женскими руками и по-женски же, безза-щитно, с неизбывной бабьей печалью, молвила: «Спасибо вам, Вячеслав Степанович! Это был самый лучший день в моей жизни! Самый-самый!..» С трудом сдерживаясь, поту-пившись, я привычно съерничал: не мне, мол, Минис-терству гражданской авиации надо говорить спасибо. «Не надо, Вячеслав Степанович!» — попросила Людочка жалобно и ушла на свое место, туда, на батарею, прикры-тую полированной доской, на которой лежала моя жалкая повесть, печальнее которой в ту минуту и в самом деле для

меня не было на свете. Я презирал, ненавидел и себя, и книгу свою. И когда Людочка закрыла лицо широкими серыми, что солдатская портянка, страницами «Роман-газеты», мне захотелось броситься, выхватить, изорвать в клочья бумажное изделие.

Но ты удержал меня, указав кивком головы на последних пассажиров, выходящих из «накопителя» (слово-то, слово какое! Ей-Богу, правда, что слово есть лицо своего времени, но слова могут быть — мордой своего времени, это слово — муруло его), — и тут ты мне сунул полиэтиленовый кулек с нарисованными на нем окунями, зелеными, полосатыми, дородными окунями, какие в наших внутренних водоемах давно вывелись. Вместо них шныряют и на все клюют «вшивики», «хунвейбины», «бичи» — как их именуют нынешние рыбаки, уже в школьном возрасте «половозрелые», икряные, — сунул, значит, кулек и, отвернувшись, пробубнил: «Вячеслав Степанович, дайте слово, что не заглянете в пакет до дома».

Я дал слово. Чего ж не дать-то? Я тоже сын своего времени. Дал и тут же забыл — эго диво! И не только забыл — нарушил его. Уселся в самолет, устроился поудобней — и нарушил. Вот если б ты не брал с меня слова, мне бы и соблазна не было нарушать его. Я бы и не заглянул в тот кулек до дома, возможно, и дома, сдавши его на руки жене, не заглянул бы.

Мы долго сидели в Чите. И вот там, в Чите, я и решил отослать твой кулек обратно, со злой припиской: «В следующий раз присылай одну икру».

Идея не моя. Я упер ее. В одно парижское издательство какой-то кондитер повадился присылать свои толстенные рукописи и к ним обязательно прилагал коробку дорогих конфет. Находчивые парижские издатели написали автору, чтоб в следующий раз он присылал только конфеты.

У тебя нету конфет дорогих, и ты приложил к рукописи три баночки икры — «сами не едим, зато дарим», — говорил один дальневосточник про эту злосчастную икру, которую, когда ее было много, не покупали даже по дешевке. У меня есть любимая племянница, и я подумал, что, может быть, ей, всесторонне одаренной не только аллергией, головокружением, течью крови из носа, но и художественными способностями, захочется соленьенького, наладится у нее аппетит, и здоровье ее пойдет на поправку, да еще к рукописи была приложена тельняшка, она отчего-то меня умилила, что-то во мне стронула, растревожила, но что — я долго не мог понять.

...Ты, наверное, обратил внимание на якорь, наколотый на моей левой руке — это дань поветрию тридцатых — мы все тогда в детстве мечтали сделаться моряками, пограничниками, командирами. Чуть повыше якоря досе белеют пятна — это меня заживо жгли накаленным гвоздем, чтоб привыкал к боли и, если на войне меня, раненого, в бессознательном состоянии, возьмут в плен фашисты, терпел бы и «никого не выдал». Мы по битому стеклу ходили босиком, волосья друг у дружки выдирали, пальцы меж досок плющили, иголки патефонные ели, в ледяной воде, еще в заберегах, купались, сутками хлеба не потребляли, воду не пили, чтоб «закалиться», чтоб на случай битв с врагами стойкость и непреклонность выработать.

Смешно? Забавно? Не очень. После того как, улучшая позиции, мы наполовину России выпрямили линию фронта, потеряли технику — нашим главным и неизменным оружием была стойкость. И ей, прежде всего ей, мы обязаны Победой.

Вот так, мой молодой друг — моряк, который слишком долго плавал, а мне, несмотря на якорь, любая лужа в диковину, я и море-то увидел совсем недавно, в круизе, вокруг Европы оборачиваясь в качестве туриста. Может, встречал у Ковинько, «шо з Полтавы?»: «Одно дурнэ поехало в турнэ, вернулось из турнэ все тэ ж дурнэ!»

И вот приели мы всей родней икру, — племяннице ее есть не рекомендуется; прочел я твою рукопись вместе с десятком таких же, чисто, даже хлестко, писанных и тельняшку к себе «приносил» — я прочно прирастаю к вещам, и они ко мне тоже, но все что-то не отстаёт, тревожит меня. В длинном письме, отосланном вместе с рукописью, благодаря тебя, не за рукопись, за икру и за тельняшку, я тебе писал, что это первая тельняшка в моей жизни, но я впал в непростительную забывчивость и в черную неблагодарность — «маразм крепчал!» — как верно переиначили наши современники юмориста, «шо з Таганрога» — Антона Павловича Чехова.

Чтобы рассказывать дальше, мне придется припомнить свою биографию, совсем необременительную, а то ведь ваш брат нынче наших «биографиев» не читает, сразу заглядывает в конец книги, подсчитывает количество листов, тираж и сколько автор отхватил гонорару.

Так вот. Детство мое прошло в заполярной ссылке. Не я был в ссылке, мои деревенские родители, ну и коль у них не было моды оставлять детей в роддомах, Домах ребенка

и детдомах, то они прихватили нас, пятерых детей, с собою — в качестве обременительного багажа — более у них никакого имущества не было. Отец мой был физически здоровым, крепким мужиком, и его за все за это поставили на выкатку леса с зимней реки, проще говоря: с бригадой таких же здоровенных мужиков он выдалбливал вмерзшие в лед плоты и вывозил их на берег, к заводишке с железной трубой, где одышливая машина, соря опилками, превращала лес в доски, в брусья и шпалы. Отец не раз падал в воду, простудился, заболел цингой и умер. Мать у нас была деревенская, белая ликом и выдающаяся статью, красавица. Бог поступил с нею так же, как и со многими красивыми людьми, — наделяя их красотой, он больше ничего к этому не добавил, считая, что для человеческого счастья и безбедного существования и этого вполне достаточно, ум пригодится и некрасивым, Бог — это вам не заведующий закрытого ларька, он все делит меж чад своих по справедливости, но не по занимаемой ими должности.

Безвольная, на ногу не скорая, умом вялая и, хотя и деревенская, по дому почти ничего не умеющая, привыкшая жить за спиной родителей и мужа своего, без ума ее любившего, мама моя растерялась, упала духом, стала опускаться, гулять и даже попивать. Нас троих, младшеньких, весной усадили на пароход и отвезли в областной город, в детдом. Двое старших парней уже работали и скоро, один за другим, поступили учиться на военные курсы, затем снизошла на них милость, разрешено им было служить в армии, откуда они уже не вернулись, сделавшись кадровыми военными. Войну они встретили в чинах, правда небольших, и погибли на фронте в первых же боях.

Нас троих в детдоме почему-то разделили, наверное, не хватало мест, и я потерял из виду своих двух сестренок. Навсегда. Мать наша тем временем не раз сходилась с мужчинами, наконец «вышла замуж» и, винясь перед нами, что ли, стала искать своих детей, и нашла меня, самого младшего, и у нее хватило ума вытянуть меня из детдома. У меня хватило того же, маминого, недлинного, ума — оставить детдом и податься на зов родителей. Новых!

Устроена была моя мама в станке Карасино хорошо, в хорошем доме, точнее, в половине его, к магазину пристроенном. Муж ее, пан Стас, по происхождению поляк, работал продавцом в магазине, но именовал себя завмагом и завскладом, потому как летней порой принимал от рыбацких бригад рыбу, карасинцы под его руководством

обрабатывали ее и отправляли на городской рыбозавод. Пан Стас был сухопар, строг, подчеркнута честен, картинно, как и все поляки, патриотичен, ничего не присваивал, не воровал, да ему и воровать ничего не надо было — все находилось «под рукой», все почти «свое», даже и ребенок свой появился — моя новая и, как оказалось после, вечная сестренка Зоська. Ей шел седьмой годик. Девчонка, разодетая будто куколка, росла резвая, сытенькая, общительная, и я сразу привязался к ней, а она ко мне. Так и до сих пор. Нет уже мамы, да и пан Стас далече. Зоська же — самая родная душа — осталась со мной навсегда. Спасибо маме и пану Стасу хоть за нее.

Почему-то меня поместили спать на чердаке, среди магазинного хлама и ломи ящиков. Дали потник, подушку в серой наволочке, старое, еще в отцовской деревне стеженое одеяло, пропахшее мочой и потом. Мне, привыкшему к казенной койке, к полосатому матрацу, к постели с двумя простынями, с чистой подушкой, пусть и стружками набитой, показалось это не то чтоб обидным, но как-то вот задело меня, вроде как я скотина какая и стойло мне отдельное определено. Среди лета на чердаке начали жудить меня комары, я расчесал тело, и пан Стас запретил мне общаться с Зоськой, помогать ему на складе и в работе на рыбоделе, потому как я «есть чесоточный», и, пока не вылечусь, мажась дегтем, «до общественного труда и дзетя пущен быть не могу». Тогда я и познал, что такое быть шелудивым, усвоил смысл жестокой пословицы: «Паршивую птицу и в стае клюют».

А я ведь уже беспризорной воли хватил, детдомовщины, строптив, зол и упрям был. Чувство бросовости моей и одиночество толкнули меня на неблагоприятные «поступки» — я закурил, попробовал вина с разделочницами рыбы, расстегнул до пупа рубаху, плевал через губу, говорил по-блатному, пришепетывая, стал называть пана Стаса пренебрежительно — Стасыч, ругал его словами, у него же перенятыми: «пся крев, сакраментска потвора». Мать вообще в «упор не видел», презирал ее открыто, на всех сельдючат смотрел с вызовом, и, когда карасинские парнишки неизвестно за что и почему решили меня отлупить, я, сузив глаза до беспощадности кинжального лезвия, показал им кончик палочки из кармана, будто ручку ножа, вынутого из патронташа пана Стаса, и заявил, что если хоть одно шалавое карасинское быдло тронет меня пальцем — припорю пару сельдюков и сожгу их вшивые хавиры.

Нагнал я страху на мирное карасинское население. Ребятишки, идущие встречу мне, перебежали на другую сторону улицы, прятались за углы стоек, меня даже за молоком для Зоськи не посылали. При моем появлении матери-сельдючихи хватали своих неразумных сельдючат и по-капалушьи, героически прикрывая их юбками и телами, поскорее уносили в жилище.

Ни единой живой души в станке Карасино, кроме малой Зоськи, «за меня» не было. Особенно люто меня ненавидел, дразнил, высмеивал Мишка Еремеев. Мой неожиданный папуля — пан Стас был тому виной: тетка Мишки Еремеева, у которой воспитывался и жил Мишка, где-то и как-то потерявший родителей, «служила» в магазине уборщицей и прирабатывала на прокорм себе и детям на разделке рыбы. Рожденная от русского отца и карасинской сельдючихи, родословная которой в совсем близком колене упиралась в местных инородцев: косолапая, почти безбровая, с узенькими щелками глаз на круглом и желтом лице, с провисшим животом и жидкой грудью — где могла устоять она против пышнотелой моей мамы?! Пан Стас был разборчивый сладкоежка и как «мобилизовал» мою маму из города «до Карасино», Еремееху с должности согнал, перестал ее замечать, а у Еремеехи-то четверо своих да пятый Мишка — в придачу. Муж — обыкновенный местный рыбак в колхозной бригаде, весом килограммов сорока и росту около полутора метров. Пил, конечно, как и все здешние трудяги, «до упору» — ребятишки, случалось, неделями питались одной рыбой. Что такое есть одну рыбу, которая уж через неделю становится безвкусна, как трава, — не мне тебе, половину земного срока проболтавшегося «на рыбе», объяснять.

Мама моя хоть и была «на должности», однако никаким делом не занималась, убирали в магазине за нее сельдюшки из рыботдела, когда она ходила на сносях — обихаживали и дом, да так это в «паньстве великовельможном» и закрепилось: мама жила панной, ничего не делала, занималась лишь собой и ребенком, которого, впрочем, тоже часто смекала сбывать мне. Ходила моя мама по серому станку, среди серого народа разряженная, помолодевшая, какая-то совсем не здешняя, даже и мне незнакомая, играла на патефоне пластинки, выучила с них несколько городских песен «изячного» содержания: «наш уголок нам никогда не те-е-есе-ен, когда ты в не-ом, то в нем цветет весна, не ух-хо-о-оди-и-и...» — стала говорить: «знаици-пониаици», «но это ж же смешно-о!» или, наоборот,—

«божественно», «бесподобно», и все домогалась: «Слав! Слав! Скажи, какую книжку про культуру почитать?..»

Культурное ее развитие набирало стремительный разбег. Пан Стас научил жену пользоваться ножом и вилок, отдельными тарелками для всех, по праздничным, торжественным дням — салфетками. Мама пыжилась и сражала наповал карасинское население культурой. Водилось «паньство» только с местной интеллигенцией: председателем и бухгалтером сельсовета, учителем и учительницей, агрономом совхоза и радистом метеостанции. Среди этой своры оказался-таки человек, которого, с натяжкой правда, можно было причислить к «интеллигенции», пусть и технической,— это радист. Человек среднего возраста и для города — средних возможностей, здесь он слыл личностью почти выдающейся — владел электроприборами, радио, кинопередвижкой, кое-что почитывал, баловался музыкой — играл на мандолине, заводил патефон, не гробя пружины. Такой ошеломляющей культуры человек не мог не пользоваться восхищением и тайным расположением моей мамы. Пан Стас, в общем-то ничего, кроме шляхтского гонора и выгодной должности, не имеющий, дошел в тайной ревности до того, что однажды, во время попойки, встал из-за стола, руки по швам, вытаращил и без того круглые, выпуклые глаза и грянул, сжав кулаки: «Еще польска не сгинела!..» — аж у всех волосы поднялись, и я думал, что пан Спас когда-нибудь порешит радиста, маму мою и себя вместе с ними.

«Повсюду страсти роковые...» — даже в станке Карасино! От них никуда не деться. Народишко, обитавший в сем поселении, мелкий, ничтожный, затурканный «интеллигенцией», лебезил перед моей мамой и паном Стасом, боялся радиста, как древние греки громовержца Зевеса боялись, и выбрал для отмщения посильную жертву — меня. Мишка Еремеев, сухой телом, с тяжелым, как у взрослого мужика, лицом, скулы с кулак величиной, кисти рук жилистые. Скулы, занимавшие основное место, придавали лицу подростка уродливое, каторжное выражение. Там, на лице, было еще что-то: и глаза, голубые вроде бы, и брови, пусть и северные, почти бесцветные, и нос, да вроде бы с горбинкой, еще рот, широкий, всегда мокрый, с обкусанными до болячек губами, но помнились, резали глаз, подавляли все остальное выпуклые кости скул.

Я не то чтобы боялся Мишки, но отчего-то виноватым себя перед ним чувствовал и первым пошел с ним на сбли-

жение: скараулил возле школы, где он пас на поляне бычка и еще двух голозадых сельдючат — детишек Еремеевых, — я с детдомовским прямодушием протянул ему руку: «Держи лапу, кореш! Будем пасти скотину вместе...»

Мишка словно ждал моего этого шага, словно готовился к нему и заранее копил гнев: вскочил с травы, хватанул под мышки двух сельдючат, будто чурки дров, отнес и бросил их за школу, на обратном пути отвесил пинка бычку, да такого, что тот пошатнулся. Прикусив черную блячку и шипя ртом, ноздрями, выдохнул мне в лицо брызги пены: «Барашный в...! Панский кусошник!.. Если ты не спрыснешь со станка, я запорю тебя и мамочку твою — красотку!»

Вот тебе и сельдюк! Конечно же, все это, кроме кипевшей на Мишкиных губах пены: и гнев его, и угрозы, и слова — выглядело мальчишеством. В детдоме умели рыпаться и повывразительней, но, право слово, я впервые столкнулся с такой, уже выношенной, что ли, затверделой ненавистью.

Ну, что мне оставалось делать? Дни и ночи возиться с Зоськой. Сестра моя — человек по складу своему совсем несовременный, человек века этак девятого, времен первокрещения языческой Руси, по отсталости своей еще в младенчестве усекла, что все человечество любить ей не по силам, всех ей не охватить, и выбрала наиболее привычный слабым женщинам путь: любить и жалеть одного человека. И этим человеком оказался я. В Карасине меня дразнили: «Вава, дай ручку!» — я отбрыкивался от Зоськи, гонял ее от себя, родители наказывали ее за то, что она половинку печенинки или надкушенную конфетку таскает, таскает в кулачишке, аж пальцы склеятся. Допросят: «Зачем?» Врать дитя не умеет, и по сию пору не выучилось. «Для Вавы». В ней уже тогда выработался христианский стоицизм и большевистское упрямое стремление к истине, ко всеобщему братству, и каким-то образом не исключали они друг друга, хотя именно так, по передовой, материалистической науке, должно было неизбежно произойти.

На улице похолодало, и меня «сняли» с чердака. Каждое утро пан Стас заставлял меня чистить зубы, мыть в ушах, осматривал мои руки, придирчиво занимаясь моей личной гигиеной, гневно торжествовал, если случались по этой линии срывы и упущения, вроде как даже не решался доверить мне драгоценное «дзетя» в белых кудерьках, в

цветастом платье, в полосатых носочках и сандаликах с ремешками. Мама говорила так, чтоб слышно было строгому мужу: «Оболтус! Быдло! Зарази только ребенка царапкой, дак живо вылетишь из дому...»

Радист научил меня стрелять из ружья, и бывшая без дела двустволка пана Стаса перешла в мое полное владение. Я таскался с ружьем по близким озерам, губил уток, и они, повалявшись на ларе в кладовке и протухнув, оказывались на свалке, где их расклевывали вороны и растаскивали чайки, — не будет же мама заниматься паскудным бабьим делом — теревить и палить уток. Она валялась на кровати в шелковых чулках, шевеля губами, читала принесенную мной из библиотеки книжку «Тысяча и одна ночь», восклицала с неподдельным, восторженным изумлением: «Бож-же, что на свете деется! Ка-а-акой разврат!..»

Ребята-сельдючата прихватили меня в устье речки Карасихи, верстах в трех от станка. Я сидел возле закинутых удочек и караулил гусей — скоро, говорил радист, местный серый гусь станет делать разминки, сбиваться в табуны, «потянет» через песчаную косу, намытую речкой. Тут его можно достать выстрелом из прибрежных кустов. Гусь пока не шел, зато из заполневшей от начавшихся дождей речки, снова промывшей песчаное устье, которое как и у многих северных речек, перехватывало летами, и речка усмирялась, зарастала, превращалась во множество узких озерин — этаких теплых, кормных и удобных водоемов для утиных выводков и для сорной рыбы, вот и выметывала Карасиха в Енисей накопленное за лето добро: окуней, надменных и сытых, ожиревшего язя, ленивую сорогу — и вместе с ними катила, будто тугие мячики, выводки матерющей, на крыло встающей черняти, гоголей, серух, чирков, широконосок. Привыкшие к застойной воде, к безопасному, заглушному месту, несомые течением, жирные утки даже не греблись лапами, лишь весело крикали: «А-а, милья! Несет куда-то! Плыдем сами собой! А свету! Свету!..»

Я почти беспрестанно поднимал гнущееся от тяжести сырое удилище и волок по воде, будто жена пьяного бухгалтера, круглого, жирного, что поросенок, язя или яркоперого, воинственно ошетиленного окуня. Сразу же подвалили в устье речки на охоту щуки и таймени. Щучины, завязывая узлы, бросались на жертву, и видно было, как, схватив сорожину поперек тела, хищница неуловимыми движениями, соря чешуей, разворачивала ее на ход голо-

вой, чтоб затем через зубастый рот отправить во чрево, и смотрела на меня из глубин, точно черт на святки через оконное стекло сатанинским взглядом. Постой, погоди, дескать, и до тебя доберуся...

Таймени, те хулиганили, будто приезжие трактористы в колхозном клубе, ходили нарастопашку поверху, пластали воду красными наспинными плавниками и хлопали яркими мощными хвостами, будто пароходными красными плечами, вбивая в оцепененье и оглушая жертву, перед тем как ею овладеть и выкушать ее. Я соображал насчет того, чтоб взять у радиста крепкого провода, крупных крючков, соорудить что-то вроде жерлицы, выволочь таймешат, если повезет — и самого атамана, продать рыбу на пароходы и купить себе обувь. Пан Стас гигиену-то блюдет, руки тщательно осматривает, но вот что ботинки, выданные мне еще в детдоме, развалились — никак не заметит. Мама моя, та вообще отдалилась от дел мирских — так ее захватила художественная литература.

Таскаю я, значит, рыбешку неизвестно для чего — у пана Стаса полон рыботдел сигов, чиров, нельмы, стерляди, он по три-четыре бочки икры сдает на рыбозаводовский катер, зачем ему костлявая сорная рыба, цена которой девять копеек за килограмм — труд рыбообразельщицы дороже, соображаю насчет жерлиц, подумываю о школе — пожалуй что, придется мотать в город, хотя там такого доблестного ученика, как я, не особо и ждут, мурлычу под нос песнопение какое-то, слышу-послышу — хрустит камешник за спиной, оборачиваюсь: сзади меня целый выводок сельдюков во главе с Мишкой Еремеевым, и все вооружены дрынами.

— Ну ты, рыбак веселый! — презрительно кривя широкий, мокрый рот, сказал Мишка.— Молись! Убивать тебя будем!

— Убивать? — я скосил взгляд на ружье, обернутое дождевиком. В одном стволе ружья картечь, в другом — дробь — вроссыпь на всю артель хватит, ежели в упор, да в башку — куцые мозги сельдючьи по камням, что дрисню, разбрызжет.— А я ведь, Мишка, хотел рыбы вам отнести, чтоб не голодовали...

Отчего, почему мне пришло в голову насчет рыбы? Зачем, почему я сказал Мишке самые, как потом понял, ранящие слова. Ведь, худо-бедно, пьяница Еремеев если не деньги, не хлеб, но рыбу-то привозил с неводной тони, чиров, муксунов, нельму, стерлядь, на кой им мои ослизлые окуни, рыхлые язи и костлявые сороги?.. Но не зря же

я поболтался по свету, пожил среди самого чуткого народа — сирот. Я тут же усек, что сделал ляпу, допустил оплошность, и хотел что-то сказать, поправиться, как вдруг Мишка припадочно закатился, завизжал, забрызгал пеной и ринулся на меня, замахнувшись сырым березовым стягом.

Я отпрыгнул к дождевику, выхватил ружье и ударил дулетом впереди сельдюков, нарочно ударил по камням — картечь высекала искры из камней, с визгом разлетелась по сторонам, и я увидел с гомоном убегающих сельдючат, выдернул из патронташа два патрона, пальнул им вдогон и, снова зарядив ружье, направил его на Мишку, парализованно стоявшего со стягом на песчаном приплеске, шагах от меня в трех. Целясь меж глаз, налитых страхом и ненавистью, я сближался с жертвой и на ходу цедил сквозь зубы:

— Молись, вонючий потрох! Теперь ты молись! — и упер ему оба ствола в лоб. Мишка был крепок кишкой, но холод стали, этот самый страшный, самый смертельный холод, все же не выдержал, попятился. А я не отпускал его, переставлял ноги, уперев ружье в лоб, разом вспотевший. Бог пас Мишку и меня — не споткнулся я о камень или коряжину — спуски у ружья были слабые, пальцы мои плотно лежали на обеих скобках, малейшее неловкое движение — и я снес бы голову Мишке с тощей шеи. Я подпятил его к осине спиной и, темнея разумом от власти и силы, выдохнул:

— Ну!

И Мишка, ослабев нутром и голосом, запрокинутый на бледный ствол дерева, словно распятый на плесенной стене, прошептал:

— Слав...

— Громче! Не слышу!

— Вячеслав, прости! — почти уже спокойно, вяло произнес Мишка и, отстранив рукой стволы ружья, медленно, разбито поплелся по берегу, вдоль реки, оставляя на приплеске босые следы. Издали до меня донесло громкое выкашливание, не звук плача, нет, а живого духа, живой плоти выкашливание. И когда я читал кедринские строки: «...выкашливал легкие Горький», я знал уже, как это бывает.

Тогда на заполярном Енисее стояла предосенняя пора — самое замечательное в тех местах время, без комаров, со слабым и ласковым теплом, пространственным, почти бесконечным светом, с тишиною, какая бывает

только на севере, тоже бесконечной, тоже пространственной,— и в этом пространстве отчетливей и безутешней звучал плач раненного на всю жизнь подростка.

Дальше было неинтересно. Дальше за карасинской школой меня подкараулил пьяный Еремеев, ростом и статью с меня, мокрогубый тоже, с оборванными на грязной рубашке пуговицами, в телогрейке, блестящей на полах от рыбных возгрёй и на руках — от его и ребячьих соплей. В драную распахнутую рубашку видно ребристую грудь — такая бывает у вешних, небиходных уток, заживо съедаемых вшами, и тем не менее Еремеев хотел выглядеть мужиком-громилой, грозил мне пальцем:

— Эй ты, урка! Я те башку-то оторву!

— Че-о-о-о? — Из-за угла школы и из-за праздничной трибуны, сколоченной из неструганных досок, по углам которой ржаво краснели прибитые, полуобсыпавшиеся пихточки и елки, выглядывали раскосые ребячьи морды. Мишки среди них не было. Возле трибуны валялись объеденные еремеевским бычком елки с торчащими сучками — шильцами. И когда Еремеев, громко матерясь, бросился на меня, я схватил одну из этих елочек, отчего-то за вершинку схватил, и ударил ею по нестриженной вшивой голове. Еремеев вскрикнул «ой!», схватился за голову, поглядел на ладонь и побежал от школы, показалось мне, как-то даже радостно вопя:

— Нозом! Нозом! Он меня нозом, бандит!

Я догнал Еремеева и, заступая ему дорогу, испуганно показывал «оружие», которым его поразил:

— Я елкой, елкой! Нет у меня ножа! Нет! Сучки! Сучки! Сухие сучки!..

По шее Еремеева тонкими ниточками сочилась кровь. Отталкивая меня с дороги обеими руками, он упрямо рвался к сельсовету.

— Нозом! Нозом! Бандит! Бандит!..

Вечером пан Стас скорбно сообщил, что в сельсовете оформлено дело в суд, что отвезут меня в колонию для малолетних преступников, и мать, мама моя разлюбезная, хорошо изучившая желания и прихоти пана Стаса, в тон ему охотно подмахнула:

— Туда ему и дорога.

Ночью я подкрался к кровати Зоськи, поцеловал ее в мягкие кудерьки, в соленое от пота лицо, посмотрел на разметавшихся по деревенской жаркой кровати ненавист-

ных мне супругов, на ружье, висящее над их размягшими от сна и жары телами, на патронташ, к ремню которого была прикреплена ножна с торчащей из нее ручкой ножа, недавно мной наточенного до бритвенной остроты, и как бы между прочим подумал: «Прирезать их, что ли?..» Но в это время завозилась в кроватке Зоська, невнятно позвала: «Вава! Вава!» — все услышало, все предугадало маленькое еще, но такое чуткое, никогда мне не изменявшее сердце сестры. Всю жизнь она, словно искупая вину родителей передо мною, будет беречь меня и жалеть, да так, что страшно мне бывает порой от ее святой, даже какой-то жертвенной, любви, до суеверности страшно, и я, ожесточенный сиротством и войной, никогда не смог и уже не смогу подняться до той бескорыстной мне преданности, до того беззаветного чувства, каковым наделили Господь или природа мою сестру. Если бы провидение вложило перо в руку не мне, а ей, она создала бы, обязательно создала бы великое произведение, потому как сердце ее не знает зла, оно переполнено добром и любовью к людям — написать же, родить и вообще что-то путнее создать на земле возможно только с добром в сердце, ибо зло разрушительно и бесплодно.

Я побайкал мою малую сестренку, она почувствовала мою руку, успокоилась. Взглянув еще раз на нож и на спящих под ним родителей, я снисходительно им разрешил: «Живите!» — ушел в совхоз, где грузили сеном паузок, забрался в пахучее, свежее сено, уснул в нем и проснулся уже в городе — шкипер со шкиперихой сбрасывали с паузка сено на берег и чуть было не подняли меня на вилах, как партизаны восемьсот двенадцатого года чужеземца — мусью. «Ой, бандюга! Чуть не заporоли!..»

Ломая голову над тем, как мне теперь с помощью милиции попасть обратно в детдом, желательно бы в тот же, из которого вызволила меня моя мама, я стриганул с паузка по сходням. Шкипериха, зверея от праведного гнева, крыла меня вдогон: «И зря, и зря не заporоли! Незачем таким головорезам жить на свете! С эких пор с ножом на людей!.. Че из него будет?..»

«Че будет?» — а кто знает, «че из детей будет?» Из меня вот не самый худой солдат получился, и пусть не самый лучший, но все же семьянин и литератор. Вполне самостоятельный литератор, как утверждает критика.

В одна тысяча девятьсот сорок третьем году сестра моя Зоська приехала в Арзамас, забрала меня из госпиталя и

увезла к себе, «до Сибири». Работала она в ту пору на обувной фабрике «Спартак», жила в общежитии, в комнате на шесть девчоночьих душ, но как-то изловчилась, выхлопотала отдельную комнатку. Сестре шел семнадцатый год, была она заморена, изработана, но красива какой-то издавна дошедшей, тонкой, аристократической красотой, точнее, лишь отблеск, лишь тень какого-то древнего рода докатилась до нее, коснулась ее, и в глазах сестры такое было пространство, такая загадка времени, кою не разгадать, лишь почувствовать под силу было разве что Тициану, Боттичелли, нашему дивному Нестерову, тут еще отзвук ее нечаянной северной родины с этой предосенней тишиной и бесконечностью предосеннего света. Мне всегда было боязно за каким-то дуновением донесенную, духом ли времени и природы навеянную женскую красоту, которую Зоська не ведала, хотя и ощущала, наверное, в себе, да все ей было не до себя. Она норовила недоесть, недопить, недоспать, чтоб только накормить, обстирать, обиходить братца, не убитого на войне, ночами просыпалось, чадо — не побоюсь слова, ей-богу, святое, — поднимет голову, завертит тонкой шеей, что весенняя беспокойная синица: «Вава! Ты стонал. У тебя болит?..» — «Война мне снится, война. Спи ты. Тебе рано на работу».

Надо было и мне куда-то устраиваться, помочь сестре заработком и рабочим пайком. Тут же, на фабрике «Спартак», я сделался вахтером, самая одноному подходящая должность. От ночного безделья много я читал и на проходной фабрики «Спартак», начал сочинять стихи, которых стыжусь больше, чем первородного телесного греха.

Я шел в литературу просто, по проторенной тропе стопами, лаптями, сапогами и модными туфлями многих графоманов, с той лишь разницей, что медленнее многих, потому как на протезе. Пришкандыбал однажды в молодежную газетку со стихами, и их напечатали. За патристическое содержание. Целой подборкой. Добро, хоть догадался напечатать то убогое словесное варево под псевдонимом. Зоська разоблачила меня, раззвонила подружкам, кто скрывается под красивой фамилией — Саянский, и сделался я знаменитостью аж на всю обувную фабрику. Зоська по сию пору бережет вырезку из газеты военных лет с моими первыми стихами, как, впрочем, и весь хлам бережет пуще своего глаза — все газеты, журналы с моими творениями. Так уж повелось, что первый свой автограф на новой книге я всегда оставляю ей — моему ангелу-хранителю, и Зоська подаренные ей книги никому не дает

читать, обернула их в целлофан, выделила для них в книжном шкафу отдельную полку и в «экстазе» преданности автору написала на торце полки красной краской: «Книги моего любимого брата». Дело дошло до того, что домашний художник — племянница Вичка по подсказке матери на той же полке изобразила из фольги лавровую ветвь. Ну уж, такой славы, таких почестей я выдержать не смог, упросил убрать незаслуженные атрибуты творческой доблести, пришлось даже пригрозить, что заходить перестану, если не прекратится культ моей личности в этом доме. Сестра моя огорчилась, считая, что меня затирают, отселяют более пробивные люди, что и я, и книги мои достойны иной участи...

Да ладно, пойдем «упярод», как говорил мой второй номер у пулемета, Ероха Козлокевич, не спеша вылазить из стрелковой ниши, — всегда у него в это время находилось неотложное дело: надо было скручивать и прижигать сигарку, без которой он ни жить, ни тем более биться с врагом не мог.

Пан Стас в том же, сорок третьем году, чуть раньше моего возвращения из госпиталя, подался «до града Рязань», где формировалась армия Войска Польского. Маму мою он в Карасине оставить не решился, ее б там прикончили мстительные сельдючихи, вывез и пристроил ее уборщицей в городской магазин, определив на жительство в переселенческий барак под номером два, жилища, смахивающего на древний испанский галеон, плывущий по болоту и год от года все глубже погружающийся в оттаивающие от человеческих тел болотные хляби.

Мама моя ныла в письмах, просила не бросать ее, называла нас с Зоськой «любимыми детками». Но Зоська отчего-то не спешила вызволять маму с севера, я тем более — мы едва-едва справлялись со своей жизнью и не пропали с голоду только потому, что на Покровской горе у нас был картофельный участок. Мама, не глядя на мою инвалидность и на Зоськино малолетство, не постеснялась бы сесть нам на шею и сделаться нахлебником, еще и «болеть» примется — привычное ее занятие; да и жилье наше — комната в десять метров с кирпичной плитой об одну дырку, с двумя топчанами да дощатым столиком меж них — не располагала к расширению «жилого контингента».

Ну, а жизнь шла, двигалась «упярод». Кончилась война. Зоське повысили разряд, я пересел с вахтерской

скамейки на редакционный, задами расшатанный стул, сделался «литрабом» в отделе культуры молодежной газеты. Вскорости в Зоську влюбился молодой инженер, по фамилии Рубщиков, по имени Роман. Но хоть сам-то он Роман и ещё Рубщиков, да Зоська никакого с ним романа иметь не хотела. «Вава! — рыдала она. — Ты для чего хочешь прѳгнать меня до постороннего мужчины? Чьто я тебе плохого сделала?» Зоська, когда волнуется или радуется, малость прихватывает польского акцента — от папы Стаса это ей единственное наследство досталось, да и я вечно ее высмеиваю и дразню. Но тогда уж без всякого дурачества орал: «Дубина стоеросовая! Ты что, век меня пасти собираешься? Как божью овцу?..»

С грехом пополам изладил я все же первый, настоящий в жизни роман — вытолкнул сестру замуж. Шурин за этот самоотверженный поступок возлюбил меня еще больше, чем сестру, и живем мы с ним ладно, пожалуй что, как братья — старший и младший.

Но вот пришла пора и мне определяться. Я женился на молодой, «подающей надежды» журналистке, по имени Анюта, балующейся стихами. Тут семья складывалась со многими спотычками: Зоська привыкла опекать меня, направлять, оберегать, поить, кормить, за руку водить, как я ее когда-то маленькую водил, и с обязанностями своими расставаться не собиралась. Ох, дурная баба! Откуда бы я ни возвращался: с севера, с юга, из столицы, из зарубежной ли поездки, — в любое время дня и ночи, в любую погоду торчит на перроне с цветочком в руке. На сносях была — и то явилась. Я и ругал ее, и побить сулился, она свое: «Вава! Разве тебе неприятно, когда встречают?» Да приятно, приятно, даже более чем приятно, еще самолет катится по полосе или поезд подходит к перрону, я уж отыскиваю глазами мою сестру-красавицу, увижу — и сразу камень с души: «Слава богу, Зоська здесь, значит, все в порядке».

Анюта ревновала меня к сестре до истерик, до хворей, вгорячах даже ногой топнула: «Я или она?!». Но тут со мной сладить невозможно, тут я тоже характер проявил: «И ты, и она!» — сказал. Надолго растянулась семейная наша история. Жена моя чуть не в шею выталкивала Зоську из нашего дома, та, гляди, уж звонит: «Вава, скажи Анюте, чьто я заняла на нее очередь за яйцами». Но допекла ее все-таки моя женушка, допекла. «Анюта, — плакала Зоська, — ты для чего хочешь разлучить меня с братом? Ты хочешь лишить нас жизни?»

...«Моего мужа две женщины на руках носят, потому как у него протез», — шутит над нами моя жена, как ей кажется — остроумно шутит. Сама себе подарившая право думать, что она была бы выдающимся поэтом, не сгуби я ее талант, меня она высмеивала, книжки мои, особенно первые, изданные в провинции, высокомерно отвергала, но от гонорара, пусть и жидкого, никогда не отказывалась. Я со своей в себе неуверенностью, с горького полусиротства, придавленный комплексом неполноценности, пытался даже бросить заниматься литературой, но не смог. Было у сестры уже дитя, да и не очень здоровое, когда Анюта дошла до крайности, жестоко оскорбила Зоську, при Романе бросила грязный намек насчет меня и сестры. Мужик оказался не короткой памяти и сказал, что ноги его в нашем доме больше не будет.

Насмотревшись на романы, проистекавшие на факультете журналистики в Свердловском университете, да и на вечные редакционные семейные бури, романтические увлечения, спасения «местных гениев» личными жертвами, не раз заканчивавшиеся роковым образом, Анюта моя не то чтобы не верила в человеческую добропорядочность, она по-здоровому сомневалась в них. Примеров и материала для сомнений было не занимать. Доморощенный гений, по имени Артур, с детсадовского возраста пишущий стихи, сводивший с ума сперва маму, затем и папу, довел нашу самоотверженную машинистку Лялю до того, что она выпила целый флакон уксуса, сожгла себе кишечник, печень, испортила почки — на всю жизнь осталась инвалидом. Пока разбирались с тихой Лялей, спасали ее, бегали, ахали да возмущались, поборница независимости женской личности практикантка Анюта угодила на операцию под уклончиво-обтекаемым названием «прерывание беременности», после чего в ее суждениях сразу поубавилось категоричности, а в газетных заметках пафосу. Местный гений Артур все порхал и порхал по редакционным коридорам, одаривая человечество стихами в защиту угнетенных народов, городьбой трескучих строчек огораживал детей от атомной войны и поголовной гибели, приветствовал и поздравлял цветистыми фразами женщин с началом весны в Международный женский день, разящими куплетами боролся с пагубным влиянием алкоголизма, делал, правда, все это уже по многотиражкам, районкам и спецброшюркам, в областные газеты и в альманах, выше которых ему так ни разу выпрыгнуть и не довелось, его больше не пускали.

Вот тогда-то, во дни горестных страданий и редакционных бурь, борясь с оголтелым гением, проникшись жалостью к его невинным жертвам, я, как ответсекретарь редакции и член областного комитета комсомола, пусть и шибко «в девках засидевшийся», взялся утешать нашу практикантку, говоря, что еще не все потеряно в ее молодой жизни, что человек не всегда знает свои духовные и физические возможности, но наступает критический момент, и в нем выявляются невиданные силы, способствующие победить любую боль, залечить любые раны, забыть даже невосполнимые утраты.

На почве утрат мы и сошлись: я потерял ногу на фронте, молодая журналистка, пылко борясь за эмансипацию женщин, тоже кое-чего лишилась. И, признаться, я, бывший у нее вторым мужчиной,— о, этот вечный второй! — с ужасом думал, что было бы со мною, если бы выпало мне несчастье быть первым? Ведь к упрекам: «Погубил жизнь и талант» — прибавилось бы еще одно ужаснейшее обвинение: «И чести лишил!» Этого груза нашему семейному кораблю было бы не выдержать, он бы «стал на свисток», иначе говоря, опрокинулся бы. Не-эт, в наше время лучше уж быть третьим, пятым, десятым, но не первым! Обречь себя на суд безупречной, уязвленной нравственности? Не-эт, уж лучше сохранить отношения, придерживаясь классического мерила: «Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним...» У нас с Анютой, правда, все было наоборот, поскольку не средневековье, век энтэра на дворе...

Однако ж, несмотря на неистощимый юмор и мужественную готовность к постоянным жертвам, ушел я тогда из семьи. В редких своих самостоятельных поступках я бываю тверд. Жена моя, зная это, захворала, сперва просто так, но когда возле меня закрутилась дамочка с сигаретой «Мальборо» в зубах, ценящая мой богатый «унутренний» мир,— заболела всерьез. Зоська за руки привела ко мне моих детей — дочку и сына: «Вава, ты рос сиротой. Хочешь их также обездоливать?»

Не знаю, что было бы со мной, с детьми, с нашей непрочной семьей, если б не сестра. Недавно, всего года три назад, хватанул меня небольшой инфаркт — спутник сидячих работ, и загремел я в больницу. Очнулся ночью, за окном Зоська поет: «Вава! Вавочка! Поддай голóс! Можэт, ты уже не есть жив?» — «Если не хотите иметь два трупа, ставьте раскладушку в палате», — сказал я врачу.

«Я знаю, ты мне послан богом»,— поется в опере. Зоська уж точно не судьбою, Богом мне дана. Вот не станет меня в этом мире, а произойдет это скоро: фронтовики, перевалившие за шестьдесят, долго собою не обременяют человечество, скорбнет по мне Союз писателей десятью строчками некролога в «Литературке», и тут же, в горячке речей, среди важных дел и заседаний забудут собратья по перу о том, что из колоса, возросшего на поле, возделанном мучениками и титанами мысли прошлых веков, выпало поврежденное осколком войны зернышко, так и не успевшее дозреть на ниве рискованного земледелия. Домашние мои тоже погорюют, поплачут да и примирятся с неизбежной утратой. Но переживет ли меня сестра? Вот в этом я не уверен.

Но я отвлекся.

В одна тысяча девятьсот сорок восьмом году мы с Зоськой получили квартиру в старом двухэтажном доме, и сестра сказала мне: «Вава, теперь можно привозить маму. Бог не простит, что мы ее побросали».

И я поехал на север, за мамой. На старом, знакомом мне с детства колесном пароходе, который отапливался уже не дровами, а углем, кричал бодрее, дымил чернее, шел, однако, все так же неторопливо по волнам родной реки, а я наслаждался первый, кажется, раз после войны покоем и природой.

На старом пароходе было теснее, не удобнее, но в то же время все располагало к сообществу и взаимопониманию. Дня через два уже все пассажиры более или менее знали друг друга, хотя бы в лицо. Я обратил внимание на скуластого, высокого моряка с медалью «За победу над Японией». И он на меня тоже. Встретится взглядом, дрогнет широким ртом, вроде как хочет улыбнуться приветно, и тут же закусит зубами улыбку. Что-то встревожило меня, насторожило — я силился и не мог вспомнить человека в морской форме, хотя на зрительную память мне грех обижаться. Усталость, множество людей, мелькавших передо мной в войну и после, особенно в газете, заслонили собой что-то очень знакомое, до боли, до смущения ума, до сердечной муки знакомое.

На третий день путешествия, да, кажется, на третий, стоял я на палубе, опершись на брус, глазел на воду, на берега, как вдруг кто-то звонко завез мне по спине и затылку: «Вава, дай ручку...»

Я обернулся. Мне улыбался во весь рот моряк.

— Мишка! — узнал я наконец давнего своего неприятеля. — Еремеев!

— Ну, че? Стреляться будем или обниматься?

— Не знаю, как ты, Мишка, а я настрелялся досыта...

Мы обнялись, расцеловались, малость прослезились даже и скоро сидели уже на корме парохода, меж поленниц кухонных дров и бухтой каната, и у ног наших стояла «злодейка» с приветно открытым зевастым горлышком.

Вино у нас скоро кончилось, разговоров хватило на всю дорогу.

Бывают пустяки, вырастающие до символов! Якорек, наколотый на моей руке тупыми иголками беспощадных детдомовских кустарей, подвинул Мишку Еремеева на моря. Думающий, что я живу сыто, богато и счастливо за спиной важного отчима и вальяжной мамы, ничем меня не уязвивший и ни разу в Карасине не победивший, Мишка решил достать, переслужить и переплюнуть меня в морях, совершенно уверенный, что встретит меня там однажды, поскольку у меня на руке синее якорь, похожий на раковую клешню. Не зря же он, тот якорек, с болью, страданием, с риском заражения крови, наносился на мое живое тело. Но море широко, судьбы человеческие разнообразны, ни на воде, ни на суше не встретил меня Мишка Еремеев и ничем не отомстил, а вот себя погубил. Он тяжело болел туберкулезом, он сгорал от чахотки и ехал в Карасино умирать. Более ему ехать было некуда и не к кому, более его никто и нигде не ждал, да и тетка, сделавшаяся многодетной бабушкой, едва ли ждала. Пьянчужка ее муж, Еремеев, давно умер, поселок Карасино обезмужичел и тоже замирал, рыбу ловить стало некому, другого ничего карасинцы делать не умели.

Скоротечный туберкулез Мишка получил обыденно, мимоходом. Как и все смертельное, страшное, знал я по военному опыту, получалось до удивления просто. Служил он на эсминце «Стремительном», спущенном на воду перед самым началом войны. В боевых действиях участвовал недолго. Где-то в какой-то бухте наша военная эскадра зажала и блокировала отряд японских кораблей, всадила десяток торпед в борта ближних посудин, истосковавшись по военным действиям, жаждая громких побед, жажнула — для острстки, из главных калибров по пирсу, по набережной. Еще и дым от залпа не осел, как все побережье и корабли украсились белыми флагами. Здесь и простояла до конца боевых действий наша эскадра. Моряки

гасили пожары, принимали пленных и трофейное имущество, веселились, помогали мирному населению ремонтировать причалы, жилье, кто похозяйственной, копал на склонах огорода, кто помоложе и порезвее — «дружил с приморским населением», крутил романы с девчонками.

Радостное событие, скорая победа породила некую беспечность в сердцах моряков. Ходили по океану весело, почти безоглядно, переходя на «мирные рельсы», разминировали воды и порты. Стоя на посту и на вахте, от бурности сил и брызжущей весельем нетерпеливой молодости, били чечетку на железной палубе, мечтали о надвигающейся счастливой жизни на мирной, утихшей земле, среди устало переводящего дух, надсаженного нашего народа.

Так вот однажды в этом все не кончающемся чувстве эйфории, опасной, между прочим, болезни, заступил Мишка Еремеев на пост, на верхней палубе. Ночью ударил снежный заряд. На Мишке тельник, фланелевый бушлатик, форсистая бескозырка. Но, считая себя шибко закаленным, гордым, все еще кипящий внутри от горячащего сознания совершенного однажды подвига, насквозь промокший и продрогший, замены вахтенный не потребовал, даже сухой одежды не попросил.

Утром его знобило, ломало, он встал под горячий душ и выстукивал зубами: «Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда...»

Ослабленный в детстве полуголодным житьем, но до помрачения ума самолюбивый, уже поняв, какая болезнь привязалась к нему, пробовал скрывать ее Мишка. По совету всезнающих бабок давил и ел собак на берегу, по рецептам еще шибче знающих, просоленных моряков и знахарей корейского и китайского происхождения пил горькие травы, грыз ночами похожий на комбикорм комок глины, обматывался компрессами на горячем спирте, держался бодро, много и весело пел, смеялся.

Но силы его таяли, тело худело, провалились щеки под крутыми скулами, лицо спеклось от жаркого румянца, шелушились слабые губы, всюду выступала кость. Он пытался побороть болезнь работой, вкалывал наравне со всеми, надеялся неистовостью природы, упрямством характера заломать болезнь или хотя бы спрятать ее от экипажа. На корабле, в тесной его железной коробке, ничего не спрячешь. Друзья по экипажу какое-то время «не замечали» Мишкиной болезни, тайно, затем в открытую помогали ему. При нынешней медицине Мишку, наверное, вылечили бы — живуч по природе парень, половину лег-

кого отхватили бы, чего-то подтянули бы, поднакачали. Но тогда еще нечем было лечить туберкулез в открытой, тяжелой форме. Однажды, на перекомиссии, «зацепили» Мишку, подержали в одном-другом госпитале и, пока на ногах моряк, потихоньку с флота списали.

Ну и как у нас, душевных русских людей, водится, после госпиталя отвальная, братанье на родном корабле, хлопанье по плечу, благодарность командования Тихоокеанского флота, командира эсминца, старпома, замполита, пожелание скорейшего выздоравливания, счастливой жизни, доброй жены и многих детей...

Мать моя все еще была при магазине и при продавце, на этот раз по фамилии Крауничкас — что-то все бросало ее на иностранцев! Снова имелась у нее «заместительница», которая мыла и убирала магазин, огребала зимами снег во дворе, летом убирала грязь, ящики и тару. Мама, как всегда, «болела», валялась на кровати, на этот раз с выменным на говяжью тушенку, выданным из старого журнала романом про любовь полудикого, страстного африканца к белой жене своего господина. Африканец ненароком сотворил госпоже серого ребенка, за что оба они — и африканец, и госпожа — понесли заслуженную кару: господин обоих полюбовников задушил в постели беспощадными волосатыми руками. «Че на свете деетсяя-а-а! Разврат! Сплошной разврат!» — восклицала мама с неподдельным, как и прежде, восхищением и возмущением. Она безбедно перевалила войну, очень хорошо сохранилась, все еще была привлекательная, пышна телом, и я внутренне кипе, поставив в мыслях рядом с нею так и не нажившую тела, стремительную, изработанную Зоську.

Мама моя грубым и брезгливым чутьем здорового человека сразу угадала болезнь нашего гостя и шипела на меня, зачем я его приволок? Еще заразит всех! Я ей говорил, что это Мишка! Еремеев Мишка, из Карасина, что пароход в Карасино не пристаёт и что, как будет попутный катер, он уплывет к тетке, но лучше бы ему в больницу, у него началось кровохарканье. Мама мне сказала, что в больницу в здешнюю его не возьмут, что надо было ему оставаться на магистрали, там есть специальные больницы для таких — называются тубдиспансер. «Мы при магазине. Не дай бог хозяин «заметит», «прибалт нравен и ой-ей-ей как крут! Стас по сравнению с ним ангел небесный...»

Измятая, истерзанная сиротством и житьем в чужом доме, душа Мишки Еремеева, обостренной все чувствую-

щая от приступившей вплотную смертельной болезни, конечно же, уловила настроение в «маминном доме». Моряк поскорее зашпешил к тетке в Карасино, и вот тогда-то, на прощанье, вынул Мишка из чемодана тельняшку, сунул ее мне и сказал с отчетливой значимостью: «Носи на здоровье!» Я попробовал отказаться — дороги тогда были вещи, но Мишка сказал, что ему тельняшка уже ни к чему, дай бог доносить ту, что на теле. И я, стиснув зубы, примог, чтобы не издешевить наше прощанье пустословием. Когда на скользкой вонючей палубе рыбосборочного катера мы обнялись, не убирая рук с костлявой спины моряка, я попросил его простить меня за все, «в чем был и не был виноват», и писать просил, если захочется о чем-либо поговорить, если потребуется помощь и просто так.

Но Мишка Еремеев так никогда мне и не написал.

Я десять лет не снимал с себя тельняшку, носил ее от стирки до стирки. Она не только согревала мое тело, она помогала «моему перу», не позволяла предаться излишнему словесному блюду и бахвальству. Затем тельняшка как-то сама собой перешла к моему сыну. Ее укорачивали в рукавах, чинили, раза два ушивали, и однажды я увидел в ванной полосатую грязную тряпку — остатками тельняшки мыли полы. Я возмутился, хотел заорать, но сдержал себя. Что делать, что делать?.. Такова жизнь! (Чуть не брякнул модное «се ля ви»!)

Я не страдал так широко распространенной у нас хворью-самомнением, не болел самоздравием, знал свое место на земле, и во многочисленном ряду собратьев по перу, зная место и меру дарования, не лез «с калашным рылом в суконный ряд», не обивал пороги редакций, не канючил вставить меня в план, не кусошничал, не унижал своего человеческого и солдатского достоинства. Я почти всю послевоенную жизнь, пока не случился инфаркт, сидел в редакции, на опостылевших мне стульях и даже в креслах, с помощью зарплаты и пенсии по инвалидности худо-бедно кормил семью и себя. У меня была хорошая память и от сиротства доставшееся чувство юмора, с возрастом переродившееся, что ли, — не знаю, как и сказать, — в иронию, к сожалению порой злую. Но дарование мое невелико, и, чтобы писать, мне надо было все время «подзаряжаться», нагружать память, заставлять работать сердце, глаза, уши, нос, все, что дает возможность человеку наблюдать, слушать, чувствовать. Я не способен был, как тот юноша из петербургского салона, из юнкерских казарм вознестись за облака и потревожить самого небесного сатану...

Я доживаю свою жизнь богоданную, человеческую и вместе с нею домалываю долю среднего провинциального писателя. Доживание первой наполняет меня печалью и сожалением о чем-то несвершившемся. Чего-то не дождался я от нее, от жизни, до чего-то не дошел, чего-то недопонял, недолюбил, недорадовался, и, значит, в той, другой жизни, если она существует, мне есть что ожидать и что делать.

Во второй, творческой моей жизни свершилось все, что я мог совершить, и я устал, исчерпав свои возможности, переизнасиловал свою нервную систему, перетрудив себя, надсадив здоровье. Книги мои ненадолго переживут меня, и это их и моя справедливая доля. Лишь несколько страниц в повестях, два-три рассказа, которые я написал в молодости, в поздней инвалидной молодости, потому как ранней у меня не было, она осталась в окопах и госпиталях, когда влюбился в Анюту и когда родился мой первый ребенок, а у Зоськи Вика, — дались мне легко, на вдохновенной волне, на душевном подъеме. Остальное: труд, труд, труд, перекаливание организма, изжигание сердца в искусственно поднятой температуре.

Я прожил творческую жизнь на отшибе, особняком, и не хвалю себя за это, но и не ругаю. Что толку в оргиях, в толпе, в дыму табачном, в толкотне и шуме при составлении планов областного «средне...» какого-то издательства. Собрания сии, слюнявый Лева Гендерович, выбившийся из нашей газетки в главные редакторы областного издательства, называл «делилом кровельного железа в энском жэке».

Завидовал ли я большим и «достославным»? Да, завидовал, но зависть укрощал сам, и она меня не ослепила. Негодовал ли я по поводу того, что бесталанные царят на месте талантливых и учат их жить и работать? Да, негодовал и справедливо негодую до сих пор. Сожалел ли я о том, что не перебрался в столицы и не помаячил «на виду»? Я провинциален по духу своему, неторопливой походке и медленным мыслям. Слава богу, понял это тоже сам и понял вовремя. Заступал ли я своим скрипучим протезом дорогу веселому, дерзко-даровитому, кудрявому и звонкому? Нет, не заступал, потому как на моем пути и не встретился таковой. Бил ли я тех, кто кормился ложью, давал об себя вытирать ноги ради сиюминутной выгоды, кто откликался, как увеченный костями человек на любое изменение погоды, вторя вою переменчивых ветров: «Возьмите меня! Все сделаю, как захотите!» Один раз набил

морду чиновному подлецу на месте его действия, в его просторном кабинете. Большого от меня, безногого инвалида, и требовать нечего, да на большее я с мерой моего таланта, а значит, и мужества — по Еремке шапка — и не способен, тем более что подлец тот сразу «исправился», подтверждая истину: коли каждый порядочный человек набьет морду подлецу — вся подлость сразу и истребится, вот и не хочу я отбирать такую нужную и благодарную работу у других людей, устремленных к справедливости.

Не только «всему свой час», но и всякому, высокопарно говоря, творцу свой труд, свои муки, тревоги и мятежность духа: один не ладил с царем, ссорился с высшим светом, срамил мировую гармонию, да и в Боге что-то его смущало, и даже в небесах не все устраивало. Другой шепотом, чтоб не разбудить детей в малогабаритной квартире, ссорился с женою из-за того, что прокантовался в редакции до полуночи, жена думала — у сестры. Мы даже умрем по-разному: «Угас, как светоч, дивный гений, увял торжественный венок», посередь зимнего Петербурга, в окружении блистательных друзей и стечении плачущего народа. Я, скорее всего, в ночную пору тихо отойду в областном госпитале для инвалидов Отечественной войны, где сестры не берут денег за уколы и за судно, где устаешь слушать ослабелых умом и памятью людей, денно и ночью вещающих о небывалых подвигах. Подлинную войну они забыли, да и помнить не хотят, потому как подлинная была тяжкой, некрасивой. Не осуждаю я их даже за то, что перед смертью просят они не вынимать зубные протезы изо рта, чтоб выглядеть «красивей». Отныне им судьи уже боги, но не люди. Я и сам ныне, чтоб выглядеть «красивше», почти ничего не пишу о войне, да и прежде мало писал, все боялся оскорбить память моих собратьев-пулеметчиков нечаянным хвастливым словом, неловким сочинительством и ложью — мера таланта не только мера мужества, но и мера правды. До понимания ее я, может, и дорос, но до глубинного осмысления и изображения — нет, и поэтому перестал вовсе брэнчать на военную тему, ведь чем больше наврешь про войну прошлую, тем ближе сделаешь войну грядущую. Приближающемуся последнему часу и всем, кто придет проводить меня, я мог сказать, не отводя глаз: «Пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала, — Я верю: то бог меня снегом занес, то вьюга меня целовала!» И сотворю кощунство за божественно-ясноликим Блоком, процитирую себя, совсем еще провинциального: «А так ли прошли мои годы? А сколько

осталось прожить? А много ли будет народу, когда понесут хоронить?» Немного. Но будет. И поплачут. И помянут, и перед смертью сам я всплакну строкой любимого поэта: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»

Никого не кляню, никого не ругаю, а благодарю создателя за то, что даровал он мне радость творческого упоения и подсоблял в минуты колебаний и соблазнов жить по правилу, завещанному храбрым русским офицером и светлым поэтом Батюшковым: «Живи, как пишешь, пиши, как живешь».

Я не изведал того пламени, какой сжигал Лермонтова, Пушкина, Толстого, не узнал, каким восторгом захлебывались они, какой дальний свет разверзлся пред ними и какие истины открывались им. Но мне тоже светил вдали огонек, звал, обещал удачу. Я тоже знавал, пусть и краткое, вдохновение, болел и мучился словом, и мои муки никому не ведомы, и моя радость сочиненной строкой, сотворением собственного чуда останется со мною. Пускай не пламень, только огонь, даже отсвет его согрел и осветил мою жизнь, спасибо судьбе и за это. Спасибо и тебе, многотерпеливая бумага, и прости меня, лес живой,— это из тебя, из живого, сотворили мертвую бумагу, на которой, мучимый природным даром, я пытался оживить и лес, и дол, и горы, очиститься душою и чаял, всегда чаял, хоть немножко, хоть-чуть помочь сделаться людям добрее.

Я донашиваю девятый протез и, как дождусь сына из армии, сменю госпитальную палку — такой вот странный зарок себе назначил. Сын будет донашивать уже вторую тельняшку, снятую с моего тела, бог даст, с живого. Дочка заканчивает десятый класс. Она похожа на сестру мою и статью, и характером — вылитая тетка! Но может, я это выдумал и хочу в это верить. Был я, между прочим, в Польше, отыскал пана Стаса. Он тоже инвалид войны. Обрадовался мне старик до беспамятства, как выходцу с того света. Живет пан Стас смиренно и скудно. У него клочок земли на юге Польши, бедной прикарпатской земли, едва-едва кормящей семью: жену, очень молчаливую, дородную и работающую крестьянку, и двоих детей, которые уже собираются в Краков, «до научного заведения». Пан Стас просил, чтоб приехала до него дочь Зоська. И я пытался склонить ее к дальнему вояжу, но сестра моя выявила непреклонность: «Не хóчу! Мне хорошо достаточно нашу дорожую маму».

Надеюсь, после нечаянной моей исповеди о жизни и судьбе провинциального писателя тебе не надо повторять:

«Если можешь — не пиши». Вот передо мной разноцветные кубики, рассыпанные по полу, словно перед малым дитем. На кубиках нанесены: аэропорт на Дальнем Востоке, ты и Люда, пенистый голубой ручей, две тельняшки, Зоська и жена, дочь и сын, любимая племянница, стол, заваленный бумагами и книгами. За окном оледенелая река, стиснутая горами, над горами прорезь зимней, ничего доброго не сулящей, йодисто-желтой зари; куда-то тянет самолет, воет собака у соседа, и где-то, за тысячи верст отсюда, заброшенный станок Карасино, потерянные его могилы. На севере все зарастает медленно, зато могилы теряются быстро — изопревшие в сырости надгробные знаки выталкивает мерзлотой. Давно уже нет могилы Мишки Еремеева, на земле все его забыли.

Как мне все это собрать «до кучи», как из всего этого «материала» выстроить сооружение под таким многообязывающим, под таким до дрожи, до оторопи пугающим словом «сочинение», да еще и «художественное».

Кабы я знал, кабы ведал.

ПЕРЕДЫШКА

Вы современную песню про кольцо и про любовь слышали?

Глупая, надо вам заметить, песня, и, мало того, она еще и в корне неправильная, в особенности эти вот слова: «Нет ни начала, ни конца...» Брехня! Я на факте докажу шаромыжникам, составившим песню, — есть начало, и конец есть!..

В сорок третьем году во время летних боев мы неожиданно и негаданно для фашистов выскочили к хутору Михайловскому, что на Полтавщине. Выскочили и подзадержались. Почитай, неделю толкались на жарко полыхающих ржаных полях, и веселый, в садах утопающий хутор был за это время почти весь порушен и сожжен, деревья срублены, загороди свалены, перекопанные вдоль и поперек огороды разворочены взрывами. Словом, каждая высотка за хутором доставалась нам большой кровью и работой.

Испеченные солнцем, копали мы землю, таскали связь, вели огонь по врагу и дошли до того, что губы у нас потрескались, языки пораспухали без питья, гимнастерки от соли ломались на спинах, есть мы ничего не могли, и нам хотелось только пить, пить. Колодцы в хуторе были уже вычерпаны до дна, а болотинка, с гектар величиной, зеленевшая в ложбине за огородами хутора, была до того изрыта и выжата, что мы жевали мокрую траву и пробовали сосать жидкую грязь. Немцы день и ночь били по болотцу, зная, что там всегда людно.

Но как «ни болела — померла», говорится в одной дурашливой русской поговорке. Немцев с полтавских высот мы в конце концов сбили, и они покатались «вперед, на запад», — как тогда шутили вояки.

Не раз и не два довелось нам потом быть в разного рода передрыгах, воевать и без воды, и голодом, и холодом, и про хутор Михайловский мы скорей всего забыли бы, как

забыли множество других хуторов и деревень, где выпало нам всякое военное лихо. Но после отъезда из хутора начали мы замечать неладное в поведении шофера Андрюхи Колупаева.

Я забыл сказать, что воевал во взводе управления истребительного артдивизиона и взвод этот: связистов, разведчиков, топографов вместе с катушками, телефонами, буссолью, стереотрубой, планшетом и прочим скарбом — возил по фронту на отечественном газике этот самый Андрюха Колупаев. Если бы шоферам давали звания за умелость и талант — Андрюха наш звался бы профессором, а то и академиком — такой он был классный шофер. «Где «студдер» не везет, трактор буксует и олень не идет — там Андрюха Колупаев пройдет!» — говорили про него, и через это умение шибко доставалось Андрюхе. Газик, к которому он саморучно приделал еще одну ведущую ось, мотался по военным дорогам почти безостановочно, и, когда машину Колупаева поставили на ремонт, собрать ее уже не могли: вся она была изношена. Андрюхе дали тогда медаль «За боевые заслуги» и новую трофейную машину.

Однако произошло это уже в Польше, и до события того было еще ой как много километров! Пока же мы только-только съехали с хутора Михайловского и обнаружили, что у Андрюхи пропал аппетит, лицо его осунулось и в завалившихся глазах обозначалась какая-то непонятная мгла. Ну, вопросы пошли: «Не заболел ли? Дома все ли в порядке?.. Может, письмо худое получил?..»

«Отстаньте от меня!.. Отцепитесь!.. Чего привязались?!» — надломленным голосом кричал Андрюха и добавлял разные слова.

Крутой нравом, занозистый мужик, еще в гражданке избалованный как редкостный спец по машинам, Андрюха и на войне марку держал высоко. Позволял себе возвышать голос на нас и даже вредничать с начальством, которое относилось к нему почтительно и по возможности оберегало такого нужного бойца от истребления.

Но хоть он и спец, хоть и дока по части техники, да в других вопросах были у нас люди и попроницательней, и вострее его — и скрыть Андрюха ничего не сумел, потому как не было еще и не скоро, думаю, будет такая человеческая тайна, каковую бы не вырвал из нетей русский солдат — зрящий на три метра в землю, а может, и дальше!

Андрюха Колупаев влюбился!

Это был первый такой случай в нашей части, и мы до

того оказались сражены, что и на Андрюху глядели совсем уж по-другому, отыскивая в нем ту красоту и значительность, за которую господь бог ниспослал человеку этокое чудо!

Вы думаете, мы обнаружили сказочного принца в золотых одеждах и с пронзительным взглядом? Где там! Мы даже кучерявого лейтенанта в хромовых сапогах и то не обнаружили! У радиатора газушки вертел заводную ручку и матерился на весь Украинский фронт коренастый, чернявый, на бурята смахивающий мужик.

О любовь! Ты и вправду что слепа! У меня вот, взять, шатеновые волосы, вьющиеся, если их с духовым мылом вымыть. Нос, правда, подкачал — он у меня коромыслом! Зато глаза — как у артиста Дружникова — задумчивые! Внешность — хоть куда! Но завлек я кого-нибудь? Завлек?..

Через две недели пришло письмо, и Андрюха не стал его нам читать, лишь подразнил, показав начало, где обмусоленным химическим карандашом было выведено: «Коханий мий!» Все остальное письмо Андрюха закрыл мазутной ладонью, а потом и вовсе уединился в кабину.

«Коханий мий!» Вот так Андрюха! Это пока мы бились за хутор Михайловский, пока мы издыхали на высотах и у нас все засохло не только в животе, но и в башках, он охмурял вдовицу годов двадцати двух — двадцати трех.

Мы видели ее, эту грудастенькую, стеснительную вдовицу с черными бровями и уважительным голосом. То-то она так проворно бегала по хате, уцелевшей в боях, то-то она поднарядилась в фартук с лентами и все напевала: «Будь ласка, Андрей Степанычу, будь ласка!..»

Лицо Андрюхино так блестело и сияло, будто он квашню блинов срубал во время масленицы и сверх того пол-литра выпил. На нас он смотрел ровно бы с парашютной вышки, не различая отдельных черт лица, как на серую, интереса не имеющую массу.

Фасонит Колупаев Андрюха, задается! Но у него ж в забайкальском совхозе имени Десяти замученных красных партизан имеются жена и двое детишек! Забыл? На-по-о-ом-ним! Рассказывай, голубчик, как и что было, детально, досконально рассказывай, иначе...

— Не могу, ребята! Хоть режьте! Любовь промеж нас зачалась гибельная! — и грустно поведал Андрюха, как тоскует он о Галине Артюховне, и его по правилам с машины сымать бы надо, потому как он ночами не спит и может аварию сделать и весь взвод управления поизуве-

чить. Он обвел всех нас жалеющими глазами и вздохнул: — Очень, ребята, хорошо любить! Вроде бы и мученье, а все одно хорошо!..

Поняли мы его — не чурки! — как-никак в школах учились, в пионерах иные состояли и книжки про любовь читали. Зауважали мы Андрюху и даже потихоньку гордились тем, что есть у нас такой боец, который вроде бы всех нас обнадежил на будущее своей любовью.

Письма Андрюха получал с каждой почтой, иногда по три сразу. Он уходил в лес или прятался в хлеба и читал по многу раз каждое письмо. Потом Андрюха записил вокруг меня, угодливым сделался, в кабину зазывал, где ехать благодать: спать можно, пылью не душит.

Я не сразу, но уразумел, в чем тут дело. Я сочинял складные письма заочницам с лирическими отклонениями насчет «жесточкого оскала войны», где нам тоскливо без женщин, особенно когда цветут сады, поют соловьи, где «только пули свистят по степи, тускло звезды мерцают...» и горько пахнет черным порохом, которым мы «овееяны». Чтобы все было натурально, солдат, которые с моего сочинения переписывали письма, вставляя в них имена своих заочных «симпатий», я научал тереть бумагу о закопченный котелок либо обжечь по углам. То-то бедные девчонки в тылу переживали, получив «опаленные огнем» письма!

Совсем обезумел Андрюха Колупаев от любви, хочет, чтобы я написал «хоршее» письмо Галине Артюховне. Самогонки сулился достать за услугу. Сам Андрюха происходил из темной старообрядческой деревни и грамоту имел совсем малую. Письма он писал трудно, по несколько дней, бывало, мусолит письмо, аж лицом осунется. Но я хоть и считался во взводе парнем с придурью, все же отказал ему: с заочницами, мол, баловство и развлечение, а тут дело серьезное. Андрюха надулся на меня и в кабину больше не приглашал.

Если бы я знал, чем все это кончится!..

Но никому не ведомы девственные тайны любви. Очень путаная эта штука — любовь! Она, как хворь, у всех протекает по-разному, с разным накалом, а поворотов и загибов в любви столько, что не приведи ты господи!..

Отвлекся я, однако. Люблю порассуждать о сложностях жизни. Меня уж всего изгрызла за это супружница. Балаболка ты, говорит, балаболка!..

Тоже вот любовь у нас после войны была, хоть и краткая, но головокружительная! Куда и что делось?..

Зимою, во время тяжелых боев под Христиновкой

Андрюха Колупаев так замотался со своей машинешкой, что стал путать день с ночью, ел сперва кашу, потом суп, пилил дрова с вершины, и мы побаиваться начали, кабы не залил он в радиатор бензину, а в бак воды и не взорвал бы нас.

Но получилось, как в худом солдатском анекдоте: Андрюха смешал адреса, и то письмо, что назначалось в хутор Михайловский, ушло в совхоз имени Десяти замученных красных партизан, а Галине Артюховне наоборот.

Из хутора Михайловского письма прекратились, а из Сибири месяц спустя пришел пухлый треугольник на имя командира части. Писали тогда на фронт много: и насчет пенсий, и насчет тыловиков, которые цеплялись к солдатам с корыстными намерениями, и насчет подвозки дров, сена, учебы, работы, и по всяким разным причинам. И правильно! Кому же еще, как не командиру, пожалобиться одинокой женщине или старикам родителям? Он, командир, — отец над всеми и, значит, в ответе не только за боевые дела солдат. Это вот доверие и родство только в нашей армии завелись, и не надо терять такое качество и нынешним командирам.

Разные письма бывали.

Помню, одна бабенка спрашивала в письме о своем муже: «Где такой-то? Не получаю писем». Наш майор аккуратен по этой части был и вежливо ей ответил:

«Так и так, ваш муж, проявив героизм, ранен был и отправлен в госпиталь на излечение».

«Где тот госпиталь? — спрашивает бабенка в другом письме. — Я немедля туда поеду навестить дорогого мужа».

«Я не ведаю госпиталями и, к сожалению, не знаю, где находится ваш муж», — снова вежливо отвечает майор.

«Дерьмо ты, а не командир, коли не знаешь, где находятся твои бойцы!..» .

Это нашему-то майору, который с пеленок приговорил себя повелевать людьми и красоваться в военной форме, — такие слова!.. Ах бабы, бабы! Дуры вы, бабы! Право слово, дуры!

Письмо нашему командиру части писал под диктовку неграмотной жены Андрюхи председатель сельского Совета. В конце письма он присобачил печать, поставил «Верно» и учинил размашистую принципиальную подпись.

Это уже документ! На него надо реагировать. Командир дивизиона пришел в жуткую свирепость, потому что в письме ругали не столько Андрюху, сколько его, и не просто ругали, а прямо-таки срамили: «Мы тут работаем

не разгибая спины, без сна, без отдыха, голодные, холодные, чтобы вы скорее побеждали врага коммунизма и социализма! А в результате узнаем, чем вы там занимаетесь...» (тут стояло слово, буквально определяющее, чем мы занимаемся...)

Командиру части, распустившему своих бойцов, грозили, что, если меры не будут приняты и бабник Колупаев не понесет заслуженного наказания, его семья и все труженники славного совхоза имени Десяти замученных красных партизан обратятся к генералу фронта, а то и к самому главнокомандующему тире Сталину!

Молодой щеголь майор, перед самой войной окончивший артиллерийское училище и мечтающий об академии, если уцелеет, бегал по блиндажу, позвякивал шпорами и шептал угрожающе. Увидев, что я, дежурный телефонист, ухмыляюсь, он выпрямился, трахнул темечком в сучковатый накат и, схватившись за голову, рывкнул:

— Вы чего улыбаетесь?! Такой же бабник! Такой же свистун! Колупаева ко мне! Бегом!..

Я хотел обидеться на «бабника», да не посмел и поскорее вызвал ЧМО — такая позывная была у нашего взвода. Расшифровывалась она точно: чудят, мудрят, обманывают. Телефонист на ЧМО бросил трубку возле окопчика и пошел искать Андрюху, а я с завистью и интересом слушал заманчивую, с моей точки зрения, жизнь тылового взвода. Вот замычала корова, звякнула подошница, следом голос: «Шоб ты сказывалась, худа скотыняк!..» На кого-то покрикивал повар: «Ты у меня получишь! Ты у меня получишь!..» Кто получит? чего получит? — я мог только гадать. Потом хохот раздался и женский визг.

«Живут же люди, ей-богу!» — Я уши развесил, настраиваясь на женский визг, но вятский голос старшины Жвакина занудил: «Эдак я все пораздам, а майору-те што останется?..» Главная цель Жвакина на войне: потрафить майору, который страшал его передовой, где, думал Жвакин, ждет его смерть неминуемая.

— Чего заныл-то? — услышал я Андрюху Колупаева. — Достать надо уметь, на то ты и старшина!

Что ответил старшина — я не разобрал. По трубке защелкали комочки земли, зажурчало в ней, скрипнул клапан:

— Ну, как у холеры надо? Колупаев слушат!

Мне, простуженному вконец, обсопливевшему, кашляющему до хрипа в груди, не понравилось его такое поведение — живет как у Христа за пазухой, кушает еже-

дневно горячее, спит в кабине или в теплой избе, покрикивает на старшину Жвакина и еще заносится... Лучше бы за адресами ладом следил!

— А ничего! — сказал я. — Иди-ка вот сюда, на передовую, на наблюдательный пункт... И тебе тут чего-то даду-у-ут! — пропел я на мотив популярной до войны песни: «Мама, мама! Мне врач не поможет — я влюбился в девочку одну...»

Андрюха не понял моего намека и иронии моей не принял.

— Есть ковды мне ходить-рассказывать! У меня машина, понимаешь!.. Мне по картошки ехать надо, понимаешь!.. Чтобы вы проворней воевали и с голодухи не загнулись, понимаешь!..

Я держал трубку телефона на отлете — и по блиндажу разносило его запальчивое «понимаешь». Майор остановил карандаш на карте, где он уточнял наблюдения, чего-то сложное высчитывал, и протянул руку за трубкой.

— Товарищ двадцать пятый говорить будут!

Командир дивизиона, жуя папироску, все еще косился на карту — чего-то соображал.

— Колупаев? Немедленно, слышишь, немедленно ко мне!..

— Есть!.. — пискнул Андрюха и добавил: — Есть немедленно...

У нашего майора не забалуешься. Когда он, по его выражению, с картой работает — и вовсе под руку не попадайся!

— Вот так-то, товарищ Колупаев! — сказал я растерянно дышавшему в трубку Андрюхе и пытающемуся отгадать — зачем это он понадобился майору, да еще немедленно?!

— Слышь? — заныл Андрюха.

— И не спрашивай! И не приставай! Военная тайна!.. — отверг я его домогания и деликатно вынул ногтями из пачки майора папиросу «Пушка», поскольку тот шарился по карте, втыкал в нее циркуль и, как глухарь на току, повторял: «Тэкс, тэк-тэк!..» — должно быть, видел себя в мечтах уже полководцем. В такую минуту у него можно было стянуть что угодно.

Я уже по всем батареям прочирикал последние известия. Дивизион сладостно замер, ожидая дальнейших событий. Заинтересованные лица то и дело сопели в телефон и спрашивали: не появился ли на передовой влюбленный водитель газика?

К пехоте кухня приехала, дымилась каша в котлах. Через наших телефонистов-трепачей, посланных в пехотный батальон для корректировки огня, стало все известно и там. Возле кухни хохот. С дальних телефонных линий по индукции доносило: «Но-о! А он чё? Х-ха-ха-ха-а!..»

Немцы и те чего-то примолкли.

Лишь один Андрюха Колупаев ни сном, ни духом не ведал, какой ураган надвигается на него. Он шел по телефонной линии, и я раньше всех услышал его приближение, и, когда задергался провод и посыпались комки мерзлой земли в окопе, примыкающем к нашему блиндажу, я шепотом известил подвластную мне клиентуру:

— Прибывает!

И защелкали клапаны на всех телефонах, и понеслось по линиям: «Внимание!» — как перед артподготовкой.

Андрюха царапнул по окорелой плащ-палатке пальцами, отодвинул ее, пустил холод на мои ноги, и без того уже застывшие, скользнул по мне взглядом, как по горелому пню, и обратился к лицу более важному:

— Товарищ майор, боец Колупаев прибыл по вашему приказанию!

Майор выплюнул потухшую папироску, прикурил от коптящей гильзы свежую и долго, с интересом глядел на Андрюху Колупаева, как бы изучая его. А я с трубками, подвешенными за тесемки на башку, постукивал ботинком о ботинок, грея ноги, шаркая жестяным рукавом шинели по распухшему носу и ждал — чего будет?

— Боец Колупаев, — наконец выдавил командир дивизиона и повторил: — Боец!

Андрюха весь подобрался, чувствуя неладное, и глянул на меня. Но я, в отместку за то, что он скользнул по мне взглядом, как по бревну, и относился ко мне последнее время плохо, — ничего ему не сообщил ни губами, ни глазами — держись без поддержки масс, раз ты такой гордый!

— Иди-ка сюда, боец Колупаев! — поманил к себе Андрюху майор, и тот, не знающий интонации майора, всех тайн, скрытых в его голосе, как знаю, допустим, я — телефонист, — простодушно двинулся к столу, точнее, к избяной двери, пристроенной на две ножки, и присел на ящик из-под снарядов.

— Так-так, боец Колупаев, — постучал пальцами по столу майор, — воюем, значит, громим врага!

— Да я чё, а за баранкой... — увильнул встревоженный Андрюха. — Это вы тут, действительно... без пощады!..

— Чего уж скромничать! Вместе, грудью, так сказать,

за Отечество, за матерей, жен и детей. Кстати, у тебя семья есть? Жена, дети?.. Все как-то забываю спросить.

— Да как же я вроде сказывал вам? Конечно, много нас — не упомнишь всех-то. Жена, двое ребят. Все как полагается...

— Пишешь им? Не забываешь?

— Да как же как забудешь-то? Свои.

— Ага. Свои. Правильно... — Глаза майора все больше сужались, и все больше стального блеску добавлялось в них.

Я держал нажатым клапан телефона, и артиллерийский дивизион, а также батальон пехоты замерли, прекратив активные боевые действия, ожидая налета и взрыва со стороны артиллерийского майора, пока еще ведущего тонкую дипломатическую работу.

Атмосфера сгущалась.

Я бояться чего-то начал, даже из простуженного носа у меня течь перестало.

— Чего случилось-то, товарищ майор? — не выдержал Андрюха.

— Да ничего особенного... На вот, почитай! — Майор протянул Андрюхе размахрившийся, припачканный в долгой дороге треугольник. Бумага на письмо была выдрана из пронумерованной конторской книги, и заклеен треугольник по нижнему сгибу вареной картошкой. Где-то треугольник поточили мыши.

Андрюха читал письмо, шевеля губами, и я видел, как сначала под носом, потом под нижней губой, а после и на лбу его возникали капли пота, они набухали, полнели и клейко текли за гимнастерку, под несвежий подворотничок. Командир дивизиона одним махом чертил круги циркулем на бумаге и с нервным подтрясом в голосе напевал переименованную мной песню: «Артиллеристы, точней прицел! Разведчик стибрил, наводчик съел...»

Никаких поношений и насмешек об артиллеристах майор не переносил, сатанел прямо, если замечал неуважение к артиллерии, которая была для него воистину богом, и вот сатирический куплет повторяет и повторяет...

Худо дело, ребята! Ох, худо! Я отпустил клапан трубки и полез в карман за махоркой.

Андрюха дочитал письмо, уронил руки на колени. Ничего в нем не шевелилось, даже глаза не моргали, и только безостановочно, зигзагами катился теперь уже разжиженный пот по осыпанным щербинам и отвесно, со звуком падал с носа на приколотую карту.

«Хоть бы отвернулся. Карту ведь портит...» — ежась от страха, простонал я.

Телефонисты требовали новостей, зуммерить начали.

— А, пошли вы!..

— Ладно, ладно, жалко уж!..

Голос мой, видать, разбил напряженность в блиндаже. Майор швырнул циркуль с такой силой, что он прокатился по карте и упал на землю.

— Воюем, значит, боец Колупаев?! — подняв циркуль и долговязо нависнув над потухшим и непривычно коротким Андрюхой, начал расходовать скопившийся заряд командир дивизиона. — Бьем, значит, гада!

Андрюха все ниже и ниже опускал голову.

«Заступница, матушка, пресвятая богородица! Пусть майора вызовут откуда-нибудь!..» — взмолился я.

Никто майора не вызывал. Меня аж затрясло. «Когда не надо — трезвонят, ироды, — телефон рассыпается!..»

— Вы что же это, ля-амур-р-ры на фронте разводите, а?!

— Ково? — прошептал Андрюха.

— Он не понимает! Он — непорочное дитя! Он... — Майор негодовал, майор наслаждался, как небесный пророк и судия, своим праведным гневом, но я отчетливо почувствовал в себе удушливую неприязнь к нему и догадываться начал, отчего не любят его в дивизионе, особенно люди не чинные, войной сотворенные, скороспелые офицеры. Но когда он, обращаясь ко мне и указывая на Андрюху, воззвал с негодованием: — Вы посмотрите на него! Это ж невинный агнец! — я качанием головы подтвердил, — что мол, и говорить — тип! И тут же возненавидел себя за агнца, которого не знал, и за все...

— Сегодня вы предали семью! Завтра Родину предадите!

— Ну уж...

— Молчать, когда я говорю! И шапку, шапку! — Майор сшиб с Андрюхи шапку, и она покатилась к моим ногам: «Ну, это уж слишком!» — Я поднял ее, отряхнул, решительно подал Андрюхе и увидел, что бледное лицо его начинает твердеть, а глаза раскаляются.

«Ой, батюшки! Что только и будет?!»

— Если будете кричать — я уйду отсудова! — обрывая майора, заявил Андрюха. — И руками не махайтесь! Хоть в штрафную можете отправить, хоть куда, но рукам волю не давайте!..

— Что-о-о? Ч-что-о-о-о?! А ну, повторите! А ну...— Майор двинулся к Андриюхе на согнутых ногах.

Андриюха встал с ящика, но от майора не попятился.

И в это время!.. Нет, есть солдатский бог! Есть! Какой он, как выглядит и где находится,— пояснить не могу, но что есть — это точно!..

— Двадцать пятого к телефону! — По капризному, сытому голосу я сразу узнал штабного телефониста и скорее сорвал с уха трубку:

— Из штаба бригады, товарищ майор!

— А-а, чь... черт! — все еще дрожа от негодования, командир дивизиона выхватил у меня трубку. — Двадцать пятый! Репер двенадцатой батареи? Пристреляли. Да! Четырьмя снарядами. Да! Остальные батареи к налету также готовы. Связь в пехоту выброшена. Все готово. Да. Чего надо? Как всегда, огурцов. Огурцов побольше. Чем занимаюсь? — Майор выворотил белки в сторону Колупаева. — С личным составом работаю. По моральной части. Мародерство? Пока бог миловал... Да. Точно. До свидания, товарищ пятый. Не беспокойтесь. Я знаю, что пехоте тяжело. Знаю, что снег глубокий. Все знаю...

Он сунул мне трубку. Она была сырая — сдерживал себя майор, и нервы его работали вхолостую, гнали пот по рукам. Не одному Андриюхе потеть!

— Ну как там у вас? — послышался вкрадчивый голос.

Прикрыв ладонью трубку, я далеко-далеко послал любопытного связиста.

Майор достал из полевой сумки два листа бумаги, пододвинул к ним чернилку с тушью, складную железную ручку достал из-под медалей, залезши пальцами в карман.

— Пиши! — уже утихомирено и даже скучно сказал он, и я тоже начал успокаиваться: если майор перешел на «ты», значит, жить можно.

Андриюха вопросительно глянул на майора.

— Письмо пиши.

Андриюха обернул вставышек железной ручки пером наружу, вынул пробку из чернилки-непроливашки, макнул перо, сделал громкий выдох и занес перо над бумагой — три класса вечерней школы! С такой грамотой писать под диктовку!..

Майор, пригибаясь, начал расхаживать по блиндажу:

— Дорогая моя, любимая жена...

Андриюха понес перо к цели, даже ткнул им в бумагу, но тут же, ровно обжегшись, отдернул:

— Я этого писать не буду!

— Почему? — вкрадчиво, с умело спрятанной насмешкой поинтересовался майор.

— Потому что никакой любви промеж нас не было.

— А что было?

— Насильство. Сосватали нас тятя с мамой — и все. Окрутили, попросту сказать.

— Ложь! — скривил губы майор. — Наглая ложь! Чтобы при Советской власти, в наши дни — такой допотопный домострой!..

— Домострой?! Хуже!.. Я было артачиться зачал, дак пахан меня перетягой так опоясал... Никакая власть, даже Советская, тятю моего осаврасить не может.

— Давайте, давайте, — покачал головой майор. — Вы посочиняйте. Мы — послушаем! — И снова улыбнулся мне, как бы приглашая в сообщники. И я снова угодливо распылил свою пасть.

Андрюха тем временем сложил ручку и поднялся с ящика:

— Не к месту, конечно, меня лукавый попутал... Всю ответственность поступка я не понимал тогда. Затмил! Но, извините меня, товарищ майор, — артиллерист вы хороший, и воин, может быть, жестокий ко врагу, да в любви и в семейных делах ничего пока не смыслите. Вот когда изведаете и то, и другое — потолкуем. А счас разрешите мне идти. Машина у меня неисправная. Завтре наступать, слышу, будете. Мне везти взвод... — Андрюха достал из-за пазухи рукавицы. — Письмо семье и в сельсовет ночесь напишу. Покажу вам. Покаянье Галине Артюховне так же будет сделано... Разрешите идти?

— Идите!

Я удивился: в голосе майора мне почудилась пристыженность.

Андрюха поднялся, оправил телогрейку под ремнем, закурил, ткнувшись сигаркой в огонек коптилки, и поясnil свои действия хмуρο глядевшему майору:

— Шибко я потрясенный. Покурю в тепле, — и курил молча до половины сигарки, а потом вздохнул протяжно: — Жись не в одной вашей Москве протекает, товарищ майор... По всему Эсэсэру она протекает, а он, милый, ого-го-о-о-о! Гитлер-то вон пер-пер да и мочой кровавой изошел! Оказалась у него задница не по циркулю странствия наши одолеть! И на агромадной такой территории оч-чень жизнь разнообразная... Например, встречаются еще народы — единым мясом или рыбой без соли питающиеся; есть, которые кровь горячую для здоровья

пьют, а то и баб воруют по ночам... И молятся не царю небесному, а дереву, скажем, ведмедю или даже змее...

Майор, часто моргая, глядел на Андрюху Колупаева и вроде бы совсем его не узнавал.

Плюнул в ладонь Андрюха, затушил сигарку, как человек, понимающий культуру.

— Вам вот внове знать небось, какой обычай остался в нашей деревне? — Андрюха помолчал, улыбнувшись воспоминанию. — Родитель — перетягой или вожжами лупит до тех пор, пока ему ответно не поднесешь...

— К-как это? Вина?

— Вина-а! — хмыкнул Андрюха. — Вина само собой. Но главное — плюху! Желательно такую, чтоб родитель с копытов долой! Сразу он тебя зауважает, отделиться позволит... Я вот своротил тятэ санки набок и, вишь вот, до шофера самоуком дошел! Кержацкую веру отринул, которая даже воевать запрещает... А я, худо-бедно, фронту помогаю... Не в молельню ходил, божецкие стихиры слушать, а в клуб, на беседы. Оч-чень я люблю беседы про технику, про устройство земного шара, а также об окружающих мирах...

— Идите! — устало повторил майор.

Андрюха, баскобайник окаянный, подморгнул мне, усмехнувшись, натянул неторопливо рукавицы и вышел на волю.

Все правильно. Все совершенно верно. Знала Галина Артюховна, кого выбрать из нашего взвода. Боец Андрюха! Большого достоинства боец! Не то что я — чуть чего — и залыбился: «Чего изволите?» — Тьфу!..

Командир дивизиона попил чаю из фляги, походил маленько по блиндажу и снова уткнулся в карту.

— Ишь какой! Откуда что и берется! — буркнул он сам себе под нос. — Снюхался с хохлушкой, часть опозорил! А еще болтает о мирах! Наглец!.. Н-ну, погодите, герои, доберусь я до вас! Наведу я на этом ЧМО порядок!..

Письма Андрюхины майор проверил или, как он выразился, откорректировал, что-то даже вписал в них от себя, но только те письма, которые были домой и в сельсовет. Письмо к Галине Артюховне не открыл, поимел совесть, хотя и сказал, насупив подбритые брови и грозя Андрюхе пальцем:

— Чтобы не было у меня больше никаких ля-амурчиков!

«Э-э, товарищ майор, — отметил я тогда про себя, — и вас воспитает война тоже!»

Андрюха Колупаев с тех пор покладистой стал и молчаливей, ровно бы провинился в чем, и беда — какой неряшливый сделался: вонял бензином, брился редко, борода осокой кустилась на его шерботом, заметно старящемся лице. Иной раз он даже ел из немытого котелка, чего при его врожденной обиходности прежде не наблюдалось.

Лишь к концу войны Андрюха оживать стал и однажды признался нам в своей тайной думе:

— Эх, ребята! Если б не дети, бросил бы я свою бабу, поехал в хутор один, пал бы на колени перед женщиной одной... О-чень это хорошая женщина, ребята! Она бы меня простила и приняла... Да детишков-то куда же денешь?

Но не попал Андрюха Колупаев ни на Украину, ни к ребятишкам своим в Забайкалье... Во время броска от Берлина к Праге, не спавший трое суток, уставший от работы и от войны, он наехал на противотанковую мину — и машину его разнесло вместе с имуществом и дремавшими в кузове солдатами. Уцелели из нашего взвода лишь те разгильдяи, которые по разным причинам отстали от своей машины. Среди них был и я — телефонист истребительного ардивизиона — Костя Самопрякин.

1971 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Разговор на фоне новой книги (Из диалога Ирины Ришиной и Виктора Астафьева)	3
ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ. <i>Повесть</i>	11
ПАСТУХ И ПАСТУШКА. <i>Современная пастораль</i>	194
ЯСНЫМ ЛИ ДНЕМ. <i>Рассказ</i>	319
ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ. <i>Рассказ</i>	353
ТЕЛЬНЯШКА С ТИХОГО ОКЕАНА. <i>Рассказ</i>	395
ПЕРЕДЫШКА. <i>Рассказ</i>	432

Астафьев В. П.

А91 Так хочется жить: Повести и рассказы. М.: Изд-во «Кн. палата», 1996.— 447 с.— (Попул. б-ка).

ISBN 5-7000-0435-6

В книгу известного писателя-фронтовика включены новое его произведение «Так хочется жить», повесть «Пастух и пастушка», рассказы.

Это книга о последней кровавой войне, которая, по мнению автора, еще не кончилась, о событиях тех суровых и горестных лет, о товарищах по оружию, об истоках духовности человека, о любви и верности.

А 4702010201-011 Без объявл.
008(01)-95

ББК 84Р7

Литературно-художественное издание

Популярная библиотека

Астафьев Виктор Петрович

ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Повести и рассказы

Редактор *Е. А. Масалитина*

Художник *Д. А. Аникеев*

Художественный редактор *Н. С. Антонов*

Технический редактор *А. Ф. Берникова*

Корректор *О. И. Поливанова*

Лицензия ЛР № 010161 от 15.01.92

Сдано в набор 15.09.95. Подписано к печати 29.11.95. Формат 84x108/32.

Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Бумага офс. № 1.

Усл. печ. л. 23,52. Уч.-изд. л. 26,85. Тираж 15 000 экз. Изд. № 620. Заказ № 3706.

Издательство «Книжная палата».

127018 Москва, Октябрьская ул., д. 4, стр. 2.

Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Роскомпечати.

127018 Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Только в издательстве
"КНИЖНАЯ ПАЛАТА"
в 1996 году
в серии
"ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА"
выйдет новый роман

Георгия Владимова
"ГЕНЕРАЛ И ЕГО АРМИЯ"

Этот роман после публикации в журнале
"Знамя" признан критикой главным
событием литературного года.

*

Роман удостоен
Литературной Премии Букера
17.500 долларов США

*

Эта премия финансируется британской
компанией Букер и призвана поощрять
творчество современных российских автор-
ов, пробуждать более широкий интерес
западного мира к русской литературе.

*

Лучшие современные авторы,
лучшие произведения в серии
"Популярная библиотека"!

Тел.: 288-94-29
Факс : 288-92-38

Виктор Астафьев

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

Родился в 1924 г. в селе Овсянка близ Красноярска. Рано лишившись матери, воспитывался в семье бабушки и дедушки, затем в детском доме.

В 1941 г. поступил в железнодорожную школу ФЗО на станции Енисей, после окончания которой работал составителем поездов в пригороде Красноярска. Оттуда осенью 1942 г. ушел на фронт: был шофером, артразведчиком, связистом. Получил тяжелое ранение.

В 1945 г. демобилизовался. Почти четверть века прожил на Урале в Чусовом и Перми, затем 10 лет в Вологде. Работал грузчиком, слесарем, литейщиком. Одновременно учился в вечерней школе.

В 1951 г. в газете «Чусовской рабочий» напечатан первый его рассказ «Гражданский человек». В 1953 г. в Перми вышел первый сборник рассказов «До будущей весны».

В 1961 г. В. Астафьев окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР.

Ныне Виктор Астафьев — один из самых читаемых писателей. Лауреат Государственных премий.

Наиболее известные произведения: «Стародуб» (1959), «Перевал» (1959), «Звездопад» (1960), «Кража» (1966), «Последний поклон» (1968, 1978), «Пастух и пастушка» (1971), «Царь-рыба» (1975), «Печальный детектив» (1986), «Проклятые и убитые» (1994).

Повести и рассказы В. Астафьева переведены на многие языки мира.

